



Юрий Кувалдин
День писателя

повести

Юрий
Кувалдин

День писателя

повести

Издательство
Книжный Сад
Москва
2011

ББК 84 Р7

К 88

Оформление художника Александра Трифонова

*На передней стороне переплета воспроизводится картина художника Александра Трифонова "Купола", холст, масло, 100 x 70 см, 2009 г.
На задней стороне переплета: писатель Юрий Кувалдин.*

Кувалдин Ю.А.

К 88

День писателя: повести. - М.: Издательство "Книжный сад", 2011.
- 416 с.

Книгу «День писателя» Юрия Кувалдина составили повести: «День писателя», «Беглецы», «Записки корректора», «Осень в Нью-Йорке», «Не говори, что сердцу больно», «Пьеса для погибшей студии», «Ранние сумерки». Юрий Кувалдин вошел в русскую литературу уверенно и просто, без шума, без претензий, без вызова, и устроился в ней так естественно и органично, будто и был всегда ее составной частью, будто занял как бы и полагавшуюся ему, спокойно ожидавшую его нишу. Выпустил одну книгу, другую, и оказалось, что, на самом деле, нашу литературу без Кувалдина уже и не представишь, не изыметь его из литературы, не обеднив последнюю, не лишив ее того голоса, той интонации, той особой концентрации мысли и духовной энергии, которых в ней еще не было.

ISBN 978-5-85676-141-1

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2011

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

1.

Разные газеты, журналы, радио и телевидение неоднократно обращались ко мне с просьбой дать им интервью. Кое-кому я шел навстречу, например, очаровательной Галине Фадеевой из телевизионной программы “Вести”, или Владимиру Приходько, ныне покойному, из “Московской правды”, или Роману Щепанскому из Всесоюзного радио, или Марине Дмитриевой из “Витрины читающей России”, или Наталии Дардыкиной из “Московского комсомольца”, или Игорю Зотову из “Независимой газеты”... Мне не хотелось этого делать, и не только из суеверия. Главной причиной было время, которого потребовала бы такая задача и которое я предпочел бы отдать работе над новым рассказом, романом или повестью, или чтению произведений авторов моего журнала, или редакции уже отобранных вещей, или обработке текстов на компьютере, или сдаче балансового отчета в налоговую инспекцию, или покупке в Южном порту рулонов бумаги на текст и листовой меловки на обложку, или печатанию журнала в типографии, или еще многому и многому другому, творчески и производственно необходимому... Кроме того, для этого мне пришлось бы оглянуться назад и заново перечитать все мои произведения, а их накопилось томов на десять! Таким образом, я оказался бы перед перспективой, страдая, лицезреть искромсанные останки моих литературных усилий. Моим глазам предстали бы купюры, которые в свое время меня вынудили сделать. В моей памяти их нет, ибо вещи запечатлевались в ней по мере того, как они рождались, росли, наливались плотью реализованного замысла - словом, в своей цельности, а не в том виде, какой они обретали в последние дни противоборства с редактором.

Да что там с редактором, еще за много веков до христианской эры один певец, или, как ныне бы мы сказали - бард, вроде Булата Окуджавы, устав от бесконечно длинных стихов, которые он пел, переходя из города в город, осудил поэтов, приписывающих богам антропоморфические черты, и предложил грекам единого Бога в образе вечной сферы. Шар, сфера - это самая совершен-

ная фигура и самая простая, ибо все точки ее поверхности равно удалены от центра. Бог - шар, как сама Земля, впрочем, как и Солнце, сфероид, потому что форма эта наилучшая, или наименее неподходящая, для того чтобы представлять божество. Сущее подобно массе правильной округлой сферы, сила которой постоянна в любом направлении от центра. Сфера бесконечна или бесконечно увеличивающаяся. Всемирная история шла своим путем. Слишком человекоподобные боги были низведены до поэтических вымыслов или демонов.

Поэтому снова и снова приходится мне разъяснять мою позицию. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, - то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, любитель современной русской литературы, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором я был наставлен. И не спеша уходим в такие дали, что дух захватывает. Ну, например, во дни фараона Аменхотепа IV, у которого был жрец по имени Моисей, родом египтянин, о чем Зигмунд Фрейд нам повествует. Из пророков Библии он перекочевал в пророки Корана и стал Мусой. С этим именем и связано происхождение названия столицы нашей родины Москвы, в которой и мне суждено было родиться. А со времен Эхнатона, Аменхотепа IV, прошло около трех с половиной тысяч лет. А во дни Ирода, царя Иудейского, был послан ангел Гавриил в город Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве: Мариам, или по-русски Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, слово писателя найдет тебя, сила литературы осенит тебя; посему и рождаемое святое наречется сыном литературы, или художественным образом. И будут все поклоняться литературе, и памятники ей в виде храмов и церквей будут по всей земле ставить.

А прежде храмов доисторические люди разбрелись от первой африканской обезьяны по всей земле. Вот и мы плыли на лодке по неизвестным рекам, в краю лесов, болот и озер. Кое-каким рекам и поселениям давали названия. Я загляделся на высокий, поросший елями берег. Отсюда шла тропинка, вероятно, к какому-то селу, находящемуся западнее, километрах в двенадцати. Выходя из Венеции, Мемфиса, Александрии, Рима, Иерусали-

день писателя

ма и Вавилона, мы, разумеется, не знали, что здесь уже живут люди. Причем, говорят на понятном нам языке, но совершенно не знакомы с литературой, словом и логосом. Во вторую половину дня мы проехали еще столько же и стали биваком довольно рано. Долгое сидение в лодке наскучило, и потому всем хотелось выйти и размять онемевшие ноги. Меня тянуло в лес. Кувалдин и Достоевский принялись устраивать бивак, а мы с Моисеем пошли на охоту.

В том лесу белесоватые стволы
Выступали неожиданно из мглы,

Из земли за корнем корень выходил,
Точно руки обитателей могил.

Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы,

И следы в песке видали рыбаки
Шестипалой человеческой руки.

Никогда сюда тропа не завела
Пэра Франции иль Круглого Стола,

И разбойник не гнезвился здесь в кустах
И пещерки не выкапывал монах.

Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой,

Но в короне из литого серебра,
И вздыхала, и стонала до утра,

И скончалась тихой смертью на заре
Перед тем, как дал причастье ей кюре.

Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа,

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.

Я придумал это, глядя на твои
Косы, кольца огневеющей змеи,

юрий кувалдин

На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.

Может быть, тот лес - душа твоя,
Может быть, тот лес - любовь моя,

Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

Надо полагать, интервьюеру захочется, чтобы я принялся анализировать свои работы; а где гарантия, что в этом процессе я не окажусь зануднее самого педантичного из критиков, когда-либо подвергавшего их критическому разбору? Мне придется умозрительно создавать “цели”, которых и в природе-то не было. Усматривать глубинный смысл в деталях, которые в момент работы над, допустим, романом “Так говорил Заратустра” были значимы лишь в соотнесении с общим замыслом, автор которого не хочет наскучить публике. Если бы кто-нибудь из рецензентов расщедрился и назвал мои книги “скоморошьими”, я воспринял бы это как величайший комплимент. Да, я всегда сокрушаю старое, чтобы возводить новое. Вот почему я люблю творцов и ненавижу клерков, которые засели повсюду, даже в “Новом мире” на святом месте Твардовского. Как скоморошью, примерно, и восприняла повесть “В садах старости”, опубликованную замечательным писателем Александром Эбаноидзе, автором тонкого психологического романа “Брак по-имеретински” в журнале “Дружба народов”, в котором он работает главным редактором, одна критикесса из “Независимой газеты”, имя которой я забыл. Ведь за столом во время написания вещи происходит так много всего, и это неудивительно: рождающееся произведение начинает жить своей жизнью. Интервьюер может захотеть, чтобы я разобрал свои произведения более целенаправленно и методично, нежели создавал их. В результате придется как бы заново писать эти произведения, а быть может, и специальные заметки, более тесно привязанные к готовым вещам, нежели те, что я набрасывал изначально. Скучное, неблагодарное занятие.

Хотя об этом сразу забываешь, когда бегаешь по истории взад-вперед, как по Москве, вернее, как по Риму, или по Иудее, римской провинции, некогда бывшей Финикией, входившей в империю фараонов Египет. В общем, в те дни вышло от кесаря

Августа повеление сделать перепись по всей земле, как у нас недавно Путин в России перепись тоже проводил. Римская перепись, о которой я вспомнил на станции моей линии метро "Римская", была первая в правление Квирина Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марию, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей; и родила сына, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел и сказал: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть писатель Кувалдин, который напишет повесть "Интервью" и вас всех туда запишет. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее литературу и взывающее: слава в вышних слову, и на земле мир, и в читателях благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам вестник писательский. И, поспешивши, пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля художественную литературу за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Дали ему имя Кувалдин, нареченное ангелом - вестником писательским, точнее - самиздатчиком, прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Хиероссию, страну Эроса, назвали русским, то есть святым, в городе Моше, Мусе, Мошков, Москов, Москве, или городе Иерусалиме, или Новом Иерусалиме в Истре, чтобы представить пред литературой. И голос высокий и пронзительный Достоевского возвестил: ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа твоего

святого, русского, самого литературного народа самой литературной страны. И благословил их Достоевский, и сказал Марии, которая была Клавдия из рода лесников-славян, пришедших много колен назад из Венеции, все были белыми, с голубыми глазами и римским профилем (валд - лес по-немецки), сказал матери его: се, лежит сей на падение и на восстание многих в Московии и в предмет пререканий, - и тебе самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец, живущих по лесам и болотам.

Сюда, в страну дождей и серых изб, славяне из Венеции пришли еще до возникновения христианства. До сих пор финны называют нас - веняйа. В прибрежных луговых местах так же легко заблудиться, как и в лесу. Мы несколько раз сбивались с дороги, но тотчас же спешили исправить свои ошибки. Найдя какую-нибудь кочку, я взбирался на нее и старался рассмотреть что-нибудь впереди. Моисей хватал орешник и крапиву руками, не боясь ожогов, и пригибал их к земле. Я смотрел вперед, в стороны, и всюду вдоль реки передо мной расстилалось бесконечное волнующееся травяное море. Население этих болотистых лесов главным образом пернатое. Кто не бывал в низовьях этой реки, которую в честь Моше я предложил назвать Москов-река, и Моше-Моисей согласился, так вот, кто не бывал на Москве-реке, когда не слышны в саду даже шорохи, во время перелета, тот не может себе представить, что там происходит. Тысячи тысяч птиц большими и малыми стаями тянулись к югу. Некоторые шли в обратном направлении, другие - наискось в сторону. Вереницы их то подымались вверх, то опускались вниз, и все разом, ближние и дальние, проектировались на фоне неба, в особенности внизу, около горизонта, который вследствие этого казался как бы затянутым паутиной. Я смотрел, как очарованный. Выше всех были орлы. Распластав свои могучие крылья, они парили, описывая большие круги. Что для них расстояния? Некоторые из них кружились так высоко, что едва были заметны. Ниже их, но все же высоко над землей, летели гуси. Эти осторожные птицы шли правильными косяками и, тяжело, вразброд махая крыльями, оглашали воздух своими сильными криками.

Эти крики часто слышались Кувалдину во сне, и ему снилось, что он в древнем храме слышит крики убогих. Каждый год родители Кувалдина ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда

Кувалдин был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник; когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался отрок Кувалдин в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что Кувалдин идет с другими; прошедши же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми; и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в Ленинской библиотеке с Библией в руках, дающего интервью писателю Юрию Кувалдину, нашли, одним словом, в храме, сидящего посреди учителей: Лакшина, Достоевского, Чехова, Солженицына, Искандера и Булгакова, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились; и мать его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Кувалдин сказал им: зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть там, где на острове Фарос под Александрией египетской фараоны со жрецами беседуют, где Достоевский читает речь о Пушкине в редакции "Дружбы народов", где в кабинете Эбаноидзе Александра картина Трифонова Александра "Несение креста" высоко на шкафу стоит в углу? Но они не поняли сказанных им слов. И Кувалдин пошел с ними, и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. Кувалдин же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у литературы и человеков читающих, задумавшихся. И тот, кто любит слово, тот услышит в нем все, что захочет, и пройдет с ним в глубь истории на 40 тысяч лет назад, и до истории на несколько миллиардов лет назад в черную Африку, где человек зародился, к обезьяне, слезшей с дерева и задумавшейся. От задумавшейся обезьяны, у которой стала зарождаться память, и пошел человек. Я бы назвал его - человек запоминающий.

А запоминающий помнит и мои произведения, и хочет выведать у меня что-нибудь про них. И вот он начинает задавать мне вопросы. А я чувствую себя дураком, как всегда чувствовал себя в школе, когда меня собирались вызывать к доске. К тому же я окажусь перед необходимостью сделать попытку увидеть мои произведения глазами того человека, каким я был в пору их написания. А мое собственное "я", замкнутое в определенном отрезке времени, хоть и продолжает незримо существовать в моем мозгу, уже перестало быть моим. В результате придется мне без

конца писать и переписывать. Переписывать, пока вся спонтанность и непосредственность не исчезнут из некогда полных жизни слов. Придется обобщать, обосновывать, оправдываться. Нет, пусть уж другие уничтожат мои творения - при помощи слов или любых иных инструментов, какими калечат прозу. Что до меня, то вместо этого я просто напишу еще одну книгу прозы, а не мемуары. К тому же - не будем лукавить - писание мемуаров сигнализирует о конце жизненного пути.

А если вспоминаешь о конце, то сразу начинаешь бежать по страницам книги к началу человечества, и читаешь, что в пятнадцатый год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее. При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол литературный к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Иов проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исайи, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь писателю, прямыми сделайте стези ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение в литературе. Ибо не религия правит миром, а литература, в которую входит, как дитя, как Моше-Москов-Моисей, религия. Ибо говорю вам, что писатель может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают (ку-валд) и бросают в огонь. И спрашивал его народ: что же нам делать? Кувалдин сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься и сказали ему: учитель! что нам делать? Кувалдин отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: то государство стоит в веках, которое жертвует половиной своего населения, как стоит и сияет в веках Хиеросия, Эросия, Россия, то есть святая, плодородная, в расцвете жизни. Все имеет рождение, жизнь и смерть. Даже звезды. На смену одной звезде рождается другая, пятая, миллиардная, чтобы никогда не угасать. Так и человек. Эхнатон наложился на Аменхотепа (заменял его), Моисей наложился на Эхнатона, Достоевский наложился на Моисея, Кувалдин наложился на Достоевского. Сия жизнь дается через смерть в бессмертии.

Мне кажется, что все птицы и животные бессмертны, потому что они не обладают памятью. Летят себе, бегут без памяти, и мелькают города и страны, параллели и меридианы. Летят утки, летят гуси. И все куда-то каждый год летели. Лебедь летел на вертолете из Красноярска, Эросоярска, Эросозерска... Не название, а сплошная тавтология, потому что не знали, что слово "яр" происходит от Эроса, и слово "красный" происходит от Эроса, или Хероса, так что можно произнести - Краснохерск, или, что точнее, Херохерск... Славянский мат и табуированная лексика возникли из чувства ненависти обывателей к высокой литературе. А все высокое высмеивается, или, как говорят в зоне, опускается. Так вот, летели утки с гусями, и рядом с ними летели казарки и лебеди. Внизу, ближе к земле, с шумом неслись торопливые утки. Тут были стаи грузной кряквы, которую легко можно было узнать по свистящему шуму, издаваемому ее крыльями, и совсем над водой тысячами летели чирки и другие мелкие утки. И вся эта масса птиц неслась к югу.

Я так же несусь в слове. И интервьюер за мною не успевает, хлопает глазами. Вот поэтому я не люблю давать интервью. Не люблю утомлять себя и других. В конце концов, все, что я мог поведать о своей жизни и своем творчестве, я попытался поведать в своих произведениях через вымышленных персонажей, или в образах. Подчас мне все же случается поддаться на уговоры: ведь именно с журналистики я начал свое восхождение к писательству и не забыл, как много она для меня значила. Думается, я был не так настойчив, как иные из моих коллег по ремеслу. Моя жизнь - в том, чтобы делать литературу в самом широком смысле этого слова, то есть самому писать, самому издавать, и самому читать. Каждый из этих процессов доставляет мне огромное удовольствие. Литература - это самая захватывающая вещь на свете, но рассказывать об этом - не самое захватывающее занятие. Мне под силу понять, отчего чуть ли не каждый мечтает стать писателем, но для меня непостижимо, почему люди, захлебываясь от волнения, вслушиваются в чей-либо рассказ о том, как это делается. Когда я в процессе работы над каким-нибудь произведением, то мне хочется, чтобы она длилась бесконечно. Но когда меня вынуждают об этой работе говорить, я невольно вслушиваюсь в собственный монолог, и он кажется мне (и интервьюеру, что гораздо хуже) до невероятности скучным и монотонным.

Приходится невольно освежать монолог яркими историческими примерами. Например, современник войн Ганнибала, Шихуанди, император династии Цинь, завоевал шесть царств и уничтожил феодальную систему; возвел стену, потому что стены служат защитой; сжег книги, потому что к ним обращались его противники, чтобы восхвалять правителей древности. Сжигать книги и воздвигать укрепления - общий удел правителей, необычен лишь размах Шихуанди. Ряд синологов именно так и считают, но мне чудится в событиях, о которых идет речь, нечто большее, чем преувеличение заурядных распоряжений. Привычно огородить сад или цветник, но не империю. И глупо было бы утверждать, что самое обычное для народа - отречься от памяти о прошлом, мифическом или истинном. К тому времени, как Шихуанди повелел начать историю с него, история китайцев насчитывала три тысячи лет (и в эти годы жили Желтый Император и Чжуанцзы, Лаоцзы и Конфуций).

2.

Кувалдин, исполненный литературы, тоже захотел начать историю с себя, и, когда он возвратился от Иордана, то поведен был в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни; а по прошествии их, напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты писатель, сын вечности, как жрец, иерей, масон, то вели этому камню сделаться хлебом. Кувалдин сказал ему в ответ: написано, что не долларом одним будет жить человек, но всяким словом литературы. И, возвед его на высокую гору, дьявол показал Кувалдину все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми своими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если ты поклонись мне, то все будет твое. Кувалдин сказал ему в ответ: ты, как в электричестве, минус, а я есть плюс, поэтому творчество без наличия плюса и минуса, добра и зла невозможно. Дьявол повел его тогда в ресторан Дома журналистов. Был в ресторане человек из партийного журнала "Коммунист", имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: оставь, что тебе до нас, Кувалдин из Венеции? Ты пришел погубить нас; знаю тебя, кто ты, святой, то есть рус-

ский писатель, автор повести “Поле битвы - Достоевский”. Кувалдин запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди ресторана, вышел из него, нимало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Кувалдин со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? И разнесся слух о Кувалдине по всей Руси (Эросу) великой, и, разумеется, по граду Моисееву - Москову. При захождении же солнца, все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Кувалдину; и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: ты, Кувалдин, велик, грамоте обучен, а мы недавно крепостными были и грамоте не обучены. А он запрещал им сказывать, что они знают, что он - Кувалдин. Он - инкогнито из Венеции, сплел венок слов, стал славянином и пошел на северо-восток в болота, где в глине между речками монастырь основал Москов, назвав его так по имени жреца Эхнатона Моисея-египтянина. И путь до этого был таков: обезьяна - египтянин - россиянин.

Величественная картина! И вдруг совершенно неожиданно откуда-то взялись два зубра. Они были от нас шагах в шестидесяти. В густой траве их почти не было видно - мелькали только головы с растопыренными рогами. Отбежав шагов полтора, зубры остановились. Я выпустил стрелу и промахнулся. Раскатиное эхо подхватило свистящий звук и далеко разнесло его по реке. Тысячи птиц поднялись от воды и с криком полетели во все стороны. Испуганные зубры сорвались с места и снова пошли большими прыжками. Тогда прицелился из арбалета Моисей. И в тот момент, когда рыжая крупная голова одного из них показалась над травой, он спустил курок. Когда мы подошли, животных уже не было. Моисей снова зарядил свой арбалет и не торопясь пошел вперед. Я молча последовал за ним. Моисей огляделся, потом повернул назад, пошел в сторону и опять вернулся обратно. Видно было, что он что-то искал.

- Кого ты ищешь? - спросил я его.

- Алефа, - отвечал он.

- Не алефа, а зубра, - сказал я. - Да ведь он ушел...

- Нет, у нас на иврите, и по-финикийски он называется алеф, потом мы и в Грецию принесли свой язык, семитский, знаковый, самый древний, тьмой египетской сохраненный, и пошла от але-

фа-быка - греческая буква альфа, - сказал Моисей уверенно. - Я, кажется, в голову алефа попал.

Я вслушался в звук слова "алеф", и мне показалось, что в нем есть слово "лев". Царь зверей, африканский житель, где обезьяна осознала себя человеком миллиарды лет назад. Лев с гривой, а не лев - с рогами. Не лев, значит, алеф. И тут меня потрясла еще одна догадка. В произношении Моисея слово "иврит" прозвучало, как ховрит, то есть - говорит! Вот она, стало быть, откуда речь наша идет - из Египта, от самого первого человеческого записанного слова. Иврит-говорит, говорите на иврите, но не врите, говорите... А потом и ропот дошел до Европы, ев - благо, роп - речь, хорошо говорите, иереи - хорошо говорящие, проповедники. Евгипет, Европа, евреи в Еврасее... Урус, ура, ра - солнце, Русь, Россия! И секс льется через края, ибо полна чаша сия. Я принялся тоже искать убитое животное, хотя и не совсем верил Моисею. Мне казалось, что он ошибся. Минут через десять мы нашли огромную тушу алефа-зубра. Голова его оказалась, действительно, пронзенной стальной стрелой. Моисей выхватил из ножен острый нож и принялся свежевать тушу. Я помогал. Потом мы несколько раз ходили к биваку со свежим мясом, взваливая тяжелые куски себе на плечи. Окончательно на бивак мы возвратились уже в сумерки.

Как бы то ни было, наступает день, когда вы решаете пожертвовать частью времени, выкроенного для себя, ибо все кругом убеждены: это необходимо. Ваша новая вещь, мол, не может долее оставаться в секрете; о ней должна услышать общественность; реклама и информация - категории первостепенной важности. И вы сдаетесь. Вы проводите время в обществе человека, вооружившегося аппаратурой и делающего в блокноте загадочные пометки. Заглядываете ему в лицо, стремясь уловить, все ли в порядке, но оно непроницаемо. Пытаетесь его рассмешить, но тщетно; скорее уж без устали наматывающий пленку магнитофон издаст ободряющий звук, чем ваш молчаливый собеседник. Надеетесь, что интервьюер вот-вот утомится и вашей попытке придет конец. Не тут-то было: с какой стати ему утомляться, когда всю работу делаете за него вы? И вот наступает миг, когда вы решаете: хватит.

Однажды, когда народ теснился к Кувалдину, чтобы слышать слово писателя, а Кувалдин стоял у Борисовских прудов, вотчи-

ны царя Бориса Годунова, увидел он две лодки, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была брата Годунова из села Братеево, Кувалдин просил его отплыть несколько от берега к Орехову-Борисову, и, сев, учил Моисеевых, то есть москвичей, из лодки: смотрите, сколько египетско-библейских людей собралось - и Абрамовы, и Моисеевы, и Соломоновы, и Давыдовы, и, главное, Ивановы... Иерейские (жреческие, еврейские) имена стали исконно святыми (хиерос) русскими. Иоанн, Анна, Мариам, Мария и так далее, и тому подобное. А путь назад будешь держать и придешь все к одному, к Африке, к волосатой, огромной, человекообразной обезьяне, которая задумалась и нанесла камнем на камень первый иероглиф, евроглиф, тайный, святой, благой знак. Кувалдин еще сказал им: не интеллигентные (читающие) имеют нужду во врачах, но больные - не умеющие читать, и не желающие читать; я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Я еще сказал им, что литература - это религия. Что только она бессмертна. Они же сказали Кувалдину: почему авторы "Нашей улицы" читают и пишут, а девяносто девять процентов доисторических людей, живущих в наше время, как трава, вне истории, гоняются за деньгами, едят и пьют? Кувалдин сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними невесты? Но придут дни, когда отнимется у них женщина, и тогда будут поститься в те дни. При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплатки к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплатка от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, а мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше.

Вы облегченно вздыхаете. Интервьюер убирается восвояси. Но ненадолго: скоро выясняется, что есть надобность в еще одном интервью. Неважно, чем кончилось первое, - вас всегда попросят о втором. И ведь вам некуда деться: вы уже потратили уйму сил и времени. Вместо того чтобы вволю посочувствовать самому себе, вы идете на новые издержки. А затем ожидаете, что вам радостно сообщат: ваши слова, мол, найдут дорогу в какой-нибудь малотиражный журнальчик, каковой бесплатно раздадут

десяtku студентов выпускного курса в Литинституте, где ваших книг никто отродясь не видел. Но и на это рассчитывать слишком оптимистично. Ладно. Вы уповаете хотя бы на то, что сказанное вами не превратится на журнальной полосе в полярную противоположность; что напечатанная информация будет хоть как-то соотноситься с тем, что и как вы сказали; что вы не покажетесь читателю еще большим дураком, нежели являетесь на самом деле (что, между прочим, и подтвердили, согласившись на интервью); что ваше интервью все-таки кто-нибудь увидит; наконец на то, что его никто не заметит. В конце концов, просто забываете, что его дали. Я всегда так и делаю. Забываю, что какой-то материал пошел в какую-то редакцию.

Кувалдин сказал чиновникам литературы: не вы делаете литературу, но я. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Кувалдиным. В те дни взошел он на Карадаг, в подножии которого жил в своем доме поэт Волошин, помолиться, и пробыл всю ночь в молитве о литературе. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами: Лоринова, которого назвал Композитором, и Поздеева Валерия, художника Александра Трифонова, Анатолия Капустина и Клыгуля Эдуарда, Сергея Мнацканяна и Виктора Кологрива, Александра Трофимова и Сергея Михайлина, Виктора Кузнецова и Александра Тимофеевского, прозываемого Поэтом, и Иуду Искарриота, который потом сделался предателем. И, сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Московии и Эруссии, Египта и Иерусалима, Китая и Рима, Армении и Шумера, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших из бывшей советской литературы, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду

ду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если займы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Великой русской литературы; ибо Кувалдин, в трех лицах своих - сын, отец и писатель, благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Кувалдин милосерден. Не судите, и не будете судимы; критикуйте, и будете замечены, пишите, и будете прочитаны, не идите по течению, как бревно, а идите против течения, как парус, не осуждайте, и не будете осуждены; осуждайте, и вас осудят на правлении Союза писателей, и прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такую же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но и, усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоём глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

И на лодке плывете. У подножия холма расположилась деревня какого-то Кучка или Кучки. Моисей предложил ее назвать по имени реки, которое дал я в честь него - Москов, где мы порешили начать строить монастырь литературы. Это было последнее в здешних местах селение. Дальше к югу до самого впадения Москов-реки в океан, то есть в Оку, которую мы назвали в честь Океана, бога водной стихии, сына Урана (бога неба) и Геи (богини земли), реку, обтекающую всю землю, и так она была полноводна и широка, жилых мест не было. Взятые с собой запасы продовольствия подходили к концу. Надо было их пополнить. Мы вытащили

лодку на берег и пошли в деревню, которую нарекли Москов. Посредине ее проходила широкая улица, бревенчатые дома стояли, зарывшись в землю, далеко друг от друга. Почти все оратаи были старожилками и имели надел в сто десятин. Я вошел в первую попавшуюся избу. Нельзя сказать, чтобы на дворе было чисто, нельзя сказать, чтобы чисто было и в доме. Мусор, разбросанные вещи, покочнувшийся забор, сорванная с петель дверь, почерневший от времени и грязи рукомошник свидетельствовали о том, что обитатели этого дома не особенно любили порядок. Когда мы зашли во двор, навстречу нам вышла женщина с ребенком на руках. Она испуганно посторонилась и робко ответила на мое приветствие. Я невольно обратил внимание на окна. Они были с двойными рамами в четыре слюды из бычьего, алефьева, зубрева пузыря. Пространство же между ними почти до половины нижних пузырей было заполнено чем-то серовато-желтоватым. Сначала я думал, что это опилки, и спросил хозяйку, зачем их туда насыпали.

- Какие это опилки, - сказала женщина, - это комары.

Я подошел поближе. Действительно, это были сухие комары. Их тут было, по крайней мере, с полкилограмма.

- Мы только и спасаемся от них двумя рамами в окнах, - продолжала она. - Они залезают между пузырями и там пропадают. А в избе мы раскладываем дымокуры и спим в комарниках.

- А вы бы выжигали траву в болотах, - сказал ей лучник Достоевский.

- Мы выжигали, да ничего не помогает. Мы в избе-то по-черному топим. Но мало помогает. Сами угореть боимся. Комары-то из воды выходят. Что им огонь! Летом трава сырая, не горит.

И тут вспоминаете об интервью. Да, вспоминаете лишь тогда, когда оно уже никоим образом не может повлиять на судьбу вашего нового произведения. И все-таки интересуетесь: где оно, что с ним, появилось ли? Может быть, вы мне подскажите: на дне какой пропасти находят приют все непооявившиеся интервью? Говорить о книге, которая еще не сделана, нелепо. На протяжении первых трех недель работы над новой вещью, я вообще о ней никому не говорю, тем более - журналистам. Этот период мне нужен, чтобы войти в ритм литературного процесса. Хотя я редко из него выхожу.

Когда Кувалдин окончил все слова свои к слушавшему корреспонденту, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, кото-

рым он дорожил, был болен, при смерти. Услышав о писателе, он послал к нему членов парткома - просить Кувалдина, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедши к Кувалдину, просили его убедительно, говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам храм во славу литературы. Кувалдин пошел с ними. И когда Кувалдин недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: не трудись, писатель! ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой; потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе; но скажи слово литературное, принесенное из Венеции, сплетенное славянами, пронесенное через Словению, Словакию, Вену, Винницу, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойдя, и идет; и другому: приди, и приходит; и секретарю моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Кувалдин удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу африканско-египетскому, египетско-финикийскому, финикийско-еврейскому, еврейско-арабскому, арабско-индоевропейскому, индоевропейско-эллиническому, эллиническо-римскому, римско-славянскому, славянско-русскому: сказываю вам, что и в Византии не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Кувалдин пошел в город, называемый Наин; а с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, писатель сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подошед, прикоснулся к одру! несшие остановились; и Кувалдин сказал: юноша! тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел, румянец коснулся его щек, и стал говорить; и отдал его Кувалдин счастливой матери его. И всех объял страх, и славил Кувалдина, говоря: великий пророк восстал между нами, это он написал роман "Родина", и он написал роман "Так говорил Заратустра", и он написал множество повестей и рассказов, и статей и эссе, и даже стихи писал в юности. Такое мнение о нем распространилось по всей Эротической Славянии и во всей окрестности до самого Нью-Йорка.

На берег за нами прибежали деревенские ребяташки в лаптях. Они стояли в стороне и поглядывали на нас с любопытством. Через полчаса мы тронулись дальше. Я оглянулся назад. Ребята

по-прежнему толпились на берегу и провожали нас глазами. Река сделала поворот, и деревня скрылась из виду. Трудно проследить русло Москов-реки в лабиринте ее проток. Ширина реки здесь колеблется от 15 до 80 метров. При этом она отделяет от себя в сторону большие слепые рукава, от которых идут длинные, узкие и глубокие каналы, сообщающиеся с озерами и болотами или с такими речками, которые также впадают в Москов-реку значительно ниже. По мере того, как мы подвигались к Океокеану, течение становилось медленнее. Шесты, которыми лучники проталкивали лодку вперед, упираясь в дно реки, часто завязали, и настолько крепко, что вырывались из рук. Глубина Москов-реки в этих местах весьма неровная. То лодка наша наткнулась на мели, то проходила по глубоким местам, так что без малого весь шест погружался в воду. Почва около берегов более или менее твердая, но стоит только отойти немного в сторону, как сразу попадешь в болото.

3.

Что до произведений, работа над которыми уже позади, то бесконечный анализ просто уничтожает их. Я не могу воспрепятствовать этому литературоциду, но у меня нет ни малейшего желания участвовать в избиении моих детей. Мое нежелание распространяться о собственных произведениях объясняется очень просто: в мои цели никак не входит уменьшать их эмоциональное воздействие на читателей. Для меня принципиально не растратить ничего из запаса тех чувств и эмоций, каковым предстоит воплотиться в новой вещи. Я предпочитаю писать ее так же, как живу в своей второй реальности. В ее чудесном таинственном мире. Иногда мне кажется, что я Иван Карамазов, воспевающий первые зеленые клейкие листочки. Интервьюеры как археологи: и те, и другие тщатся найти следы вековой мудрости, запечатленные в камне. И приходят ко мне в надежде, что на них прольется дождь драгоценных камней. Мне никогда не приходило в голову анализировать свое творчество так, как это привыкли делать они.

Поэма Данте сохранила древнюю астрономию, которая на протяжении тысячи четырехсот лет господствовала в воображе-

нии людей. Земля находится в центре Вселенной. Она - неподвижная сфера, вокруг нее вращаются десять концентрических сфер. Первые семь - небеса планет (небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна); восьмая - небо неподвижных звезд; девятая - хрустальное небо, именующееся также Перводвигатель. Это небо окружено Эмпиреем, состоящим из света. Вся эта сложная машина полых, прозрачных и вращающихся сфер (в одной из систем их потребовалось пятьдесят пять) стала необходимостью в мышлении: "Заметка к предположению о вращении небесных сфер" - таково скромное заглавие, поставленное Коперником, ниспровергателем Аристотеля, на рукописи, преобразившей наше представление о космосе. Для другого человека, Джордано Бруно, трещина в звездных сводах была освобождением. В "Речах в первую среду великого поста" он заявил, что мир есть бесконечное следствие бесконечной причины и что божество находится близко, "ибо оно внутри нас еще в большей степени, чем мы сами внутри нас". Он искал слова, чтобы изобразить людям Коперниково пространство, и на одной знаменитой странице напечатал: "Мы можем с уверенностью утверждать, что Вселенная - вся центр или что центр Вселенной находится везде, а окружность нигде".

После сего Кувалдин проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие логоса, и с ним двенадцать апостолов, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, которая была Мариам, потом путем миллиардных наложений стала Наиной, Ниной Красновой-Эросовой с-под Рязани (крас-храс-хорс-хьерос-эрос), из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему именем своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: вышел сеятель сеять семя свое; и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взошед, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взошед, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же его спросили у него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны литературы, а

прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не понимают. Вот что значит притча сия: семя есть слово писателя; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо кто имеет, тому дано будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к Кувалдину мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ: мать моя и братья мои суть слушающие слово писателя, и исполняющие его. В один день Кувалдин вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону Борисовских прудов. И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И разбудили его и сказали: наставник! погибаем. Но Кувалдин, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе в удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему? И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Кувалдин на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев писателя, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: что тебе до меня, Кувалдин, сын русской литературы? умоляю тебя, не мучь меня. Кувалдин повелел нечистому духу выйти из сего человека; потому что дьявол долгое время мучил его, так что его связывали цепями и уза-

ми, сберегая его; но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыни. Кувалдин спросил его: как тебе имя? Он сказал: "легион", потому что много бесов вошло в него. И они просили Кувалдина, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, пришедши к Кувалдину, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Кувалдина с повестью Юрия Кувалдина "Интервью", одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился чтением художественной литературы бесноватый.

Я не считаю себя интеллектуалом в общепринятом ныне смысле слова; ведь этот смысл имеет мало общего с интеллектом или интеллигентностью. Те, кто так себя называют, обычно нагоняют на меня скуку. Они - судьи и выносят приговоры другим. Я же просто люблю что-то делать сам. Как я это делаю, пусть судят окружающие. Давать сделанному определения, наклеивать на него ярлыки - не моя забота. Ведь на что наклеивают ярлыки? На багаж, на одежду. Еще на города. Взять, к примеру, нашу Москву. У кого бы я ни спрашивал, никто не знает значения слова "Москва". Давайте порассуждаем вместе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского... Опять вопрос возникает. Что значит слово "русский"? Думаю, а когда я думаю, то прокатываю, катаю, как морская волна песчинки, катаю слова, играю ими, сопоставляю, слог подставляю к слогу, итак, думаю, что слово "русский" идет от слова греческого, которое таит в себе отголоски Иудеи, Финикии, Египта, слова литературного, религиозного Хиерос, Хиерус, проще говоря - Эрос, что в переводе означает полноту жизни, сексуальность и святость. Пришли на земли, где теперь мы живем, литераторы, носители логоса, слова, основали монастыри в лесах, под защитой рек, болот и озер, чтобы никто им не мешал творить, то есть писать, или сочинять... Бежит история литературы, как река. И теперь мы докапываемся до корней, до оснований. Вникаем в этимологию (происхождение) топонимов. Так, например, получаются у меня поучительные и занимательные рассуждения о происхождении названия российской столицы. Значение Москвы в истории российского и советского государств на-

столько велико, что неудивительно то большое внимание, которое ей оказывается. Делались попытки объяснить этимологию названия столицы, но... На предложенных вариантах останавливаться не будем, поскольку они изложены в книгах М. Горбаневского "В мире имен и названий" и Е. Осетрова "Живая древняя Русь". Любопытства ради заметим, что Осетров, исследовав предложенные варианты и видя тупиковую ситуацию, пустился, как говорится, во все тяжкие: ведь Москву можно было назвать по одноименной реке! Протаскивается мысль, что река имеет способность к самоназванию. До настоящего времени вопрос, однако, не нашел положительного решения. Поэтому вполне вероятно и закономерно появление новых версий и гипотез, так как всякий нерешенный вопрос привлекает внимание и возбуждает любопытство. Без учета исторического, религиозного и политического процессов невозможно понять происхождение целого ряда топонимов. При изучении топонима Москва допускается, по крайней мере, две ошибки. Первая ошибка состоит в том, что название Москвы не связывается с именем какого-либо лица. Вторая ошибка состоит в том, что не учитывается изменение слов во времени и пространстве. Наша страна почти тысячелетие развивалась как государство религиозное. Православное христианство наложило свою печать на страну в Восточной Европе, называемой на западе вплоть до XVII века Московией. Поэтому есть основание исследовать топоним Москва с помощью литературных (религиозных) источников. Я полагаю, что Москва названа в честь литературного героя Библии (Ветхого Завета) пророка Моисея (Моше). Если это утверждение верно, то мы должны найти еще города, названные его именем. Действительно, такие города есть, в Германии - Мосбург, в Ираке - Мосул. Первое письменное упоминание о Москве встречается в письме московского князя в 1147 году: "Приезжай ко мне, брате, в Москов". Сначала город назывался Москов, а со временем - Москва. Имя Моисей (Моше) в переводе означает - дитя. Вспомним, что в Коране он идет тоже как пророк, и называется Муса. Муса, мусульманство... Итак, с моей точки зрения и с точки зрения Кувалдина, египетского жреца, славянина из Венеции и писателя, вопрос об этимологии топонима Москва можно считать исчерпанным.

Создав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать власть

над людьми литературы и исцелять ее силой больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь; а если где не примут вас, то, выходя из того города, оттрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили по селениям, хваля литературу и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник обо всем, что делал Кувалдин, и недоумевал: ибо одни говорили, что это Гомер восстал из мертвых; другие, что Лев Толстой явился; а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, то есть авторы “Нашей улицы”, возвратившись, рассказали Кувалдину, что они сделали; и он, взяв их с собою, удалился в Ирак, в междуречье, к вратам Бога, Вавилону, Вавилону, и, взошед на Вавилонскую башню, сказал: нет тьмы языков, а есть один язык литературы, идущий от задумавшейся в черной Африке обезьяны. Черный - раб, нечерный - араб. Видимо, так. Сорок тысяч лет истории катаем слова-логосы. Народ, это все те, кто благодаря Эросу вышел на сей свет из материнского лона, все до одного из этого лона вышли, благодаря коитусу и фаллической силе литературы. Итак, народ, узнав, пошел за ним к башне и слушал его; и Кувалдин, приняв их, беседовал с ними о царствии литературы, о Пушкине и Гете, о Платоне и Платонове, о Достоевском и Эбаноидзе, о Шукшине и Довлатове, о Чехове и Кафке, о Кувалдине и Лермонтове, о Бердяеве и Фрейде, о Канте и Волошине и о многих других сынах литературы, а народ слушал и требовал исцеления от тупости и неумения читать. И Кувалдин словом славянским и святым, то есть русским, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступивши к нему, двенадцать говорили ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные библиотеки и читали тех, о ком говорил ты; потому что мы здесь у башни Останкинской американские фильмы со стрельбой устали смотреть и глупеем от них. И поджег тогда Кувалдин Останкинскую башню за измену русской симфонической литературе, и дым виден был в Нью-Йорке. Все проголодались от эрзацев американских. Тогда Кувалдин сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей на Черемушкинском рынке? Ибо их было около пятидесяти тысяч

человек после футбольного матча ЦСКА - "Спартак". Но Кувалдин сказал ученикам с нашей улицы: рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Кувалдин по зеленой подстриженной траве вышел в центральный круг стадиона имени Ленина, при свете софитов, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все и на западной, и на восточной, и на южной, и на северной трибунах; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда Кувалдин давал интервью в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ: за протопопы Аввакума, а иные за Федора Достоевского; другие же говорят, что один из фараонов в пирамиде воскрес. Он же спросил их: а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр: за писателя Кувалдина, носителя слова венецианского, сплетающего его в венок ради виты-жизни, чтобы в Вене по венам кровь славянская текла, как текут твои строки по произведениям твоим. Но Кувалдин строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что сыну египетско-венецианскому должно много пострадать, и быть отвержену старыми советскими толстыми литературными журналами, наемными литсотрудниками и сочинителями за деньги книг для развлечения, и быть убиту органами НКВД за слово, за литературу, за изготовление и распространение самиздата, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною; ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради литературы, тот сбережет ее; ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить, или повредить себе?

4.

Ибо, кто постыдится меня и моих проверенных тысячелетиями слов, того писатель постыдится, когда придет во славе своей и литературы и святых самиздатчиков; говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие бессмертных писателей. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Поздеева, Андрея Платонова,

Юрия Нагибина, Иоанна и Купченко Владимира из дома Волошина, взошел он на Ленинские горы почитать “Философские тетради”. И когда читал, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Эхнатон: явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Новом Русском Илье. Достоевский же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Кувалдина, и двух мужей, стоявших с ним у посольства Арабской республики Египет. И когда они отходили от него, сказал Эхнатон Кувалдину: наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Достоевскому, - не зная, что говорил. Когда же он говорил, то явилось облако и осенило их; и уstraшились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: сей есть писатель мой возлюбленный; его читайте. Когда был глас сей, остался Кувалдин один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с Воробьевых гор к парку Горького, встретило его много народа. День был солнечный, и повсюду продавали пиво “Балтика”.

Мы плыли по главному руслу и только в случае крайней нужды сворачивали в сторону с тем, чтобы при первой же возможности выйти на реку снова. Протоки эти, заросшие осокой и камышами, совершенно скрывали нашу лодку. Мы плыли тихо и нередко подходили к птицам ближе, чем на полет стрелы. Иногда мы задерживались нарочно и подолгу рассматривали их. Прежде всего я заметил белую цаплю с черными ногами и желто-зеленым клювом. Она чинно расхаживала около берега, покачивала в такт головой и внимательно рассматривала дно реки. Заметив лодку, птица подпрыгнула два раза, грузно поднялась на воздух и, отлетев немного, снова спустилась на соседней протоке. Потом мы увидели выпь. Серовато-желтая окраска перьев, грязно-желтый клюв, желтые глаза и такие же желтые ноги делают ее удивительно непривлекательной. Эта угрюмая птица ходила, сгорбившись, по песку и все время преследовала подвижного и хлопотливого кулика-сороку. Кулик отлетал немного, и, как только садился на землю, выпь тотчас же направлялась туда шагом и, когда подходила близко, бросалась бегом и старалась ударить его своим острым клювом. Заметив лодку, выпь забилась в траву, вытянула шею и, подняв голову вверх, замерла на месте. Когда лодка про-

ходила мимо, Достоевский выстрелил в нее из лука, но стрела пролетела мимо, хотя она прошла так близко, что задела рядом с ней камышины. Выпь не шелохнулась. Моисей рассмеялся.

- Эти птицы хитрее людей. Постоянно так обманывают, - сказал он. Действительно, теперь выпь нельзя уже было заметить, окраска ее оперения и поднятый кверху клюв совершенно затерялись в траве. Дальше мы увидели новую картину. Низко над водой около берега на ветке лозняка уединенно сидел зимородок. Эта маленькая птичка с большой головой и с большим клювом, казалось, дремала. Вдруг она ринулась в воду, нырнула и снова показалась на поверхности, держа в клюве маленькую рыбку. Проглотив добычу, зимородок сел на ветку и опять погрузился в дремоту, но, услышав шум приближающейся лодки, с криком понесся вдоль реки. Яркой синевой мелькнуло его оперенье. Отлетев немного, он уселся на куст, потом отлетел еще дальше и, наконец, совсем скрылся за поворотом. Два раза мы встречали болотных курочек-лысух - черных ныряющих птичек с большими ногами, легко и свободно ходивших по листьям водяных растений. Но в воздухе они казались беспомощными. Видно было, что это не их родная стихия. При полете они как-то странно болтали ногами. Создавалось впечатление, будто они недавно вышли из гнезда и еще не научились летать, как следует. Кое-где в стоячих водах держались поганки с торчащими в сторону ушами и с воротничками из цветных перьев. Они не улетали, а спешили спрятаться в траве или нырнуть в воду.

Помню, после выхода моей книги "Улица Мандельштама" один интервьюер спросил меня: "Какой картой вы пользовались? Я ни на одной карте не нашел такой улицы! Быть может, вы пользовались схемой Берлина?" Ну конечно, ответил я. Вопрос, глупость которого предусматривала адекватно глупый ответ. Он был принят всерьез, напечатан и с тех пор много раз перепечатывался. Меня и сейчас продолжают допрашивать по этому поводу. Похоже, мне так и не удастся рассчитаться с этой репликой раз и навсегда. И она будет преследовать меня до гробовой доски. Что ж, похоже, единственный способ покончить с этим недоразумением - это заявить: "Совершенно верно, улица Мандельштама находится именно в Берлине".

В 1914 году Фрейд анонимно опубликовал в журнале "Имаго" исследование "Моисей Микеланджело", открывающее сборник

“Очерки по прикладному психоанализу”. Нужно ли думать, что Фрейд, вложивший, как ему казалось, слишком много личного в интерпретацию работы Микеланджело, решил компенсировать или завуалировать это личное отсутствием подписи? Широко известно, что его отношение к фигуре Моисея было очень глубоким, окрашенным попытками идентификации. Обращаясь к Юнгу в то время, когда Фрейд считал швейцарца последователем и принцем-наследником, он называл его “Иосифом”, для которого сам Фрейд был “Моисеем”. И вот, наконец, он посвящает еврейскому пророку последние годы своей жизни; редактированием и доведением до печати книги “Моисей и монотеизм” Фрейд занимается с 1934 по 1939 год. Это последняя головешка, которую он в возрасте восьмидесяти трех лет бросает в мир культуры. И сегодня этот мир, после шестидесяти лет страшной истории, вспыхивает ярким пламенем от одного от соприкосновения с идеями Фрейда, трансформирующего Отца - Основателя иудаизма в египетского священника и рисующего смущающий портрет еврейского народа, который, отягченный убийством Отца - Моисея и Иисуса, - упорно отказывается признать преступление... В отличие от этой своей книги, где он стремится очистить от шелухи ядро исторической правды, в небольшом анонимном очерке 1914 года Фрейд интересуется, прежде всего, эстетической формой: речь идет о мраморной статуе Моисея, выполненной Микеланджело, которую он часто и подолгу созерцал в церкви Сен-Пьеро-Льен во время счастливого пребывания в Риме и которая, как он вспоминает, является лишь “Фрагментом огромного мавзолея, заказанного художнику для могущественного папы Юлия II”. К этому новому предмету анализа он применяет так называемый метод “отходов”, то есть внимательного и тонкого наблюдения за вещами скрытыми или незначительными, невыразительными деталями, по которым обычно взгляд бегло проскальзывает, а то и вовсе не замечает их, и которые, однако, для психоанализа оказываются в высшей степени значащими. Весь очерк Фрейда о Моисее Микеланджело построен на двух крошечных деталях скульптуры, оставшихся незамеченными или неточно описанными: погружение двух пальцев правой руки в складки длинной бороды Пророка и небольшой выступ на нижнем крае таблицы Свода законов, которую Моисей поддерживает правой рукой... Как удалось Фрейду рассмотреть этот незначительный рельеф, в

то время, как статуя расположена в нише, в полутьме, видна лишь спереди, а край таблицы со Сводом законов более или менее скрыт за складками тоги? К тому же, как вспоминает Фрейд, этот рельеф совершенно не точно воспроизведен на большой копии из гипса в Академии изящных искусств в Вене и почти незаметен на маленькой копии с подписью “Сантони”, которую можно видеть в церкви Сен-Пьер-о-Льен. Из этих деталей Фрейд с помощью рисунков, заказанных художнику, восстанавливает состояние ярости, охватившее Пророка при виде древних евреев, поклоняющихся идолам. Но вместо того, чтобы разбить таблицу Свода законов, он овладевает собой и ловит ее в тот момент, когда она начала падать, перевернулась и оказалась вверх ногами. Так скульптору удалось передать самый замечательный психический подвиг, на который способен человек: победить свою страсть во имя предназначенной ему миссии. Не увидел ли Фрейд здесь движения собственной страсти, смешавшейся в нем с движением его собственной “миссии”? Не почувствовал ли он, что совершил, как и Моисей, самый замечательный подвиг, на который способен человек: с помощью разума и знания овладел ощущаемой в себе инстинктивной яростью и спустился в Ад, в царство бессознательного? И не эта ли странная глубокая близость заставила его отказаться подписывать очерк, чтобы потом, уже позднее, поставить свое имя рядом с именем Моисея, занять место Героя?

После сего избрал Кувалдин и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем литературы во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молитесь специалиста жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему!

В институтах, в которых следят за развитием современной русской литературы, меня сделали предметом многих ученых студий. Поначалу восторженное преклонение исследователей-энтузиастов не может не импонировать, но, спрашивается, как с ним жить дальше? Как не уронить свое достоинство в глазах людей, открыв рот вслушивающихся в каждое ваше слово? В конце концов, это начинает утомлять. Посудите сами: все вокруг ждут,

что вы, вы сами будете бесконечно давать одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Это тяжелый груз. А разочаровывать людей не хочется.

Случилось, что, когда Кувалдин в одном месте говорил о литературе, и перестал, один из учеников его сказал ему: писатель! научи нас так говорить. Он сказал им: когда беседуете, говорите: литература наша, сущая на небесах! да святится имя твое; да придет царствие твое; да будет воля твоя и на земле, как на небе; слово наше насущное подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от невежд и не желающих читать произведения художественной литературы. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы триста долларов, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: пишете, и напечатают вас, просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него на мороженое, подаст ему камень? или, когда попросит конфету, подаст ему соль, вместо шоколадки? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более писатель бессмертный даст духа святого просящим у него, ибо дух святой - это литература.

Мне вовсе не хочется, чтобы количество слов, сказанных мною о том, что я сделал в литературе, превысило сумму того, что я сделал. С какой стати мне слышать о себе: "Кувалдин - комментатор своих книг равнозначен Кувалдину-писателю"? Друзья знают, что преувеличить, расцветить, приукрасить что-либо - моя слабость. Некоторые даже считают, что я не прочь солгать. А для меня очевидно одно: лучше всего я чувствую себя в мире литературных образов, придуманных мною.

Шихуанди изгнал свою мать за распутство, в этом суровом приговоре ортодоксы видят только жестокость; Шихуанди, возможно, стремился уничтожить все прошлое, чтобы избавиться от одного воспоминания - о позоре своей матери. (Не так ли один

царь в Иудее приказал перебить всех младенцев, чтобы умертвить одного.) Эта догадка заслуживает внимания, но ничего не говорит о стене, другой стороне мифа. Шихуанди, по описаниям историков, запретил упоминать о смерти, он искал эликсир бессмертия и уединился во дворце, где было столько комнат, сколько дней в году. Эти сообщения наводят на мысль, что стена в пространстве, а костер во времени были магическими барьерами, чтобы задержать смерть. Все вещи хотят продлить свое существование, возможно, Император и его маги полагали, что бессмертие изначально и что в замкнутый мир тлению не проникнуть. Возможно, Император хотел воссоздать начало времени и назвал себя Первым, чтобы, в самом деле, быть первым, и назвал себя Хуанди, чтобы каким-то образом стать Хуанди, легендарным императором, изобретшим письменность и компас. Он, согласно “Книге обрядов”, дал вещам их истинные имена: и Шихуанди, как свидетельствуют записи, хвастался, что в его царствование все вещи носят названия, которые им подобают. Он мечтал основать бессмертную династию; он отдал приказание, чтобы его наследники именовали себя Вторым Императором, Третьим Императором, Четвертым Императором и так до бесконечности.

Некто из народа сказал Ему: учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Кувалдин же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? Каждый человек сам себя ставит в одно какое-то положение. Один ставит себя токарем на ЗИЛе, другой - пастухом овец в Грузии, третий - никуда себя не ставит, а воспаряет над партиями и религиями, и работает с буквами, слогами, словами, фразами, и мы говорим - се человек не от мира сего, се писатель, или - се Кувалдин. При этом он сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и человек рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал человек: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Кувалдин сказал ему: безумный! в эту ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не для поддержки се-

резной литературы. И сказал Кувалдин ученикам своим: послушайте, что я вам скажу - не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело - одежды. Посмотрите на воронов, прочтите мою повесть "Ворона": вороны не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и природа питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Пушкин во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Вот трава на поле, которая сегодня вроде бы есть, а завтра будет скошена и съедена скотиной. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же писатель знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите царствия литературы, и это все приложится вам. Продавайте имения ваши и мерседесы ваши и давайте милостыню литературе, только она сохранит ваши имена для потомков. Приготовляйте себе места, не ветшающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приблизится, и где моль не съест; ибо, где сокровища ваши, там и сердце ваше будет.

Погода нам благоприятствовала. Был один из тех теплых осенних дней, которые так часто бывают в Москов-краю в октябре. Небо было совершенно безоблачное, ясное; легкий ветерок тянул с запада. Такая погода часто обманлива, и нередко после нее начинают дуть холодные северо-западные ветры, и чем дольше стоит такая тишь, тем резче будет перемена. Часов в одиннадцать утра мы сделали большой привал. После обеда люди легли отдыхать, а я пошел побродить по берегу. Куда я ни обращал свой взор, я всюду видел только ели, траву и болото. Среди могучих елей кое-где светились стволы берез, под которыми было много грибов. Пробираясь к ним, я спугнул большую болотную сову - "ночную птицу открытых пространств", которая днем всегда прячется в траве. Она испуганно шарахнулась в сторону от меня и, отлетев немного, опять опустилась в болото. Около кустов я сел отдохнуть и вдруг услышал слабый шорох. Я вздрогнул и оглянулся. Но страх мой оказался напрасным. Это были камышовки. Они порхали по тростникам, поминутно подергивая хвостиком. Затем я увидел двух крапивников. Миловидные ры-

жегато-пестрые птички эти все время прятались в зарослях, потом выскакивали вдруг где-нибудь с другой стороны и скрывались снова под сухой травой. Вместе с ними была одна камышовка-овсянка. Она все время лазала по тростникам, нагибала голову в сторону и вопрошающе на меня посматривала. Я видел здесь еще много других мелких птиц, названия которых мне были неизвестны. Через час я вернулся к своим. Достоевский уже согрел чай и ожидал моего возвращения. Утолив жажду, мы сели в лодку и поплыли дальше.

Любой, кто, как я, обитает в таком мире, мире нескованного воображения, вынужден изо дня в день прилагать поистине нечеловеческие усилия, чтобы его правильно поняли в обыденной жизни. Мне никогда не удавалось обрести общий язык с буквалистами. Из меня получился бы никудышный свидетель в суде. Да и журналистом я был хуже не придумаешь. Реальность мне всегда представлялась нереальной. Мне казалось необходимым подать событие так, как я его видел, а это редко совпадало с более объективным взглядом на происшедшее. Мне хотелось, чтобы реально имевшее место сложилось в стройный рассказ, и я тут же выстраивал его. Самое интересное: я сам проникаюсь искренней верой в истинность того, что увидел, и меня не на шутку удивляет, когда я слышу, что другим случившееся запомнилось иначе. Да и спустя время моя приукрашенная версия, то есть художественная версия событий сохраняет реальность - пусть лишь для меня одного.

В это время пришли некоторые и рассказали Кувалдину о ГУЛАГе, кровь узников которого Пилат смешал с жертвами их. Кувалдин сказал им на это: думаете ли вы, что эти зеки были грешнее всех советских граждан, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете вы, что те люди, погибшие в домах, которые были взорваны чеченскими боевиками, виновнее всех живущих в городе Моисея - Москве? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. В одной из комнат дома творчества писателей "Переделкино" учил он; там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Кувалдин, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки; и она тотчас выпрямилась и стала славить всемирную литературу. При этом директор

дома творчества, негодуя, что Кувалдин исцелил в субботу, то есть в выходной день, сказал народу: есть пять дней, в которые советский народ трудится; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Кувалдин сказал ему в ответ: лицемер! не заводит ли каждый из вас “жигули” свои или “москвич” в субботу, и не едет ли на садовый участок? Сию же дочь аменхотепову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил Кувалдин это, все противившиеся ему стыдились; и весь литературный народ Переделкина радовался о всех славных делах его. Он же сказал: чему подобно царствие литературы, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем: и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал: чему уподоблю литературу? Она подобна закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и странам, параллелям и меридианам, уча и направляя путь к бессмертию. Некто сказал ему: писатель! неужели мало спасающихся? Кувалдин же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не смогут. Ибо сказано: у литературы очень узкий вход, и не каждый в нее войдет. Просто в нее войти невозможно.

5.

Спросили у него: как же ты тогда вошел? И так отвечивал Кувалдин: я в нее и не собирался входить, потому что я сам - литература, я родился таким, и сразу понял, что задумавшаяся в Африке черная обезьяна стала человеком только благодаря слову, иероголифу, литературе, логосу. Старые художники, как правило, изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера. Художники не справлялись ни с ростом колонизации, ни с проведением железных дорог, ни с оросительными или осушительными земляными работами. И они были правы: это нам здесь, в Европе, кажется,

что борьба человека с природой закончилась или, во всяком случае, перевес уже, очевидно, на нашей стороне. Для побывавших в Африке дело представляется иначе. Слоны любят почесывать свои бока о стволы деревьев и, конечно, ломают их, гиппопотамы опрокидывают плоты и лодки. Африканские леса равно открыты для людей и животных, к ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Можно увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безымянные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе, чем на четвереньках; и если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказок (латинское "казус" - случай, дало жизнь многим русским словам: сказка, рассказ, казаться и т.д.). Человек должен одинаково закалить и свое тело, и свой дух: тело - чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух - чтобы не трепетать при виде крови.

Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: товарищ! отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Солженицына, Пушкина, Кувалдина, Бердяева, Краснову и всех пророков в литературе, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и войдут в литературу. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Кувалдину: выйди и удались отсюда, ибо КПСС хочет убить тебя. И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу; а впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне русского языка. Иерусалим, Эрос, Иерусалим, Русь, избивающая пророков, и камнями побивающий по-

сланных к тебе! сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядый во имя литературы!

Меня обвиняют, что безудержнее всего моя фантазия в том, что я рассказываю о себе. Ну, уместно спросить: кому и распоряжаться моей жизнью, как не мне самому? И если я заново переживаю ее в словах, почему бы не поменять местами кое-какие детали, отчего рассказ только выиграет? Например, мне вменяют в вину, что я несколько раз совершенно по-разному излагал историю моего прихода в Москов-град из Венеции. Но этот приход заслуживал много большего! Я не считаю себя лжецом. Это всего-навсего вопрос точки зрения. Неотъемлемое право рассказчика - вдыхать в рассказ жизнь, расцвечивать его подробностями, расширять его рамки в зависимости от того, каким, по его мнению, должно выглядеть субъективное освещение происшедшего. Этим я сплошь и рядом и занимаюсь - в жизни, как и в литературе. Иногда всего лишь потому, что не помню, как было на самом деле.

Желая пополнить свой дневник, я спросил Моисея, следы каких животных он видел в долине Москов-реки с тех пор, как мы вышли к болотам. Он отвечал, что в этих местах водятся енотовидные собаки, барсуки, волки, лисицы, зайцы, хорьки, выдры, водяные крысы, мыши и землеройки. Во вторую половину дня мы прошли еще километров двенадцать и стали биваком на одном из многочисленных островов. Сегодня мы имели случай наблюдать на востоке теневой сегмент земли. Вечерняя заря переливалась особенно яркими красками. Сначала она была бледная, потом стала изумрудно-зеленой, и по этому зеленому фону, как расходящиеся столбы, поднялись из-за горизонта два светло-желтых луча. Через несколько минут лучи пропали. Зеленый свет зари сделался оранжевым, а потом красным. Самое последнее явление заключалось в том, что багрово-красный горизонт стал темным, словно от дыма. Одновременно с закатом солнца на востоке появился теневой сегмент земли. Одним концом он касался северного горизонта, другим южного. Внешний край этой тени был пурпуровый, и чем ниже спускалось солнце, тем выше поднимался теневой сегмент. Скоро пурпуровая полоса слилась

с красной зарей на западе, и тогда наступила темная ночь. Я смотрел и восторгался.

Художественная проза - мой способ существования. Таких возможностей не может предоставить ни одно другое искусство. Быть творцом в литературе лучше, нежели в живописи, ибо жизнь можно воссоздавать в движении, в рельефности, как под увеличительным стеклом, кристаллизуя ее подлинную сущность. С моей точки зрения, литература ближе, чем живопись, музыка или даже кино и театр, к чуду зарождения жизни как таковой. Вначале было слово. А в слове был лов. А в лове был логос. По существу слово и является новой формой жизни, которой присущи собственный пульс развития, собственная многоплановость и многозначность, собственный диапазон понимания. Творческий процесс у меня начинается с чувства, а не с идеи и уж тем более не с идеологии. Я - пленник своего рассказа; рассказ жаждет быть поведанным, и мое дело - понять, куда он устремится.

Приближались к Кувалдину все мытари и грешники слушать его. Филологи же и литературные клерки-партийцы роптали, говоря: Кувалдин принимает грешников и ест с ними. Но Кувалдин сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью? И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадитесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять рублей мелочью, если потеряет одну монету в рубль, не зажжет свет и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А, найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадитесь со мной, я нашла потерянный рубль. Так, говоря вам, бывает радость у писателя, об одном грешнике кающемся. Еще сказал: у некоторого человека было два сына: и сказал младший из них отцу: папа! отдай мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пас-

ти свиной; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: папа! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в числа наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: папа! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабочим своим: принесите лучшую одежду и одените его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из рабочих, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое - твое; а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Когда на каком-нибудь вечере организаторы принуждают меня к общению с прессой, на меня обрушивается поток жалоб. Обрушивается даже тогда, когда я во всем иду ей навстречу. Форма пресс-конференции в принципе не устраивает журналистов. Каждый из них стремится провести со мной отдельную встречу. Сетуют на то, что с пресс-конференций корреспонденты всех изданий уносят в руках одни и те же ответы. А чем, кроме этого, могу я их вооружить? Тогда я вычеркиваю из жизни еще один день - день, в который, возможно, мне пришла бы в голову самая блестящая мысль. Но и эта жертва оказывается напрасной, ибо интервьюеров из Ада не удовлетворить поистине ничем.

Люди почувствовали себя затерянными во времени и пространстве. Во времени - ибо если будущее и прошедшее беско-

нечны, то не существует “когда”, в пространстве - ибо, если всякое существо равно удалено от бесконечно большого и бесконечно малого, нет, стало быть, и “где”. Никто не живет в каком-то дне, в каком-то месте: никто не знает даже размеров своего лица. В эпоху Возрождения человечество полагало, что достигло возраста зрелости. И вскоре опять испугалось, поскольку ощутило себя в устрашающей сфере, центр которой везде, а округлость нигде.

Вечером мы долго сидели у огня. Утром встали рано, за день утомились и поэтому, как только поужинали, тотчас же легли спать. Предрассветный наш сон был какой-то тяжелый. Во всем теле чувствовались истома и слабость, движения были вялые. Так как это состояние ощущалось всеми одинаково, то я испугался, думая, что мы заболели лихорадкой или чем-нибудь отравились, но Моисей успокоил меня, что это всегда бывает при перемене погоды. Нехотя мы поехали и нехотя поплыли дальше. Погода была теплая; ветра не было совершенно; камыши стояли неподвижно и как будто дремали. Дальние леса, виденные дотеле ясно, теперь совсем утонули во мгле. По бледному небу протянулись тонкие растянутые облачка, и около солнца появились венцы. Я заметил, что кругом уже не было такой жизни, как накануне. Куда-то исчезли и гуси, и утки, и все мелкие птицы. Только на небе парили орланы. Вероятно, они находились вне тех атмосферных изменений, которые вызвали среди всех животных на земле общую апатию и сонливость. Моисей сказал, что это к перемене погоды.

Понимали бы перемену погоды интервьюеры! Рассказываешь им, рассказываешь, а они хоть бы бутылку поставили, как сказал один персонаж в больничной сцене в фильме Шукшина “Живет такой парень”. Сидят, записывают, морщат лбы, что-то бормочут. Долгое и нудное дело. И что же мне доводится услышать в итоге? Может быть, “Благодарю вас, Юрий Александрович”? Как бы не так. Напротив, жалобы. “Каждому из нас, - канючат они, - вы изложили ваше мнение по-разному. Что же вы думаете на самом деле?” Они собираются вместе, сравнивают свои заметки. А чего они, спрашивается, ожидали? Того, что я стану раз за разом тянуть все ту же канитель, повторять одни и те же слова? Но если дело в этом, чем их не устраивала пресс-конференция?

И как было во дни Дарвина, так будет и во дни слова: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как горилла задумалась и стала запоминать, и превратилась в человека. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, сажали деревья, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех: так будет и в тот день, когда сын писательский явится, то есть художественный образ. И человек станет образом, а образ воплотится в человека. Вначале было слово, и словом все закончится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращай назад: вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится; две будут молоты вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится. На это сказали Кувалдину: где? Кувалдин же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.

Мне никогда не удастся предугадать, чего хотят от меня интервьюеры. Интересно, а каково приходилось Солженицыну, от которого только и ждали чего-нибудь экстравагантного и остроумного? Не знаю, есть ли что-нибудь тяжелее, нежели необходимость общаться с незнакомыми людьми, ждущими, что вы скажете или сделаете что-то такое, о чем они смогут потом, захлебываясь, рассказывать друзьям и знакомым. Если вы не выдадите им искомую порцию афоризмов, они так и разойдутся с вытянутыми лицами. Временами мне кажется, что я должен спрятать под подкладкой пальто топор и так уподобиться героине моего романа "Родина". От одного этого ощущения становится неуютно. С незнакомыми, особенно разовыми авторами моего журнала "Наша улица", я быстро становлюсь грубым и нетерпеливым. Мне не хочется, чтобы меня спрашивали, что я думаю о том-то и о том-то, чтобы из меня "вытягивали" мое мнение, чтобы меня подначивали или провоцировали на откровенность. И самое неуместное - когда кто-то ждет, что я стану распространяться о произведении, которое собираюсь писать. В таких случаях я присутствую и одновременно отсутствую на встрече. Думаю о том, какие образы могли бы вертеться в моей голове, если бы меня оставили предаваться моим одиноким грезам, о вещи, которую я прокручивал

бы в своем воображении. Порой мне кажется, что есть только два типа людей, чье существование безраздельно связано с литературой. Это писатели и литературоаннигиляторы. Когда ко мне подходит некто и обращается с вопросом: “Каков смысл вашего романа “Родина”, Юрий Александрович?” - я немедленно узнаю литературоаннигилятора. Литературное произведение существует только как целое со всеми своими частями. Впрочем, так существует все в мире. Стоит что-то разъять, и оно умирает. Литературоаннигиляция - куда более разветвленная сфера деятельности, нежели писательство. Литературоаннигиляторам не требуются годы работы над произведением. Все, что им нужно, - несколько лет учебы в институте или университете; после этого квалификация литературоаннигилятора обеспечена. Им также нужен магнитофон, компьютер.

6.

Кувалдин, потомок задумавшейся обезьяны, в свою очередь, прошедшей путь от амебы, подзавав их, сказал: пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть царство литературы; истинно говорю вам: кто не примет литературы серьезной и художественной, как дитя, тот не войдет в бессмертие. И спросил Кувалдина некто из начальствующих: учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Кувалдин сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один художественный образ, лучше даже - икона. В ней остановилось мгновенье. И я помню чудное мгновенье. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй; не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Кувалдин сказал ему: еще одного не достает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Кувалдин, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в русскую литературу! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в русскую литературу. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Кувалдин сказал: невозможное

человекам возможно писателю. Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за тобою. Поздеев сказал: замечательна повесть твоя "Свои". Кувалдин сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для литературы, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущей жизни вечной. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им: вот, мы из Москова восходим в Иерусалим, и совершится все написанное чрез пророков о сыне писательском: ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить и убьют его; и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил Кувалдин к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни; и услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, что Кувалдин из Венеции идет и славянскую славу в слове-логосе несет. Тогда он закричал: Кувалдин, сын славян, основателей монастырей Эроса по всей Руси Великой: и Ростова (Эростова), и Ярославля (Эросу слава), и Красной (Эросной, Хорсной) площади! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: сын Венеции и Египта! помилуй меня. Кувалдин, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: чего ты хочешь от меня? Он сказал: писатель! чтобы мне прозреть. Кувалдин сказал ему: читай "Поле битвы - Достоевский". Тот взял номер "Дружбы народов" и начал читать, не умея сначала читать, но научившись с ходу под гипнозом Кувалдина. Кувалдин рек: прозри! вера твоя в литературное произведение спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Кувалдиным в редакцию, славя русскую литературу. И весь народ, видя это, воздал хвалу литературе, церквям ее и золотым фаллическим куполам ее.

Я спросил Моисея, отчего птицы перестали летать, и он прочел мне длинную лекцию о перелете. По его словам, птицы любят двигаться против ветра. При полном штиле и во время теплой погоды они сидят на болотах. Если ветер дует им вслед, они зябнут, потому что холодный воздух проникает под перья. Тогда птицы прячутся в траве. Только неожиданный снегопад может принудить пернатых лететь дальше, невзирая на ветер и стужу. Чем ближе мы подвигались к Оке, тем болотистее становилась

равнина. Деревья по берегам протоков исчезли, и их место заняли редкие, тощие кустарники. Замедление течения в реке тотчас сказалось на растительности. Появились лилии, кувшинки, курслеп, камыши и т. д. Иногда заросли травы были так густы, что лодка не могла пройти сквозь них, и мы вынуждены были делать большие обходы. В одном месте мы заблудились и попали в какой-то тупик. Кувалдин хотел было выйти из лодки, но едва ступил на берег, как провалился и увяз по колено. Тогда мы повернули назад, вошли в какое-то озеро и там случайно нашли свою протоку. Лабиринт, заросший травой, остался теперь позади, и мы могли радоваться, что отделались так дешево. С каждым днем ориентировка становится все труднее и труднее. Раньше по деревьям можно было далеко проследить реку, теперь же нигде не было даже кустов, вследствие этого на несколько метров вперед нельзя было сказать, куда свернет протока, влево или вправо. Предсказание Моисея сбылось. В полдень начал дуть ветер с юга. Он постепенно усиливался и в то же время менял направление к западу. Гуси и утки снова поднялись в воздух и полетели низко над землей. В одном месте было много плавникового леса, принесенного сюда во время наводнений. На Москов-реке этим пренебрегать нельзя, иначе рискуешь заночевать без дров. Через несколько минут лучники разгружали лодку, а Моисей раскладывал огонь и ставил палатку. До Оки оставалось немного. Мы сидели у костра, пили чай и разговаривали между собой. Сухие дрова горели ярким пламенем. Камыши качались и шумели, и от этого шума ветер казался сильнее, чем он был на самом деле. На небе лежала мгла, и сквозь нее чуть-чуть виднелись только крупные звезды. К утру небо покрылось слоистыми облаками. Теперь ветер дул с северо-запада. Погода немного ухудшилась, но не настолько, чтобы помешать нашей экспедиции по закладке монастырей литературы на неисследованных землях восточных славян.

Если "героическая" и "мозаичная" идентификация и существует, то она существенно осложняется благодаря другому фактору - сложному и противоречивому самоотождествлению Фрейда с еврейским народом, которое заставляет его избегать "гневного и презрительного взгляда героя". "Порой, - пишет он, - я осторожно выскальзываю из тени храма, как будто сам принадлежу к сброду, на который направлен этот взгляд, сброду,

неспособному на верность убеждениям, который не умеет ни ждать, ни верить, но издает крики радости, как только ему возвращают иллюзорного идола". Несомненно, эта картина Фрейда навеяна отголоском статуса "неверного еврея", который он часто относил к себе. Но нам важно увидеть здесь выраженное от противного утверждение Фрейда о "верности своим убеждениям", которые в течение всей жизни заставляли его отвергать и разоблачать "иллюзорного идола" (идола Иллюзии) даже в своем последнем поступке, последнем движении мысли, направленном против самого Моисея - доминирующей фигуры в иллюзии евреев, идола религиозной иллюзии. Представляя в письме Джонсу от 3 марта 1936 года свою работу "Моисей и монотеизм" как опровержение национальной еврейской мифологии, Фрейд ожидает встретить активную оппозицию со стороны еврейских кругов. Он оказался прав: с момента появления книги в 1939 году начались негодующие отклики, критики обвиняли Фрейда в антисемитизме, в лучшем случае неосознанном, и заключали, что в глубине души он ненавидит иудаизм. Суждение известного специалиста по библейским текстам и еврейской истории Абрахама Шалом Иегуды обобщает реакцию широкой публики на положения Фрейда: "Мне кажется, что я слышу голос одного из наиболее фанатичных христиан, выражающего свою ненависть к Израилю, а не Фрейда, который ненавидит и презирает фанатизм такого рода от всего сердца и изо всех сил". Для нас вопрос стоит по-другому: действительно ли "Моисей..." является последним мощным усилием Фрейда, предпринятым с целью атаковать и попытаться разрушить фанатизм в его истоке, структуру иллюзии, порождающей и питающей его. Он проделывает это на себе самом, действуя через посредство поразительного выхода в самоанализ: он разрушает, разрушая себя в своем "героическом" отождествлении с Моисеем, в своей "мифологической" сущности еврея, разбивая фигуру Моисея, внося раскол, трещину в еврейскую реальность, что как нельзя более ясно видно из нижеследующих строк: "Чтобы в наиболее лаконичной форме представить результаты нашей работы, мы скажем, что к известным проявлениям двойственности в еврейской истории: два народа сливаются, формируя нацию, два королевства образуются при разделении этой нации, божество имеет два имени в библейских источниках, - мы добавили

еще две формы двойственности: образование двух новых религий, одна из которых, подавленная вначале другой, вскоре вновь победно проявилась, и, наконец, два основателя религии, оба по имени Моисей, личности которых мы должны различать". Нелегко блуждать по лабиринтам двойственностей, но если мы последуем за Фрейдом до конца в его мозаичном пути, нас ожидает странное открытие. Схема фрейдовской интерпретации, на первый взгляд, достаточно проста: Моисей, великий пророк, фигура которого доминирует в Ветхом Завете, Герой - основатель иудаизма, человек, "создавший евреев", как пишет Фрейд, - Моисей не является евреем, он египтянин. Используя различные источники, Фрейд показывает, что Моисей был священником из окружения Эхнатона, фараона, совершившего грандиозную монотеистическую революцию и удалившего всех древних богов из египетского пантеона ради единственного бога - Атона. Но новой религии, выдвигающей новые требования духовности, угрожают возвращением с помощью силы более популярные древние верования. Моисей, решительный сторонник религиозной революции, в которой он сам принимал непосредственное участие и одним из авторов которой, возможно, являлся, решает сохранить ее суть, покинув Египет во главе семитских племен, кочевых и достаточно беспокойных. Он внушает им новые принципы, обращая их в монотеизм; таким образом родилось то, что исторически стало еврейским монотеизмом - новой эрой в истории религии.

Там, где Абиссинское плоскогорье переходит в низменность и раскаленное солнце пустыни нагревает большие круглые камни, пещеры и низкий кустарник, можно часто встретить леопарда, по большей части разленившегося на хлебах у какой-нибудь одной деревни. Изящный, пестрый, с тысячью уловок и капризов, он играет в жизни поселян роль какого-то блистательного и враждебного домового. Он крадет их скот, иногда и ребят. Ни одна женщина, ходившая к источнику за водой, не упустит случая сказать, что видела его отдыхающим на скале и что он посмотрел на нее, точно собираясь напасть. С ним сравнивают себя в песнях молодые воины и стремятся подражать ему в легкости прыжка. Время от времени какой-нибудь предприимчивый честолюбец идет на него с отравленным копьем и, если не бывает искалечен, что случается часто, тащит торжественно к сосед-

нему торговцу атласистую, с затейливым узором шкуру, чтобы выменять ее на бутылку скверного коньяку. На месте убитого зверя поселяется новый, и все начинается сначала. Леопарда заманивают на козленка. Привязывают бедного, и он кружит вокруг колышка. И вот появился леопард. Моисей прицелился и выпустил стрелу. Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону: стрела перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я подошел к леопарду; он был уже мертв, и его остановившиеся глаза уже заволочла беловатая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передернуло. И вдруг я ощутил страх, нарастающий тягучим ознобом, очевидно, реакцию после сильного нервного подъема. Я огляделся: уже сильно темнело, только один край неба был сомнительно желтым от подымающейся луны; кустарники шелестели своими колючками, со всех сторон выгибались холмы. Козленок отбежал так далеко, как ему позволяла натянувшаяся веревка, и стоял, опустив голову и цепенея от ужаса. Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно. Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток чернокожих жителей Африки с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на шее и лбу, как бисер, поблескивали капли пота. Вслед за ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник. Это он всполошил всю деревню.

Понятие магии, носящей имя “слово-логос”, для литературоаннигилятора неприемлемо; первое его побуждение - подвергнуть ее интеллектуальному разъятию на части. Но такого рода диссекция то и дело грозит перерасти в посмертное вскрытие. Стремление уяснить для себя, каков механизм того или иного трюка, понять еще можно, но литературоаннигилятор тщится постичь нечто большее: он, видите ли, желает знать, какие мысли роились в голове фокусника в то время, как он исполнял свой коронный номер, и, главное, что вообще побуждало его данный фокус проделывать. Последний же, всего вероятнее, думал лишь о том, получит ли он очередной ангажемент, или беспокоился, не

сбежали ли из-под фальшивого дна цилиндра дрессированные кролики, или просто помышлял о пышных прелестях улыбнувшейся ему блондинки из третьего ряда.

Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести.
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.

Область унынья и слез -
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.

Острый хребет его крут,
Вздых его - огненный смерч.
Люди его назовут
Сумрачным именем: "Смерть".

Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?

Нет, ни за что, ни за что!
Значит, настала пора.
Лучше слепое Ничто,
Чем золотое Вчера!

Когда Кувалдин приблизился к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: пойдите в противоположащее селение; вошедши в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязавши его, приведите; и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен писателю. Посланные пошли и нашли, как Кувалдин сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен писателю. И привели его к Кувалдину; и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Кувалдина. И когда Кувалдин ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить литературу за все чудеса, какие видели они. Говоря: благословен писатель, стоя-

щий выше царей и государств, выше партий и народов, выше золота и мирской суеты, грядущий во имя литературы! мир на небесах и слава в вышних!

Когда ко мне подходит литературоаннигилятор и интересуется, что на самом деле я имел в виду, показывая императора Александра Второго с моим дедом в преддверии проведения крестьянской реформы 1861 года, я и впрямь не знаю, что сказать. Если мне очень повезет, его диссертация найдет себе приют на какой-нибудь библиотечной полке, где и будет пылиться бок о бок с другими столь же эрудированными сочинениями, выращенными на ниве наших ценных и отнюдь не неистощимых природных ресурсов. Если не повезет, ее напечатают в книжной форме, и кто-нибудь прочтет. Если же мне совсем не повезет, ее автор станет профессором филологических наук некоего университета или, что самое худшее, литературоведом. И тогда найдутся люди, способные поверить тому, что он пишет.

7.

Я говорю о цели магической, и мне кажется, что сооружение стены и сожжение книг не были одновременными действиями. Это (в зависимости от последовательности, которую мы предпочтем) даст нам образ правителя, начавшего с разрушения, от которого он затем отказался, чтобы оберегать, или разочарованного правителя, разрушающего то, что прежде берег. Обе догадки полны драматизма, но, насколько мне известно, лишены исторической основы. Известно, что прятавших книги клеймили раскаленным железом и приговаривали строить нескончаемую стену - вплоть до самой смерти. Эти сведения допускают и другое толкование, которому можно отдать предпочтение. Быть может, стена была метафорой; быть может, Шихуанди обрекал тех, кто любил прошлое, на труд, столь же огромный, как прошлое, столь же бессмысленный и бесполезный. Быть может, стена была вызовом, и Шихуанди думал: "Люди любят прошлое, и с этой любовью ничего не поделать ни мне, ни моим палачам, но когда-нибудь появится человек, который будет чувствовать, как я, и он уничтожит мою стену, как я уничтожил книги, и он сотрет память обо мне, станет моею тенью и моим отражением, не подозревая об этом".

Быть может, Шихуанди окружил стеной империю, осознав ее непрочность, и уничтожил книги, поняв, что они священны или содержат то, что заключено во всей Вселенной и в сознании каждого человека. Быть может, сожжение библиотек и возведение стены - действия, таинственным образом уничтожающие друг друга.

Обобщая этот случай, я могу сделать вывод, что все формы обладают смыслом сами по себе, а не в предполагаемом "содержании", поскольку, на мой взгляд, литература стремится быть музыкой, которая не что иное, как форма. Музыка, ощущение счастья, мифология, лица, на которых время оставило след, порой - сумерки или пейзажи хотят нам сказать или говорят нечто, что мы не должны потерять.

И мы не потеряем, потому что и Моисей назвал литературу делом Эхнатона и Достоевского. Литература же не есть воз мертвых, но живых, ибо у нее все живы. На это некоторые из филологов, для которых литература все еще под вопросом, сказали: писатель! Ты хорошо сказал. И уже не смели спрашивать его ни о чем. Кувалдин же сказал им: как говорят, что я есть сын литературы? А сам Давид говорит в книге псалмов: сказал писатель моему писателю: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так, Давид писателем называет его; как же он сын ему? И когда слушал весь народ, Кувалдин сказал ученикам своим: остерегайтесь филологов, которые любят ходить по Тверской в Гнездиновский переулок, и любят приветствия в ЦДЛ на вечерах, заседая в президиумах.

Из литературоаннигиляторов редко выходят писатели. Однако готов поручиться, наступит день, когда самые отъявленные литературоаннигиляторы примутся делать документальные книги о том, как они пишут книги об изничтожении писателей. И хуже того. Будут проводиться конференции антипрозы литературоаннигиляторов. Интервью, как вы видите, давать очень трудно, поскольку неравноправна сама исходная ситуация. Один с умным видом задает вопросы, другой, как дурак, отвечает, стараясь выглядеть в глазах собеседника умным, занятым, оригинальным, не лишенным чувства юмора. Стоит мне только услышать, что кто-либо намерен меня интервьюировать, как я стараюсь улизнуть, раствориться, убежать куда глаза глядят. Когда это в моих силах, я ровно так и поступаю, ибо не могу до бесконечно-

сти отвечать на одни и те же опустылевшие вопросы. Иногда мне думается: вот было бы здорово, додумайся кто-нибудь присвоить вопросам и ответам порядковые номера! Скажем, интервьюер выкликает: “Сто двадцать”. Я отвечаю: “Сто двадцать”. Вот и все. А сколько времени сэкономлено!

Время от времени я даю намеренно идиотские ответы на вопросы типа: “Какие книги вы считаете лучшими за всю историю литературы?” Не моргнув глазом, называю свою последнюю вещь - “Интервью”, а ее и прозой-то назвать трудно: так, просто работа для вечности и пространства. И что вы думаете? Все, что я говорю, принимают всерьез и запечатлевают для этой непонятной вечности, которую я не могу вместить. Похоже, в таких случаях надо держать перед собой плакат с надписью “Кувалдин шутит” и еще подчеркнуть это слово.

Приближался праздник Пасхи; и искали филологи и критики, как бы погубить Кувалдина, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искарриотом, одного из числа двенадцати, и он пошел и говорил с властями, как его предать им. Власти обрадовались и согласились дать Иуде денег; и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день Пасхи, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Кувалдин Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: писатель говорит тебе: где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную; там приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, он и двенадцать апостолов с ним. И сказал им: очень желал я есть с вами сию пасху прежде моего страдания; ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в литературе, в которой время исчезает. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою; ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царствие художественной литературы. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается; сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря: сия чаша

есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот, рука предающего меня со мною за столом. Потом Кувалдин вышел в сад. Появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Кувалдину, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть Кувалдин. Кувалдин же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь писателя? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали Кувалдину: писатель! не ударить ли нам мечом? И один из них ударил агента и отсек ему правое ухо. Тогда Кувалдин сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Люди, державшие Кувалдина, ругались над ним и били его; и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: прорекли, кто ударил тебя? И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, филологи с вопросами и критики в звании кандидатов советских наук, и ввели его в свой синедрион, и сказали: ты ли Кувалдин? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня; отныне сын литературы воссядет одесную силы слова. И сказали все: итак, ты сын литературы? Кувалдин отвечал им: вы говорите, что я. Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст его! Так же можно поверить, что навстречу Кувалдину с гор Кавказа по узкой тропе шел в мягких сапожках, мелодично поскрипывая мелкими камнями, с посохом и в белой бурке с газырями, с кинжалом на бедре, в черной папахе Александр Эбаноидзе, писатель и друг всех народов. Он шел и размышлял почти что вслух о чувстве правды. Впрочем, сначала он вспомнил о том, почему ему пришлось совсем недавно перебраться из дома в хлев? Видимо, для того, чтобы найти некий покой. И тут Дареджан (та самая троюродная сестрица, которую бабушка в свое время советовала взять в натурщицы) привела в хлев еще одного гостя. Надо заметить, что нежданного и малоприятного гостя. Это был Гермоген Симартлишвили - фельдшер из деревни дедушки Арасиона. Фамилию его следует перевести, поскольку изначально она, несомненно, служила псевдонимом. Начиная с тридцатых годов Гермоген развивал активную деятельность на общественном поприще - был селькором и, считая себя борцом за справедливость, назвался сыном правды, или Правдиным. Газета "Правда" тут сразу вспоминается, и Василий Розанов со

своей сентенцией насчет того, что скоро начнут издавать газету под названием "Окончательная истина". Гермоген с легким презрением относился к деньгам (даже к трехрублевому гонорару, подобно Кувалдину, он относился с недовольством, как к скрытой взятке), он гордился своей неподкупностью, презирал анонимки и под всеми заявлениями и заметками каллиграфически выводил - Герм. Симартлишвили. С одинаковой суровостью этот деревенский Савонарола обрушивался на свою начальницу - молодую врачуху, посмевавшую выйти на работу в брюках, на вороватого завскладом и на колхозного кузнеца, который, совершая в великий четверг какой-то старинный обряд, бил молотом по наковальне... Право, в далеких закутках души Гермогена таилось что-то детское. Возможно даже, что его воинственная непреклонность в борьбе со злом была не чем иным, как другой ипостасью детского стремления к справедливости: что она выросла из этого стремления, как из костного вещества теленка вырастает боевой рог. Внезапный приход медбрата насторожил. Оказалось, что у дедушки Апрасиона подскочило давление, и теперь он лежал, свекольно-красный, увешанный разбухшими пиявками, и время от времени, собравшись с силами, проклинал свою старуху. "Ему необходим покой, - заключил Гермоген. - При гипертонии покой - первое условие выздоровления".

Есть в моем деле еще одна сторона, не вызывающая у меня восторга. Она заключается в том, что приходится просить милостыню. Это - необходимость обходить с шапкой спонсоров, дабы вымолить моему очередному номеру "Нашей улицы" или моей книге позволение родиться на свет, - единственное, что мне не импонирует в писательской профессии. Ни в жизнь не стал бы просить для себя. Скорей бы уж умер с голоду на улице. Но ради литературы я нашел в себе силы поступиться гордостью. А для этого мне необходима вся полнота веры в то, что я делаю. Вот почему мне так важно, чтобы меня окружали люди, с которыми мне легко и удобно. Чтобы быть в силах надоедать, беспокоить, просить денег, я должен верить в себя.

И повели Кувалдина к Пилату. И начали обвинять Кувалдина, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш, пишет о смертных так, как пишут о небожителях, запрещает давать подать кесарю, называя себя царем художественной литературы, и говорит, что церкви это памятники не Богу, а литературе и литератур-

ным героям. Пилат спросил его: ты царь литературы из Венеции? Кувалдин сказал ему в ответ: это ты говоришь, а не я. Пилат сказал филологам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что Кувалдин возмущает народ, уча по всей России, начиная от Испании и до самого Китая. Пилат, услышав о Китае, спросил: разве он китаец? И, узнав, что он из Москвы, послал его к Ироду, который в эти дни был также на страницах книги. Ирод, увидев Кувалдина, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, так как был подписчиком журнала Кувалдина "Наша улица", и потому что много слышал о Кувалдине и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, чтобы, например, словом остановил солнце, и предлагал ему многие вопросы; но он ничего не отвечал ему. Филологи же и критики с вопросами стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими войсками, уничтожив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав филологов и критиков, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего не виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его; и Ирод так же: ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти; итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть ему! не хотим читать, хотим повышения зарплаты, не хотим учиться, хотим Эросом наслаждаться и боевики американские смотреть, отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за убийство. Понтий Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Кувалдина. Но они кричали: распни, распни его! Он вместо Пугачевой симфониями желает нас умертвить. Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал он? я ничего достойного смерти не нашел в нем; итак, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят; и превозмог крик их и филологов и мытарей. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил не посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Кувалдина предал в их волю. И когда повели его, то, захвативши Феодора Достоевского из "Поля битвы...", шедшего с Божедомки из-за театра Красной Армии, возложили на него крест, чтобы нес за Кувалди-

ным. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Кувалдин же, обратившись к ним, сказал: дочери Московско-Русалимские! не плачьте обо мне, ибо весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, но плачьте о себе и о детях ваших; потому что приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! Тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! Ибо, если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Кувалдин же говорил: литература! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и филологи, прикованные цитатами, как цепями, к своему времени, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Кувалдин, избранный русской литературой. Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: если ты царь литературный, спаси себя сам. И была над ним надпись, написанная словами русскими, старославянскими, греческими, римскими и иудейскими: сей есть венценосец литературный из Венеции. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Кувалдин, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься вечности, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он ничего худого не сделал. И сказал Кувалдин: проза моя за меня жить будет вечно, а, стало быть, и я уйду в бессмертие! И сделалась тьма по всей земле: и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Кувалдин, возгласив громким голосом, сказал: в руки посвященных в слово предаю дух мой. И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил писателя и сказал: истинно человек этот был праведник. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Венеции, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто с нашей улицы пришел к Пилату и просил тела Кувалдина; и, сняв его, обвинил плащаницею и положил его в гроб, высеченный в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины,

пришедшие с Кувалдиным из Египта в Венецию, и смотрели гроб, и как полагалось тело его.

Я не испытываю теплоты к спонсорам как общественной группе. Сознаю, что в моей нелюбви к ним есть что-то едва ли не противоестественное. Думаю, недолюбливать их в целом меня побуждает ощущение той власти, которую они надо мной имеют. Это ощущение исподволь заставляет меня казаться самому себе ребенком, у которого нет своих денег на мороженое, который вынужден угождать старшим, даже когда он с ними не согласен - или, хуже того, не питает к ним уважения.

В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба, и, вошедши, не нашли тела писателя Кувалдина. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, - сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: он воскрес; вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Москве, сказывая, что сыну литературы надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту, а в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Нина Эросова, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее километров на двадцать от Нового Иерусалима, называемое Николина гора, на берегу Москвы-реки, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И, когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Кувалдин, приблизившись, пошел с ними; но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших на реку Моисея, не знаешь о происшедшем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему: что было с Кувалдиным Славянофилом, который был пророк, сильный в деле и слове пред литературой и всем народом; как предали его филологи и критики и началь-

ники наши для осуждения на смерть и распяли его; а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Россию от напастей; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло; но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедши сказывали, что они видели и тех, которые говорят, что он жив; и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили; но его не видели. Тогда Кувалдин сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Кувалдину и войти в славу слова? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всей литературе. И приблизились они к тому селению, в которое шли; и он показывал им вид, что хочет идти далее; но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он сидел с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его; но он стал невидим для них. Тогда отверз им ум к разумению писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Кувалдину и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Москва; вы же свидетели сему; и я пошлю обетование литературы на вас; вы же оставайтесь в городе Москве, доколе не облечетесь силою свыше. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, и направились в храм литературы, прославляя и благословляя литературу.

Что родной язык нужно как-то изучать, вызывало у первых местных жителей, к которым пришел Кувалдин из Венеции с логосом, чтобы слагать слова, лишь веселый смех. Зачем, если мы и так его знаем с детства? Говорят, слова бывают мужские, женские и средние? Ах, догадываюсь: женские слова - это у изнеженных богачей, средние - это у нас, простых граждан, а мужские - у деревенских мужиков. Как, нет? Ах, понял: это значит, что у козла жена коза, а у осла, стало быть, оса, а у кувшинки муж - кувшин, а у корзинки, должно быть, корзин... Но бывало и не до смеха. Издавна люди верили в молитвы, в заклинания: если сказать такие-то слова, то по ним и сбудется, потому что между словами и вещами есть тайная связь. А теперь оказывается - нет

никакой связи, одна условность. Как же быть? Нет, не может быть, чтобы названия вещам были даны каким-нибудь писателем, а потом все, как бараны, повторяли. Но Кувалдин сказал, что именно так и происходит. Один скажет, а миллиарды повторяют, не вникая в суть. А нужно все-таки додуматься до первоначального смысла слов, дойти до того Кувалдина, который сие слово и изрек. Почему бог называется “бог”? Потому что люди поклонялись солнцу и луне, видели в небе их бег и называли этот бег “бог”. Почему человек называется “человек”? Потому что он смотрит вокруг себя, “очами ловит” и умом понимает все на свете: он “оче-ловец”, так что и это слово не случайно. (По-гречески, конечно, эти созвучия другие, но, поверьте мне на слово, такие же странные.) Больше того: почему слова “мой”, “меня”, “мною” все содержат звук м? Потому что при этом звуке я удерживаю воздух закрытыми губами - как бы оставляю его при м-м-мне! Почему дательный падеж кончается на у: Кувалдин-у, московит-у, фаллос-у? Потому что при звуке у из губ трубочкой вылетает узкая, как стрела, струйка воздуха и как бы у-казывает, кому-у мы что-то даем или к кому-у идем. Не смейтесь, пожалуйста: над доводами такого рода ученые серьезно думали еще сто лет назад. Уверяли, будто фараон однажды даже сделал опыт, чтобы проверить, откуда пошел человеческий язык. Он взял двух новорожденных младенцев и отдал на воспитание пастуху-козопасу, взяв с него клятву, что он при них не произнесет ни одного слова, а только будет слушать, какое первое слово произнесут они сами. Прошло два года, и пастух доложил: дети тянут к нему ручки и лепечут: “Бек, бек!” Тогда фараон послал по всему миру гонцов: у какого народа в языке есть слово “бек”? Оказалось, что по-фригийски “бек” значит “хлеб”. После этого египтяне стали считать самым древним народом на земле фригийцев, а себя только вторым. Так люди впервые заговорили о том, как они говорят, а значит, и задумались о том, как они думают. Был задан вопрос: “Кто из эллинов самый мудрый?” Оракул ответил: “Мудр Софокл, мудрей Еврипид, а мудрее всех Кувалдин”. Но Кувалдин отказался признать себя мудрецом: “Я-то знаю, что я ничего не знаю”. Даже литературе он молился так, словно не знал о чем: “Пошлите мне все хорошее для меня, хотя бы я и не просил о том, и не посылайте дурного, хотя бы я и просил о том!” Любимым его изречением было: “Познай себя самого”. Иногда

он замолкал среди разговора, переставал двигаться, ничего не видел и не слышал - погружался в себя. Однажды он простоял так в одном хитоне целую холодную ночь с вечера до утра. Когда потом его спрашивали, что с ним, он отвечал: "Слушал внутренний голос". Он не мог объяснить, что это такое; он называл его "альтер эго - другой я" - "литературный образ" и рассказывал, что этот голос то и дело говорит ему: "не делай того-то" - и никогда: "делай то-то". Вот такой внутренний голос, полагал Кувалдин, есть у каждого, хоть и не каждый умеет его слышать. Этим голосом и говорит тот неписанный закон, который сильнее писаных. Будем почаще говорить о человеческих поступках: здесь мы можем не только рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо, а и делать хорошо и не делать плохо. Этому тоже надо учиться - как всему на свете. Есть ремесло плотника, есть ремесло скульптора; быть хорошим писателем - такое же ремесло, только гораздо более нужное. Ради него-то и бросил Кувалдин все другие ремесла и зажил бедняком и чудачком. Ремесло это - в том, чтобы знать, что такое справедливость, благочестие, храбрость, дружба, любовь к родителям, любовь к родине и тому подобное. Именно знать: если человек знает, что такое справедливость, он и поступать будет только справедливо. Вы скажете: "Но ведь есть сколько угодно людей, которые знают, как надо бы поступить справедливо, а все-таки поступают несправедливо: кто по злобе, кто из страха, кто из корысти". Что ж, значит, они недостаточно знают, что такое справедливость, только и всего. Если бы знали по-настоящему, то не предпочли бы ей ни утоление злости, ни безопасность, ни выгоду. Если бы внутренний голос сопровождал нас на каждом шагу, доискаться до справедливости и до всего прочего было бы очень просто. К сожалению, это не так: часто он молчит, тут-то мы и делаем самые нехорошие ошибки. Чтобы этого избежать, надо постараться перебрать все возможные жизненные случаи и о каждом спросить себя: справедливо или несправедливо? У старых москвитян опыт был небольшой, и они говорили: "Справедливо только то, что есть в наших законах и обычаях". Кувалдин посмотрел шире и сказал: а еще важней - веление внутреннего голоса. Но, наверное, можно посмотреть и еще шире и глубже... До сих пор москвитяне слушали Кувалдина с сочувствием. Но тут вдруг у них начинала кружиться голова, и в сердце просыпался знакомый страх бесконеч-

ности. На этот раз - не бесконечности мира, а бесконечности мысли. Если каждый раз смотреть все шире и глубже, то ведь мы никогда и не остановимся! Старую справедливость потеряли, а новую так и не найдем. А тогда - жить-то как же? Вот и в городе Псков живут и не знают, что означает название города, но Кувалдин, пришед, им разъяснил, то есть открыл, то есть сделал научное открытие: город Псков происходит от праздника Пейсах, или Пасха, Пасков, Псков! Все названия ищите в литературе. А он им напомнил еще, что греческое слово, идущее от еврейского, а еврейское от египетского: Hieros-Хиерос-Киерос-Киевская Русь, вот куда приходит - в Киев, ибо сказано: язык до Киева доведет, а Киев - город Евы, поэтому - мать городов русских. Вначале было слово, словом все и закончится.

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умно число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово - это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Евреи, дикие кочевники, с трудом выносят авторитарный гнет вспыльчивого Моисея, после нескольких мятежей они убивают его. Это - важнейшее историческое событие, как полагает Фрейд, видящий в нем повторение первичного убийства - убийства первобытного Отца Ордой братьев и источник целой серии верований, ситуаций, исторических и психических явлений, содержательность, активность и эмоциональное воздействие которых сказывается до наших дней. Под воздействием сильного чувства вины жертва, еще вчера ненавидимая, превращается в перевозимого Отца, священный предмет уважения и героического культа. "Мифологическое" действие, призванное замаскировать и покрыть преступление, по случаю использовало двойственности, описанные Фрейдом: второй бог, Яхве, накладывается на Атона - Адоная египетского происхождения, второй Моисей, священник, заслонил собой египетского Моисея; все это на время, пока коллективное "торможение" не восстановило первое и определяющее положение египетского Моисея и его единственного бога. Как в книге "Тотем и табу", ко многим темам которой он вновь обращается, в "Моисее и монотеизме" Фрейд затрагивает определяющую роль в культуре чувства вины. Саул, из Тарсы, будущий святой Павел, превратил историческое преступление в "первородный грех", восходящий к далеким и мифическим истокам, и высветил на его фоне тему искупления в виде жертвы Иисуса; таким образом, отмечает Фрейд, на смену религии Отца пришла религия Сына, а вместо признания убийства христианство выдвинуло отпущение грехов. Тема закрыта. Но на чем? На предыстории человечества, прошедшей под знаком убийства Отца, которого Сын упразднил, установив новое царство? История показывает, что это не так, что до настоящего времени преступление существует. Завершается фантастический спектакль, открытый темой Отцеубийства, которое жертва Сына стремится перечеркнуть переменой ролей. Пробираясь не без сложностей сквозь "мозаичную" мысль Фрейда, мы видим, какой могла быть функция евреев в истории и культуре: они продолжают традицию убийства тирана ("дикие семиты взяли в руки собственную судьбу и избавились от тирана", Моисея), поддержав преемственность с восставшими сыновьями, которые убили первобытного Деспота-Отца. Они обличены больше, чем правдой и историей, историческим преступлением; но одновременно, и в этом за-

ключается удивительный парадокс, к которому нас подводят построения Фрейда, “бедный еврейский народ... упорствует в своем отрицании убийства отца, вызывая гнев и ненависть тех, кто хочет, чтобы тема была закрыта, и кричит: “Вы отказываетесь признать, что вы убили Бога (прототип Бога - первобытный отец и его последующие перевоплощения), мы, правда, сделали то же самое, но мы признали это и таким образом искупили вину”. Подчеркивая, что не характерно для него, глагол “признавать”, Фрейд указывает нам центральную точку своей демонстрации, точку, начиная с которой можно продолжить последовательность: евреем является тот, кто отказывается признать и этим искупить, отмыться, получить прощение и т. д.; он отказывается принять на себя огромную вину, накладываемую на него историей, как того требует практика искупления, смирения перед судьбой-мстителем, ритуал “Великого прощения” и т. д.; он не признает ее в главном, он доказывает, что не виновен, или, вернее, подвергнутый допросу с пристрастием в инквизиторском стиле - “виновен - не виновен”, он не пытается доказать вину или невиновность, но отказывается отвечать на вопросы, не идет на признание, оставляет постоянно открытым этический вопрос, поддерживает неопределенность, незаконченность истории, обнаруживая рану на сердце человеческой реальности... Быть может, здесь мы приближаемся к тайной точке, где могут пересечься, прийти к согласию Фрейд, “неверный еврей”, которого можно назвать в этом случае Отцеубийцей, и иудаистская традиция Отказа. Этот отказ способен привести в ужас толпы, стремящиеся к согласию, единству, утешению: отвергать Признание - значит, отвергать Конец истории, оставлять открытой, во всей ее символической мощи, играющей главную роль в антропологии Фрейда, тему Отцеубийства, - стараясь предотвратить его возвращение в действие, в исторической реальности, каковым являются кровавые фарсы, подобные нацизму. Аура смерти вокруг Моисея, основателя Москвы, пророка трех мировых религий: иудаизма, ислама и христианства, рождает спектакль, достойный Фрейда, уже принадлежащего вечности.

Подведем итоги: Русь основали религиозные и литературные миссионеры. Если хорошо покопаться, то можно выяснить, что греческое слово “hieron” означает по-русски “святой”, от этого и пошло название нашей страны - Россия, то есть святая. Если “хи-

ерос", "херос", "Херусалим" внимательно покрутить, послушать, почитать, то тут услышится и "Херуссия" "Руссия", и "еврос", а потом и Европа услышится, и сам "Херос-на-Адоная" "Ростов-на-Дону". Напомним еще раз о египетском фараоне Аменхотепе IV, который совершил революцию в религии, убрав всех прежних богов, и приказал поклоняться одному богу - Атону, которого потом финикийцы, древние евреи и греки стали называть Адонаяем, который там у них все время воскресал, то есть был бессмертным, а уж потом его в Христа книжники переделали и на Русь принесли, хотя сначала Руси не было, а жили просто люди, как живут собаки, допустим, без страны и без названия миллионы лет на наших землях. Вот от этого Адоная и идет название реки Дон, и Дуная, кстати, тоже. Простой человек никогда не думал, что такое понятное название, как Дон, как будто вчера придуманное русскими, идет, оказывается, из каких-то страшных, неведомых и непостижимых глубин истории, от самих фараонов египетских. А разносит все это фараоново племя. Простой человек будет ошеломлен, если добить его тут же сообщением, что слово "Ростов", допустим, тоже пришло к нам из глубин веков и, как и слово "Россия", означает святость и секс.

Древние поклонялись богу Ваалу, или Баалу, или Фаалу, или Фаллосу, что означает, мужскую силу и продолжение рода. Египетский Адоная, стал у эллинов Адонисом, а у нас рекой Дон, правда, сначала наш Дон тоже Адонаяем, или Танаисом называли, а сам "Дон" означает "Бог", или "Господь", или "господин", или "идн"...

Прародина славян - Венеция. От этого - венец! Если к "венцу" прибавить приставку "сло-сла", то получатся: славяне, Словения, слово, Словакия, словить (поймать)... Вить венки! (Плести!) Финны до сих пор называют нас Веняйя, а не Россия. Название "Россия" появилось лет триста назад, во времена Петра, который все тащил с Запада. Это название, повторяю, означает в переводе с греческого - святая. Поэтому неправильно употреблять словосочетание "Святая Русь", это масло масляное, а проще - тавтология. наших безропотных людей приходящая элита, закрепостив, шутиливо и нарекла - "святыми", то есть "русскими". Ни одна национальность в мире не обозначается прилагательным, кроме нас, "русских" славян. Пора протереть циферблаты и брать Венецию!

Образовываются священники (люди книги, иереи-евреи). Образование же для “святых” (русских) - это все равно, что дорогой наряд уродливой фигуре: он ее не исправляет, а она его уродует. Хотя само слово “святой” тоже из “венка” и из “Венеции” идет! Свят (Вятка!), свет-свит (вита - жизнь), свить (значит - жить)... Вена (город) и вена, по которой кровь бежит, вина (чувство вины) и вино (напиток)... Вена и Винница - тоже наши города! Гениальность - венец, жизнь - Венеция.

Все вещи мира смертны. Кроме слова. Поэтому слово есть Бог.

Язык у человечества один. Как было с начала дней от обезьяны и от Египта (Святовысокого). Появились затем диалекты, к нашим дням сформировались главные из них - английский, немецкий, китайский, французский и многие другие. Английский (от ангела - вестника) извещал, что будет в мире один язык, как один Бог, Русский (святой, самый высокий, рослый) язык. Он - новый язык, возникший специально для переработки всех языков мира в один русский. Нашему языку не страшны никакие иностранные слова, он все вберет в себя, все перемолит (как Смоленск-город, смоленный, намоленный) и перемелет и сделает своим.

Хоровод (Гор, Хор - египетский бог; word - слово). Слово и вода, ловить и ведать. Река и речь.

Земля уже была населена людьми миллионы лет, но электричества - Логоса - не было. В Египте начала работать электростанция Бога (Бог-Атон-Адонай-Ях-Эхнатон-Яхве-Эль-Иль-Аль) и зажглась волшебная лампа Аладина. Идн (самоназвание евреев) отправился в путь: Египет-Иудея-Азия-Эллада-Европа (Рим, Мадрид, Берлин, Лондон, Москва)-Америка-Австралия-день-деньги-Джек Лондон и его “Мартин Иден”-Ладан-Ладино (язык испанских - сефардов - евреев)-Лада (которой хмуриться не надо)-Латинская Америка.

Фараон. Фара+он, Сара-он. Сара-кесарь-цесарь-царь-церковь-писарь. Жрец-рец-речь.

Всем вещам мира дали имена жрецы. Первый из них - жрец гениального фараона Аменхотепа IV египтянин Моисей. Москва названа в честь Моисея, Моше - Москов, Москва. В слове Моисей слышатся следующие слова: Мой, Моно, Мойся, Сей, Сеятель, Смысл, Аква, Ква - вода, аквариум и т.д. Даже Сергей Есе-

нин носил в фамилии своей - ессеев, эссенев, то есть самую суть, семя от Моисея! Моисей образовал народ, самоназвавшийся - иегудим, идн. Как, допустим, сейчас я вместо национальности "русский" во время последней переписи населения назвал себя - "писателем". Я по национальности - писатель! Да, вторя египтянину Моисею, я образую новую нацию - писателей. Теперь я по национальности - писатель. То есть Бог, ибо управляю бессмертной материей, и откупориваю любое слово, потому что имею ключ. Ключ - вот основа всего. Ключ отмыкает тайное и делает его явным. Национальность "писатель" не берется мною из ничего. Она имеет такую бурную предысторию: Ра-рай-сарай-исрай-Израиль-жрец-идн-Иудея-идентификация-идея-идеальный-идиот-идеология-идол (образ)-Пасха-Пейсах-пост-петроглиф-иероглиф-иерей-еврей-Рейн-река-рука-отец-чтец-кесарь- царь-писарь-писать-читать-звать-называть-наименовать-письмо-рукопись-песня-эпос-эпистола-ритм-Рита-Бритен-говорит-Британия-ритор-оратор-ментор-театр-князь-книга-княгиня-эпизод-рапсод-ода-ропот-опера-Европа-ор-рот-Гор-Хор-Год-Гот (Бог)-епископ-пастор (отсюда - Пастернак, а не от травы)-мудрый-талмуд-тело-цель-теос-теофил-филолог-философ-телеолог-Тель-Авив-видеоцель (телевизор)-телец-пастух-исток-росток-Восток-логос-слог-предлог-лог-лов-слово-слава...

Выйдешь иной раз на Тверскую и ахнешь: надо же, в честь израильской Тверии, города у озера Кинерет, и город Тверь, и главную улицу города Моисея называли, памятуя римского императора Тиберия из Иберии (Испания). А в "Иберии" смыслов столько, что трезвым закачаешься: и "иврит", и "еврей", и "Берия", и "вера"! И я, как Вий, на Красной площади у Кремля листаю телефонную книгу, в которой написано, что слово "Кремль" - египетское, перешедшее в финикийское (Керем Эль - "божий виноградник"), а потом в русское "Кремль". Гора Керем Эль возле города Хайфы для пророка Ильи какое-то время являлась убежищем, как Кремль стал убежищем за венецианско-славянскими стенами для царей, генсеков и президентов.

День писателя. Бог находится в слове и нигде больше. Бог это слово. А слово создает писатель. Поэтому именно писатель создает Бога, но не наоборот. Начало движения слова, а не людей. Слово движется только в книгах (конечно, оно и устно дви-

жется, но закрепляется в книгах), в литературе. Земля давно заселилась от первой африканской обезьяны людьми, и эти первые люди, как воды, расплескались по всей Земле, и жили миллионы лет, пока слово не пошло от человека к человеку, как по проводам электричество, из Египта. Рец-реч-речитатив-читать-Рейн (река)-Рейн (учитель Бродского - Евгений, с которым я знаком с 1968 года)-пис-писать. Говорим-Рим-римейк-Мадрид-редактор. Троица - читать, писать и говорить. Нерасторжимые пары: "говорить-слушать", "читать-писать". Слово и вода, и то, и то идет, и водит. Word. Песах-посох-песок-пешеход-путь-пост-писать (изливать душу)-писать (изливать влагу)-пистис (вера по-египетски, и наше ухарское словечко "пиздец")-пасха-Псков-писатель. Очень близки слова высокие к опущенным, низким. Яхве (Яков, Якуй) произносилось как Яху... а потом вдогонку и йотированное окончание - "й". Эти слова - египетские, фараонские, им минимум - 10 тысяч лет! Писатели, умеющие хорошо говорить, сначала в Египте даже выделились в нацию - евреи (то же, что и жрец, в переводе означает - благоговорящие, хорошо говорящие, сами себя называвшие - идн, иегудим, то есть - божественные, равные Богу, идентичные Богу, то есть - писатели). Идн-Дон-Лондон... Нет такого в мире языка, который бы корнями не уходил в Египет, а там и к первой заговорившей обезьяне. Я, Юрий Кувалдин, писатель и несправильный дарвинист. Нам кажется, что слово "лад" русское. Нет. Оно египетское, принесенное писателями (евреями) из Египта в Испанию. Язык испанских евреев (сефардов) называется "ладино", отсюда и "Латинская Америка" и "Латинский квартал" и др. Русский мат - это пародия на святое (литературное). Нет постоянных языков, каждый язык, рождаясь из одного языка, переходит в другой. Язык родился в Египте, а закончится, я не хочу сказать, что умрет, - в России. В этом смысле Россия - Третий Рим, и четвертому не бывать. Национальное - очень временное чувство. Если уж звезды, как наше Солнце, рождаются живут и умирают, то что уж говорить о нациях. Но язык - бессмертен, он Бог, а Бог вненационален. Русский (святой, ибо слово "русский" происходит от египетского слова "hieros", "херос", "херас", где содержится Ра - бог солнца. Рай - солнечный). Таким образом, Святой (русский, всеобщий) язык - это конечная фаза развития мирового языка, это альфа (алеф) и омега филологии, Бога, пи-

день писателя

сательского труда. Русский язык поглотит все языки мира, и станет единым языком Земли. Я обрел ключ к словам - и стал писателем. Пасха - это День Писателя!

Поскольку лично меня никогда особенно не волновали деньги и то, что на них можно купить, кажется странным, что их поискам суждено было сделаться столь важной составляющей моего существования. При социализме в СССР дорогу мне преграждали редакторы и цензоры, в новой России - деньги. И я вынужден обходить спонсоров с протянутой рукой, чтобы дело святого слова-логоса шло.

“Наша улица”, № 4-2003,
а также в книге “Родина”, Москва, издательство “Книжный сад”, 2004.
а также: Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство “Книжный сад”,
Москва, 2006, Том 6, стр. 206.

БЕГЛЕЦЫ

I

Звенели на морозе троллейбусные провода, сладко похрустывал новогодний снежок под ногами, щипало нос, розовели щеки, и покрывались белой глазурью инея шапка, шарф и воротник. Солнце поджигало снег, за прохожими весело бежали длинные тени, в подворотне с холодными мрачными стенами хрустально крошился ледок и позванивал, как рождественские колокольчики.

Желтый флигель в глубине двора, одноэтажный особнячок с тремя белыми, как свечи, колоннами по фасаду, с крылатым козлом, барельефным под козырьком, светился на солнце и казался пряничным, съедобным. По тропинке в снегу, через три ступеньки вверх, узким, холодным коридорчиком, две ступеньки вниз, дверь налево, скрипит, хлопает, справа дверь с рубчатым стеклом окошка приоткрыта, и оттуда резко тянет хлоркой.

Везувий Лизоблюдов переступает с ноги на ногу, перехватывая из руки в руку тяжелый аккордеон в черном, обшитом дерматином футляре.

- Господи боже мой, и-ых, Везувий Иваныч пожаловал! - всплывает руками тетя Поля, когда Везувий минует порог кухни.

На плите ворчит большой алюминиевый чайник, подбрасывает крышку, наполняя кухню туманом. Пахнет репчатым луком, крутыми яйцами и вареным мясом.

Дымящаяся картошка, с которой только что сняты "мундиры", рубится на большой доске Верой, высокой девушкой с загадочными темными глазами и густой заплетенной косой до пояса. Вера - двоюродная сестра Везувия, десятиклассница. Ее сестра Лиза, стриженная под мальчика, копошится у духовки, выдвигает горячий противень с румяными, маленькими пирожками.

У другой плиты молчаливо стоят и лениво что-то помешивают в кастрюлях соседки. Им ничего варить не надо, но они с упорством часовых стоят на часах любопытства.

В углу, на длинной лавке, сидит еще один сосед, старик с белым петушиным хохолком, и починает на деревянной сапожной

ноге дырявый ботинок. Глаза старика слезятся от дыма и копоти, но он настырно продолжает работать.

У желтого фанерного шкафа стоят две девочки в коротких байковых платьях и коричневых, сборенных на коленях чулках. Одна девочка сосет длинную полосатую конфету-сосучку, другая грызет сухарь, обсыпанный крупным песком.

В картонной коробке ползает полуторагодовалый малыш, надавливает на пухлые пальцы засаленные, обкусанные сушки и улыбается двумя передними резцами.

В довершение ко всему Везувий замечает на шкафу рыжую облезлую кошку, которая сосредоточенно следит за Верой, в руках которой появляется длинная пятнистая осетрина.

Везувий вздыхает празднично и, сопровождаемый тетей Полей, идет по темному коридору в комнату, а войдя, ставит осторожно аккордеон на пол.

Тетя Поля улыбается, разматывает шарф с шеи Везувия, а затем вешает пальто и шапку за занавеску, которая идет от шкафа к косяку двери. От Везувия пахнет морозом, тетя Поля радостно ежится, что-то говорит и бежит на кухню.

За ширмой на высокой никелированной кровати спит дядя Володя, который работал в ночную смену. Чтобы не разбудить его, Везувий садится на грубо сработанный табурет и смотрит в окно.

На стеклах искрящиеся морозные узоры, они сливаются с белыми тюлевыми шторами. В комнате пахнет елкой, старой мебелью, пылью от потертого ковра, которым покрыт большой диван с валиками и высокой спинкой. На этажерке стоит патефон, над ним висит в узорной рамке фотография дяди Володи в шлемофоне со звездой, рядом - другая фотография: тетя Поля с дядей Володи, только головы - большие, склоненные друг к другу словно из тумана. Над одной кроватью - коврик с белыми лебедями, над другой - коврик с пальмами и попугаями, над третьей - ничего нет, засаленные розовые, в некоторых местах порванные обои.

Везувий с волнением смотрит на обои, на коврики, на фотографии, на этажерку с патефоном, на диван, на широкий и длинный, уже раздвинутый стол, накрытый снежно-белой крахмальной скатертью, и думает о предстоящем празднике.

Везувию десять лет, он смугл, плечист, с большим лбом, над которым нависают черные жесткие кудри, с тяжелой выступа-

ющей нижней челюстью и прямым волевым носом. Глаза Везувия большие, такие же черные, даже зрачков не видно, как волосы, эти глаза покрыты сейчас блестящей пленкой, отливающей синевой, как маслины, и, кажется, полны глубочайшего смысла...

Через пару часов комнату не узнать: все гудит, гремит, звенит, выбрирует, восклицает. Дядя Володя, просветленный после сна, бритья и умывания холодной водой, что-то доказывает брату, отцу Везувия, чернобровому, крепкому и высокому Ивану Степановичу; третий брат - Николай - чему-то улыбается и высоким голосом пытается затягивать песню о танкистах.

Женщины раскраснелись, вспотели, не перестают оглядывать свои крепдешиновые, креп-жоржетовые, шелковые платья, бьют ласково по затылкам своих вертящихся перед столом детей и беспричинно хохочут.

Лишь Везувий сидит смирно у этажерки, смотрит исподлобья на бесчисленную родню и неторопливо жует огромный ломоть белого хлеба, намазанного по-царски сливочным маслом и толстым слоем красной, влажной и поблескивающей икры. Везувия еще не пора, не настал его час, еще длится сумбур, вхождение, углубление в праздник, но не сам праздник.

Чтобы размять ноги, Везувий встает и ищет глазами лазейку к двери, затем ныряет под стол и ползет. Вот босоножки мамы, вот хромовые сапоги дяди Коли, вот модные лодочки Лизы, вот парусиновые, надраенные зубным порошком полуботинки дяди Володи, вот потертые сапоги отца с маленькой заплаткой у мизинца... На кухне сосед с белым хохолком все еще чинит ботинок, вколачивает конусные гвоздики в подметку. Везувий опускается на колени у подоконника, на котором лежит раскрытый новый альбом для рисования и коробка цветных карандашей - подарок тети Поли к празднику.

За окном фиолетовая темнота, морозные разводы на стекле - голубы.

Везувий извлекает остро отточенный синий карандаш, чешет в раздумье цыганские кудри и начинает рисовать. Штрихует он точно так, как показывала Вера, сверху вниз, продвигаясь по снежному полю листа слева направо. Заштриховав весь лист синим, Везувий достает черный карандаш и выводит в углу чернилку, олицетворяющую, по мысли Везувия, снежинку...

Когда первый лист переворачивается, на кухню вбегает раскрасневшаяся Вера, от нее пахнет цветочным одеколоном и пирогами.

- Везувий, пора, столы сдвигают! - восклицает она, хватая мальчика за руку и бежит с ним по коридору, огибая сундуки, плетеные корзины с картошкой и санки, в комнату.

Форточка приоткрыта, белый морозный пар шевелит тюлевую занавеску и обволакивает небольшую елку, стоящую на табурете сбоку. Чуть слышно позванивают серебристые колокольчики.

Везувий Торопливо, волнуясь, набрасывает ремни аккордеона на плечи, опускает черную голову, притопывает и громко берет первый аккорд: па-па-па-тата-та!.. В малую паузу он успевает выдать ногами в новых черных лаковых ботинках, в которые переобулся из валенок, изумительную, чеканную дробь и, качнув плечами, пройти с полкруга, при этом руки не забывают звонко хлопнуть по каблукам.

Пальцы проворно, заученно бегают по кнопкам и клавишам, как будто эти пальцы созданы специально для аккордеона.

Черный кудрявый чуб Везувия вскипает над головой, с лица не сходит залихватская улыбка, глаза озорно поблескивают.

Но вот он останавливается, замирает и, переходя на грустную мелодию, отходит назад, а в круг, пожимаясь от смущения первого танца, выходят молодые Вера, Лиза, Тоня, Коля - все дети, все братья и сестры, родные и двоюродные. Теперь Везувий угрюм, задумчив, его смуглая Щека лежит на перламутровой поверхности аккордеона, мехи плавно расходятся, как морские волны за кормой корабля.

Дядя Володя, дядя Коля и отец Везувия блаженно улыбаются и попыхивают "Беломором" в потолок, ноги братьев, как бы опасаясь чего-то, робко отбивают такт...

В первый день после возвращения с фронта, в августе сорок пятого, Иван Степанович брился, густую белую с черным маком щетины пену обтирал о листки численника, старые, сорванные и наколотые на гвоздь, вбитый в стену возле календаря.

Обтирая большую, острую, правленную на широком армейском ремне опасную бритву в очередной раз, Иван Степанович между прочим вчитался в обратную сторону листочка, где рассказывалось о Везувии, в память запали строчки о своенравном

вулканы, и когда нужно было девять месяцев спустя давать имя родившемуся сыну, Иван Степанович твердо сказал: "Везувий!" - "Почему?" - спрашивали недоуменно отца старшие, довоенные, дети, Коля и Тоня. "Потому что зальет лавой любого врага!"

Везувий поднимает голову и смотрит в одну точку, в глазах его появляются слезы, он сдержанно, сурово и чрезвычайно тоскливо начинает наигрывать какой-то забытый, старинный марш, с какими еще деды и прадеды ходили на турецкую...

Дядя Володя, крепкий, жилистый, возводит глаза к потолку и делает вид, что слезы в его глазах появляются от дыма папиросы.

Дядя Коля, с лохматыми бровями, за которыми и глаз не видно, сопит носом и роняет голову в ладони. Женщины пытаются петь, но сбиваются, потому что слов не знают.

Вызвав чувства скорби и печали, Везувий степенно встает, подходит к столу и залпом выпивает стакан лимонаду. Затем слышится огненный перебор, кудри его вздрагивают, ноги выделывают немислимые кренделя, ладони хлопают по коленям - и пошла крутить музыка, вскипает у родственников пылкая душа, уж и дядя Володя в кругу, и дядя Коля ломит бор сапогами, и отец идет вприсядку!

II

Везувий слышит свой странный и настойчивый голос. Этот голос громче голосов родственников, громче звуков аккордеона, громче...

Этот голос с волнением и придыханием говорил: "А в метро сейчас нет никого, пусто, пойдй посмотри!"

За столом усиливался гул голосов, звон рюмок, стук вилок о тарелки. Везувий осторожно поставил аккордеон у кровати и на мгновение закрыл глаза: темно.

А потом - розовая полоска, тонкая, как мандаринная долька, по которой катится зеркальный елочный шар, а вон и сама елка, трепещет ветвями от ветерка со снегом, похожим на пух, который здорово разлетается из подушки, с которой сброшена хрустящая накрахмаленная наволочка, если этой подушкой запустить в сестру Тоню, пятнадцатилетнюю девушку, вечно шикающую на Везувия, когда тому спать не хочется.

А сегодня спать не нужно!

В коридоре, едва освещенном тусклой и печальной лампочкой, такой печальной, что сквозь засиженную мухами стеклянную грушевидную колбу подмигивал слабо-красноватый червячок спирали, в коридоре гуляла облезлая рыжая кошка.

Когда Везувий заметил ее, она поспешно подошла к плетеной корзине, боднулась, как козленок, и потерлась сначала лбом, затем облезлым тигроватым боком и длинным хвостом.

Везувий очень серьезно, как то делают взрослые, вздохнул, как бы говоря этим вздохом: “Ну что с тобой делать, кошка?”, присел и вытянул руку ладонью к полу. Пока кошка смотрела на руку, а потом шла нерешительно к этой руке, Везувий слышал приглушенные голоса из праздничной комнаты, которые сливались в сплошной гул, похожий на далекий шум поезда.

Кошка сделала круг под ладонью, остановилась, села, повернув хвост к передним лапам, и ткнулась влажным, холодным, розоватым кончиком носа в эту ладонь. Ощущение у Везувия было такое, как будто капля с крыши упала на кожу за шиворот.

И хотя тут была ладонь, а не шиворот, ощущение было точно такое же приятно-раздражительное.

Через минуту Везувий был уже в пальто и в валенках, в одной руке держал шапку, а в другой несколько кружочков колбасы.

- Рэкс, рядом! - приказал Везувий, вытягивая руку с колбасой, и быстро направился к выходу.

Узким, холодным коридорчиком, две ступеньки вверх, дверь скрипнула, стукнула, и воздух, ночной, морозный, вкусный, обнял Везувия, как любящая мама. Он дверь толкнул, увидел кошку, которая нерешительно приподняла, согнув, переднюю лапку. Глаза ее расширились, нежные ноздри зашевелились. Кошка приюхивалась подозрительно к свободе и, по всей вероятности, думала, не дать ли задний ход.

Из черного провала подворотни донеслось: “У-у-у-у...” - и стихло.

Это “у-у” напоминало голос волка, протяжный, призывный вой, который очень здорово изображал папа, когда рассказывал о волке, о том самом волке, который наведывался к ним в деревню.

Везувий осторожно и очень медленно поставил зависшую ногу в снег, почти что без скрипа. Он обернулся на кошку, протянул

руку с колбасой. Кошка не шевелилась, сидела как глиняная копилка. Везувий нагнулся, бережно положил темные пахучие кружочки на снег подле своих черных, с белым налетом валенок.

Подумав, Везувий отошел в сторонку, напряженно вслушиваясь в скрипящие шаги. Огромная серая громада дома с подворотней тянулась к черному небу. Окна горели разные: синие, розовые, зеленые... Везувий с наслаждением вспомнил о том, что теперь все люди не спят потому, что играют в праздник. Конечно, посочувствовал Везувий, им тоже хочется поиграть, только они стесняются часто играть, поэтому придумали специальные дни, чтобы играть без опасения, что заиграются и им попадет.

Кошка осторожно подошла к колбасе, принялась есть, пробуя каждый кусочек острыми, как гвозди, клыками.

Из желтого флигеля слабо доносились голоса, гладили слух Везувия, щекотали. Везувий расстегнул верхнюю пуговицу пальто, подошел к кошке, склонился, погладил, поднял и сунул за пазуху, чему кошка не удивилась, а, наоборот, восприняла "посадку" вполне дружелюбно и даже мелодично, басовито заурчала. Теплее сразу стало на груди.

Все так же, как днем, крошился под ногами ледок в подворотне, позванивал.

"У-у-у-у-у..." - опять донеслось до Везувия. Он поежился от этого волчьего воя, мурашки побежали по спине. Мелькнул в проеме подворотни силуэт троллейбуса. Ах, вон что, оказывается, троллейбусы по-волчьи подвывают!

У метро было светло и из высоких дубовых дверей клубами валил пар, как будто это был не пар, а белесоватые облака, упавшие на землю.

Кошка, ничего себе, тихо сидела за пазухой. Везувий нащупал в кармане книжечку "метровых" талончиков, желтеньких бумажек с клетчатым контролем. Везувий шагнул в облака, спустившиеся на землю, и исчез.

Поблескивал плиточный пол под ногами, а валенки ступали по нему бесшумно, и был момент, когда сам себя Везувий не слышал.

Потом сердце свое почувствовал, как оно стукнуло, сдвинулось, застучало, как будильник с сорвавшейся пружиной. Это потому, что в длинном, пустом коридоре, еще до поворота на прямую к контролершам, черношинельным женщинам, послышался

ритмичный звонкий стук - дук-тиу-дук-тиу, как будто забивали гвозди в тугую пересохшую доску.

Заволновалась кошка на груди, резко толкнулась жилистыми лапами и выпрыгнула из пальтового дупла на кафедру, шаркнула когтями и помчалась за поворот.

А сзади - дук-тиу, стук молотка, с оттяжкой, по камню. Везувий попятился к стене. Из-за поворота приближался стук и наконец женщина в черном вышла, и первое, что увидел Везувий, были туфли, черные, с золотистыми бусинками и на очень тонком высоком каблучке. Дук-тиу. И шли эти туфли след в след, как кошка к корзине, чтобы боднуться.

- Кис-кис-кис! - с волнением позвал Везувий, недоверчиво глядя в сторону приближающихся, громко стучащих туфель.

- Зачем ты дразнишься! - с чувством сказала женщина, останавливаясь возле Везувия.

В голосе этом было что-то подозрительно плачевное. Везувий поднял глаза, увидел - женщина заплакана, черные вертлявые струйки краски на припудренном лице напоминали робкие ручейки на весеннем снегу.

И вовсе это была не женщина, а девушка, догадался Везувий, глядя в печальное и красивое лицо.

Везувий присел и погладил золотистые бусинки на туфлях девушки.

Из-за угла выглянула кошка. Везувий боковым зрением заметил ее, но виду не подал, лишь осторожно отвел руку от туфель в сторону, ладонью вниз.

- Тихо! - повелительно прошептал он. Девушка видела, как кошка медленно пошла к вытянутой руке мальчика, как сделала круг под ладонью и ткнулась носиком в нее. Девушка присела, дотронувшись коленями в прозрачных чулках до руки Везувия, и бережно погладила кошку.

III

В картонном ящике на кухне, где давеча играл полуторагодовалый соседский ребенок и в который теперь прыгнула кошка, когда ее Везувий выпустил из рук, возле обгрызанной сушки лежала коричневая соска, которую надевали на бутылку.

Везувий машинально взял соску и швырнул в дальний угол кухни.

Кошка бросилась следом, с каким-то диковатым рычанием, тут же, бодаясь, выскочила из угла, держа в полуоткрытом клыкастом рту соску, как собака палку. Трусцой, подбрасывая зад, как лошадь на галопе, кошка приблизилась к ногам Везувия, зычно мяукнула и выронила соску на пол. Везувий застыл, пораженный и растроганный.

- А ну-ка еще разок! - воскликнул он, поднял соску и швырнул в тот же дальний угол.

Проскрипели, пробуксовывая, когти по полу от резвого старта, и через секунду соска вновь покатила, выпущенная изо рта, к валенкам очарованного кошачьими способностями Везувия.

Для верности повторив упражнение еще несколько раз, Везувий сунул соску в карман, подхватил кошку на руки и помчался в комнату.

Стоял шум.

Взрослые громогласно о чем-то спорили или вспоминали что-то, дети танцевали под патефон. Везувий поднял над головой кошку и не своим голосом заорал:

- Она соску сама носит!

Мама, раскрасневшаяся, потная, полноватая женщина лет тридцати семи, взглянула довольно спокойно на сына и сказала:

- Вася (она называла его так, потому что не нравилась ей отцовская причуда с "Везувием"), от нее лишаи будут.

- Ничего от нее не будет! - крикливо выпалил Везувий. - Она умная! - И, обращаясь к отцу, Ивану Степановичу, который довольно сильно захмелел, сказал: - Пап, ну пойдём, посмотришь! Ну пап! Чего ты все за столом торчишь! Пойдем!

Иван Степанович, здоровый, крутоплечий, положил свои пудовые кулаки на край стола, качнулся, мутные глаза как будто прозрели, и он громогласно вымолвил:

- Не мо-огу отказать, сын зовет! - И неуверенно встал. - Я оф... оф... цияльно за-аявляю... Везувий бу-удет артистом! В Бо-ольшом тя... тятре... высту-упать будет!

Голос у Ивана Степановича был столь низкий и громкий - недаром говорится: луженая глотка, - что хотелось, когда он говорил, особенно когда был под хмельком, зажать уши.

- Ну, нахлебалси уже! - недовольно проговорила мама и с чувством махнула рукой.

- Да ладноть, Дусь! - успокоила ее жена дяди Коли. - Ноне небось праздник!

Иван Степанович толкнул нечаянно стол, попадали бутылки и рюмки.

Глубоко вздохнув и покачиваясь, Иван Степанович вышел на середину комнаты и прогремел своим иерихонским голосом:

- Хтой-то нахлебалси? И я, что-оль? Не бы-ывать, чтоб Лизоблюдовы пья-аными ва-алялись! - Он топнул ногой, так что красный абажур с кистями закачался.

Брата взял под руку коренастый дядя Коля.

- Вань, не шуми! Чего ты, в гараже, что ль?!

Везувий, успевший скинуть пальто и переобуться, тем не менее, не отпуская от себя кошку, вцепился в руку отца и тащил его в коридор.

- Пап, ну чего ты уперся! Пошли цирковые номера смотреть! - говорил Везувий и видел, что отец слушается его.

В коридоре Иван Степанович качнулся в сторону сына, так что тот сел в соседскую корзину с картошкой.

- Пап, ну что ты допьяна пьешь всю дорогу!

- Ну, я-а не... не... обуду! - склоняясь к самому уху Везувия, прошептал Иван Степанович, обдавая ребенка густым запахом водки.

На кухне отец оперся крутым плечом о косяк, а Везувий занес руку с соской над головой. Кошка замерла, даже шерсть на спине вздыбилась.

- Ого... смотри... ого... Мхмы, - оживился Иван Степанович и заслонился руками, изображая испуг. - Си-ильней кошки зверя не-эт!

Везувий метнул соску в угол. Кошка моментально, с характерным шарканьем когтей по дощатому полу сорвалась с места. Обрато она шла, как показалось Везувию, даже с какой-то показной улыбкой, говорящей, мол, смотрите, какая я способная.

Иван Степанович встряхнул тяжелой головой, чуб упал на глаза.

Непосредственная, прямо-таки детская улыбка озарила его пьяное лицо, и он воскликнул:

- В Бо-ольшом тя... ступать!

Везувий вновь швырнул соску и, когда кошка несла ее назад, сказал, заглядывая в улыбающееся лицо отца:

- Как твой Нолик!

Отец, еще более оживляясь, что-то вспомнив, прогремел:

- Ма-ать ко-ормит его... Ванька не по-одоходи... Нолик тут как тут... Бежит к матери... А я уж... по-оджидаю! За-а-апрягу в тележку... Не хо-очет ехать... Потом неделю не подходит...

Иван Степанович, придерживаясь за стену коридора, направился в комнату.

Везувию надоело играть с кошкой, да и та, судя по всему, утомилась - легла в картонную коробку.

В комнате по-прежнему шипел патфеон. Везувий чинно подошел к столу, сел на свободный табурет. Тут же мама придвинула ему тарелку с салатом. Подзакусив, Везувий взял аккордеон и принялся исполнять "концерт по заявкам".

- А эту знаешь? - спрашивали и мурлыкали ему на ухо прилизительные мелодии.

Везувий некоторое время молча смотрел в одну точку, как бы прикидывая, как лучше взять эту мелодию, потом растягивал мехи, и все убеждались, что Везувий и эту песню знает.

Он играл и задумчиво смотрел на отца, на его братьев, на их жен, на детей, и Везувию казалось, что все эти люди каким-то таинственным образом отдаляются от него, как будто он и не в этой комнате сидит и играет, а где-то в ином мире, а здесь все происходит не по правде, понарошку, потому что лица теряли конкретные очертания, он не различал уже голосов и реплик, не слышал вообще ничего, был не с ними, был где-то глубоко внутри себя.

Но вдруг что-то странное вывело Везувию из этого состояния погруженности в себя, что-то поначалу показавшееся ему незначительным.

Этим незначительным была нота плача, пронзительно-надравного плача, который как-то неестественно ворвался в грустную мелодию.

Везувий не мог понять, откуда исходила эта нота, он даже, закрыв на мгновение глаза, выхватил образ девушки в черных туфлях с золотыми бусинками, но нет, там не было столь отчаянного, пронзительного плача.

Везувий сдвинул мехи.

Рыдал отец. И это было страшно видеть, потому что плачущим, а тем более рыдающим, Везувию отца никогда не видел. Ве-

зувий сильно побледнел. Да, судя по лицам окружающих, не один он испугался.

Это даже было не рыдание, а какой-то вопль, какая-то смертельная сирена скорби и отчаяния. Этот луженый голос, этот бас умудрялся в плаче достигать тончайших теноровых вершин, превращаясь в сильнейший, берущий в тиски душу стон.

- О-о-о-а-а-а-у-у-у!

- Что с папкой?! - посиневшими губами вскричал Везувий, сбрасывая на пол инструмент и хватая за руку дядю Володю.

- Пойдем-ки у кухню! - затараторила тетя Поля, вставая между Везувием и дядей Володей.

Другие дети, втянув головы в плечи, уже гуськом выскальзывали за дверь. А у Везувия безумно билось в страхе за отца сердце.

- Что-то с папкой! - истошно кричал он. - Пустите меня к папке! Пустите меня! Я хочу к папке!

И вырвался, и - под стол, к ногам отца, а там вынырнул из-под скатерти к дивану, обвил руками шею отца и горячо и торопливо зашептал на ухо ему:

- Папка, не плачь, папка, не кричи так, папка!

- А-а-а-о-о-о-у-у-у! - еще страшнее полился из глотки отца надрывный стон, так что у Везувия заложило уши и в голове застреляло больными иголками.

Но Везувий шептал на ухо отцу, гладил его по голове, и надо признать, не безуспешно: стон помаленьку стихал.

- Вань, ну чего ты распустился, ну, Вань! - бормотала мама и через стол совала отцу стакан с холодной водой.

Дядя Коля осторожно утер слезы в собственных глазах, откинулся к спинке стула и мечтательно, но с дрожью в голосе сказал:

- Детство вспомянул...

Везувий взгромоздился уже к отцу на колени и сжимал в своих объятьях его голову с казачьим чубом.

- Расскажи лучше, как ты Нолика запрягал...

Вдруг как рукой сняло рыдания Ивана Степановича. Он поднял мокрое от слез лицо, нашел рюмку водки, тяжелой волосатой рукой ухватил ее и опрокинул в рот, как каплю.

- Ну и хорошо, Иван Стяпаныч, и выпей, выпей... Ноне праздник! Она холодцу-то прихвати вилкой... Вась, - обратилась жена дяди Коли к Везувию, - дай папке закусить-то холодцу.

- Холодец-то сутки, чай, уваривала, - поддержала тетя Поля. - Ножки Володя принес, в столовой брал... Да я рази одни ножки уваривала? Тута мяса говяжьего два кило с лишком...

- И не говори, Поль, - комкая носовой платок толстыми пальцами, сказала мама Везувия, - ем-ем холодец, а все не наемси!

Везувий наколол вилкой кусок мясистого, с жирным налетом холодца и сунул в рот отцу. Тот прожевал и, сглатывая, вымолвил:

- Судьба проклятая...

- Нечо на судьбу-то пенять, - незлобно сказала мама, - хлебать нечо по столько!

IV

Гирлянда из пузатеньких автомобильных лампочек, прихорошенных разноцветным лаком, вспыхнула на елке, и огоньки задрожали на зеркальных шарах, радужными отливами побежали по серебристым ниткам дождя и отразились в темном, синеватом, с матовыми морозными узорами окне.

Из-за высокой ширмы уже несея дребезжащий, с посвистываниями, храп Ивана Степановича. Его устроили одного на пуховой перине.

- Ишь, родимец, поет-то как! - прошептала тетя Поля, взбивая подушку для Везувия.

А он стоял в трусах и ежился, поникший, даже угрюмый. Сердце его билось часто-часто, он скашивал глаза на левую часть своей груди и через майку видел, как трепещет тело. Хотя Везувию и хотелось спать, но он не желал спать - вернее, не спал бы вовсе, чтобы...

Он не искал в своей голове оправданий этому уже привычному своему состоянию. Он думал не при помощи головы, а душой, поэтому огоньки, отраженные в темно-синем окне, вдохновляли его на бессонницу, а взбиваемая тетей Полей подушка - пугала.

Он тяжело, не по-мальчишковски, вздохнул, повернулся и пошлепал в больших тапочках к двери, обходя лежащих на полу засыпающих родственников.

- Кудай-то ты? - шепнула тетя Поля.

Везувий не ответил, ускорил шаг, вышел в коридор. "Ну за чем я такой!" - подумал он, чуть не плача.

Дверь с рубчатым стеклом жалобно пискнула, в нос ударило крепким запахом хлорки, белые, как зубной порошок, кучки которой были рассыпаны вокруг пожелтевшего унитаза.

Везувий закрыл глаза и увидел пестрые, туманные огоньки на стекле, как звездочки в небе.

Он с отчаянием пыжился, даже покраснел, но выдавил из себя лишь каплю.

Морозец пробежал по коже, выступили гусиные беленькие мурашки.

Везувий открыл глаза, дернул висящую на цепочке белую ручку, вода с шумным бульканием из высоко установленного ржавого бака хлынула вниз.

Когда он вернулся в комнату, мама что-то шептала тете Поле и расстилала клеенку на матрасе у батареи, где пристраивали спать Везувия. Он в муках откинул голову и закатил глаза.

- Чтой-то с почками, - тихо сказала мама.

- Ничо, что я, не простирну, что ль, не выглажу?! - проговорила тетя Поля, посапывая носом.

Везувий, ложась в готовую постель, наказал себе вовсе в эту ночь не спать, а лежать и смотреть на елку, которая оказалась совсем над его головой и от которой струился приятный лесной дух.

Заключительный аккорд храпа Ивана Степановича потряс комнату, даже колокольчики на елке зазвенели. Вслед за этим аккордом послышалось какое-то бормотание, и Иван Степанович затих.

Это мама ударила его в бок локтем, а затем перевернула со спины на бок. На боку Иван Степанович не храпел, но, что поразительно, не терпел спать на боку. На боку он мог спать пять - десять минут, затем откидывался на спину и начинал свой храп.

Сначала он храпел тихо, даже мелодично, но постепенно, увлекаясь, он взводил этот храп до такого мажора, что мама просыпалась и давала тумака в бок, переворачивала на бок... Но через некоторое время все повторялось.

- В хлеву тебе место! - бранилась она. - Храпишь как боров! Детей перепужаешь!

Везувий лежал с широко открытыми глазами и смотрел на елочные огоньки. Но тут подошла тетя Поля и выдернула вилку из розетки. Стало очень темно. Потом слабо завиднелось окно с

морозными узорами. Что-то хрустнуло, упало и разбилось. Везувий открыл глаза и увидел папу.

- Ничо, Иван Степаныч, я подберу, - сказала тетя Поля.

В комнате было по-утреннему светло. Родственники шевелились в своих временных постелях, вставали, потягивались. Везувий в страхе закрыл глаза, почувствовав, что лежит в болоте, холдном болоте. Он сделал вид, что спит.

Вот кто-то приближается к нему. Кто же? Конечно, мама. Вот она склоняется над ним, он чувствует теплые струйки ее дыхания, вот она осторожно запускает руку к нему под одеяло.

Лучше б он не родился!

Мама склоняется к самому уху Везувия и шепчет:

- Сними, Вась, трусики, вот тебе сухие...

Везувий нащупывает сухой комок, сжимает зубы и злится на себя, на маму, на праздник, на елку, на все на свете. Он быстро переодевается лежа, незаметно и открывает глаза. Кроме мамы, никого рядом нет. Это уже неплохо. Он облегченно вздыхает, встает, вернее - выскальзывает из постели, не поднимая одеяла, чтобы - не дай бог! - кто-нибудь не увидел мокрую простыню.

Пока он одевается, мама ловко прибирает его постель, как будто ничего и не было. Везувий смотрит на маму любящими глазами. Она склоняется к нему и чмокает в щеку.

На кухне в этот утренний час уже полно народу: соседки что-то сосредоточенно помешивают в кастрюлях, над которыми витает пар. Старик с белым хохолком продолжает починять дырявый ботинок.

Везувий улыбается всем и громко произносит:

- С Новым годом!

Одна соседка, щекастая, с шестимесячной завивкой, замечает:

- Какой вежливый мальчик!

У раковины, тут же в кухне, по очереди умываются гости. Вера заплетает длинную косу. Лиза говорит весело:

- Пошли с горки после завтрака кататься!

Наступила очередь умываться Везувию. Он крепко сдвигает ладшки в пригоршню, как учил папа, и в живое ручное корытце набирает доверху ледящей воды. Вода тут только, в этом кра-не. Одна раковина на всю квартиру. Везувий умывается с пофыркиваниями, трет докрасна лицо и шею...

Резко запахло подгорелой рыбой, которую жарила одна из соседок.

В комнате взрослые сидели за столом. Иван Степанович смущенно смотрел красноватыми глазами по сторонам и приглаживал ладонью черно-смольный чуб.

- Ну что, поправим голову? - спросил дядя Володя.

- Не, я не похмеляюсь, - виновато прогудел Иван Степанович и придвинул к себе большую фарфоровую кружку с крепким чаем. - А вот лимончик прихвачу. - Он бросил засахаренную дольку желтогобокого, остро пахнущего лимона в кружку.

Отпив несколько глотков, Иван Степанович выловил ложечкой эту дольку и сунул в рот, морщась, как от лекарства.

- Везувий Иваныч, полезай-ка к папке! - весело сказала тетя Поля, разрезая длинным столовым ножом огромный пирог.

Везувий привычно нырнул под стол и оказался на диване, покрытом колючим старым ковром, который, говорили, дядя Володя из Германии привез.

Отец обнял сына.

- Пап, видал, кошка прыгала как за соской! - воскликнул Везувий, наверняка зная, что папа запомнил умницу кошку и оценил ее способности.

Но Иван Степанович, шевельнув мохнатыми черными бровями, недоуменно взглянул на сына.

- Какую кошку? - робко и дружелюбно вывел Иван Степанович.

- Ну, вчера, в кухне она соску носила, - нетерпеливо стал пояснять Везувий и добавил: - Ты же сам видел!

- Не помню, - смущенно сказал Иван Степанович и потупил взор, как бы признавая этим свою виноватость перед сыном за то, что напился пьяным.

- А чего ты... - начал Везувий, собираясь спросить отца о вчерашних его рыданиях, но осекся. Не оттого осекся, что понял, что неприлично об этом спрашивать, а потому, что голос какой-то сказал ему тут же, что можно вслух спросить и о том, почему простыня под Везувием была мокрая. Поэтому Везувий после короткой паузы выкрутился: - А чего ты лимоны ешь, они же кислые?

V

Везувий заметил между колоннами сидящего на выступе мальчика в мохнатой шапке и в очках. Мальчик как-то уныло, надув щеки, смотрел в одну точку.

Везувий вскинул голову и увидел над высокой громадой серого дома солнце. На мгновение в глазах стало темно, а потом в них возникла черная дыра, быстро сузившаяся до точки.

В этот момент мальчик в очках успел окинуть Везувия одним быстрым и пронизательным взглядом. Ощувив на себе этот взгляд Везувий смутился, потому что понял, что мальчик старше него. А сначала Везувию показалось, что тот ровесник.

Мальчик спрыгнул с уступа и сказал высоким тенорком:

- Снег - это с... - он сделал значительную паузу после "с", - ... нег.

Недоуменно поджавшись, Везувий спросил:

- Ну и что?

- Да нет! - взмахнул рукой мальчик. - Вы меня не поняли!

Это "вы" не на шутку насторожило и встревожило Везувия, потому что т а к к нему обратились впервые. Было от чего насторожиться.

Какой-то мальчик, пусть и повзрослее, обращается на "вы".

Везувий сразу же почувствовал, что этот мальчик одинок и играть ему не с кем.

Для полной последовательности своих догадок о нежелании мальчика ни с кем играть Везувий пристальнее вгляделся в его лицо, но ничего такого не заметил, кроме разве все той же бледности, которую прежде отметил.

Вообще он был - этот мальчик - какой-то сонный.

- Не просто снег, - продолжил тот довольно невозмутимо, - а упавший с нег! - И спросил: - Знаете, что такое нега?

- Нет! - бодро признался Везувий.

- Да это очень просто: нега - это нежный. А к нежному прилепляем "с" и получаем - снежный!

Везувий сразу же впал в какое-то странное состояние умиленного слабоумия.

Раньше ему казалось, что он неплохо во всем разбирается, даже кошку выдрессировал. Вспомнив о кошке и о соске, Везувий выпалил:

- Нагинаюсь к ящику, хватаю соску и...

- Нагибаюсь, - бесцеремонно поправил мальчик.

Везувий не совсем понял эту поправку и увлечению повторил:

- Нагинаюсь за соской... Не веришь... Хотите докажу!

Мальчик снял кожаную перчатку, подростковую, точно по его маленькой, бледной, прямо-таки голубоватой руке, нежным указательным пальцем придавил мостик оправы очков и сказал:

- Вы говорите неправильно. Нужно говорить: наги-ба-юсь... от "сгибать"... И не "хочете", а "хотите"... В вашем возрасте это пора уже знать!

Легкая краска стыда выступила на лице Везувия, но мальчик в очках успокоил его замечанием:

- Труднее русского языка нет. Я люблю расцеплять его. Произнесу какое-нибудь слово и сижусь-сижусь, думаю над ним. Вы не пробовали?

- Нет, - успокаиваясь, сказал Везувий.

- Вот слово "дом". Что это за слово? Откуда оно, почему "дом", а не "мод", или "дон", или еще что-нибудь? Армагедон!

- Чего?

- Не "чего", а что, - спокойно сказал мальчик и заложил руки за спину.

Лицо его при этом стало чрезвычайно серьезно. - Дом. Мы говорим слово "дом" и видим вот эту серую каменную глыбу, или этот желтенький домик, или другой какой. А почему? - задал вопрос мальчик и, не мигая, уставился на совсем ошалевшего от напора Везувия.

- Не знаю, - с протяжным вздохом отозвался Везувий.

Он почувствовал, что в этой встрече есть что-то нехорошее для него, что-то постыдное, что поэтому, из соображений самосохранения, нужно бежать скорее отсюда, к с в о и м, с горки кататься, но какая-то властная сила, незримая и необъяснимая, держала его перед этим мальчиком.

- Это неудивительно, - тоже вздохнул мальчик и добавил: - Я сам не знаю...

Улыбка облегчения отобразилась на лице Везувия, и мостик дружелюбия призрачно мелькнул перед его взором.

Мальчик склонил голову и принялся расхаживать из стороны в сторону, как то часто делают взрослые, когда о чем-то напряженно думают.

- Дом, дом, до-ом, дом-дом, дом, до-ом, дом-дом-дом, - бормотал мальчик себе под нос и не останавливаясь ходил взад-вперед.

Не отдавая себе отчета, как-то машинально Везувий тоже забормотал:

- Дом, до-ом, дом-дом, до-ом, дом-дом-дом. - Затем стал делать периоды подлиннее: - Дом-дом-дом-дом, - и покороче: - дом-дом, дом, дом-дом, дом...

- Дом-дом-дом, - вторил ему мальчик в очках, не прекращая своего расхаживания, так что снег утрамбовывался под его ногами.

Везувий в первых тактах “домоговорения” еще различал некий смысл слова, видел, чувствовал еще смысл этого слова, даже дома разновысокие в воображении вставали, но через некоторое, довольно короткое время всякий смысл пропал и оставалась в этом “доме” одна какая-то пустующая долбилка, громыхалка.

- Ну, что мы видим? - вдруг спросил мальчик, останавливаясь.

Везувий задумался, прокрутил про себя еще один цикл “дом-домов” и озаренно воскликнул:

- Вальс!

Прошла минута в молчании.

- Близо, - проговорил мальчик. - Это уже близо. Дом-дом-дом. Я же теперь отчетливо увидел... Что бы вы думали?

- Что? - удивленно расширил глаза Везувий.

Мальчик снисходительно улыбнулся и сказал:

- Колокол. “Дом-дом”... Звонит колокол!

- Колокол “дон-дон” звонит! - не согласился Везувий.

- А кто вам, - произнес и сделал паузу мальчик, - сказал о том, что колокол звонит “дон-дон”, а не “дом-дом”?

- А дзинь?

- Почему не брымь?

- Не знаю, - вздохнул Везувий и увидел показавшуюся из-за угла особняка двоюродную сестру Лизу, растрепанную, в облепленном снегом пальто, с ярко-красными щеками.

- Везувий, пошли кататься! - выкрикнула она и замахала рукой, чтобы он шел к ней.

Везувий подбежал. Лиза шепнула ему в лицо:

- Ты что с этим Юриком-дуриком связался! Mamочка его выставляла на десять минут протряхнуть... Вечно он тухнет дома. У нас с ним никто и не водится! Пошли на горку!

- Не хочу, - твердо сказал Везувий, и его лицо помрачнело.

На горке все было яснее ясного, садись на задницу и кати! А тут что-то образовывалось загадочное, новое, неожиданное.

- Идем! - настойчиво произнесла Лиза. Глаза ее были подозрительно бессмысленны.

- Нет. Не хочу. Я же тебе... Вам, - вдруг неожиданно вставилось, - сказал, что не хочу... Мне тут интересно!

- Ну и дурак! - зло бросила Лиза. Везувий вернулся к мальчику.

- Что я слышал! - с намеком на возбуждение сказал мальчик.

- Вас как-то необычно зовут?

- Везувий, - сказал Везувий.

Значит, везете Вия? - с некоторой долей иронии спросил мальчик.

- Кого?

Внезапно откуда-то сверху раздался голос:

- Юрик, домой!

Везувий поднял голову и увидел в окне четвертого этажа белый фартук, а выше, в форточке, седовласую голову женщины.

- Так вот, - продолжил мальчик, беря Везувия под руку и направляясь с ним к подъезду, - "дом" - это "колокол", а "колокол" - это "кол" о "кол"... Понимаете ход моих рассуждений? Берем один кол, берем второй кол, бьем друг об друга, возникает звук "дом"! Мы идем в колокол, в котором звонит дом.

VI

Дверь открыла та женщина, которая кричала в форточку.

Она вполголоса что-то спросила, отступая назад и впуская в полутемную большую прихожую мальчиков, продолжавших с завидным упорством бормотать нескончаемое "домдомье".

Везувий уставился в большое зеркало, вделанное в стену, отражавшее самого Везувия, вяловатого Юрика и женщину в белом фартуке в полный рост, даже поблескивающий и сладко пахнущий восковой мастикой паркетный пол отражался в этом зеркале, расширявшем прихожую до необъятности.

В недрах квартиры, в одной из комнат, Везувий долго не мог сдвинуться с места, потому что как только ступил на бордовый мягкий ковер, застыл от изумления, обнаружив перед взором стеклянную стену, нечто вроде огромной витрины, как в универсаме, от угла до угла и от пола до потолка, прозрачную зеленоватую стену.

А на Везувия смотрели темные, с влажным отблеском немигающие глаза из-под тяжелых, в шероховатых складках, серо-зеленых век. Едва Везувий шевельнулся, чтобы подойти ближе к стеклянной стене, как веки шевельнулись, хлопнули и вновь эти глаза уставились на него.

Огромная жаба, матово-зеленая, с морщинистой бородавчатой кожей, в золотой короне, сидела на камне и пристально созерцала появление в комнате гостя. Перепончатые передние лапы были широко расставлены, как бы для прыжка. Вдруг возле этих самых лап юркнуло что-то зеленое, шевельнулись листья, и на высоком суку вынырнуло и застыло существо с любопытными запятыми глаз.

Едва Везувий, настороженный и взволнованный, хотел разглядеть это суетливое существо, как оно молнией исчезло в зарослях.

- А куда же ты Вия везешь? - вдруг с какой-то шельмоватой улыбкой спросил Юрик и уставился сквозь линзы своих в тонкой золотистой оправе очков на Везувия.

Очень большими показались эти, скорее всего увеличенные линзами, бледно-голубые глаза Везувию, который воспринял этот вопрос как издевку, насторожился и слегка побледнел. Но тут же заметил в этом вопросе некоторую странность. В чем она заключалась, он сразу не распознал, но что-то в этом вопросе было не так. В следующее мгновение Везувий догадался, что было не так, а именно: не такой была форма обращения: "Что ты..."

- Вы же... меня... на "вы" называли, - нашелся Везувий, чтобы отвлечь внимание Юрика от "везущего Вия".

- Разве не ясно? Для чего - не ясно? - проговорил Юрик и принялся рассуждать: - Это же элементарно. Когда в русском языке люди не знают друг друга и знакомятся, они говорят "вы", а потом переходят на "ты". Мы теперь совершаем переход на "ты". А если сразу незнакомому сказать "ты", он оскорбится и подумает о тебе как о невежде. Конечно, это одна из самых коварных штук в нашем языке. Ну скажи давно знакомому, с которым ты давно на

“ты”, “вы” - он воспримет это обращение как издевку! - Юрик медленно поводил голубоватым указательным пальцем по кончику носа. - Так всю жизнь мы должны испытывать неудобства от этих штук: “колов”, “домов”, “тыкавыков”, “выкатыков”...

Он замолчал и перевел палец с кончика носа к пухлым губам, что говорило о том, что Юрик задумался.

- Тыкать легче, - сказал Везувий. - Ты да мы да мы с тобою!

- Ты-ква, - задумчиво произнес Юрик и загадочно улыбнулся, словно нащупал в этой “тыкве” мясисто-сладкую мякоть. - Ты ква скажи! - Он обернулся к коронованной (то были золотистые наросты-бородавки на голове) жабе и приказным тоном повторил: - Ты ква скажи!

Жаба лениво хлопнула глазами и медленно поползла с камня к желобку с водой - вернее, пошлепала на своих толстых перепончатых, с коготками, лапах.

Когда шли коридором в комнату Юрика, из приоткрытой белой двери до слуха Везувия долетело:

- Как у нее нет невроза? Когда сын заболевает, она проявляет все признаки бессонницы.

Из этой фразы, говоримой мужским тихим голосом, Везувий ничего не понял, кроме: “Сын заболевает...”

В комнате Юрика, небольшой, но светлой, окнами на улицу, одна стена сплошь была занята книгами. Посмотрев на роскошный переплет какого-то собрания сочинений, Везувий с непосредственностью деревенского парня прошептал:

- Как в библиотеке...

Тем временем Юрик выволакивал из-под кровати какой-то плоский деревянный чемодан.

Посапывая и что-то бормоча себе под нос, Юрик принялся выдвигать ящички этого загадочного, как крышка письменного стола, чемодана, и Везувий с восхищением разглядел лакированные иностранные паровозики, рельсы, какие-то провода, лампы, домики...

Эти предметы, ласкающие любой детский взор, отбросили все прежние впечатления, Везувий с каким-то восторженным постаныванием упал на колени, а затем и вовсе лег на пол.

За окнами уже было темно, когда дверь отворилась и в комнату заглянула женщина в белом фартуке. Она сказала, что за Везуviем пришли.

Он с болью воспринял это сообщение, пошел, чуть не плача, против воли, в прихожую.

У зеркала стояла Лиза и со злостью смотрела на Везувию. Когда спустились по лестнице, она, сощурив глаза, сказала:
- Предатель!

VII

Иней на окнах трамвая временами становился синим, это когда трамвай, металлически лязгая сцепкой, постукивая колесами и поскрипывая ими со свистом, как острие топора о вращающийся точильный круг, на повороте, проплывал мимо ярких фонарей.

Дома делать было нечего и делать ничего не хотелось. Сестра Тоня стояла на табурете и, прислонясь ухом к черной бумажной воронке радио, слушала какую-то постановку. Слушала она так потому, что отец сразу же по приезде разделся и забрался на высокую кровать с круглыми блестящими шарами на спинках.

В тесной комнате светилась только маленькая настольная лампа с прорванным абажуром.

Она называлась лишь настольной, потому что, кроме обеденного, старого, квадратного стола, стоявшего в центре комнаты, покрытого выцветшей клеенкой, другого стола, а именно письменного, на которых обычно стоят настольные лампы, не было.

В семействе Лизоблюдовых никто никогда не писал, если не считать письмом машинальное, из-под палки, делание школьных уроков детьми. Брату Коле, которому сровнялось шестнадцать лет, уроков уже делать было не нужно, он работал учеником автослесаря на авторемонтном заводе. Тоня тоже нечасто занималась. Она училась в техникуме, который ей, как она выражалась, "осточертел" и который она собиралась бросать.

Оставалось лишь Везувию делать уроки. Но, как правило, он их делал через раз, более надеясь на то, что успешно перекачает их у кого-нибудь прямо на уроках.

Заливистый храп полился по комнате. Затем превратился в грозно рычащий, сотрясающий даже чашки в старом самодель-

ном буфете, который когда-то привезли из маминой деревни и где его сработали местные краснодеревцы, с витыми стойками между верхней и нижней частью, с мелкими дырочками от жучков.

- Васька, да пни его в бок! - раздраженно прошептала Тоня, впиваясь взглядом в черную тарелку радио. - Так же жить невозможно!

- Чего вылупилась! - шикнула на нее мать из-за ситцевой занавески, где был чулан с шаткой тумбочкой и сундуком.

- Ладно тебе, мам, защищать-то его все время! - огрызнулась Тоня. - Храпит как в хлеву!

Полная мама вышла из-за занавески в одной нижней рубашке и прошлепала босыми ногами к кровати, потянулась, подвязала волосы сзади ленточкой и легла возле отца, беззлобно тронув его полным локтем в бок. Иван Степанович как-то весело улюлюкнул во сне, повернулся на бок, лицом к стене с домотканым ковриком с пальмами, и затих.

- Васька, Тонька, лягайте немедленно! - погрозила мать пухлым кулаком и закрыла глаза.

Буквально через минуту она уже спала, нежно посвистывая и покрывшись испариной.

Везувий сел на пол у своей высокой раскладушки на деревянных скрещенных ножках и задумался. Затем он заметил жирного бордового клопа, неспешно идущего по рейке раскладушки.

Везувий нацелился и ухватил клопа, еще не зная, что он с ним будет делать.

И так, держа его в вытянутых пальцах, встал с пола, прошел к буфету, придвинул осторожно рыжий, пропитанный морилкой табурет, влез на него, отворил дверцу и вытащил стакан.

Через мгновение клоп уже лежал кверху лапками на дне этого стакана. Табурет покачнулся, Везувий упал, стакан разбился.

- А, что, где?! - вскрикнула мать спросонья, но тут же вновь забылась.

Когда Везувий забрался на свою раскладушку и некоторое время лежал с открытыми глазами в темноте, потому что Тоня уже устроилась на своем узком продавленном диванчике и погасила свет, пришел брат Коля, в потемках пошарил за шкафом, доставая матрац, скрученный в рулон. Коля расстелил свою постель на полу между столом и раскладушкой Везувия.

От Коли сильно пахло водкой, и Везувий, почуяв этот знакомый, веселящий запах, догадался, что Коля ходил еще после гостей к своим ребятам.

Везувий затих.

В комнате было душно, и спать не хотелось. Периодически Иван Степанович начинал храпеть, но чуткая мама вовремя давала ему в бок локтем, и он затихал.

Вдруг Везувий с испугом подумал о том, что Юрик, забыв о нем, оставит его в полном одиночестве.

Везувий лежал не шевелясь.

Неподвижность его была такова, что в паузы храпа отца он различал тиканье будильника, которому вторили удары собственного сердца.

Вкус к новизне впечатлений, под влиянием которого дети, с большей или меньшей искренностью жаждущие приобщения к этой новизне, посещают незнакомые места, где они могут следить за необычным, заставляет их отдавать предпочтение этим новым местам, довели неизвестным, подающим надежды на какой-то более высокий склад жизни, - надежды, находящиеся еще в расцвете, тогда как в отношении собственного места обитания дети утратили всякую свежесть восприятия, потому что это место обитания поблекло в их воображении и ничего уже не говорит их чутким сердцам, ибо они уже знают сильные стороны других мест.

Утром Везувия растолкала Тоня, сонная, с торчащими волосами, с красной полосой на щеке от складки подушки. Она, принюхиваясь, брезгливо сказала: "Зассанец!" - накинула халатик и пошла на кухню умываться. Везувий дрожал, как будто спал на льду.

VIII

Иван Степанович приходил с работы до того усталым, что, наспех поужинав, валился на двуспальную высокую кровать, валился, словно какая-нибудь глыба, и переставал жить вплоть до того момента, когда ему ранним утром, в темноте, пора было проснуться и встать, - поэтому Иван Степанович никогда не мог сделать хоть какие-нибудь мелкие наблюдения в области сна, не говоря уже о больших открытиях, он просто спал, едва зная о том, что спит.

В воскресенье, когда он к обеду выпивал четвертинку, то, улыбаясь и упирая локти в стол, начинал рассказывать о Нолике, о том, почему его так называли: мать сказала, что Герке хватит рожать щенят, а этот родился внеплановым, вот и нарекли его Ноликом...

- А почему ты плакал у дяди Володи? - вдруг спросил Везувий, чем поверг отца в глубокую задумчивость, свойственную ему в трезвые минуты.

В комнату вошла мама, подпоясанная полотенцем. Проходя мимо отца, она пожала плечами и сказала певучим голосом:

- Сходил бы куды с ребенком.

Отец горестно вздохнул и сделал такое жалостное лицо, как будто собирался просить милостыню, хотел что-то ответить, но промолчал.

Глаза его сильно заморгали.

Везувию показалось, что отец сейчас заплачет, поэтому Везувий сам как-то печально притих, едва заметно побледнел.

Отец закурил папиросу.

Пока папироса дымила, он смотрел в потолок и покачивал головой в такт какой-то протяжной песне, которую напевал про себя, и все думал о чем-то. В обычной жизни глаза Ивана Степановича выражали рассеянность и усталость, огнем мысли они зажигались лишь тогда, когда ему приходилось обращать взор в свое детство.

И этот огонь теперь зажегся в его взгляде.

Но отец продолжал молчать.

- Ишь, насупился! - сказала сердито мама. Она вышла из комнаты, но затем вернулась с тарелкой дымящихся щей, поставила перед Везувием.

- Ешь! - сказала она.

- Отца у-убили! - вскричал отец вздрагивающим голосом и закрыл лицо ладонями.

Мама протяжно вздохнула и произнесла:

- Ну, напилси! Поди проветрись!

И пошли, после того как Иван Степанович умылся. У ларька отец взял сто граммов с "прицепом", то есть с кружкой пива, и бутерброд с килькой. Везувию купил шоколадку. Далее в магазине он купил четвертинку и сунул ее в карман. Купил еще жирную селедку и нес ее домой в ржавой бумаге на вытянутой руке.

- А где хлеб-то? - пробурчала мама.

- Я сбегая! - вызвался Везувий и, прихватив авоську, побегал в булочную.

Прозвонил трамвай, взглянув на который Везувию сразу же захотелось ехать в гости. Из трамвая вышел, подпрыгивая на грушевидной деревянной ноге высокий, исхудалый мужик с красным волосатым лицом. Везувий отвернулся, и ехать в гости почему-то расхотелось. У булочной сидела на приступке безглазая старуха, закутанная в черные сальные платки, и держала согнутую руку, в щепоти которой поблескивали медяки.

Вернувшись домой, Везувий обнаружил вполне идиллическую картину: отец храпел на кровати, а мама клевала носом в чулане, сидя на сундуке, держа в руках недоштопанный носок с воткнутой в него иголкой.

Примостившись на полу, Везувий рисовал зеленую жабу в золотой короне, но когда пришла Тоня, ему рисовать расхотелось. Чуть позже пришел брат Коля. Он странно держал голову, все время одной стороной к Везувию. Ясно, с другой стороны был лилово-черный синяк, который чуть позже Везувий заметил.

Тоня, умытая, с полотенцем на плече, села к столу с маленьким зеркальцем и, глядя в полутьме на свое лицо, принялась выщипывать себе брови пинцетиком. Когда Коля увидел этот пинцетик, то сказал:

- Хахаля, что ль, завела?!

Тоня взвилась и ударила Колю кулаком по спине. Во всей ее тонкой фигуре сквозила ненависть.

Утончив брови. Тоня встала на табурет у стены, где висело радио, и принялась что-то слушать. Ее рыжевато-золотистые крашенные волосы, темные глаза с длинными ресницами, смуглые щеки, подкрашенные губы с трудом напоминали Везувию ту Тоню, к которой он привык с детства и которая изменялась теперь с каждым днем, все более удаляясь от привычных представлений о ней.

Везувий сидел на полу и какими-то новыми глазами смотрел на сестру, не мог отвести взора от ее лица, от ее черных глаз, от ее замечательно сложенного тела, от ее высокого стана. Через какую-нибудь секунду Тоня уловила на себе этот неподвижный взгляд Везувия и шепотом выпалила:

- Чего вылупился!

А потом, не двигаясь с места, прилипла ухом к едва слышно бормочущему радио.

Коля уныло прижимал пятак к синяку.

Проснулась в чулане мать, громко зевнула, разделась и, подходя к кровати, где начинал возвышаться храп отец, перекрестила все еще зевающий рот и легла под одеяло, тут же локтем уgomонив “песню” отца.

- Лягайте! - пробурчала она и тут же заснула.

- Не “лягайте”, а ложитесь, - прошептал Везувий, только теперь почувствовав всю “невкусность” слова “лягайте”.

- Ты, грамотей! - крикнула Тоня с табурета. - Клеенку не забудь подстелить!

IX

“К кому бы пойти в гости?” - думал Везувий, сидя на уроке, и озирали одноклассников.

Везувию хотелось этим взглядом, полным надежд, отыскать хоть кого-нибудь, у кого бы было столь же интересно дома, как у Юрика, даже пусть не так уж, но все же более интересно, нежели в комнате у самого Везувия.

Подумав, Везувий решил ходить в гости по порядку, с первой парты у окна, где в солнечном свете сидел сутуловатый, скуластый Керимов.

На перемене Керимов втянул голову в плечи и недоуменно посмотрел на Везувия узкими глазами.

- Мне бутылки сдавать мамка велела.

- Я помогу! - воодушевился Везувий. - А потом поиграем у тебя.

- Давай, - как-то равнодушно сказал Керимов. Когда пришли к нему, Везувий сразу же печально вздохнул, обнаружив, что Керимов живет в тесной подвальной комнате рядом с кочегаркой, что в комнате, кроме узкой солдатской койки, тумбочки и раскладушки, ничего не было. Даже вешалки не было, ее заменяли два гвоздя, вбитые в стену...

Рядом с Керимовым в классе сидела Силуанова, довольно красивая беленькая, как снежинка, девочка. Но девчонок Везувий не принимал в расчет. За Керимовым сидел узколиций Шмаров. На другой день Везувий вызвался навестить его.

- А чего, пошли! - согласился тот.

Везувия смутила седая, сморщенная старуха, лежащая на кровати в углу.

Она лежала неподвижно, и мальчики скоро о ней забыли, потому что у Шмарова были оловянные солдатики. Но у Везувия пыл игры быстро пропал, он нет-нет да вскидывал голову и оглядывал комнату, как бы стараясь обнаружить нечто, что бы его увлекло.

- Твой пулеметчик убит! - вскричал Шмаров.

Везувий встал с пола и с сожалением сказал, оглядывая облезлый шкаф, тумбочку, стол с клеенкой и стоящую на ней сковороду с гречневой кашей:

- Я пойду...

- Чего ты?

- Не "чего", а что, - мягко сказал Везувий...

В комнате у Семушкина, рыжего, веснушчатого мальчика, который сидел на третьей парте, Везувий обнаружил какое-то бабье царство со всеми сопутствующими этому царству приметами: везде лежали чистенькие матерчатые и тюлевые салфеточки, на кроватях виселись горы подушек под легкими накидками, свисали до самого пола узорчатые подзоры...

Одна пожилая, светлая женщина в платочке в горошек вязала длинными спицами.

Другая, полная, розовощекая, шила на руках.

Третья, в пестром ситцевом халате, в зеленой вязаной шапочке с кисточкой и в мягких байковых тапочках, стояла у стола нагнувшись, что-то раскраивала большими ножницами.

В то время как Везувий мысленно давал оценку этому бабьему царству, рыжеволосый Семушкин извлекал из огромного кованого сундука, из которого сильно пахло нафталином, круглые пяльцы, с зажатой в них, как кожа на барабане, тканью, на которой крестиками был вышит попугай.

Женщина, кроившая у стола, отложила ножницы и, как заметно было, в самом гостеприимном расположении духа спросила у Везувия:

- А ты умеешь вышивать?

Что можно было ответить на это? Везувий отрицательно покачал головой и принялся наблюдать за тем, как Семушкин ловко бордовыми крестиками расцвечивал хохолок попугая...

Весной, у отличника Маланчука в семиметровой комнатке в коммуналке, Везувий научился играть в шахматы.

Х

Сунув какой-то тугой сверток за шкаф, брат Коля деланно потянулся, мельком взглянул на Везувия, который что-то увлеченно колотил молотком на полу, и вышел в коридор. Везувий сплющивал ушко на серебристой отцовской медали “За боевые заслуги”, чтобы эта медаль выглядела как битка для игры в расшибалочку.

В полу образовывались вмятины и ушко плохо плющилось. Тогда Везувий решил достать из-за шкафа гирю, с которой иногда упражнялся Коля. Везувий деловито потянул на себя эту запывившуюся гирю, и ему на голову свалился из щели увесистый сверток. Прошелестев бумагой, Везувий изумленно обнаружил отрез плотной ткани, из которой обычно шили мужские костюмы: темно-синий в полосочку.

Через некоторое время, успешно сплющив ушко медали, Везувий вышел в коридор, в уборную. Дверь была закрыта. Везувий, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, подождал некоторое время.

Шумно проорчала вода, и дверь открылась.

- Заходи! - весело сказал Коля.

Сам Коля выходить из уборной не собирался. Он тут же закрыл дверь на крючок, вытащил из кармана спички. достал одну, послунял языком кончик ее, потер о стену, где была побелка, затем, быстро чиркнув, выщелкнул горящую спичку в потолок. С шипением спичка прорезала воздух, и, пока Везувий соображал, зачем все это, спичка прилипла послунявленным с побелкой концом к потолку и прикоптила его.

Везувий увидел множество обугленных, до его прихода сгоревших на потолке спичек и черные круги возле них.

Когда на пороге комнаты появился Иван Степанович, в засаленной телогрейке, подпоясанной фронтовым ремнем, в ватных брюках, кирпичных влажных сапогах и с тяжелым вещевым мешком с картошкой за плечами, Везувий выпалил:

- Колька весь потолок в сортире испортил! Искры вспыхнули в глазах отца, недобрые искры, которых прежде не подмечал

Везувий, и отец, медленно стащив с себя мешок и привалив его к стене, распоясался и неожиданно хлестко и больно стеганул им по заднице Везувия. Тот взвился как пламя и заслонил зад руками.

- За что?! - завопил он истошно. Порывисто втянув в себя воздух, отец крикнул:

- А чтоб не до-окла-ады-ывал! - Это "докладывал" он произнес таким гневно-ироничным тоном, что Везувий почувствовал к этому слову отвращение.

Коля, беспечно сидевший на диване и все это время от нечего делать ковырявший пальцем в носу, вздрогнул, побледнел и боязливо втянул голову в плечи.

Иван Степанович, не раздеваясь, стуча каблуками сапог, с широким ремнем в руках, быстро сходил в уборную и, вернувшись, с лицом мрачным и гневным, схватил Колю за шиворот, так что затрещала рубашка, отбросил ремень и ударил Колю в лицо огромным кулаком.

Клок рубашки остался в руке Ивана Степановича, а Коля, сбив и опрокинув стол, валялся, постанывая, на полу. Кровь сочилась из носа и губ.

Иван Степанович откинул занавеску чулана и, опустив глаза, часто дыша, принялся раздеваться. Когда он снимал сапоги, взгляд его задел оберточную бумагу, высовывающуюся из-за шкафа.

Иван Степанович, в одном сапоге, поднялся и вытащил сверток. Развернув его, увидев новую ткань, он недоуменно поднял голову на Колю, который теперь неподвижно стоял в центре комнаты у опрокинутого стола, и отрывисто спросил:

- Откуль?!

Коля сделался блее побелки, задрожал и, отчетливо понимая, что вранье здесь не пройдет, едва слышно вымолвил:

- С ателье...

- С какого такого ателье?! - грозно бросил Иван Степанович и, подойдя к Коле, наотмашь ударил его свертком по лицу. - Ах ты гад паршивый! - взревел отец. - Воровством занялся! Я тебе ж все ноги повыдергиваю! - Отец брезгливо бросил дорогой отрез шевиота на пол и, отойдя к сундуку, сел. - Я всю жизнь ишачу. копейки нигде не взял чужой...

- Может, он купил, - не к месту вставил Везувий, но отец посмотрел на него из-под черных кустистых бровей таким диким взглядом, что Везувий моментально затих.

Отец уже более спокойно, но все еще прерывисто дыша, продолжил:

- Вот будет лежать - не возьму! - махнул он рукой. - Пропади оно пропадом! Ни в жисть никогда ничего не брал! Избави бог! А что я не мог взять? Да вон на пивзавод приезжаю. Бери! Не-эт, Ванька чтобы где чужое взял?! Лучше удавлюся с горя от нищеты, не возьму! - Он стащил с запертых ног мятые портянки и сунул ноги в тапочки, которые робко поднес ему Везувий. - Бери эту тряпку, - отец кивнул на отрез шевиота, - и носи с глаз долгой! И чтобы я больше не видел! - Он зло постучал оттопыренным указательным пальцем по ребру сундука.

Вошла мама с полными сумками, удивленно спросила:

- Чой-то разоралися, со двора все слышно?

- Вона, - кивнул Иван Степанович на отрез, - специалист приволок!

Мать всплеснула руками, заметив вспухшую, кровавую щеку Коли и опрокинутый стол.

- Вора не потерплю у себя! Убью! - сказал Иван Степанович, перекинул полотенце через плечо, взял мыльницу и, вздрагивая спиной, пошел на кухню умываться.

- Ай, Колька, ирод, прости мене, царица небесная, что ты творишь, на какой позор всю нашу семью ставишь! - жалобно заголосила мать.

Коля вонзил испуганный взгляд на Везувия и шепнул ему:

- Пошли, оттараним тряпку, на шухере постоишь...

- На шухер я не пойду и с тобой водиться больше не буду, - вымолвил тоскливо Везувий и, глядя на мать, заплакал.

Коля поспешно, пока отца не было, оделся, подхватил отрез и поволок его "возвращать" в ателье...

Когда отец сидел за столом и ужинал, в коридоре раздался женский вопль и в комнату ворвалась и пугливо застыла угловая соседка в расстегнутом на пышной груди халатике. Увидев Ивана Степановича, соседка на мгновение затихла, поспешно запахнула халат, а уж затем взмолилась:

- Утихомирь, Иван Степаныч, господом богом прошу! - Лицо соседки было красно от слез. - Ногами бьет, сво-олочь!

- Этого мене еще не хватало! - недовольно пробурчал Иван Степанович и, отложив ложку, встал.

Везувий, напуганный визгом соседки и предшествующими ее появлению событиями, осторожно пошел за отцом в угловую ком-

нату. Там лежал у кровати обычно добродушный пьяница-милиционер дядя Гриша и с каким-то неистовством бился головой об пол.

- Ну, чево дурака-то валять, - миротворно прогудел Иван Степанович и принялся поднимать дядю Гришу, который был в нательной рубаше, темно-синих с красной жилкой по бокам милицейских штанах-галифе и в хромовых, сильно пахнущих гуталином сапогах.

Сначала дядя Гриша забрыкался, но, различив мутными глазами соседа Ивана Степановича, утихомирился и не противился положению на кровать.

Только тут выползла из-под кровати бледная, дрожащая девочка лет пяти.

- Он мамку бьет! - сказала та.

Когда вернулись в комнату, жена дяди Гриши сидела на сундуке и о чем-то достаточно беззаботно судачила с мамой.

Доев ужин, отец медленно разделся и лег. Везувий сказал:

- Пап, у твоей медали я ухо сплющил, чтобы в расшибалочку играть. - И опустил повинную голову.

Но к удивлению, отец равнодушно воспринял эту новость, зевнул и сказал:

- И играйси... Только не шали... Играйси!

Через минуту легкий храп полился по комнате. Везувий сидел на полу и о чем-то напряженно думал, чесал затылок и вздыхал...

В воскресенье, ранним утром, отец сосредоточенно водил по густо намыленным щекам опасной бритвой, а Везувий, поглядывая на него из холодящей тело раскладушки, спрашивал:

- Пап, ты куда?

- Собирайси, - сказал отец, оттягивая кверху нос, чтобы тщательнее выбрить под ним, - в гости к дяде Володе...

Везувий возликовал, переоделся в сухие трусы, мокрые с простыней сунул в бак, клеенку повесил на веревке в чулане, сложил раскладушку и сунул ее за шкаф.

Чисто выбритый, свежий, подтянутый Иван Степанович не спеша и с достоинством шел к трамвайной остановке, поддерживаемый чинно под руку мамой, и дымил "Беломором". Впереди, задыхаясь от волнения, вышагивал в выглаженных, бывших Колиных брючках Везувий, чуть склонив корпус, потому что нес тяжелый аккордеон.

Везувий испытывал какое-то неизъяснимое удовольствие от того, что так быстро и дружно собрались все родственники, которые должны были в этот день собраться у дяди Володи, и причем без особого приглашения, а совершенно самостоятельно, потому что все знали, в какой день у дяди Володи день рождения, поэтому приехали по собственной воле и желанию.

Еще Везувию понравилось, что предложение тети Поли садиться за стол было немедленно приведено в исполнение, а тост во здравие дяди Володи, произнесенный Иваном Степановичем, столь же немедленно и с необычайной готовностью единодушно реализован.

Через некоторое время, когда Везувий заиграл на аккордеоне, Иван Степанович не преминул вставить свое традиционное замечание, что его сын будет выступать в Большом театре, и слова эти доставили Везувию известное удовольствие, и после того, как отзвучало танго, Везувий уже чувствовал себя вольной птицей, тем более что старших детей не было и никто его не просил играть столь долго, как это было в прошлый раз.

Хотя все и так за столом хорошо ели, тем не менее тетя Поля продолжала потчевать гостей, и, потчуя, она так твердо была убеждена в том, что предлагает им самую изысканную пищу, что эта убежденность передавалась гостям и они ели еще аппетитнее, прямо-таки за двоих, хотя на сей раз на столе ничего особенного не было, зато шел оживленный разговор братьев-шоферов о карбюраторах, аккумуляторах, коленвалах; и женщин - о холодце, заливном из трески и о соотношении муки и дрожжей в пирогах...

- Погоди! - сказал дядя Коля. - Сначала ты выпей...

Глядя на румяное, возбужденное, доброе лицо дяди Коли, на его пиджак с орденом Красной Звезды на лацкане, Везувий вспомнил о медали "За боевые заслуги", хотел спросить что-то у отца, но промолчал, потому что почувствовал, что настал тот момент, когда можно поставить аккордеон к кровати и выскользнуть из комнаты, ибо гул за столом нарастал и вряд ли бы кому пришлось теперь в голову слушать аккордеон в этом шуме.

Везувий вышел во двор, огляделся, заметив в тени у стен дома слежавшийся почерневший снег. Движимый радостным чув-

ством встречи с Юриком, Везувий вздохнул, и этот вздох был знаком благодарности родителям за то, что они вновь приехали в гости к дяде Володе, который по счастливой случайности проживает в одном дворе с Юриком.

Поднявшись к его квартире, унимая расхолодившееся сердце, Везувий позвонил и в страхе подумал о том, что Юрика может и не быть дома.

За дверью, лаково-желтой, послышались шаги, щелкнул замок, прогремела цепочка, на пороге показалась невысокая, худощавая, голубоглазая женщина в темном платье, с золотыми сережками в маленьких ушах.

- Мне к Юрику, - сказал кротно Везувий.

- А вы кто?

Невидимая преграда этого вопроса смутила Везувия, он потупился и, как бы стесняясь своего дрожащего голоса, сказал:

- Везувий.

Женщина пожала острыми плечами и сделала шаг назад.

Сосредоточенный и бледный, поблескивая очками, из своей комнаты показался Юрик, но, увидев Везувия, не проявил особой радости, лишь сунул руки в тесные карманы брюк и как-то сонно произнес:

- А-а, это ты...

Нельзя сказать, что он был неприветлив, однако Везувию стало уже не так весело, как до встречи. Везувий принялся снимать пальто с непосредственностью Иванушки, которому всегда рады, но Юрик остановил его словами:

- Я сейчас занят, не могу принять тебя. Везувий, еще не понимая, что его попросту выставляют, выпростал уже одну руку из рукава, но Юрик медленно подошел к нему, взялся за освобожденный рукав и помог Везувию попасть в него рукой. Везувий не на шутку приуныл, но это, как видно, Юрика ничуть не тронуло.

Юрик, видя, что пришелец мешкает, вторично напомнил ему, что он занят, напомнил на этот раз весьма решительно, но без всякой неприязни к Везувию, а скорее даже с некоторой грустью в голосе и отечески озабоченным тоном.

Теперь Везувий испугался, почувствовав страшную тяжесть на душе.

Но он никак не мог собраться с духом, чтобы спросить о причине столь холодного приема, и у него даже не хватило смелости посмотреть Юрику в глаза, потому что все было так неловко.

Сейчас Везувий - должно быть, впервые в жизни - испытывал тревожное чувство зависимости от этого нового приятеля: вид его был тягостен Везувию, но и без Юрика ему было тоже не по себе, так как Везувия все время тянуло к нему. Везувию не хотелось оставаться одному, а, кроме того, он надеялся, что, быть может, Юрик через некоторое время согласится выйти во двор погулять, поэтому Везувий спросил:

- Я подожду во дворе? - Как бы воззвав этим вопросом к снисходительности и ожидая встретить доброжелательное отношение к себе.

- Право, мальчик, какой вы непонятливый! - сказала женщина. - Юрик занят. Идите гуляйте! - добавила она с некоторой долей раздражения и потрогала тонкими пальцами с алыми копытными маникюра ухо с золотой сережкой.

Обескураженный Везувий почувствовал холод на спине, растерянно взглянул в зеленоватое зеркало и, пятясь задом, вышел. Дверь за ним захлопнулась. Не в силах ни о чем думать, Везувий отвернулся от закрытой перед носом двери, посмотрел в угол и почувствовал себя несчастным, бесконечно обиженным и попытался побороть в себе это чувство одиночества и покинутости, ледяными волнами разливавшееся у него в груди; с такой остротой и силой, на какую способны лишь люди, прожившие долгую и сложную жизнь. Но все же в этой непроглядной мгле уже мерцала искорка надежды на возможное примирение с Юриком.

Словно пытаясь во что бы то ни стало разуверить себя в том, что Юрик не пустил его к себе, что все это действительно случилось, Везувий неторопливо спустился по лестнице и вышел во двор. Солнце подкрадывалось к черной льдинке у стены, лизало край ее теплым языком луча, как младенец леденец, и робкие разводья струились на уже подсохшем пыльно-сером асфальте.

За столом гремел своим биндюжным басом Иван Степанович. Везувий взял аккордеон и, чтобы отвлечься, заиграл, а Иван Степанович, поводя на сына черными мохнатыми бровями, никак не мог понять, какую он песню играет, бодрую или тоскливую, потому что было то очень грустно, даже плакать хотелось, то становилось смешно.

Дядя Коля, сбросив с плеч пиджак, вдруг вскочил из-за стола и громко затопал на одном месте сапогами. Тетя Поля, с выбившейся из-под заколки серебристой прядкой, прошла от стола

к шкафу, растопырив руки, взвизгнула и стала молотить пол каблуками туфель.

- Что чтой-то приунывши? - ласково спросила тетя Поля, когда Везувий перестал играть.

- Да так, - сказал Везувий и подошел к столу. - Пап, а почему у тебя нет ордена? У дяди Коли вон звезда...

Иван Степанович качнул головой, подумал и очень громко сказал:

- Красномордый майор зато увесь в орденах ходил!

- Да потише ты, орово! - вскричала звонко мать.

- На передовую и снаряды и... и-ых... бочки с бензином! - продолжал Иван Степанович, не уменьшая громкости, не слушая жену, с обидой в голосе. - Сколь-ки разов могли похоронить! Однажды козырек фуражки прострелили! Еду полем, вижу, летит. И поливает, гад! Я из кабины, в ямку. Землей себя присыпаю. А он - разов десять заходил, и все норовит поджечь машину! Все бочки изрешетил. А майор себе ордена выписывает. Сидит, зад от стула не подымает и - вся грудь в орденах! А нашему брату Ваньке - по медали бросили в конце...

- Это правильно! - поддержал дядя Володя и насупился.

- А и что, нет, что ли! - воодушевился Иван Степанович. - Обещали, воюйте, после войны вам все льготы выйдут. И транспорт бесплатно, и жилье дадут... Чего тольки не обещали! И-ых! Вранье!

- Ладно буровить-то! - несурово сделала замечание мать. - Писать-то у Кремль-то! Вас, Ванек-то, столько, что на всех орденов и жилья не напасешься!

- А и что? - глаза Ивана Степановича вспыхнули. - Напишу самому Хрущеву! Мол, так и так, Никита Сергеич, воевал-воевал, а толку - пшик!

XII

- Чевой-то я должна с ним ехать! - вскричала сестра Тоня и покрылась от злости малиновыми пятнами.

- Индо лопнешь, кобыла бесстыжая! - окоротила ее мама и всплеснула руками, затем, прищуривая глаза, добавила: - Как-никак он брат тебе родный! Чо ему шляться по двору, пушай в деревне побегаат!

Тоня держала в руках тарелку и остановившимся взглядом смотрела в ее золотой ободок. Через мгновение она подняла глаза на Везувия, который робко сидел на диване и ждал того момента, когда сестра согласится, чтобы ехать с ним в деревню к бабушке. Везувию очень хотелось отправиться в деревню и спать там на сеновале.

Оглядев Везувия с ног до головы, Тоня взмахнула рукой с тарелкой, побледнела и запустила эту тарелку в Везувия, но тот даже не успел испугаться, потому что тарелка просвистела много выше и с дребезгом разбилась о стену.

Мама побелела, вцепилась дочери в волосы и стала трясти ее голову, взвизгивая:

- Шура барабанная! Ростила ее, ростила, а она совсем от рук отбиласи!

Вагон был старый, с жесткими, отполированными многими пассажирами за долгие годы поездок сиденьями. На столике у окна Тоня расстелила газету и принялась бить об угол и чистить на эту газету яйца, сваренные вкрутую. Везувий, с радостью перенося все невзгоды поездки, вызванные упрямством сестры, ел даже свои нелюбимые крутые яйца, с черным ободком вокруг желтка, заталкивая их в рот как камни.

Дом бабушки стоял на горе. Дом был старый, с подгнившим нижним венцом, с утонувшим в земле деревянным свайным фундаментом, с посеревшими стенами. Внутри дом был оклеен газетами, пожелтевшими, довоенными.

Справа к бабушкиному дому лепился брошенный, без крыши, домик, заросший крапивой и кустами бузины. Домик бросили в столь давние времена, что сквозь пол проросла береза и ее зелено шумящая крона возвышалась над домиком вместо крыши. Между домами был прогончик метра в полтора шириной. По приезде Везувий там сразу сделал "секрет" из фантиков и бледно-желтых цветочков, все это накрыв кусочком пыльного стекла.

Изредка бабушка украдкой косила траву на задах, потому что эти "зады" ей уже не принадлежали, как когда-то, но нужна была трава, потому что у бабушки была коза. Бабушка скашивала траву, а Везувий охалками таскал ее к окнам дома, создавая видимость, что траву накосили прямо перед домом.

Еще он ходил с бабушкой за травой в лес с холщовыми мешками. Когда трава, которую ворошили деревянными граблями,

подсыхала на солнце, ее Везувий перетаскивал на сеновал, который помещался над некогда шумным скотным двором, пристроенным к дому сзади. Теперь же скотный двор был заброшен, доски стен сгнили, сквозил ветер и кое-где росла трава. Но настил сеновала был прочен, как были прочны и деревянные сваи, глубоко осевшие в песчаную почву.

С другой стороны был, не в пример брошенному и даже бабушкиному, ухоженный дом, где жил мальчик, с которым Везувий играл, ходил на рыбалку...

Однажды они пошли за грибами. Плотный туман лежал в низине, вдоль оврага, и с горы казалось, что это река. Золотисто-зеленое поле пшеницы мигало лазоревыми огоньками васильков. Когда мальчики спустились вниз по пыльному проселку, между колеями которого кустилась серебристая пахучая полынь, вихрастые головы их утонули в белой дымке, как в молоке. Под ногами хрустел валежник, поскрипывала влажная трава, пахло гнилью и грибами. Но до грибов было еще далеко - нужно было подняться из оврага, вынырнуть из туманной реки, преодолеть холм и железнодорожную линию за ним. В овраге теснились высокие, раскидистые, со снежными полушариями соцветий трубчатые дягили. Тоскливо, на одной долгой и высокой ноте кричала какая-то птица.

- Это птенец! - наставительно сказал Петя, соседский лобастый мальчик. - Птенец кричит потому, что есть хочет. Сейчас мать его прилетит с длинным червяком - и птенец утихнет.

Действительно, через некоторое время, когда мальчики уже поднимались по освещенному солнцем холму, крик прекратился. Сладко пахло вязолистной таволгой, тут и там вынырывающей из плотной зелени кремовой кипенью метельчатых соцветий. Рябили пунцовые венчики луговых гвоздик. Над самой землей теплый воздух подрагивал и монотонно звенел от разнообразного насекомого. Рубашки и шаровары мальчиков были покрыты туманной изморосью, золотящейся на солнце.

- Наелся, - сказал Везувий, остановился и посмотрел в белый овраг задумчивым взглядом.

- У тебя сколько биток? - спросил Петя, нагибаясь и срывая длинную метелку осота, возвышавшуюся над синью скученных цветов грабельника. Глаза у лобастого Пети были большие и хитроватые, он слыл за менялу.

- Вместе с медалью?

- Да вместе...

- Ну, тогда штук десять будет! - выпалил Везувий, ускоряя шаг.

Когда мальчики дошли до линии и взобрались, громко хрустя щебенкой, на насыпь, Петя, сосредоточенно оглядывая свои прорванные на мизинцах ботинки, сказал:

- Хочешь, я тебе лучшую свинцовую отдам? А ты мне - медаль?

Везувий сел на теплый рельс, почесал в задумчивости черноволосую голову, уставился неопределенно на Петю, но промолчал. Петя деловито ходил около него по линии, переступая широкими шагами через две шпалы.

- Что, не согласен? - спросил он.

- Не-а, - смущенно выдавил Везувий и добавил: - Медаль не могу... Ее отцу на фронте в конце бросили...

- Как это "бросили"? - спросил Петя.

- Как-как! За то, что ишачил всю войну!

- Подумаешь! - небрежно сказал Петя, нагнулся, стал водить рукой над камнями насыпи, словно колдовал, поднял зернистый красный, с черными вкраплениями, кусок гранита и, подбрасывая на ладони, посмотрел на Везувия.

- Не... Сказал - не могу... Мне отец дал поиграть, понял!

- Ха-ха! Отец в медаль дал играть! Ври больше! Стирил, а врет, что дал! Ха-ха! - крикнул Петя, изогнулся и швырнул камень в кусты. Послышался быстрый, скользкий хруст и глухой удар о дерево.

- Чего ты смеешься! - обиженно воскликнул Везувий, ковыряя заплатку на колене шаровар.

- Чего-чего... Да потому что дурачок твой отец, если в медаль разрешил играть! - выпалил Петя.

Лицо Везувия побледнело, рот открылся от неожиданных слов. Ничего не ответив, Везувий поднялся и, быстро сбежав с насыпи, крикнул:

- Не ходи за мной! Я сам знаю, где есть грибы!

Петя пожал плечами, посмотрел вслед обидчивому плечисто-му мальчику и зашагал уверенно по промасленным шпалам.

Тем временем Везувий, стиснув от обиды зубы, подняв руки, пробирался сквозь заросли высокой крапивы и бордовых, в бе-

лом пуху пик голенастого иван-чая. В лесу было сумрачно и сыро. Здесь росли тонкоствольные осины, рябинки, елки. Вообще лес был невысок, загущен, со множеством сухих деревьев и кустов. Все это было окутано легким туманом, пахло болотом, с папоротников сыпались брызги, ноги быстро намокали.

Некоторые засохшие елки были пламенно-рыжими и издали напоминали костер.

Весь в паутине и в ржавых иголках, Везувий, не зная дороги, выбрался к черному, затянутому болотной ряской озерцу. Мягкий изумрудный мох под ногами прогибался, земля чавкала, в ботинки заливалась вода. По хлипким берегам озерца росли молодые березы, в черную воду врезалась поросшая осокой и камышом коса. Везувий пошел к этой косе, и вдруг под ногами что-то громко захлюпало, деревья прыгнули вверх, тело обожгло холодной, черной водой и резко запахло гнилью.

Везувий не успел даже ойкнуть, как оказался по шейку в густой, болотистой жиже. Он выхватил из этой жижи руки, хотел опереться на мшистую кочку, но она поехала вниз, булькнула и исчезла под водой.

Глаза Везувия расширились, в них промелькнул ужас, лицо стало белым, как у мельника.

Везувий почувствовал, что кто-то грубый и сильный вцепился в его промерзшие ноги и потянул вниз. Чтобы не захлебнуться, Везувий запрокинул голову и заметил за спиной тонкий розовый ствол. В отчаянье он сделал выпрыгивающее движение, развернулся в гнильем воняющей жиже, вскинул руку и ухватился за гибкую березку...

Когда Везувий шел по дороге, бледный, до смерти напуганный, дрожащий, то думал о том, что он мог бы теперь не идти по этой пыльной дороге, а сидеть там, в грязной яме, сидеть мертвым, и никто бы его никогда не нашел...

Увидев бабушкин покосившийся дом, Везувий немного успокоился, дыхание стало выравниваться, и плечи перестали вздрагивать.

У крыльца Тоня стирала простыни и кое-какое белье в цинковом корыте. Мыльная пена вскипала над стенками, как в кружке с пивом, падала на траву. Белые тонкие руки Тони тонули в густой бельевой жиже. Вскинув глаза на Везувия, Тоня застыла, покраснела, отерла руки о фартук, подошла и, ничего не говоря, ударила наотмашь тыльной стороной ладони брата по лицу.

И тут, в короткое мгновение, Везувий увидел свои грязные, мокрые, как трусы после сна, шаровары, прилипшие к ногам, такую же мокрую рубашку, всего себя, тошнотворно грязного, сжался в комок и беззвучно зарыдал от горя и одиночества.

С этого момента медленное детство Везувия сменяется стремительным взрослением. И замелькают, как за окнами поезда, дни и ночи, замелькают, как у всех людей, и покажется, что детство - это мираж, возникающий изредка, чтобы тревожить утраченным счастьем черствеющую душу.

XIII

- Ты где летом был? - спрашивали ребята во дворе.

- В деревне, - печально отвечал Везувий и принимался про себя бормотать: "Деревня-деревня-деревня..."

Деревня потому "деревня", приходил к заключению Везувий, что деревня деревянная, а так как там бабушка часто плачет, то понятно, почему "де-ревня", то есть там идет частая "ревня", а то и настоящий рев стоит, какой был, к примеру, на похоронах случайно утонувшей в реке доярки. Этот же "рев" есть и в деревьях. Они тоже режут, но как дети, когда им страшно в сильный ветер и в дождь...

В получку Иван Степанович отложил в сторону пятидесятирублевую бумажку, задумчиво вздохнул и сказал:

- Вот сходи к Лизавете Васильевне, уплати, да и закругляйси. Чего зря деньги переводить! - И, подумав, добавил: - Уж сам можешь кого-нибудь на музыке учить... Мда...

В тесной комнате Лизаветы Васильевны, где резко пахло пылью от старых ковров, которые висели на стенах и лежали на полу, на диване и на кровати, было сумрачно, и, когда Везувий вошел, лицо Лизаветы Васильевны показалось ему очень бледным и каким-то несчастным.

- Дочь умерла в больнице, - сказала низким, прокуренным голосом Лизавета Васильевна, и ее большие навывкате глаза подернулись слезами.

Когда Везувий возвращался домой, то думал о том, что если люди жили бы в одиночестве в маленьких домах по лесам, то никто бы никогда не узнал, что они жили там и умирали, а тут все

друг другу рассказывают о смертях близких, поэтому становится грустно и вспоминаешь о том, что сам ты когда-нибудь умрешь, конечно, не очень скоро, даже совсем в неизвестные времена, так что думаешь, что жить будешь всегда.

У помойки бумаги несло ветром по асфальту. Вороха бумаг змеинными шлейфами выныривали, казалось, отовсюду, даже из зелени деревьев, взметались, как снежные вихри у домов. Везувий схватил на лету плотный лист, увидел склоненные вправо и влево знамена, золотистые профили Сталина и Ленина. То был чистый бланк грамоты, внизу - печать, гербовая, и подписи фиолетовыми чернилами. Везувий уставился в печать и медленно прочитал: "Общество глухонемых".

Дома Иван Степанович, нахмутив брови, возился с дратвой, подшивал свои рабочие валенки. Рядом, на полу, стояли старые галоши, огромные, как резиновые лодки. Взглянув на эти галоши, Везувий почувствовал тошноту и боль в животе.

Он увидел золотокоронную жабу в белом халате. Жаба долго мяла живот и домяла до того, что болеть стало везде. Дрожащей рукой Везувий заполнил бланк грамоты: "Жабе".

Холодным зеркальным блеском мелькнула огромная лампа.

От колбы шла резиновая коричневая трубочка к его локтю. "Это кровь", - подумал Везувий и заснул.

Утром увидел на животе толстую марлевую повязку, в которой была щель, откуда торчал белый плотный хвостик, как гвоздь из доски. Везувий осторожно прикоснулся к нему и ощутил шевеление в кишках. "В животе дырку оставили!"

- Вона что! - протянула мама. - Это тебя наркозом укачали! То и говорят, смерть как бы одна минута. Ну, заснул... А уж в раю очнулся.

XIV

У дяди Володи стол уже был накрыт, и, взглянув на него, Везувий подумал о том, что здесь всегда какая-то праздничная обстановка, не то что у них. Первую рюмку выпили с большим аппетитом и молча, как бы смущаясь чего-то, принялись закусывать.

Лиза, взрослая, красивая, с тонкой талией, подошла к Везувию и положила ему руку на плечо. Он проглотил ложку салата,

почувствовав на языке вкус свежего огурца, и недоуменно поднял на двоюродную сестру свои большие темные глаза.

Когда они танцевали, Везувий чувствовал, как бугорки крепких грудей касаются его - ощущение было столь ново, что казалось одновременно и приятным, и мучительным.

Юрик лениво вышел погулять во двор, жаловался, что от чтения голова разламывается,

- Я ни одной книжки не читал! - необдуманно выпалил Везувий чистую правду: в семействе Лизоблюдовых книг стыдились.

Юрик посмотрел на Везувия с таким выражением тупости, как будто перед ним стоял столб.

- Потрясающе! Надо запомнить твою фамилию. Как фамилия? - спросил он с долей придурковатости.

Ах, это! Везувий улыбнулся, машинально произнося: - Лизоблюдов!

Юрик в каком-то ошеломлении застыл и стал бледнее, чем был до сих пор. Везувий смутно догадался, что произошло что-то нехорошее, но что именно, он не понял.

- Ты вдумайся, лизоблюд - это тот...

Пока Юрик развивал свои мысли о лизоблюдах, Везувий медленно краснел и покраснел до того, что стало жарко, душно. Впервые Везувий ощутил свою слитность с фамилией, с этой кличкой, с этим оскорбительным словосочетанием: "Лизоблюд!"

Неужели ни отец, ни мать не замечали этого?! Куда же смотрит царица небесная, которую мать упоминает, куда смотрит Бог, которого - знал Везувий - нет (в школе говорили!), но все же - куда смотрит, раз мать на него молится, рот своей зевающий выкрещивает?! А? Скажите!

- Мы еще, бывает, под себя маленько подпускаем... - сказала мама, а старший пионервожатый оглядел Везувия и, словно убедившись в бытии такого, уже достаточно взрослого мальчика, натужно улыбнулся.

За обедом Везувий выловил из супа все "твердое", а жидкое оставил. Когда сумерки опустились на лагерь, зажглись огни и дело шло к отбою, Везувий одиноко сидел на скамье, от которой пахло еловой смолой, и в смутной истоме думал о чем-то неопределенном. В двух шагах от него возник темный силуэт, в котором Везувий узнал ту самую девушку, которая когда-то стучала свои-

ми каблуками в пустом метро - дук-тиу, дук, дук. Тот звук Везувий, взволнованный и бледный, услышал и сейчас.

- Я тебе клеенку положила...

Утром, проснувшись раньше других, до подъема, Везувий долго стоял у кровати, не в силах отвести глаз от белой, сухой простыни.

Однажды, когда шел дождь, Наташа накрыла плащом себя и Везувия. Идти под плащом было неудобно, мешали руки.

- Возьми за талию! - сказала Наташа.

Везувий робко поднял руку, и в нем вдруг возникло то же мучительное и тревожное чувство, которое было в танце с Лизой.

- Ты такой большой! - проговорила Наташа, и голос ее был такой же, как давно в метро.

В родительский день приехали Иван Степанович и мама. Сели на берегу, под кустами, расстелили газету, разложили гостинцы. Иван Степанович откупорил четвертинку. В воду поставили бутылки с лимонадом, охлаждаться. Везувий смотрел на металлические крышки долгим взглядом, наконец, вздохнув, решил испытать себя и к концу встречи с родителями выдул весь лимонад.

Ночью спал тревожно, но простыни были сухи!

- Лизоблюд, на зарядку опаздываешь! - крикнул звеньевой.

У Везувия кровь хлынула к лицу; не понимая, что он делает, размахнулся и ударил звеньевого в нос. Тот упал.

Вечером Наташа хотела отчитать его. Чтобы Везувий не очень сердился и не ушел, Наташа улыбнулась и подожила ему руки на плечи. Затем быстро закрыла глаза и поцеловала его. И он долго, до задыхания, целовал ее, никак не мог оторваться от ее мягких губ, смутно догадываясь, что целоваться неприлично, совестно, но целовал, неуклюже, по-детски, прижавшись к ее губам своими сомкнутыми губами.

Губы для поцелуя!

Словно почувствовав на себе взгляд Везувия, Силуанова обернулась, перехватила этот странный взгляд, и глаза ее удивленно расширились.

После уроков он шел за нею, сохраняя одно и то же, шагов в десять, расстояние, не приближался и не отставал.

Когда комната погрузилась в полумрак и по ней разнесся привычный, вошедший в плоть и кровь храп Ивана Степановича,

Везувий примостился на сундуке в чулане, где горела слабая лампочка без абажура, засиженная мухами, и принялся рисовать в подарок Силуановой первый снег на плотном альбомном листе.

На дне рождения Силуановой были подруги, а из мальчиков - он один. Когда Силуанова показывала ему коллекцию марок за шкафами, Везувий без всякого злого помысла взял ее обеими руками за талию и привлек к себе. Силуанова в каком-то онемении устала на него зелеными глазами с расширенными зрачками, но через мгновение без усилий выскользнула из объятий. Везувий покраснел.

Когда проводили брата Колю в армию, сестра Тоня привела знакомить высокого парня с прыщеватым лицом.

- Червяков, - сказал парень и добавил: - Эдик.

Везувий вздрогнул от этой фамилии и догадался, что не он один удостоился с рождения клички вместо фамилии, а вот и Червяковы есть. Хотя "Червяков" значительно лучше. Червяк и червяк, без облизывания чужой посуды.

Везувий увлеченно принялся рассматривать этого Червякова. В манерах и в лице его что-то было нагловатое, но сглаживал все прекрасный светлый чуб, особым образом собранный надо лбом в огромный пучок, поблескивающий, нависающий над бровями и оттуда плавной волной уходящий вверх и назад.

"Стиляга!" - подумал Везувий и заглянул под стол, чтобы не ошибиться в предположении. На Эдике были желтые добротные полуботинки на очень толстой белой подошве. Брюки были столь узки, что Везувий подозревал, что Эдик намыливает ноги, прежде чем надеть их.

Когда Иван Степанович пошел в туалет, Эдик посмотрел на Везувия с усмешкой и промурлыкал: "Пару-ля бой, кара-лю-мама-папа-чуча!" В такт этому мурлыканью Тоня весело зашевелила плечами и прищелкнула пальцами.

XV

Везувий сбросил с себя форму и сидел в трусах, черных, до колен, и в синей линиялой майке и играл на аккордеоне:

Из окон корочки несет поджаристой,
За занавесками мельканье рук...

В дверь громко постучали, Везувий раздосадованно пошел открывать и, пораженный, увидел Наташу.

Она сбивчиво стала говорить, глядя прямо в большие, темные глаза Везувия, глядя в упор, что думала о нем все время, что не могла с собой справиться, что тогда еще, в лагере, выписала для себя его адрес, что он... он...

Наташа подняла руки к голове и вытащила заколки. Распушенные шелковистые волосы упали на плечи. При скудном свете, который шел в комнату от небольшого окна, Наташа показалась Везувию еще прекраснее, чем прежде, и он вспомнил, как целовал Наташу и какое мучительное чувство тогда испытывал.

Везувий не мог понять, что с ним происходило. Он видел близко-близко ее лицо, слышал ее голос, и новое впечатление, ядро которого находилось за границами видимого, осязаемого, поглотило его, как щепку.

Вечером Иван Степанович, снимая сапоги, сидя на сундуке, вздохнул и сказал:

- Хватит дурака валять, брюки протирать! Да, в школу ходить уже было стыдно такому верзиле,

Как-то, когда Иван Степанович, поужинав, ремонтировал свои сапоги, набивая на каблук резиновые набойки, а мама дремала за вязаньем у стола, пришла Тоня с новым ухажером: довольно высоким, солидным, лысеющим мужчиной лет тридцати.

Выпив бутылку водки, Иван Степанович и Андрей

Васильевич разговорились о жизни. Оказалось, что Андрей Васильевич работает на номерном заводе мастером, на том же заводе, где в лаборатории работает Тоня.

- Я мужик рязанский! - говорил хорошим баритоном Андрей Васильевич и посмеивался. Когда он беседовал с Иваном Степановичем, то все время добродушно посмеивался, отчего в уголках глаз образовывались морщинки.

Иван Степанович делал брови домиком, что значило, что он доволен будущим зятем, человеком простым и понятным.

А Эдик вовсе был не "Эдик", а Федя!

Везувия брали учеником на авторемонтный завод, где брат Коля работал до армии, но Иван Степанович, подумав, сказал:

- Пропади он пропадом! В грязи утонешь! Никакой там дисциплины.

- А как же ты на коксовых печах мальчишкой работал? - возразил Везувий, переживая неопределенность своей дальнейшей судьбы.

- Судьба играла! - прогудел Иван Степанович, забираясь на кровать после ужина. - Эх, и проклятая жизнь! Вагонетки катал. Спал в землянке. Мордобой, поножовщина, мат-перемат! - И через малое время Иван Степанович захрапел.

Везувий бесцельно ходил по улице, читал объявления, у одного задержался, потом влез в переполненный автобус и через полчаса был в приемной РУ фрезеровщиков перед столом Бетти. Так необычно звали секретаршу с вытянутым, холодноватым лицом и целой башней волос на голове.

- У Бетти ножки! - восклицал рыжеволосый, с заметными веснушками Миша Гусев и причмокивал губами.

Ребята стояли в полутемном коридоре и шептались о Бетти. Облачены ребята были в мрачную черную форму ремесленников: гимнастерки со стоячими воротничками, широкие суконные брюки и тяжелые кирзовые ботинки на плохо сгибающейся подошве из вулканизированной резины.

- Эсэсовцы! - говорил все тот же Гусев. - Айда ножки Бетти смотреть.

Напротив двутумбового стола Бетти стоял длинный деревянный, как на вокзалах, диван. Ребята шумно рассаживались, а кто-то начинал с серьезным видом о чем-нибудь расспрашивать Бетти. Она это принимала за чистую монету, отвечала, а сидящие на диване нагло пялили поблескивающие глаза в тоннель между тумбами стола, где шевелились Беттины ножки в капроновых чулках.

Мастер Сядько Николай Иванович с рябоватым лицом, маленьким морщинистым лбом и постоянно красными глазами, сидел в мастерской на возвышении за столом и грыз в зубах пластмассовый мундштук.

- Лизоблюд! - однажды крикнул он.

Это когда строились идти в столовую.

Везувий, сгруппировавшись, коротким крючком с левой "уронил" мастера к побеленному стволу тополя на затоптанную землю. Мастер вызывал не просто чувство брезгливости, но какого-то отвращения. Что ни слово - то мат!

Сыграли свадьбу Тони. Как-то Андрей Васильевич задумчиво посмотрел на небо, на бледный диск луны, сказал:

- Ну ладно я! Так я в войну ФЗУ от голодухи кончал. Там нас приодели, приобули, пайку дали. А ты куда попер! Ты просто пораскинь мозгами. Отец есть, мать есть. Так. Чего ж тебе было не учиться! Э-э, - протянул он затем и с отчаянием швырнул в сторону недогоревший окурочек, который красненьким огоньком прочертил в синем воздухе трассирующую дугу. - Сам потом поймешь. Трудно нам, деревенским беглецам, в городе... Куда ни глянешь, везде деревенские ваньки вкалывают, одни беглецы! Жаль, что у меня образования нет, а то бы... Эх! Но я хоть курсы кончил, сейчас мастерю...

- Матом кроете рабочих?! - резко спросил Везувий.

Напившись в первую получку, Везувий подрался с отцом и поехал, прихватив аккордеон, к Силуановой.

Она, потупив взор, сказала:

- Я иду на свидание!

Он поплелся за ней. Но, постояв немного, поднял аккордеон над перилами и отпустил его в пролет. Аккорд удара вниз эхом разнесся по подъезду.

- Пьяница лизоблюдовская! - донесся голос Силуановой, и хлопнула дверь парадного.

Пришел домой и под храп отца молча лег спать...

XVI

Перед Новым годом Тоню зарезало трамваем в Перово. Ее положили в гроб, красный с белыми рюшечками. Гроб стоял на табуретах перед подъездом. Шел снег, падал на лицо Тони и не таял. Снег был очень тихий и грустный, а красный гроб казался вызывающим, как будто явился с того света, о котором Везувий всерьез никогда не думал, даже, казалось, не подозревал о его существовании.

Везувий смотрел на лицо сестры и ему было очень страшно. Все плакали и ему хотелось плакать, но слез не было. Глаза его неотрывно смотрели на гроб, примерзли прямо-таки к гробу, как будто кто-то другой, сильный и властный, залез в Везувия и изнутри руководил этим его взглядом, полным остоленения и ужаса.

- Господи Иисусе Христе! - вопила мать, красная от слез, с выбившимися из-под черного платка седыми, как дым, волосами. - За что ты послал мне такое наказание! Чем я перед тобой провинилась!?

Старенькое пальто матери пахло нафталином, серенький меховой воротник, то ли кролика, то ли кошки, от времени вытерся и был в проплешинах.

Тетка Марья, из деревни, с мужичьим грубым лицом, одетая в черную телогрейку, новую, только полученную в колхозе, беспрерывно повторяла какую-то молитву. Другая деревенская тетка, в перешитом из солдатской шинели пальто, замерзшими красными руками шевелила, поправляя в гробу, дешевенькие бумажные цветы.

- До-очка! - изредка взывал отец.

Гроб закрыли крышкой и поставили в грузовик.

Везувий вздохнул, страх постепенно проходил. Везувию очень хотелось теперь взглянуть на Христа и спросить, что же он не защитил Тоню? Страстно захотелось увидеть и спросить.

Кладбище было в синем снегу, и кресты, ограды и деревья казались Везувию такими же синими. День был короткий, едва набрав силу к полудню, спустя пару часов стал затихать, преобразуя белизну в синеву. Снег прекратился и кое-где на небе проступили бледные звезды, колючие и холодные, но живые.

На поминках плакали, кричали.

- Помяни, Везувий, помяни! - говорила тетка Марья, придвигая стакан с водкой Везувию.

Он помянул, конечно. И раз, и два...

Потом вышел из-за стола, накинул пальто и шапку, и незаметно покинул поминающих. В душе была смута.

По переулку шел интеллигентный мужчина в очках и в шляпе. По этим очкам и шляпе Везувий определил его интеллигентность. В одной руке человек держал торт, в другой - авоську с шампанским. Шел он красиво и устремленно. Так ходят по сцене актеры, изображающие князей. И это было неприятно Везувию видеть.

подавив злобу, Везувий подошел и спросил:

- Можно ли увидеть Христа?

Прохожий испугался и отступил на шаг. В огромной, диковатой фигуре Везувия ему почудился угроза. Ну, если бы этот па-

рень попросил закурить, дело было бы ясное... А тут вопрос из разряда не поддающихся внятному ответу. Но человек нашелся и спокойно сказал:

- Можно.

Просто так взял и сказал.

Везувий качнулся и икнул, так что, казалось, весь переулок наполнился запахом водки.

- Где? - спросил простодушно Везувий.

Прохожий поставил торт на сугроб у края тротуара, снял перчатку, сунул руку в карман, улыбнулся и через секунду Везувий увидел блеснувший никелем кастет на руке, затем почувствовал небывалой силы удар в глаз, из которого брызнули искры, потом на мгновение все погасло. Когда Везувий открыл глаза, то обнаружил себя лежащим на мостовой, а прохожий, этот "интеллигентный человек", стоял преспокойно на тротуаре и с ухмылкой наблюдал за ним.

- Ну как, увидел Христа? - поинтересовался человек мягким голосом. - Или еще показать?

Озлобление в Везувии перелилось через край, он был готов убить этого человека, но удар был до того ловок, что в голове произошло помутнение, легкое сотрясение мозга и к горлу подступила тошнота...

Метро можно назвать подвалом, только отделанным мрамором и прочими полированными материалами. Странно было лишь то, что в этом подвале поезда не ходили, так как не было рельсов. Вообще никаких путей не было. Зато народу была тьма. Все женщины в телогрейках, которые выписали в колхозе, а все мужчины - в шинелях, подпоясанных веревками. Сам Христос был в очках и шляпе.

- Он что, интеллигентный человек? - спросил Везувий у тетки Марьи.

- А то! - воскликнула она, указуя перстом в потолок, где в великолепной нише красовались мозаично золотые Сталин и Ленин.

- Но он же дерется! - запротестовал Везувий.

- Карает, - поправила его тетка Марья и села на лавку мраморную за длинный мраморный стол, за которым сидели все.

- Оболтусы! - воскликнул Христос и поправил очки указательным пальцем, прижав их к переносице.

- Апостолы, - поправила Христа тетка Марья, - а не оболтусы!

- Я и говорю - апостолы, - сказал Везувий, глядя на Христа.

- Вот тут сидит товарищ Везувий Лизоблюдов, - продолжил Христос торжественно, - который ругает меня за то, что я не спас его сестру Тоню от трамвая. Но ведь я через пророков своих явственно сказал, чтобы вы трамваев избегали. А лучше бы вообще их не изобретали. У трамваев очень тяжелые железные колеса. А я вам дал тело очень нежное, хрупкое. Зачем же ты, Везувий Лизоблюдов, изобрел трамвай, спрашиваю?!

Везувий ошалело оглянулся по сторонам, как бы ища защиты и поддержки у апостолов и у всех, кто был в подземельи в телогрейках и шинелях, затем, не найдя поддержки, робко возразил Христу:

- Я не изобретал трамвай...

- Ну, это мы сейчас проверим, - сказал Христос и надел на руку никелированный, с шипами, кастет.

- А-а-а! - завопил в ужасе Везувий.

- Так кто же изобрел трамвай? - спросил Христос, снимая шляпу.

Блик света люстры отразился на его покато́й лысине.

- Господи Иисусе Христе, - запричитала мать, - прости ты его, грешного, ничего он не понимает, не карай его больше, смотри, как у него глаз разнесло. Это он, мой дорогой Везувий, трамвай изобрел...

- Дайте ему похмелиться, - сказал отец. Мать поднесла Везувию стакан водки. Везувий с отвращением выпил и через некоторое время закусил холодцом. Стало полегче.

Он встал с раскладушки и подошел к зеркалу. Опухоль была громадна, фиолетова и водяниста.

XVII

Главный вход выставки был освещен прожекторами, сияли золотые колосья, в воздухе пахло конфетами и кофе. В винном автомате Везувий с Мишей Гусевым выпили по сто пятьдесят портвейна "777", по сорок копеек за сто грамм. Настроение у Везувия было великолепное. Еще бы, он шел на танцы. А была весна, середина мая, яблони зацвели в аллеях выставки, били фонтаны, расцвеченные прожекторами.

Девочек на танцевальной веранде - море, и все, даже самые красивые, смотрят на Везувия, на то, как он с рыжеволосым Гусевым в кругу, образованном зеваками, выделяет кренделя твиста. Эстрадный оркестр вдохновенно ведет ритмичную тему, а Везувий подпевает:

- Твист эгейн!..

И в Сокольниках в выставочном павильоне: твист, твист!

И в парке культуры и горького отдыха: твист, твист! А в будни гудит цех. Фрезеровщик Лизоблюдов вытачивает детали, в обеденный перерыв первым бежит к столу, чтобы колотить в домино. Везувий очень любит играть в домино. "Дуплится" так, что стол подпрыгивает.

Еще Везувий любит с ветерком прокатиться на электрокаре по пролету.

Когда сменная норма им выполнена, он принимается за фрезеровку кастетов, массовое производство которых наладил с Гусевым, который барабанит в первом цеху на участке ширпотреба, рядом с литейкой. Кастеты хорошо идут по червонцу в "горьком парке", в Останкино, на выставке, в Сокольниках, где часенько сходятся кодла на кодлу.

Так же мастерски, как кастеты, Везувий изготавливает выкидные ножи. Но их он пока сделал парочку. Фибровая полированная ручка и кнопка, нажал и лезвие выкидывается само. Там в рукоятке вделана такая пружина из нержавеющей стали. Сменщику-старичку Везувий помогает делать и протаскивать через проходную торшеры...

Каждый раз, когда кто-нибудь называл его по фамилии "Лизоблюдов", Везувий краснел. Кассирша, которая выдавала зарплату, была молоденькая и смазливая. Тягостно было слышать из ее уст эту кличку. Сразу же вспоминался Юрик и его издевки.

Утром на завод идти не хотелось. Со временем завод стал представляться Везувию какой-то тюрьмой. Но, включив станок, Везувий забывался, думал о будущем, неопределенном, но прекрасном. В этом будущем он видел себя в просторной квартире с красавицей женой. Он видел удобную современную мебель, непременно мягкие кресла, телевизор с большим экраном. Видел и книжные шкафы, в которых стоят собрания сочинений с золотыми корешками. В общем, все как у людей.

Так смена незаметно проходила. Крутилась фреза, летела металлическая стружка, а Везувий размышлял о совершенстве сво-

ей квартиры, о том, что стены кухни он облицует голубой кафельной плиткой, а ванную комнату - белой.

Изредка он вспоминал сестру Тоню и ему становилось страшно. Неужели и он, Везувий, когда-нибудь умрет. И как же так получается, если есть Бог, что люди умирают. Не должны они умирать, если есть Бог. Ну хорошо, говорят, что есть другая жизнь, за гробом, на небесах, вечная. Как же там устроить свою квартиру, где разместить книжные шкафы с золотыми собраниями сочинений? А совсем другой жизни Везувию не хотелось.

В заводской библиотеке Везувий долго вздыхал, краснел, пока заполняли формуляр, стыдился, что не знал, какую книгу ему взять и какого писателя, потом решил замахнуться на самое грандиозное, как он считал, произведение - "Войну и мир". Взял первую книгу, начал читать по пути на работу и с работы, а там по-французски, ладно, французский текст пропустил, а дальше такая скука, что Везувий бросил, и подержав книгу пару недель, сдал ее, взяв, по совету библиотекарки, книжку из приключенческой серии - Ал. Авдеенко "Над Тиссой", про шпионов.

Другое дело! Этот Авдеенко писал лучше Толстого. Конечно, объяснял сам себе Везувий, жизнь идет вперед, Толстой устарел, и каждый писатель, родившийся после Толстого, тем более, современный писатель, писал все лучше и лучше.

Но этот вывод каким-то образом развеялся, когда Везувий принялся за Конан Дойля. Значит, и тогда писали интересно?!

Мучительны были возвращения домой.

- Вон, щей похлебай, - говорила, зевая, мать.

Везувий хлебал и сразу же уходил до позднего вечера, чтобы вернуться переночевать.

То у Гусева посидит, пластинки послушает, то на танцы сходит, то в кино, то на свидание.

У метро, под часами, ждет какую-нибудь Веру-Зину-Нину, подцепленную на танцверанде, потискает ее в подъезде, побродит по улице, а тяги к ней как не было, так и нет.

Но Везувий знал, что найдет свою избранную, где-то она даже живет, учится или работает, такая красивая, как Любовь Орлова.

Весна наступала восьмого марта, хотя еще лежал снег, было холодно, но по всему чувствовалось, что наступала весна. Главное, день был солнечным, и на солнце снег подтаивал, кое-где

бежали ручейки, цыганки продавали мимозу, и вот в этих-то желтеньких, как цыплята, веточках заключалась для Везувия весна. Он покупал эти веточки, бежал на свидание, поскользнулся, падал, потому что был слегка выпивши, смеялся своему падению, и душу распирала какая-то томительная радость предвкушения чего-то необыкновенного, волнительного, еще небывшего.

Компания была веселая, накануне скидывались по десятке, закупали выпивку и все такое, магнитофон гремел, от девушек пахло ландышами...

Везувий сидел за столом, стеснялся самого себя, краснел, когда к нему обращалась его Оля-Лена-Таня, подозревал друзей в том, что вот-вот они выдадут его сокровенную тайну и ляпнут при всех его фамилию: "Лизоблюдов". Но ребята как бы понимали это и фамилию его не называли.

После нескольких рюмок горькой стеснение проходило, Везувий обнимал свою Оксану-Марину-Светлану, трогал ее грудь, полновесную, иную Везувий не любил, твистовал со свистом вместе со своей подружкой, затем наступала ночь и связанная с ней в сознании Везувия "семейная жизнь" с Катей - Полей - Надеждой, которая была, как правило, лет на десять старше Везувия, но ему никто и не давал его пятнадцати, ибо выглядел он на все двадцать пять, брился как взрослый, одним словом.

А первого мая было еще лучше! Тут уж весна вовсю буйствовала и Везувий буйствовал, как майский кот.

Отец, Иван Степанович, совсем чокнулся, когда Везувию ужаснулся на входной двери никелированной табличке, как у какого-нибудь профессора, на которой было выгравировано: "Лизоблюдов Иван Степанович". Везувий успокаивал себя тем, что отец ничего не слышит, не понимает всего издевательства своей фамилии.

Пустой звук, символ.

Чужое, чужое, все чужое кругом.

А хотелось Везувию красоты, хотя бы такой, какую дарила ему сирень. Он упивался этой сиренью, ломал охапки и нес ее, нес куда-то на рассвете, шел куда-то, не разбирая дороги, пьяненький, налюбившийся, вдохновенный, и спать не хотелось с этой сиренью, и обнимал он букет, как свою избранницу, которую пока не нашел, и всю грудь вдыхал рассветную прохладу и впивался взглядом в первые великолепные солнечные лучи, и

новостройки радовали его, эти белоснежные дома, в которых и он собирался когда-нибудь поселиться, и там поставить букет сирени в хрустальную вазу...

Нужно было получать паспорт. Везувий долго ходил по улицам и видел себя на четвереньках лижущим блюда, как собака. Мысль вспышкой озарила. Через час он был в загсе. К осени он был "Мионов".

Дверь открыл сам Юрик, повзрослевший и по-прежнему меланхоличный. Задумчиво взглянул на улыбающегося Везувия и нехотя впустил в квартиру. Везувий прошел с ним в террариумную комнату. Зеленоватый свет, лианы за стеклом и жаба, правда, без короны, видимо, другая, на месте.

- А я теперь Мионов! - наконец-то не выдержал Везувий.

Юрик кисло улыбнулся и сказал:

- Что-то ты не очень похож на Мионова... Везущий Вия не может быть мирным... Блюда лизать везущему Вия... - забормотал Юрик, но не договорил, потому что в долю секунды его щуплое тело воспарило над полом - голова вонзилась в стекло террариума - и со звоном и грохотом распласталось на паркете. Из виска торчал острый треугольник стекла, по которому струилась густая кровь.

Трясущийся и белый Везувий тупо наблюдал за тем, как из террариума выпрыгнула в красную лужицу бородавчатая зеленовато-желтая огромная жаба.

Она посмотрела на Везувия темными, с влажным отблеском, немигающими глазами из-под тяжелых, в шероховатых складках, сероватых век и медленно пошлепала на своих толстых перепончатых лапах к двери, оставляя кровавые следы.

- Ты-ква, - пробормотал Везувий, переводя взгляд на бездыханного Юрика, и улыбнулся, словно нащупал в этой "тыкве" мясисто-сладкую мякоть. - Ты ква скажи! - Он обернулся к жабе и приказным тоном повторил: - Ты ква скажи!

"Ква!" - сказала жаба, исчезая в коридоре, из которого уже слышались шаги...

В книге "Избушка на елке", Москва, Издательство "Советский писатель", 1993, тираж 35.000 экз.

Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, тираж 2000 экз. Том 3, стр. 276.

ЗАПИСКИ КОРРЕКТОРА

29 октября.

Сегодня много гулял по Суворовскому бульвару. Там книжный базар. Встретил Зарянчикова. Выбился в профессоры, а рассудок куриный. Эх, моя б воля - лишил бы всего и - в швейцары. Говорит, что его постоянно тянет в Загорск: там прошли наши юные годы. Под 1 октября (по с/с) он был в академической церкви, но протискаться ввиду давки не мог, никого и ничего не видел и насилу вышел. Строит из себя черт знает кого, а ничего не читает. В молодости немало выпили с ним вина.

30 октября.

Самочувствие плохое: что-то происходит с головой - шум в ушах, давление в темени, неуверенная походка. Боюсь, как бы не сесть на больничный лист. Люди опротивели окончательно. Брал бы их за шкуру, прикнопливал к стене и плевал бы им в рожи с трех шагов!

Гулял по Суворовскому бульвару, хотя сперва намеревался ехать на работу. Размышляю о сущности бытия и сознания. Человек - это тростник, но тростник мыслящий. У Бердяева на этот счет есть кое-какие мыслишки. Купил банку гуталина. Надо на-чистить ботинки.

У нас была Клава, сестра А. Г. Лузина, пила кофе. Новостей на "Интернационалке" никаких нет. Заглядывал в Гете.

Вечером опять гулял по бульвару часа два. Такие прогулки улучшают мое самочувствие, правда, чуть-чуть. Неужели у меня возрастной склероз? Тогда пахнет выходом на пенсию, а это катастрофа. Весь наш подъезд заплеван и в окурках.

Странно, я иногда получаю удовольствие от пустяка, например, чай с хорошей конфетой. Шел по бульвару и думал, что у меня нет никаких привычек и глагол или фразу "я люблю то-то и то-то" совсем не употребляю. А как много я вижу рож, которые так и сыплют: я люблю, не люблю, мне не нравится и т. д.! Читал Бердяева. Галоши прохудились.

Делаю попытки бросить курение, т. е. сокращаю, но пока что мало. Курю сигареты вместо “Беломора” - 95 к. вместо 2 р. 20 к. Экономия! Но надо треснуть и бросить совсем. Иначе “труба”! Я это чувствую. Да и по возрасту пора, так сказать, я уже откурился. Надо почитать Канта. К вероятностным, проблематическим знаниям и суждениям Кант относился пренебрежительно и даже отрицательно. Умывался обмылком.

31 октября.

Работал с натугой, чувствую какую-то тяжесть в темени. Курил очень мало. Завтра думаю совсем не курить.

Красноглазова проработали на летучке. И что же? Сегодня его хватил инфаркт у Петровских ворот. Прямо с улицы поместили в больницу. Туда ему и дорога! Такая рожа, вы б видели! Остаканивался каждый божий день. У Шопенгауэра прочел: “Всякий замкнут в своем сознании, как в своей коже, и только в нем живет непосредственно: вот почему ему нельзя оказать большой помощи извне...” “Никто не может выйти из своей индивидуальности”. Изложенные соображения Шопенгауэра еще ни в какой мере не раскрывают своеобразие человека. Я думаю, что человек - большая скотина. Надо купить зонтик.

2 ноября.

Никаких существенных перемен в самочувствии нет. Курение значительно сократил. Много гулял по бульвару. Вчера встретил Н. Н. Лебедева, методиста г. Москвы по русскому языку. Очень болтливый. Оказывается, ему звонила Борькина. Заезжал в редакцию (вчера) и получил зарплату. Увы, она быстро расходуется по разным статьям.

3 ноября.

Прогулки по бульвару меня бодрят. Твердо установил, что от курения голове хуже. Но не в курении причина. К доктору не миновать идти показаться. А вот этого я и пугаюсь. Сегодня хотел курить в последний раз, но ничего не вышло: уж очень тоскливо. Уже свыше недели чувствую себя прескверно. И раньше бывало такое самочувствие, но теперь оно стойкое.

6 ноября.

Вчера после работы была вечеринка - 40-летие Октября. Все разместились в кабинете редакторши. У окон был стол для начальства. Тамара Васильевна пригласила меня, я насилу пробрался. Сидел рядом с Верой Матвеевной и Алексеем Васильевичем. Выпивал очень мало, больше ел, так как не обедал. Настроение у меня в связи с нервной свистопляской было кисло-сладкое. В 10. 30 вечера я ушел домой. Многие ушли раньше. Танцы были в коридоре. Некоторые напились изрядно: Черкасов, Нилковский, Мартынова, поэт Оладьин, Мусаэлян.

Сегодня самочувствие неважное, гулял по Суворовскому бульвару, заходил также на Гоголевский. Встретил Фельдфрид - она работает сегодня на сессии. У Н. П. спектакль в школе отсрочен. Я за нее доволен, а то она извелась - плохо спит и пр.

7 ноября.

Много гулял. Чувствую себя немного лучше. Но курил порядочно. Купил Маше "Орфографический словарь". Обедали я и Н. П. - бульон куриный, на второе - курица лет на 45, насилу жевали. Сижу сейчас (вечер, 8. 30) один и чувствую себя прилично. По-моему, это неспроста, что я много гуляю - воздух!!! Пересматриваю свое поведение, кое на кого есть обида. Решил на всех махнуть рукой. Обойдусь, было бы здоровье. Довольно всем поддакивать и всех смешить. Пусть узнают меня настоящего!

На бульваре встретил корректора Каплана с дочкой. Немного поговорили - о работе. В ночь на сегодня "Комсомолка" кончила в 4 ч. ночи. В мое отсутствие звонил Л. М. Сухов, наверно, хотел пригласить меня к себе.

8 ноября.

Гулял по Суворовскому бульвару. Завтра - конец книжному базару. "Мамочка милая, купи мне эту книжечку", - жалобно просила одна девочка свою маму. Я умилился. Два ласкательных слова: "мамочка" и "книжечка".

Звонил Ключкову, поздравлял с праздником, а сам едва сдерживал ненависть: он уже три года должен мне 70 копеек! У меня записано.

Были у Каменских. Пили перцовку. Я с голодухи ел сало и се-ледку. Интересно, что будет завтра с печенью? После выпивки с головой нехорошо. Приехал домой один. Н. П. и Лужин придут позже меня. У Светланы Александровны один котенок очень красивый - милая мордочка. Лизе я подарил книжку "Ясная Поляна", а Маше - "Орфографический словарь". На полке видел новое издание "Война и мир". Я бы подсократил и кое-где подправил как следует. В уборной опять засор. Улицы полны народу. Главные улицы сильно иллюминированы.

23 ноября - 24 ноября.

Только что вернулся со спектакля "В добрый час" из школы в Староконюшенном пер. Я удивился способности Наденьки, сумевшей в полтора месяца поставить вещь так, что получился спектакль. Юноши и девушки были на высоте, конечно, не все. Я бы поставил несколько иначе, посерьезнее, но для них - сойдет. Нужны аналогии и символы.

По этому случаю послал Сашу Лужина за кагором. Нельзя такой момент пережить всухую! Кагор Наденьку поддержит. Когда она вышла на сцену, то была очень бледная. Сели за стол и стали обсуждать спектакль. Наденька приехала на такси, я выходил за большим горшком цветов - белые астры. Настроение у нас было праздничное.

Спектакль в школе! Это же событие. Наденьку по окончании все очень благодарили.

И вдруг в 11. 20 вечера к нам пришла вся труппа. Наденьке это было очень приятно. Я всех приветствовал и благодарил. Свыше 30 лет я сижу в детской, школьной газете, и все, что происходит в школе, мне радостно и очень важно.

Но приход учеников немного был испорчен. Из своей комнаты, где спал некий Жуков, выскочила мадам Ильинская и давая гроыхать на наших глазах чем попало. Вот так учительница! Я вспылит. "Не помочь ли, - говорю я ребятам, - видите, как старается!" - "Что ж, можно..." Все засмеялись. Ребята сообщили, что у них в школе есть такая же учительница. Через 20 минут, то есть в 11. 40, вся труппа ушла. На прощание я опять благодарил всех ребят. Наша соседка, по-моему, ненормальная.

"Завтра она себя покажет с утра", - сказала Наденька.

Действительно, стоило ей и Жукову проснуться, как пущены были в ход хихиканье, радио и даже попытки что-то петь. Мне было ужасно противно, и я высмеял всю эту затею шаляпинским смехом: “Ха-ха... хи-хи... хе-хе!” Слова уже никакие не действуют. Посмотрим, что будет сегодняшний день. Во всяком случае мне надоело играть “царя Федора” - все молча переносить, умиротворять, а главное - надеяться, что восторжествует разум. Практика показала, что никакого разума нет, а есть пошлость, глупость, мещанская тухлятина, нахальство и квартирное хулиганство, замаскированное приличием. Я решил перейти в наступление, т. е. называть вещи своими именами. У меня есть достоинство, и его надо защищать.

Уже неделя прошла с того момента, как заболел палец. Столетник помогает, но уж очень медленно: ходить нормально я не могу. Подметил еще, чего раньше не замечал: если у меня озябнут руки, то особенно холодеют кончики указательного и большого пальцев.

“Грамматическая копилка” на тему “Русь” что-то не получается. Не знаю, как интересно поставить вопрос - не удастся форма, нет легкости. А главное - надо понравиться Черкасову, затем секретариату, потом редактору. И тогда... попадешь в номер.

В 16. 45 явилась после пробежки магазинов педагогша, стала говорить на полный голос и даже делала попытки петь... Я засмеялся шаляпинским голосом: “Ха-ха... хи-хи... хе-хе...” Мне ясно, что для квартирных дел надо завести особую записную тетрадь, чтобы отмечать все события день за днем.

Вечером был у Калужского А. В. - показывал ему палец. Он посмотрел. По его мнению, у меня ногтевой нарыв, надо делать согревательную ванночку и прикладывать на марле пенициллиновую мазь. Так как он спешил в гости, то я поблагодарил его и ушел. Александр Васильевич - очень любезный человек. Надо будет сходить к нему как-нибудь с Наденькой. Между прочим, к нему я добрался на такси, стоило это всего 2 руб. Пришел домой. Слава Богу! Соседей дома не было. Это прежде всего интеллектуальное удовольствие, затем моральное. Смысл моей жизни состоит еще и в том, чтобы мужественно переносить окружающую меня пошлость и полное отсутствие духовной культуры.

На ночь приложил мази. Палец драло, а вот столетник успокаивает. Посмотрю, что будет дальше.

Соседка Ильинская ведет себя вызывающе. Надо вновь собрать все материалы в одну тетрадь, так как материалы, которые я в свое время представлял участковому надзирателю, у меня не все: по-видимому, выкрали их соседка и ее сожитель. Все материалы представлю в редакцию, где никакого понятия не имеют о частной жизни учительниц. А ведь мы в газете должны всячески их нахваливать. И получается интересная тема: учительница в школе и дома. Вот про дом-то никто ничего не знает. А я последние два года специально уходил из дому, потому что сидеть дома из-за этой учительницы и ее сожителя было невозможно. Все вечера проводил в редакции и приходил поздно домой. То же делала и Наденька. Мы лишены возможности кого-либо к себе приглашать, потому что гости именуются пьяницами, все охаивается и опошляется. Кроме того, я сделал ошибку, что не дал сразу осаже. Она решила, что я только на словах храбр, а на деле - ни с места. Ну и распоясалась и на словах, и на деле, а теперь, увидав, что я могу действовать, решила меня утратить. Чем? Враньем на стороне. Мне сообщили, что соседка решила жаловаться в редакцию. Несчастная! Она пожнет то, что сама посеяла. Отдельные индивиды могут морально разложиться, народ - никогда.

29 ноября.

В типографии новости: читатели звонят и пишут письма, что они получили газету, где две одинаковые полосы. Когда меняли стереотипы, поставили не ту полосу. Выпускающий снят, ряд лиц получил выговор, некоторые понижены в должности. Ко всему этому нужно отнестись с большой мудростью, ибо разум дан человеку, чтобы он разумно жил.

Позавчера чувствовал себя неважно. Между прочим, в воскресенье обедали у Каменских. Бульон, жареный кролик, чай с "наполеоном". Привезли с собой бутылку портвейна. Ехали в такси. Я думал о трансцендентальном. В уборной засор. Начал читать "Этика и материалистическое понимание истории" Каутского. До сей поры не читал. А еще в 1910 году на экзамене по нравственному богословию проф. Остроумов (ревизор) спросил меня: "А вы не читали "Этику" Каутского?" Я ответил, что не читал. И вот теперь через 47 лет читаю.

У Каутского прочел: “Отныне нет большей похвалы для старика, чем та, что он еще молод и восприимчив для всего нового”. Пока что я стоял на высоте. Поэтому меня держали и держат на работе.

Настроение неважное - как будто со мной что-то должно случиться. Что это? Невроз или психоз? Данные есть и к тому, и к другому.

Каутский пишет: “Понять отживший способ мышления необычайно трудно”.

С. Е. Крючков доволен моей статейкой “Живая книга”. Он ее показывал учителям и методистам - всем нравится.

Оказывается, значок “За активную работу с пионерами” получили Маршак, Михалков, Барто, Кабалевский и др., в том числе и я - старейший корректор. Провидение меня куда-то ведет. Судьба меня жалеет, поддерживает старика: ему многое приходится переносить, да и грустить, но я всегда на что-то надеюсь.

Сегодня закончил просмотр последнего тома “Десять лет спустя”. Прочел и задумался над строками:

“На мгновение он (д.Артаньян) поник, взгляд его затуманился; он предавался раздумью; затем, выпрямившись, он обратился к самому себе:

- Все же надо шагать все вперед и вперед. Когда придет время, Бог мне скажет об этом, как говорит всем другим.

Концами пальцев он коснулся земли, уже влажной от вечерней росы, перекрестился, как перед церковной купелью, и один, навеки один, направился по дороге в Париж”.

То же могу сказать и я: “Да будет воля Твоя...”

Вечером пьяный Жуков пришел с живым гусем. Гусь бегал по квартире, пока Жуков не зарубил его топором.

3 декабря, вторник.

Сегодня с утра - радио. Извольте целый день слушать его. Оказывается, сожитель Софьи Павловны опять не работает, сидит дома и от нечего делать заводит радио. Учительница тоже пришла ни свет ни заря домой - в 12 ч. Воображаю, что они будут выделять целый день. С утра на плите одной конфорки нет. Соседи придумали, будто бы залили конфорку. Сожитель Софьи Павловны советовал ей подать в суд. Можно коротко сказать: в лице соседей мы имеем спутника, в котором сидит собака.

Удивительно, что под радио они могут спать, даже храпят. А потом с раздражением говорят, что мы не даем им спать. А что мы делаем: мы поздно возвращаемся домой и часов в 11 вечера пьем чай и закусываем. Потом Наденька, соблюдая тишину, моет посуду. Разумеется, это происходит после 12 ч. до 1 ч. ночи. И затем укладываемся спать. Никакого нарушения правил о тишине после 12 ч. нет. Дело вот в чем: соседи спят целый день - и днем, и вечером, и ночью. И тем не менее соседка сразу засыпает и частенько храпит, правда несильно. Но ее сожитель уже старик, сон у него слабый, он сразу заснуть не может, поэтому его все раздражает, в том числе и тот факт, что мы ужинаем, моем посуду и укладываемся спать. Вообще, они оба неврастеники, и им надо лечиться у невропатолога. Как неврастеники, они эгоисты и нахалы.

Гений живет во все времена, но люди, являющиеся его носителями, немые, пока необычайные события не воспламят их душу. Поймал клопа. Жирного. Макароны ел через силу.

Когда школьники пришли после спектакля к Наденьке, то Софья Павловна всем соседям говорила, что к нам пришла пьяная банда. И это учительница! Я теперь понимаю, что и в школах надлежащего порядка нет, и некоторые безобразия своей причиной имеют плохой состав учителей.

Кстати, у нас в передней есть подпол. Некоторые доски не в порядке. Чтобы они не хлопали при ходьбе, я вбил несколько длинных гвоздей. Пока доски опирались на эти гвозди, хлопанья не было. Так вот, на днях я обнаружил, что этих гвоздей нет - их присвоили соседи, т. е., попросту говоря, они их украли. До сей поры соседи не возвращают нам примус - уже пошел третий год. Интересно, что за электричество соседи платят столько, сколько хотят, никакой договоренности у нас с ними не было, и в результате я каждый раз переплачиваю и, кроме того, сам хожу в банк, стою в очереди и т. д. И это в 68 лет! Все живое есть результат борьбы.

4 декабря, среда.

В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой; пусть же он своевременно поливает первое и истребляет вторую. В диетке купил кило наваги.

Как только пришла Софья Павловна, так тотчас включила радио. Часов в 8 вместе с сожителем ушла смотреть телевизор. Сла-

ва тебе. Господи! Но радио выключить позабыла. Это не в первый раз. А недавно весь стол у нас на кухне залила водой. Мне попал от Наденьки: будто бы это я. Потом соседка созналась.

6 декабря.

Прочитал книжку Набокова о поездке в Англию в 1-ю империалистическую войну. Удивился фразе “в общем и целом”. Я никогда так не говорю, потому что чепухисто.

В редакции провел три занятия о производственном процессе, корректуре, правке гранок. На четвертое занятие наметил о правописании. Читал трудные вопросы правописания - о частице “не”. По-моему, в правилах трудно разобраться не только школьнику, но и взрослому. Придется для корректоров сделать выписки.

Едва открыл “Фауста”, как напоролся на следующие слова:

Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.

Здорово сказано. Если б так думали многие и многие, умных людей на свете было бы больше и жить было бы легче.

Звонили из “Пионерской зорьки” - пригласили в понедельник зайти. Хотят повторить мое выступление: “Почему школьники ошибаются, когда пишут”. Но у меня нет текста. Меня смущает и то, что у меня нет зубов, чтобы хорошо читать. В общем, что будет, то и будет.

8 декабря, воскресенье.

Наступили морозы. У меня очень зябнут пальцы, именно кончики. Пожалуй, придется купить шерстяные перчатки. Палец на ноге продолжает “хворать”, но все же ему значительно лучше.

6 декабря были мои именины. 3 декабря - день рождения. Я не справлял и никому ничего не говорил. Так лучше! Стукнуло мне 68. Довольно прилично.

Вчера Лужин уехал на “Интернационалку”. Может быть, надолго. Сегодня у Наденьки были ее школьные “артисты” - двое мальчиков и две девочки. Девочки - Мила и Таня - принесли Наденьке в подарок великолепных шоколадных конфет.

Когда мы сидели за столом, пили чай и разговаривали, сосед Жуков специально включил радио на полную громкость и стучал по какому-то железу молотком. Софи под этот аккомпанемент во все горло пела: “Валенки, валенки, не подшиты, стареньки”. Наденька хотела бежать скандалить, но мы ее удержали. Настроение, разумеется, было отвратительное.

В тюрьме, наверно, тише.

Как только гости ушли, соседи немного притихли. Заметка об одушевленности, кажется, попадет в номер в пятницу. Сильно сокращена. Мне все равно.

...Сегодня в 1 ч. 15 м. ночи я сидел как дурак, ожидая, когда мне сделают кровать. Когда я об этом заявил, то Надежда Петровна назвала меня кретином, идиотом и пр. Как жаль, что я ничем не могу вправить мозги... У нее не в порядке нервная система. Это болезнь - я по себе чувствую, - и с ней надо считаться.

11 декабря, среда.

Вчера по звонку будильника проснулись я и Наденька. Прислушались конец физкультурных занятий. Дальше - “Пионерская зорька”. Как обычно, музыкальное вступление. Голос диктора: “Пожалуйста, Александр Иванович”. И дальше я: “В начале 19-го столетия историк Карамзин...” Совсем не мой голос. И, я бы сказал, не очень симпатичный. Выступил хорошо. С Наденькой потом смеялись над манерой говорить. Я не умею давать фразу просто. На носках дырки, а Н. хоть бы хны!

Человек не должен жаловаться на времена. Из этого ничего путного не выходит. Время дурное: ну что ж, на то и человек, дабы улучшить его. Величайшее чувственное наслаждение, которое не содержит в себе никакой примеси отвращения, - это, в здоровом состоянии, отдых после работы. Все, что не есть мысль, есть чистое ничто. Мы не можем мыслить ничего, кроме мысли. Целый день сидел голодный. Теперь поел какой-то дряни, и разболелся желудок.

Соседи начали безобразничать особенно активно. Даже после обеда, когда они обычно спят, все равно радио работает. То

они его приглушают, то усиливают. А у нас? Тишина. Зачем же заводить радио и в это время разговаривать, выходить из комнаты в уборную и пр.? А главное, что за уши?! Я был бы рад, если соседи напились бы и шумели: это было бы жизненно и, пожалуй, изредка интересно. Но каждый день выдерживать их "атаки" - это надо иметь нервы. А они на исходе.

14 декабря, суббота.

Вчера говорил по телефону с проф. Крючковым. Я чуть было не попал в неприятную историю. Моя заметка о том, что надо писать "запустили спутника Земли", а не "запустили спутник Земли", могла попасть в печать. Получился бы скандал. Эту форму я взял у Р. из последней его книжки. А он в разговоре с Крючковым отрекся от своего взгляда.

Хорошо, что в этом разобрался Крючков - иначе я влип бы: были бы звонки по телефону и письма. Можно сказать, меня спас сам Бог.

Вчера соседи улеглись спать в 11 часов. Днем нас не было.

У Наденьки самочувствие неважное. Дело не только в ногах, но и в душенстроении, по-моему, из-за Лужина.

Погода скверная, снег тает, лужи, грязь. В редакцию не поехал. В столовой давно не был. Иногда хожу в буфет. Надо привыкать к нему. Из санатория вернулся Л. М. Сухов. Мы с ним вспоминали столовую и буфет на "Правде". Никакого сравнения. Вот уж действительно: "Земная жизнь объята снами..."

Сегодня попытаюсь настряпать какие-нибудь заметки.

15 декабря, воскресенье.

Сегодня - выходной день. Как и всякий выходной день, это бич для нас. У соседей орет все время радио. Удивительные люди! Что предпринять - не знаю. Ведь чтобы их упорядочить, надо везде ходить, объясняться с людьми, мне неизвестными, доказывать и пр. А что получится из всего этого, мне неизвестно. Вчера ничего не писал. Думаю, набросать сегодня что-нибудь. Наденька все время в раздражении. Порой с ней трудно говорить. От Лужина нет известий.

Вчера перед сном читал, как Анна Каренина бросилась под поезд. Здорово написано, и как это ужасно! Интересно, что испытывал Толстой, когда писал эту сцену. Неужели при писании он был

в нормальном состоянии? Чтобы написать такой ужас, надо самому быть в ужасном состоянии. Насчет свечки написано гениально:

“И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла”.

16 декабря, понедельник.

Сегодня я проснулся от соседского будильника, т. е. Софьи Павловны и Жукова. Затем, как всегда, в 7 часов заговорило радио. Я спасался от него тем, что пил жидкость Бехтерева, но на сей раз я ее не принимал, так как она вся вышла. Это радио меня взбесило. Я знаю, что бессонница не только у меня, но и у жены, и притом главным образом. В результате она каждое утро просыпается и затем через час-два должна во что бы то ни стало вновь заставить себя заснуть. Но это не всегда удается. Вне себя от негодования, что по милости непрописанного субъекта заводится радио и мы должны просыпаться, я пошел в уборную и, увидя сожителя соседки, сказал ему, чтобы он прекратил радио, в ответ услышал: “Плеть на тебя хотел. Пошел к еб... матери. Я тебе дам, контра...” Куда он собирается дать, я не расслышал, но я поразился наглости этого субъекта. Будь я помоложе, с удовольствием его отлупил бы. Но годы ушли, надо беречь себя. Я принял 20 кап. Зеленина и улегся спать. Конечно, заснуть не удалось, билось очень сердце. Встал, подзакусил и в десятом часу поехал на работу. Сидя в троллейбусе, думал: “За что я должен терпеть хамство во всяких его видах?” Поскольку жизнь наша имеет преимущественно практический характер, то и проблемы, которые она ставит перед нами, - это как нам лучше жить. Приехал в редакцию, увидел редакционных работников и сразу понял, что все они тупы, как поросята.

Домой вернулся поздно, около одиннадцати. Ел котлету, немного ветчины. Наденька вернулась домой усталая и мрачная: “Свадьба” идет, по ее мнению, вяло. Поймал таракана.

За целый рабочий день я ни разу не рассмеялся. Получил зарплату с большим вычетом.

Стал сомневаться в христианской морали и учении Толстого, что надо любить всех людей. Как можно любить тех, которые превратились в животных, вернее, не вышли из животного состояния?

Человек рождается животным, это ясно. И за короткий отрезок времени должен проделать огромный путь от животности к духовности! Но путь этот проходят единицы. Другие говорят: а зачем?

Надо купить dust.

17 декабря, вторник.

У меня ангина. Болит горло. Целый день провел в редакции - читал оригиналы. Затем зашел в гастроном № 1 и купил кое-что поесть. Придя домой, застал жену уже дома. Она жаловалась на сильную боль в животе - это очередной припадок. Могла бы помочь соседка - Ильинская, но она, наоборот, завела радио и вообще сильно шумела. Несомненно, что соседи выкинут какой-то номер, надо быть настороже: они на все способны. Бердяев наводит меня на веселенькие размышления.

К 11 ч. вечера прибыл Жуков, и сейчас же оживилась Софи: поднялась возня с мебелью и пр. Ломаю голову, как навсегда покончить с этими субъектами. Если б я был один, то все устроилось бы быстро. Очень трудно иметь дело с милицией - она загружена делами, и копаться в квартирных условиях у нее нет ни сил, ни времени. Я никогда не думал, что мне в 68 лет придется заниматься всякими безобразиями и безобразными субъектами.

К заметкам еще не приступал.

Лев Сухов мне сегодня заявил, что один Александр Иванович все тот же, а прочие с переездом в новое помещение как-то завяли: все то и все те, а в общем что-то нескладно. Я засмеялся.

18 декабря, среда.

В начале пятого явилась с работы Ильинская и тотчас включила радио на полный звук. Наверно, она думала, что жена спит, и поэтому решила ее разбудить. Ну и скотина! Ведь в квартире была полная тишина: у меня ангина, и я лежал на диване. Затем она улеглась спать и радио приглушила. Затем ушла на родительское собрание.

Вскоре пришел Жуков, Конечно, опять завел радио. Жена проснулась. Он что-то хозяйничал на нашей уродливой кухне. Я сидел и писал заметку для газеты. Жена вышла подогреть что-то. Я отчетливо слышал, как она сказала: "На минуточку". Дальше с той и другой стороны крик: Жуков заявил, что плевать я на тебя хотел, тебя

надо отдать под суд... Дальше я не слышал. Жена заявила, что это его надо отдать под суд за его безобразия в квартире, в которой он не прописан. Я вышел и заявил, что нельзя так обращаться с женщиной, тем более больной женщиной, и вообще плевать на лиц, которым уже 68 лет и которые уже по старости имеют право жить в тишине. "Кроме того, - сказал я, - разрешите представиться: кто вы - я не знаю. А я б. военный чиновник X класса, газетный работник свыше 30 лет". Жена возмутилась на то, что я сказал, что она лечится у невропатолога и психиатра, и в особенности на мою фразу, что надо с женщинами быть джентльменом и кое в чем уступать и что в конце концов при известной дозе благоразумия возможно мирное сосуществование. Жена, между прочим, сказала Жукову, что под суд надо отдать не ее, а С. П. Ильинскую, которая в присутствии некоторых лиц назвала ее проституткой.

Я принял каплеу Зеленина и принялся за писание заметки. По-моему, кое-что получается.

Что дальше будет - не знаю.

19 декабря, четверг.

Несмотря на ангину, все же работал. Приехал домой поздно на редакционной машине. Жена провела весь день и вечер вне дома, так как опасалась дальнейших выходов со стороны С. П. Ильинской и Жукова. За этими лицами надо тщательно следить. Они не останавливаются перед провокациями и писанием пасквилей.

20 декабря, пятница.

Сидел дома - лечился. Как только соседка пришла с работы, конечно, тотчас пустила радио. Я не остался в долгу и тоже включил радио до 11 ч. вечера. Надежда Петровна пришла к 11. 30 из-за соседей. В человеческих делах главное внимание должно быть обращено на мотивы.

21 декабря, суббота.

Сижу дома, лечусь, чем могу. Соседка пришла часов в 5 вечера и тотчас направилась к Ворожейкиной Анне Ивановне. Это

она делает попытку формировать общественное мнение против нас. Надо скорей заканчивать выписки из дневников. Вчера на это потратил много времени. Бегаёт также к Жихаревой.

30 декабря, понедельник.

Все дни был занят служебными делами, поэтому ничего не писал. Купил дуст, морю клопов. Читаю Бердяева. Я бы написал лучше. О соседях писать надоело. Выписки из дневников подходят к концу. Клопы обнаглели. Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь ограничивать себя.

Соседи затевают вот что: сперва подарили пальто Тане Жихаревой и пытались узнать, куда девался Лужин. Все-таки он им не по нутру, так как с нашей стороны является свидетелем всех их безобразий. Предполагая, что жена спит, сегодня утром Софья Ильинская и ее сожитель обсуждали вопрос, что, поскольку Лужин снова появился, зря отдали пальто Жихаревой; во-вторых, они хотели пригласить какую-то знакомую по имени Лида, затем придраться к жене в грубой форме, при этом они надеются, что жена моя что-нибудь ляпнет, тогда у них будет свидетель. Ловко придумано, что и говорить!

В том, что они способны на всякую пакость, я никогда не сомневался. В этом смысле я всегда предупреждал жену, а она по доброте и наивности все-таки пыталась установить хоть какой-нибудь контакт с Софьей Павловной.

Теперь они затевают какой-то ремонт на кухне. Разумеется, шлялись в домоуправление и там досыта чего-то ввали.

Придется мне самому побывать в домоуправлении. Я чувствую, что в конце концов мое терпение лопнет. Несомненно, я имею дело с бывальыми людьми, способными на все. Я должен буду предупредить домоуправление и участкового надзирателя, что опасаясь за здоровье и даже жизнь своей жены, не говоря уже о ее трудоспособности.

За короткий срок она все же успела поставить в школе две пьесы: "В добрый час" (пьеса прошла два раза с большим успехом) и "Свадьбу" Чехова (прошла тоже два раза). Следовательно, с 2-3 часов дня ее не было дома, а я все время находился в редакции. Мы вынуждены все вечера где-то проводить из отвращения и опасения всяких эксцессов со стороны соседей.

Я изучил каждую пядь Суворовского бульвара.

В сущности, мы не имеем комнаты.

Здоровье моей жены столь плохое, что ей нужен покой. Я предупредил об этом соседей. Но все это бессмысленно. Они, наоборот, ломают голову, как бы напакостить. Другими словами, я имею дело с злонамеренными людьми.

Вчера после спектакля сидели у нас за столом четыре наилучших из членов драмкружка. Чем могли, мы угостили ребят. Они молодцы! Немножко выпили портвейна. Женя очень развитой и интересный малый. И спектакль и сидение за столом мне очень понравились. Что может быть лучше, как наблюдать развитие школьников, слушать их мечты и пр.

Соседка по злобе и тупости, конечно, будет сплетничать, что было пьянство, что не давали им спать, хотя к 12 ч. все разошлись.

Только когда соседи завалятся спать, мы можем жить, т. е. собраться, посидеть за ужином и затем лечь спать. Иначе ожидай всяких безобразий. Хорошо, что приехал Лужин, в противном случае с нами может быть черт знает что. Несомненно, происхождение от обезьяны у некоторых людей дает себя сильно знать. Не только герой Евангелия - Христос, но даже Толстой производят впечатление наивных людей, когда говорят: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный", или: "Совершенствуйся!"

Хорош и я: семнадцать лет учился тому, что человек - образ и подобие божества. И вдруг... что-то звероподобное, а я совершенно не подготовлен к такого рода людям.

К 12 ч. ночи приехала жена. У нее сильные боли в животе поднялись во втором часу. Надо ставить грелку.

На днях было партийное собрание. Очень критиковали соборов, в том числе Р. Ковалько - мало пишет.

Сейчас 1 ч. 20 м. ночи. Софья Павловна храпит уже свыше часа, т. е., другими словами, нас не слышит. Ее напарник от злости и старости (я думаю, у него старческое слабоумие и раздражительность, признаки склероза мозга и разболтанности нервной системы), наверно, не спит и думает, как бы насолить нам.

6 января, понедельник.

В субботу был у Сухова. Бегло осмотрел квартиру - 58 метров. Превосходно! Закусывали на кухне. Предстоит на днях побывать и у Циновского - тоже отдельная квартира.

Купил книгу Булгакова “Христианская этика” (учение Л. Н. Толстого), а зонтик все еще не купил. Успех и неудача суть первичные категории жизни; достижение блага и избегание зла - ее высшие интересы; надежда и тревога - господствующие качества опыта.

Болят заусенец на мизинце.

Вечером в 11 ч. 20 м. с “Плодов просвещения” пришли драмкружковцы, принесли Надежде Петровне шоколадных конфет. Сидели, пили чай. К счастью, наша соседка С. П. Ильинская уехала в Ригу. Несомненно, она обегала бы все комнаты и изобразила бы, что была пьянка. Я окончательно пришел к мысли, что она ненормальная. Не запросить ли директора школы? Куда-то подевались скрепки.

8 января, среда.

Как я предполагал, так оно и вышло: мы будем меняться комнатами с Ходоровской. Это единственный выход из положения, потому что никакой контакт с соседями не возможен.

Для меня очевидно, что мы имеем в лице С. П. Ильинской ненормальную особу, у которой сдерживающие центры ослабели: она может что угодно сказать и что угодно сделать. Так что дело совсем не в перегородке. При наличии перегородки нам все равно придет конец в кухне, где и будут столкновения. Как мне надоели эти рожи!

Плюнул бы, да слюны жаль!

Я и Наденька уже в таких годах, когда мы должны беречь себя. А это возможно у нас только путем ухода от тех лиц, с которыми не возможен никакой контакт. Тем более, что Ильинскую сожитель не одергивает, а, наоборот, подзуживает.

Характер каждого человека оказывает влияние на счастье других людей, смотря по тому, имеет ли он свойство приносить им вред или пользу. Раскрошился зуб мудрости.

11 января, суббота.

9 января приехал домой в 4 ч. 30 м. ночи после работы. Вечера у нас были Данила и Таня. Она пишет дипломную работу. Мило беседовали, немного выпили и закусили. В 12 ч. они ушли. Коммунальные правила!

А днем была Варвара Николаевна. Ее муж получил лауреатскую медаль - за спутник.

Сегодня из редакции поехал с Циновским к нему на квартиру. 50 метров, кроме кухни, ванной и пр. Хорошо обставлена. Обедали и почти вдвоем раздавили пол-литра. Я сам на себя удивился.

Лужин уехал на "Интернационалку". Вчера на экзамене по теории литературы получил 5. Я сказал: "Это ляпсус". Все смеялись.

Как только приехала Ильинская, так тотчас печенег (Жуков) ожил.

Сегодня до 1 часу они разговаривали, пили чай и пр. А где же коммунальные правила? Ильинская что-то хотела болтать про мою жену и зашла к Ходоровской, но та сказала: "Я хорошо знаю Надежду Петровну и вас слушать не желаю".

Ильинской пришлось уйти.

Про членов драмкружка, т. е. про школьников, она говорит: "Ходят какие-то хулиганы". Вот так учительница! Один из школьников - сын профессора, другой - сын генерала, третий - сын режиссера... да что говорить!

Все отличные ребята и играют превосходно.

13 января, понедельник.

Соседи встречали старый Новый год. Жуков напился и распоясался. Оказывается, они устроили ловушку: всякими ругательствами они хотели вызвать на крупный разговор жену, а в качестве свидетеля пригласили "Лидочку". Затем они наводили справку, где работает Лужин. Убедились, что он работает в военной академии, а студентом состоит в ГИТИСе. День выбрали подходящий - понедельник, т. е. когда меня нет дома, так же как и в четверг.

- Ты заяви в милицию, что они пьянствуют, гремят посудой и не дают тебе возможности проверять тетради, а я заявлю в парторганизацию, - орал Жуков. - Я их под суд отдам!

Это рассказала жена.

- Я не знала, что делать, - говорила она. - Надо было позвонить Олсуфьевым, но не догадалась.

Все это я давно предвидел, но мне неизвестны были все их карты. Я считаю, что это еще не все карты. Но и на основании этих карт я перехожу в наступление.

16 января, четверг.

Вчера соседи вернулись в 12. 30 ночи, пили чай и разговаривали. Почему нам нельзя то же самое?

Сегодня Надежда Петровна рассказала, что в школе было получено анонимное письмо, в котором сообщалось, что Надежда Петровна - проститутка и как можно было доверить ей вести драмкружок. Далее сообщалось, что за проституцию в клубе "Интернациональное единство" она была уволена с должности руководителя драмкружка.

Директор школы позвонил в клуб и в партком, где сообщили, что все это неверно и есть следствие травли со стороны соседей, что Надежда Петровна вновь приглашается в клуб на "Интернационалку", но она отказывается. Вместо чая пил какие-то помои! Письмо было написано месяца три назад. Нашел в нем восемь ошибок. Разумеется, оно состряпано Жуковым и Ильинской Софьей.

Такой гадости я не предвидел. Кончился зубной порошок. Для действия требуется главным образом характер, а человек с характером - это рассудительный человек, который как таковой имеет перед собой определенную цель и твердо ее преследует. Талант я угадываю по одному-единственному проявлению, но чтобы угадать характер, требуется продолжительное время и постоянное общение. Нужно нарезать газет в туалет. Соседи этого никогда не сделают.

4 февраля, вторник.

Служебные занятия так меня захлестнули, что мне некогда было писать, хотя бы кратко, о коммунальных передрягах. Но я и жена все время начеку: что еще выкинет эта чудесная пара - Жуков и Ильинская? У Канта нашел одну занятную мыслишку: разум есть способность видеть связь общего с частным.

Выкидывает Ильинская следующее. Если Надежда Петровна одна, то непременно Ильинская заводит громко радио. Если мы все втроем: я, жена и Лужин, - то средне. Затем бегают по комнатам и заявляют, что мы не даем им то спать, то вообще жить. Надя не умеет чистить картошку: срезает много шкуры. У меня сильно болит ухо, ковырялся спичкой, черт!

В субботу 18-го числа в школе был спектакль "В добрый час". После спектакля к нам пришли поздравить с успехом жену некоторые лица.

Конечно, сели за стол подзакусить и выпить на радостях; спектакль прошел настолько успешно, что у одной артистки я публично поцеловал ручку, хотя ей всего 18 лет. Правда, от нее неприятно пахло потом.

В 12. 40 все разошлись, так как спешили на метро. Конечно. Ильинская все “оплевала”, изобразив, что у нас пьянство. Мало того, она завербовала свидетельницу - старушку Зину. Разумеется, из этого ничего не вышло, так как никакой пьянки не было да и старушка Зина на подлость не пойдет.

Таким образом, получается, что к нам никто не должен ходить. Когда я сообщил это гостям, они были возмущены. Все-таки мы намерены менять комнату. Вряд ли в наше время можно найти управу на наших соседей, и чего она будет стоить!

“Удались от зла и сотвори благо”.

8 февраля, суббота.

Стоят хорошие зимние дни с оттенком весны. Небо совсем голубое. Приятно гулять по бульвару.

На работе никаких новостей. Глава редакции уехала в Польшу. 31 января были выборы в местком. Говорят, я блестяще прочитал доклад ревизионной комиссии. По-моему, это верно. Когда я задал вопрос, почему Малышев не платит членских профсоюзных взносов, и привел ответ - стих Пушкина: “Лишиться я боюсь последних наслаждений”, - раздался взрыв хохота, а затем аплодисменты.

Лужин сдал все зачеты на 5. Это очень хорошо.

Соседи немного притихли, потому что из Риги приехал старший брат Софьи, Серафим Павлович Ильинский. Я избегаю встречи с ним. С Надеждой Петровной он не поздоровался. С меня этого достаточно. Ильинская нахальна, как всегда. Ну и черт с ней.

Зав. школьным отделом Черкасов ничего не говорит о моей “Грамматической копилке”. У меня пропадает охота писать.

У Надежды Петровны дела идут, по ее словам, неплохо. Намежена поставить “Бедность не порок”.

У меня сидела одна тема в голове и портила настроение. Теперь я ее сбросил, и стало лучше.

18 февраля, среда.

Наденька усиленно репетирует “Бедность не порок”. Кроме занятий в школе ребята приходят репетировать к нам на дом. Это, конечно, бесит соседей, особенно Ильинскую. В такие моменты она пускает радио на полный звук.

Ученики удивлены. “Давайте мы с ней поговорим, - говорят они. - Ведь мы сидим тихо, не шумим”.

Когда приехал Серафим Павлович, печенег не ночевал. Мы просто отдохнули. Были даже гости: Михаил Александрович Олсуфьев, Антонина Александровна Горецкая и ее сын, Володя, следователь. Сидели до 12 ночи и тихо разошлись.

Полоумная соседка затем спрашивала Серафима Павловича: “Ну как?” Он ответил, что все было нормально. Она была разочарована. Впрочем, ну ее ко всем чертям!

На работе никаких новостей нет. Читаю, правда бегло, Булгакова о Толстом, т. е. изложение его учения. Местами рассуждения могли бы быть короче.

Вчера впервые видел магнитофон. Федя Тарасов спел одну французскую песенку. Запись получилась хорошей. Магнитофон - это превосходная вещь. Цена 1650 руб. Я попробую тоже что-нибудь наговорить с тем, чтобы вновь послушать свой голос.

Женский день, кажется, будем справлять. Мне почему-то неинтересно. Раньше придумывали всякие смешные номера, а теперь будет только сидение за столом. А может быть, что-нибудь придумают. В уборной оторвали ручку унитаза.

Позавчера на площади Пушкина любовался, как снег украсил деревья. На правой перчатке прохудился палец.

30 апреля, среда.

Давно не писал. То дела, то лень. В понимании этики как своеобразной и даже, в известном смысле, высшей гносеологии был зародыш действительно новой, и притом значительной, мысли. Кант вводит тезис о первенстве практического разума над теоретическим. Ел картошку с огурцами, пил компот.

Всем желанием следует предьявлять такой вопрос: что со мною будет, если исполнится то, чего я ищущу вследствие желания, и если не исполнится? Невозможного не желаю.

А как обстоит дело с соседями? Общаться с ними невозможно. Я все время начеку. Это меня волнует настолько, что я ухожу на целый день из дому и прихожу к 11 - не раньше. Заметил, что тарелки Наденька моет плохо - жирные.

Что же придумали Ильинская и ее сожитель Жуков? Сперва они решили ломать печь. Я опротестовал это намерение и подал заявление в комиссию содействия. Было назначено заседание. Вел его Седов. В заявлении Ильинской было написано, что у нас происходят дебоши, что у нас ночует неизвестная личность - Лужин, что мы не уступаем шкаф, наполненный нами всяким хламом.

Так как доказательств о дебошах никаких не было, то вопрос не рассматривался. О Лужине - тоже. Участковый (да и сама Ильинская) прекрасно знает, что Лужин работает в Академии Генерального штаба им. Ворошилова и состоит студентом ГИТИСа. О шкафе было постановлено: очистить его от барахла и дать возможность пользоваться Ильинской. Я не возражал. Я заявил для характеристики Ильинской, что она назвала мою жену проституткой, хотя ей должно быть известно, что я живу с женой свыше 30 лет, что она потеряла сына на войне.

Далее я заявил, что Ильинская месяцами не платит за электричество, показывает, что у нее горит одна лампочка, когда с улицы в окно видно, что горят 2 лампочки. После этого заявления Ильинская и ее сожитель стали наглухо закрывать окно, так что не видно, сколько горит лампочек.

Кроме того, она заявила, что уважает седины. На это я заметил, что не вижу этого уважения: в продолжение нескольких лет я, за малым исключением, хожу в госбанк платить за газ и электричество. Стою в очередях, теряю время, причем сама Ильинская ничуть не беспокоится.

Председатель Седов заявил, что о дебошах никому ничего не известно. На этом окончилось заседание.

Шкаф пришлось очистить от некоторого хлама. Ильинская воспользовалась обстоятельствами и заняла не одну полку, а почти 2/3 шкафа, причем выбрала место для своих вещей без всякого согласования со мной, т. е. произвольно распорядилась моими вещами. Ну и субъект!

Через несколько дней приходили к нам два управдома (прежний и новый). Они сказали жене, что Ильинская им надоела, что они вынуждены были рассмотреть ее заявление. "А во-

обще, не обращайтесь внимания”, - сказали они. Оказывается, выдержки из моего дневника не пропали в домоуправлении, мне их вернули. Любопытно: кто же их читал?

8 сентября.

Из меня выбито всякое желание писать, чувствовать, жить. Коммунальность ампутрует душу.

Кое-что вспомню. В мае я уехал в отпуск. Внезапно заболел Лужин. Я звонил из Звенигорода. В доме все было благополучно. Соседи вели себя прилично. А я, откровенно говоря, ожидал с их стороны всяких безобразий. Но, по-видимому, они стеснялись Лужина как свидетеля.

Все же накануне моего отъезда был инцидент. К жене пришли ученики - члены драмкружка - по окончании спектакля. Вполне понятно, что они не могут сразу успокоиться, тем более, что сыграли такую пьесу, как “Бедность не порок”. Ушли они в 23. 45. Конечно, печенег, сожитель Ильинской, завалился спать. Казалось бы, все хорошо, но на другой день мне вдруг звонит жена в редакцию, говорит, что Ильинская устроила сцену: вызвала участкового и требовала составления протокола, указывая на Ворожейкину как на свидетельницу.

Та сказала, что ребята смеялись - и больше ничего! Участковый ушел.

Я тотчас позвонил Ильинской по поводу этого безобразия и категорически заявил, что буду на нее жаловаться не в домоуправление, а ее начальству, что все ее безобразия у меня записаны и что ей безусловно нагорит.

Кроме того, я посоветовал ей поговорить на этот счет с Жуковым: это такой пройдоха, что вряд ли он одобрит ее затеи. Так оно и вышло.

Обычно она заявляет следующее:

- 1) Ей якобы мешают проверять тетрадки.
- 2) Мешают спать после 12 часов.

Хотя философия - и только она одна - может ставить перед собой задачу примирения противоречия между сферой бытия и сферой ценностей, действительное разрешение этой задачи недоступно даже философии. Проверить тетрадки ничего не стоит, - для этого достаточно задержаться в школе. У меня бывают более важные письменные работы по спорным вопросам правопи-

сания. Работаю в редакции, так как Ильинская все время заводит радио. Нет хуже худого разума.

Другими словами, она занимается радиохулиганством. Ее сожитель тоже хорош: он заводит радио в 7 ч. утра. По какому праву? Разумеется, мы все просыпаемся. Я часто принимаю снотворное. И вдруг ни с того ни с сего радио! Для чего все делается? Чтобы нас разбудить в отместку, что мы поздно ложимся и якобы нарочно не даем спать. Все это наглая ложь. Говорят, память плохая, а про ум - молчат. Его просто нет!

Что же получается - мы должны ложиться спать, когда у нас никакого сна нет и не может быть?! У моей жены заболевание центральной нервной системы, а у меня склероз. А ведь со стороны могут поверить этой лжи! Участковый надзиратель мне заявил, чтобы я не обращал внимания на все это.

В июне Ильинская уехала. В комнате остался печенег - Жуков. Когда мы все в сборе, он не затевает скандалов, а только включает радио до 12 ч. ночи, когда дают Красную площадь и часы на Спасской башне. Но стоит мне и Лужину уйти из дому, сразу положение жены становится безнадежным: надо избегать встреч с Жуковым, а он не только хозяйничает, но и говорит с женой на "ты", делает замечания в грубой форме, ходит в трусах и тельняшке. Вот мышиный жеребчик!

Однажды жена его спросила, по какому праву он здесь живет и кто он такой. Он ответил: "Я гражданин Советского Союза". Сидевшие в нашей комнате школьники прыснули со смеху. А он сделал замечание, что школьники громко разговаривают и смеются.

Узнав об этом, я посоветовал написать в домоуправление и участковому заявление с описанием наглого поведения Жукова. Школьники написали и расписались. Я показал заявление участковому, он прочитал и сказал: "Оставьте это заявление у себя. А если Ильинская будет безобразничать, то я с ней как следует поговорю".

Жена моя так изнервничалась от создавшейся обстановки, что решила хоть на время уехать на "Интернационалку", где в клубе занять должность руководителя драмкружка. Я ее долго отговаривал, но другого исхода не было, и я перестал возражать.

1 сентября жена уехала. Я остался один - рак-отшельник. Соседи пока думают, какую пакость причинить мне. Несомненно, надо ожидать всяких неприятностей. Что ж, я готов!

Февраль, 21.

Не писал черт знает сколько! На то были причины. Вошли посетители. Писать невозможно.

7 марта, суббота.

Жена вышла с чайником на кухню. Послышался голос Ильинской: "Для меня, что ли, накрутилась, как шлюха?" Слышу - упал чайник. Выскочил на кухню - Наденька лежит на полу. Из щели своей двери печенег прошипел: "Хоть бы сдохла, аристокхлюндия!"

Вызвал неотложку и отправил Наденьку во 2-ю градскую больницу. Есть предположение, что инсульт.

Саша Лужин тотчас же позвонил Светлане Александровне, и они, невзирая на поздний час, поехали в больницу. А Маша, наняв такси, примчалась ко мне на квартиру. Я очень опечалился. В 1 ч. ночи я отправил Машу домой. А сам ждал возвращения Светланы Александровны и Лужина. Они вернулись и сообщили, что в справочном им заявили, что больная в памяти, дар речи сохранился.

Утром туда помчалась Светлана Александровна. Часа через три вернулась в сильно плаксивом состоянии. Больная якобы плохо говорит, вид ужасный, обмочилась. Врач просил приехать меня.

Я поехал с Лужиным. Говорил с врачом относительно болезни ее ног, как она лечилась. Врач ничего страшного не говорил. Затем Лужин был в палате. Больная задавала ему вопросы: "Как вы?", "Опасно или нет?", "Что говорят врачи?", "Обедали ли мы?", "Пили ли кофе?" Речь ее в большинстве случаев ясная, но иногда непонятная. Правая рука и нога не действуют.

Мне страшно, я боюсь и в палату не пошел.

Лужин сказал, что с помощью няньки она съела котлету с пюре, выпила немного компоту. Просила, чтобы зашел я. Но я уклонился, потому что ночью не спал, ослаб. Отложил посещение до воскресенья.

У соседей пущено радио на самую максимальную громкость. Если не признавать объективной реальности, данной нам в ощущениях, то откуда может взяться мышление, как не из субъекта? Мышление дает нечто такое, чего нет в ощущениях. Клеенка на столе вся протерлась.

Думал о больной. Если она все время в сознании, говорит и все понимает, то это хорошо, т. е. у меня надежда, что все образуется. Сегодня весь день был все-таки в раздумье.

Завтра поеду и сам погляжу. Мне, конечно, будет очень трудно. Надо помыть пол.

8 марта.

В 7 часов проснулся от будильника соседней и от звуков их радио. В голову полезли всякие жалобные мысли. Лужин спал. Потом я задремал и встал в 10 ч. Пил. с Лужиным кофе.

Подъехала во втором часу Маша, и все вместе отправились в больницу. Я боялся расстроиться. Но все обошлось благополучно. Я думал о трансцендентальном.

Накинув халат на плечи, я вошел в палату и увидел у окна кровать, а на ней Н. П. Вид у нее приличный. Она намазала себе губы. Так сказать, не сдается! Сел на край кровати. Больная говорит по-разному: то ясно, то во рту у нее каша. Ничего не болит. Кривизна рта небольшая. Пока ничего не ест. Что у нее инсульт, она не знает. На кровати облуплена краска. Я старался, чтобы свидание было короче. Поцеловав ее в лоб, ушел. После меня вошла Маша, заставила бабушку выпить немного виноградного соку и съесть ломтик апельсина.

Я доволен, что повидался с больной. Конечно, Наденька не та. Но что же делать? Никакая болезнь не красит человека. Я ожидал худшего. Если удар не повторится, то дело пойдет на поправку. Между прочим, больная жалуется на лежащих в палате: они люди простые, ругаются, с ними у нее нет контакта.

9 марта.

Спал прилично, потому что принял бромурал. Когда шел на работу, голова была кислая. Работал, как всегда, хорошо, но все время думал о Н. П. Кое-кому рассказал о ее болезни. Ожидал охов и вздохов, но этого не было.

Приехал домой. Печенег в трусах и в тельняшке жарил на кухне рыбу.

- Еще ходишь? - спросил он, не оборачиваясь.

Я сдержался и молча прошел, как мимо мебели. Затем позвонил Светлане Александровне. Она была драматически настроена. Резко мне заметила, зачем я привез Н. П. губную помаду, что она вся перемазалась, якобы над ней все смеются и даже ненавидят.

17 марта.

Печенег принялся без моего согласия разбирать печь. Я заметил ему, чтобы он не самоуправничал. На что печенег сказал: "Пошел к еб... матери. Дыши, пока даю дышать, а то крант перекрою!" Что на это ответить? Подумав, возразил:

- Вы же здесь не прописаны...

Жуков кликнул Ильинскую, она вышла в одной нижней рубашке с паспортом сожителя, где стоял лиловый штамп прописки.

Я подумал, что ловко обделано: теперь печенег законный жилец. То-то он рьяно за печь взялся.

Думал под звуки соседского радио о больной. Если она выживет, то полной поправки не будет. Ноги ее и без того очень плохие. Следовательно, будут еще хуже. Рука, может быть, будет действовать. Иначе говоря, она будет лежачий инвалид. Это ничего, лишь бы была жива.

Обмен комнатами вряд ли состоится. Никто не желает слушать через перегородку радио и хамство Ильинской и ее сожителя, т. е. уже мужа. Они хамят. Я стараюсь держаться. У меня слаб аппетит и плохой сон. Принимаю бромурал. Всем случившимся я выбит из седла. Стараюсь держаться, но когда овладею собой - не знаю. Сам про себя острою. Мне говорят: "Не теряйте духа", - а я отвечаю, что духа мало, а запах есть. Все смеются.

На дворе как будто весна. Боюсь, как бы не развалиться и не выйти на пенсию. Словом, в голову лезут только мрачные мысли. И каждый день я борюсь сам с собой.

30 апреля.

Саша Лужин, которого я устроил к себе в газету корректором, и я проснулись от соседского радио в 6 ч. утра. И то хорошо - надо было спешить в редакцию. Он подъехал к 7, а я - к 8 ч. Кончили работу в 2 ч. дня.

Помчались на такси в больницу. Привезли больную домой. И вот теперь она лежит на диване. Так вроде ничего, но все время покашливает. Это меня смущает.

Странно вот что: температуры вначале не было - и голова и руки были холодные. А в 8. 15. вечера вдруг 37, 3. Что это значит? Я смотрю на философские концепции как на метафоры.

Ученому столь же необязательно избегать их, как поэту не следует избегать метафор. Но он должен знать им цену. Они могут быть полезны, давая удовлетворение уму, и они не могут быть вредными, поскольку они остаются безразличными гипотезами. Я люблю спать на подушке с чистой наволочкой. Ворочать Н. П. трудно. Частью сходила на судно, а частью - "опрудилась", в комнате запах. Мне он мешает размышлять.

Картошка в корзинке сгнила. Я бы съел отварной капусты.

17 мая.

С утра в минорном настроении: пропал интерес ко всему, и даже больше - все шатко, все колеблется. Это животное чувство протестует против сложившейся домашней жизни. Такому чувству нельзя давать ходу. Надо жить духовно, а для этого очень много материала: исполнять покорно свои ежедневные будничные обязанности. А там что будет, то и будет.

Вечером больная психовала, плакала. Уже несколько раз со времени переезда из больницы домой назвала меня эгоистом, что я ее не понимаю и пр. Надо иметь большую выдержку, чтобы не образумить больную. Но она ничего не понимает, кроме своих мыслей. Должно быть, от тяжелобольных и требовать ничего нельзя. Я решил: исполнять свои обязанности, а результат или последствия не в моей власти. Это - дело Божие. Надо купить летние брюки и пару хороших носков.

Как только соседи приходят с работы, то тотчас пускают радио. Мудрость есть дочь опыта. Опыт же говорит, что у 99 из 100 нет ума.

3 июня.

Больная за истекшие дни была в приличном состоянии. Ее мучат боли в ногах, пролежни, сердечная слабость. Достижение одно есть - это аппетит. Больная все-таки стала есть. Через 2 дня ставим клизмы. Без них ничего не получается.

Сегодня Лужин ушел в магазин, чтобы кое-что купить, а больная в это время спала. Проснувшись, она решила, что он на нее

не обратил внимания, и стала плакать. Я убедился, что подобного рода больные плачут независимо от своего сознания, - это болезнь или симптом болезни. Больные на первых порах возбуждают жалость, а при частых случаях - раздражение. Нужно большое терпение, чтобы их успокоить и пр.

Прошел месяц, как мы взяли больную из больницы. Мне кажется, что достижения есть. Но нам - Лужину и мне - забот полон рот. На той неделе беру отпуск, займусь больной и собой. А дальше не знаю, что будет. Все дело в деньгах, а их нет. Мне думается, что в конце концов все кончится плохо. Здоровье мое неважное. Почему-то очень красные руки - кисти, к тому же они опухают.

Я живу в двойном напряжении: с одной стороны - больная, с другой - соседи. Слава Богу, что они вчера уехали в отпуск. Впечатление такое, словно могильную плиту с меня сдвинули!

19 июня.

Сегодня погода приличная, дождя не было. У больной настроение удовлетворительное. Была сестра - пролежни начали лечить кварцами.

Лужин целый день в библиотеке. Я дома - кухарю! Настроение паршивое.

Вчера слушали по радио Москвина. Он великолепно сыграл отрывок из "Царя Федора". Ершов и Орлов играли неважно. Наденька, конечно, всплакнула. Давал ей капли Зеленина. Я сам чувствовал себя не по себе, в особенности когда дикторша сообщила, что Станиславский плакал, когда смотрел Москвина.

Задумал для корректоров составить словарик. Но пока плана нет. Удивительная психология больных людей. Они думают только о себе. Конечно, каждому хочется поскорей поправиться. Но надо подумать и о тех, кто не покладая рук заботится о больном.

Надежда Петровна совершенно не думает обо мне. Она говорит только о Саше Лужине. Несомненно, без него я пропал бы. Да неизвестно, что было бы и с больной. Но все же и я с марта верчусь, как белка в колесе. Причем никаких иллюзий на будущее лучшее я не имею. Я даже не знаю, на чем я в своей душе держусь. Мне кажется, что моя жизнь висит на ниточке. И никто этого не понимает. А ведь это страшно! Вот и живи. Единствен-

ная моя отрада - это сон. Когда засыпаешь, кажется, что жить еще можно. Утром - самое плохое настроение. К ночи лучше. Но и то при условии, если больная в порядке. Что-то будет дальше? Безденежье меня гнетет. И странно то, что мне хочется жить: как будто еще возможно что-то хорошее.

Была Маша. Удивительно, никто из них, т. е. Светлана Александровна, Маша, вообще Каменские, не думает, как помочь бабушке и каким путем. Оказывается, всем им летом надо отдыхать и все уедут из Москвы. Другими словами, больная остается на попечении меня и... Лужина, пока у него хватит терпения. Странные люди: сами тормозили меня, чтобы взять больную из больницы. Затем ее привезли домой, и... все в кусты. Посторонние и то помогают (Лужин) и понимают, что значит ухаживать за лежачей больной, и недоумевают, что же будет дальше. А Каменским хоть бы хны: все заняты своими делами. Я это отлично предвидел. Но на все пошел, потому что вижу, что и моей личной жизни пришел конец.

Есть судьба, и от нее не уйдешь. Впрочем, еще некоторое время поборемся. Куплю новый галстук и брючный ремень.

Завтра Троицын день. Видел кое-кого с цветами и березками. Сейчас 11 ч., гроза, дождь. В карточках поймал несколько клопов. С Кантом кое в чем не могу согласиться.

4 августа.

Удар страшной силы: соседи прописали некоего Володю, широкоплечего, под два метра ростом, сына Жукова. Его приняли в Метрострой и дали московскую прописку. Вот так дела!

Больная все в том же положении: вечером температура 37, 2, потом спадает, настроение неважное, сонливость, аппетита никакого. Пытался читать Бердяева, даже кое-что думал о субъектах новой морали, но... Ставили клизму. В этот момент пришел кожник. Прописал мазь. Вчера была врач-терапевт. Она нашла: давление нормальное, для легких как можно чаще рекомендовала ставить горчичники, сердце у больной слабое. С пролежнями дело идет успешно: лимфа перестала идти. Лужин мазет всяческими мазями. Но краснота кожи - новой - меня пугает. Мне хотелось бы, чтобы она скорей бледнела, а этого пока не получается. Больная сознает, что с момента, как ее спалили кварцами, она сильно болеет и предыдущую поправку всю потеряла: си-

деть от слабости не может. А ведь совсем недавно читала Чехова и даже курс русской истории Платонова. Все понимает и помнит, но стала простодушна, а когда плачет, ее очень жалко. Правда, смеялась она и веселилась всю жизнь, так что теперь вроде и пострадать нужно. Но своей веселостью она заражала других, и поэтому ее особенно жалко. Она очень любит Лужина и понимает, как идеально он за ней ухаживает. Моих замечаний не терпит и меня частенько ругает. Неужели она не понимает моего состояния?

7 августа.

Печенег ходит в трусах. Сын Володя работает через день. Когда он стоит у плиты, я не могу к ней подобраться. Хоть толкай его. А он молчит и делает вид, что меня не замечает. Больная как бы не слышит громких голосов из-за перегородки. Даже их радио ее не беспокоит.

Странно.

Я в мрачном настроении, мне кажется, что у больной заострился нос. Может быть, это общее исхудание, и может... Целый день возимся с больной. Что из этого получится - неизвестно. В будущее лучше не заглядывать.

На улицу не выходил, сбегал только за квасом. И это при наличии Саши Лужина. А как же без него?

При всей серьезности положения больная красит губы, подмазывает глаза, пудрится. Но не умывалась 2-3 дня: не хватает сил, слабость во всем организме и индифферентизм ко всему. Наденька всю жизнь делала только то, что хотела. Когда у меня мать заболела раком, она была совершенно равнодушна. У могилы говорила о какой-то чепухе. А теперь только о себе.

Да и поведение дочери - Светланы Александровны - подозрительно. По-видимому, к своей мамочке она никогда не была расположена. А теперь удивительно равнодушна. Нет даже телефонного звонка: как больная?

Н. П. поглупела. Она не понимает, что ей советуют. Даю ей валидол на сахаре. Она берет под язык кусочек сахара и тут же запивает чаем. Я делаю замечание - она ноль внимания. Вот и лечи такую больную. Я понимаю ужас положения - лежать в кровати 6-й месяц.

Надо воздать должное больной: лежит она мужественно, с надеждой, что все улучшится. Но в последнее время начала колебаться, сомневаться, у нее параллельно с физической истощаемостью стал ослабевать дух. Она моментами бывает трогательно добродушна, сердечна. Как ей душевно плохо, она, как ребенок, ищет помощи и ласки. Даже сейчас ей нельзя дать 72 лет - так она простодушна и наивна, как будто ей мало лет. Она, конечно, много думает про себя, но ничего не говорит, кроме того, что ей плохо.

20 августа.

Как я предполагал, так оно и получается. Больная в бессознательном состоянии. Приезжала неотложка, впрыснули камфару. Я был в редакции и ничего об этом не знал. Пришел в 8. 30 и получил эти сообщения. Больная лежит пластом и ничего не понимает. По-видимому, скоро будет конец. Когда Кроче настаивает на автономности интуиции, он имеет в виду доинтеллектуальную форму познания. Но когда он разясняет, что интеллектуальное познание может выступать, только будучи выраженным посредством языковых форм, он, по существу, уже отказывает интуиции в полной независимости от интеллекта.

Около больной Лужин и Светлана Александровна. Больную мажут мазью, а она стонет и говорит: "Довольно", "Не могу". На ногах пятна. Все попытки Лужина что-нибудь понять у больной, не удалось, тем более что больная без зубов-протезов. Все с себя сбрасывает. Однако руки и ноги холодные. "Узнаете меня?" - "Да". Дышит тяжело. В 12 ч. 30 м. больная все время говорила: "Всего давай". У меня сильное расстройство желудка. В уборной на полу вода. Думал о трансцендентальном.

21 августа.

Ночь больная тяжело дышала. Утром стала затихать. В начале 10-го часа я и Лужин убедились, что она умерла. Смерть наступила в 9. 30 тихо. Она отмучилась. Жила или старалась жить она весело, полгода пострадала и умерла. Она умерла во сне, так что глаза закрыты. Подгорела кастрюля с манкой.

Приехала Мария Ивановна - сестра - для укола камфарой. Но все уже поздно! Были из редакции Тамара и Катя. Принесли по-

ка 200 руб. Покойную вымыли и надели платье. Мыли Лужин и Светлана Александровна. Вид у покойницы хороший. Приходил Каменский и отправился в загс. Я отвлекался мыслью о том, что нужно купить в конце концов зонтик.

Собираемся пить кофе и чего-то поесть. Покойница лежит, покрытая простыней. Думаем, т. е. мечтаем, похоронить на Ваганьковском кладбище.

Саша Лужин держится хорошо. Пьет бром. Про него больная говорила, что Саша без нее пропадет. Но он будет жить со мной.

22 августа.

Сидим у гроба и молчим. Это, наверно, самое приятное для умершей.

Итак, стоит на стульях гроб. Лежит Наденька. В ногах - металлический венок, в головах - корзина с цветами. В руку я вложил ее "походную" иконку, кажется, подарок Н. Сегодня она переночует последнюю ночь, а дальше - земля, вечность.

18 октября.

Написал статью, как пользоваться словарем. Был у проф. Крючкова, он одобрил. Я у него сидел больше часа. Сдал статью в отдел. А что дальше будет - неизвестно. В редакции поговаривают, что будет новый редактор из ЦК, притом мужчина. Если это так, то надо быть готовым ко всему, точнее - к уходу на пенсию.

Каждый день думаю о Наденьке Петровне. Выяснил, что ей было 73 года 8 мес. В такие годы не жалко умирать, ибо, в сущности, жизнь прожита. Вспоминаю, что она говорила во время болезни. Очень прискормно, что никто из актеров, хотя бы через Федора Николаевича, не прислал и не передал соболезнования. Получилось, что хотя они и талантливые, но необразованные и невоспитанные люди. Про таких людей я в шутку сказал: "Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны от рода сего и вовек". Крючков засмеялся, при этом указал на своих соседей. Я добавил, что в любой квартире есть печенегги.

И вот, прибыв домой, узнаю, что Ильинская, Жуков и Володя получили квартиру.

Что же получается?

18 ноября.

Сломали перегородку, забили одну дверь, и теперь у нас с Лужиным комната в 28 метров! И тишина!

В понедельник ездил в редакцию работать. Дежурил. Вчера - день рождения Светланы Александровны. Мы с Сашей купили ей торт. Сидели до 11. 10 ночи. Вернулись домой и в 12. 15 легли спать.

Пятница, 11 декабря.

Каждая пятница для меня особенный день: в пятницу 21 августа умерла Надежда Петровна. Но я думаю об умершей не только в пятницу, а каждый день!

Работа в редакции идет своим чередом. Вчера редакторша вручила мне Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ в связи с 70-летием и 35-летним стажем работы в нашей газете. Мне было приятно.

Все дни в свободные часы читал письма А. П. Чехова. Очень интересно, а главное - много умных мыслей. Замечательные люди уже в юных годах блещут. Чем объясняется даровитость? Откуда она?

Я еще в редакции котируюсь. Хотя - кому нужны старики? Насколько хватит сил дальше держаться - не знаю. Будущее туманно, и лучше о нем не загадывать, надо жить текущим днем. Будущее неизвестно, прошедшее прошло, настоящее - момент, им-то и надо пользоваться, делая только необходимое, а все остальное отбросить. Нужно благодарить всех богов, что у меня отдельная от жильцов комната и я могу ни с кем не общаться. Жильцы, за малым исключением, доставили немало огорчений Наденьке Петровне и мне. Ну и черт с ними. Читал Бердяева. Смотрю на окно - нужно купить занавески.

22 декабря, вторник.

Я формально не отрицаю существования трансцендентально-го объекта, но настаиваю на том, что такой объект не может непосредственно определять какое-либо знание. Год на исходе. Вчера исполнилось 4 месяца со дня смерти Наденьки Петровны. Как-то я сказал Маше: "Ты не печалься: смерть бабушки - это закон природы. Мы все смертны". На это она решительно сказала: "Не хочу я этих законов природы". В этом-то и состоит наша тра-

гедия. Над нами тяготеют дурацкие законы природы. Душевно мы не принадлежим к видимому, чувственному миру, ибо он обманщик. Отвалилась подметка на левом ботинке.

22 января, пятница.

Вчера был на работе. Ехал на такси, а обратно на редакционной машине. Как будто ничего. Но часов в 5 вечера, наверно, была температура, чувствовал, что мне жарко. Привил оспу. Разговорился с пожилой сестрой о Л. Толстом. Она много читала о нем и жалела, что за ним не записывали, как Эккерман за Гете. Я был удивлен, что она читала эту книгу. Ведь читают обычно только современное, бьющее в нос. И вдруг разговоры Гете с Эккерманом.

Лужин тоже привил оспу в поликлинике на пл. Композиторов (Собачей площадке). Говорит, что было очень много народу. Оспу, по словам медработника, привез к нам из Индии художник. Он фотографировал похороны умершего от оспы. В самолете почувствовал себя неважно, и его отправили в больницу. Что у больного была черная оспа, удалось выяснить лишь после его смерти.

Говорят, что выезд и въезд в Москву возможен лишь по предъявлении справки о прививке оспы.

Попил, поел, буду заниматься домашними делами.

...Все домашние дела выразились в том, что подмел пол и подстриг цветок. Ничего себе - поработал!

Из шкафа-серванта вытащил маленький портфель и стал его разбирать. Это архив Наденьки Петровны. Уничтожил письма Н. к ней. Н. ничего не понял в Октябрьской революции. Он вдруг убедился, что все летит прахом, в том числе и Государственная дума, и Временное правительство, что все изболтались и что дальше будет - неизвестно. Брат Н. устроился на юге чуть ли не водовозом. Н. по этому поводу пишет, как жаль, что он не знает ни одного ремесла. Да, в этом была трагедия интеллигенции, что она не принимала никогда участия в создании материальных ценностей и не училась этому. То же получилось и теперь, когда окончившие 10-летку ничего не умеют делать.

Любопытно, что Н. подписывает свои письма полностью, а имени и отчества Наденьки Петровны не пишет ни в одном письме. Вероятно между ними было так договорено. Каждое письмо заканчивает: "Целую ручки". Из эпитетов употребляет: "моя милая", "моя

хорошая". В период всеобщего развала вспоминает, как ей подносили розы, как пили шампанское, и делает вывод: куда все это делось? При всей аристократичности ни звука о народе. Даже Л. Толстой, замкнувшись в свою нравственную систему, понимал, что будет революция и что все полетит прахом. Как же не понимал этого Н., государственный человек?! Просто непонятно.

Эти письма - страница, и очень яркая, из жизни Наденьки Петровны. Я их уничтожил, ибо кому они нужны и понятны? Пережитое ушло вместе с ними. Наденька за 35 лет нашей совместной жизни никогда их не перечитывала и только имела всегда перед глазами портрет Н. Прошлое тяжело вспоминать, и Наденька Петровна обладала редкой способностью - никогда не возвращаться к прошлому.

23 января, суббота.

Звонила Маша, вечером обещалась зайти, сдала экзамен на четверку. Саша уехал на экзамен к 10 ч.

Видел во сне свою мать. Вид у нее был ласковый. Сидела она на какой-то кухне, причем очень коптил примус, и я подумал... что надо следить за старухой: как бы не устроила пожар! Вот и весь сон. Я очень доволен, что "повидался" с матерью. Иногда жаждешь сновидений, но ничего не получается. А то вдруг без всяких причин - сновидение, и притом приятное.

Саша сдал экзамен на 5. Готовил курицу. Затем пили кофе, подзакусили. Обед отложили до прихода Маши. Она явилась в 8 ч. вечера, но ничего не ела. Пила чай с печеньем, и то немного. Купил зубную щетку и аспирин.

Маша рассказала, как она видела по телевизору старых мхатовцев. Ей очень нравится Леонидов. Показывали репетицию "Вишневого сада". "Одни покойники!" - сказала Маша и прибавила, что плакала, вспомнив бабушку. "Она не стала бы смотреть, - сказал я, - ей было бы очень тяжело". Жалею, что не рассказал Маше, как однажды Москвин сказал Наденьке Петровне: "Как мы с Васькой (В. И. Качаловым) умрем, умирай и ты. Чего тебе здесь делать без нас? Да тебя и не поймут". Все-таки она их пережила, была на их похоронах. И лет ей было больше, чем им. Нас всех приобщила к искусству Наденька Петровна. Ел рисовую кашу и разбил тарелку. Жалко очень.

Напрасно Наденька себя иногда бичевала, что жизнь прожила зря. Как раз в последний период жизни она много поработала, и притом творчески. А это не идет ни в какое сравнение с работой в учреждении, где серые люди пишут изо дня в день разные бумажки, от которых можно завянуть душевно.

В 11 ч. Саша уехал сниматься по телевидению. Интересно, когда вернется. Наверно, очень поздно. Поймал клопа.

Пробовал читать этюды по философии Чернова. Ужасно нудно и скучно, неярко и невыразительно. Все дело в том, чтобы наисложнейшую тему изложить так, чтобы приятно было читать. Мало одной эрудиции - надо иметь талант. И к тому же учиться писать просто. А в этом - все дело. Что за книга, если над ней надо ломать голову! В уборной засор. На ночь читал Бердяева. Затем смазал руки кремом, чтобы кожа была эластичной.

29 января, пятница.

Сегодня празднуется столетие со дня рождения А. П. Чехова. В Большом театре торжественное заседание. Выступили с речами о творчестве Чехова Федин, Катаев, Марков и пр. Говорили неплохо. Но для меня не ново, потому что Наденька Петровна все 35 лет нашей совместной жизни читала Чехова, можно сказать, знала его наизусть; она ставила Чехова выше Л. Толстого, для нее Чехов был гениальный писатель. Как она была бы рада его юбилею! Она была в обиде, что я мало читал Чехова.

Только благодаря Наденьке Петровне я начал понимать Чехова. В своих суждениях о Чехове она была совершенно права. После Чехова трудно читать других писателей.

Вчера читал "Три года" Чехова. Замечательно написано.

Днем был в редакции, но моя лекция не состоялась - все были заняты. Я вроде надулся.

Утром я звонил Ф. Н. Михальскому, поздравил его с юбилеем А. П. Чехова.

Юбилейный вечер в Большом кончился последним актом "Трех сестер" и финалом IV симф. Чайковского. Когда я слушал "Трех сестер", то у меня были глаза на мокром месте. Никуда не годятся нервы. Вспоминал старый МХАТ, Наденьку Петровну, ее безграничную любовь к А. П. Чехову, ее высказывания о театре, о Чехове.

30 января, суббота.

Сегодня вдруг выдали зарплату. Я помчался в редакцию. Получил деньги. Предварительно звонил кассиру Марии Васильевне. "Приезжайте", - ответила она. При выдаче зарплаты она сказала: "А я подумала: какой у него молодой голос!" На это я ответил:

"Я умею притворяться". Почему-то сегодня мне в редакции было как-то приятнее, чем в прошлые дни на этой неделе. В буфете купил 5 котлет.

Читаю "Моя жизнь" Чехова. По-моему, это слабее, чем "Три года". Впрочем, буду перечитывать. Чехова нельзя читать без размышления, у него множество мыслей. Наденька Петровна утверждала, что у Чехова есть ответы на все вопросы жизни. Я согласен.

3 февраля, среда.

В воскресенье днем, когда пили кофе, по радио передавали три музыкальные пьесы под управлением Небольсина. Мне нравится Небольсин. В нем чувствуется барин. Бывало, я встречал его на ул. Горького. Он хорошо шел, выбрасывая высоко тросточку и что-то напевая, вроде "бум-бум, тра-та-та..." Мне казалось, что в такие моменты он дирижирует оркестром. Корректор Левицкая мне говорила, что до 50 лет он жил холостяком - с матерью. Когда мужчина живет с матерью и любит ее, то он не очень нуждается в жене: у него вроде и без того теплый уголок, можно жить и творить. Но вот мать умерла, и в доме стало пусто. Небольсин взял да и женился, конечно, на молодой. Появилось, кажется, двое ребят. Потом Небольсин стал хиреть. Оказывается, у него рак поджелудочной железы. Лечение оттягивало смерть. Он дирижировал до последних дней.

К вечеру Саша Лужин поехал на телевидение: ему надо было играть роль кучера в чеховской вещи "Случай из практики". Я с интересом смотрел это по телевизору у Олсуфьевых. И когда диктор по окончании, перечисляя фамилии артистов-участников, провозгласил: "Кучер - артист Лужин", - я засмеялся, радуясь за Сашу. Хотя он, конечно, бездарен.

Вечером были у Каменских. Обедали, раздавили четвертинку. Мне с ними не о чем говорить. Одолжил у них 1 р. 70 коп.

За эти дни много думал о критике рационального познания у Бергсона. В качестве идеального вида познания, или собственно

философского познания, Бергсон выдвигает интуицию или созерцание, независимое от какой бы то ни было связи с практическими интересами. Только такое совершенно независимое от практики созерцание может доставить нам адекватное познание реальности. С точки зрения Бергсона, несостоятельны все существующие теории восприятия: материалистические и идеалистические. Истинная цель познания заключается, согласно Бергсону, в отвращении от практики, в чистом созерцании. Что же я созерцаю? У меня три пары обуви, но одна уже никуда не годится, хотя я активно надраиваю ее гуталином. Издали, когда я иду по улице, некоторым может показаться, что я иду в новой обуви. Одни брюки мне коротковаты, и я их припускаю на пояс, потому что люблю, когда брючины наезжают на обувь. Тут получается слитность и фигура выглядит солиднее. Когда-то у меня была трость, но Н. П. куда-то ее задевала. А не купить ли мне новую трость? Еще мне нравится у Бергсона его раскованность, свобода письма и мысли.

Умели писать люди! Хотя, подумать, я бы все это не хуже написал, но времени нет. Да, надо купить одеколон.

В понедельник - день рождения Наденьки Петровны, ей исполнилось 74 года. Она родилась 19 января 1886 года, в Москве, в собственном доме отца, владельца чугунолитейных заводов, миллионера, на Яузском бульваре, против Солянки. Вчера мы скромно, но сердечно отпраздновали ее день рождения. Были Каменские - все, даже была собака Джери, затем я и Саша. Раздали четвертинку водки и бутылку (0, 75) портвейна. Думал о созерцании Бергсона. Листал Канта.

Я звонил Федору Николаевичу, но его не было. Звонил ему также около 11 ночи. Он уже лег спать, говорил вяло. Я выразил сожаление, что его не было. Относительно "Чайки" он сказал, что удачно. Как это понимать, расшифровать не удалось. Сколько же пьяных на улице!

Маше я отдал диплом бабушки об окончании гимназии, дневник с отметками. В нем есть интересная пометка: "Во время уроков разговаривает и смеется". Я живо представил Наденьку: она смеялась не только на уроках, а всю жизнь, и главное - терпеть не могла того, что осуждал А. П. Чехов: тупость, мещанство, хамство, рабство, пустоту душевную, наглость и прочее, и прочее. Вот почему она охотно, из последних сил занималась со школь-

никами, чувствуя, что она делает настоящее дело, при этом и сама училась, все время читая Станиславского, Горчакова и др. Словом, она была молодец, и притом в такие годы, как 70 лет! Ей можно во многом подражать.

Кончились конфеты. А мне без них - "труба". Не могу без хорошей конфеты пить чай. Не могу также засыпать без хорошего чтения: например, Канта, Бердяева, Чехова и др.

6 февраля, суббота.

Саша ушел в библиотеку, а оттуда - на экзамен по русской драматургии. Купил 350 гр. шоколадных конфет "Мишка".

Вчера была Маша, взволнованная. И меня не на шутку разволновала: принесла привезенную из Америки отцом товарища (дипломатом) книжку В. В. Набокова "Приглашение на казнь". И давай рваться в бабушкиных бумагах в поисках писем Н. Меня бросило в жар. Я не своим голосом заявил, что письма уничтожил. И для свидетельства показал страницы этих записок, где говорил о Н.

"Как тебе не совестно, дедушка! - вскричала Маша. - Чего ты боишься! Одной буковкой Н. Владимира Дмитриевича называешь!"

И пошло и пошло.

Вдруг в папке, где лежали письма Москвина, Качалова, Тарасовой к Наденьке Петровне, обнаружила визитную карточку: "Владимир Дмитриевич Набоков", а затем и несколько записок и писем. "Я их возьму себе! - сказала Маша. - А то ты все от страха уничтожишь!"

В этот момент я видел перед собой не внуку, а Наденьку Петровну - так Маша походила на нее и лицом, и темпераментом, и жестами.

Было всего два письма, три записки и две визитные карточки. Маша взяла первое письмо и принялась в волнении быстро читать вслух:

- "3 января 1917.

У нас Новый год начался довольно мрачно, 24-го заболел корью Володя..." Это же тот Володя, который будет знаменитым писателем! - вскричала Маша и продолжила: - "...а через несколько дней Сережа и Ольга последовали его примеру. Под Новый год у нас был настоящий лазарет. Обычно, конечно, корь - пустячная болезнь но у Володи, после двух тяжелых воспалений

(в 1909-м и 1915-м гг.), легкие не очень надежны, и потому, особенно страшны осложнения с этой стороны. Корь у него протекает гораздо тяжелее чем у других, с бронхитом и “пневмонийными узлами”, и мы еще не спокойны, т. к. каждый день температура днем повышается (31-го - 39, 6°). Пока уцелел Кирилл, но вряд ли он уцелеет окончательно. В результате “праздники” (если вообще можно говорить сейчас о праздниках) вышли хуже будней. Когда Володя поправится, его повезем недели на три в Финляндию. Это будет не раньше конца января.

Ваше письмо я получил вчера, придя на службу. Спасибо за поздравления: у Вас сохранилась эта милая традиция, и я постараюсь вовремя поздравить Вас с 19-м. Если Вам суждено еще приехать в П., надеюсь, что Вы не остановитесь в “Аст.”, где мы с Вами видимся точно на большой дороге. С точки зрения разных Ахиллесовых пят это, может быть, и к лучшему, но все-таки гораздо приятнее и уютнее было видеться с Вами в “Европейской” и даже в “Селекте”. Правда, это дороже, но, “принимая во внимание”... и т. д., это соображение не должно бы Вас беспокоить.

Вы пишете: “Ради бога не подумайте, что в этом письме есть хоть капелька кокетства...” Милая, где же тут кокетство, когда Вы так решительно заявляете о своих чувствах. И раз они Вас не мучат, а Вам “весело и хорошо”, то и слава Богу. Но все-таки - неосторожно “играть с огнем” - и Вам, и мне. А мы в последний раз словно задались целью испытать стойкость наших нервов или вообще “задерживающих центров”. Это - такая игра. Ведь “рецидив” ничего бы не принес, кроме унижительного разочарования...

Увы, книжку Репнина давно уже основательно выругал в “Речи” Философов, причем за Нарбута заступился Бенуа, а мне уже поздно заступаться за Репнина. Книжку я получил, совершенно не знал, от кого. Постараюсь ее прочесть. Может быть, она меня очарует.

Между прочим, Гришинская Вас видела и назвала моей сестрой, которой очень хотелось Вас рассмотреть, но она стеснялась. До свидания, целую ручки.

Ваш В. Д. Н.”

Маша принялась за другое письмо:

- “23 июля 1917.

Мне грустно и обидно, что поездка в Москву расстроилась и что я Вас опять невольно обманул и огорчил. Вы теперь уже знаете, что это независимо от меня, что мне по необходимости при-

шлось здесь остаться, и что весь съезд перебирается сюда... И мне совестно, что Вы напрасно хлопотали. Пожалуй, я еще и должен Вам за номер: это было бы совсем нелепо... Надеюсь, Вы мне скажете, если это так. Мне очень, очень хотелось Вас видеть после Вашей тяжелой болезни. Теперь - Бог знает, когда мы свидимся. Думаю о Вас с печалью, вспоминаю с нежностью. На днях в деревне целый вечер слушал в граммофон Панину - и так пахло старым, пережитым. Господи, как давно все это было! "Что прошло, то будет мило..." Вспомнились теперь эти беззаботные поездки в Москву, ужин в кабинете "Метрополя", какой-то пальмовый сад, где мы почему-то сидели на 1-й неделе поста и пили шампанское! Ваша квартирка в Полуэктовом, такая уютная и славная... Господи, как давно все это было, - и как тогда всем легче и лучше жилось, и как кошмарно все, что сейчас кругом делается.

Для меня прошедшие 10 дней были особенно кошмарны. Начиная со среды, 12 июля, когда Керенский пригласил меня и предложил министерство юстиции, я почувствовал, что на меня обрушилась бесконечная тяжесть. Вы могли подумать, что мне этого хотелось!! И написали мне о моем честолюбии!! Я глазам своим не поверил, когда это прочел. Ведь вы же знаете, что еще в конце апреля, когда был первый министерский кризис, я был единогласно послан Ц. К. в состав Вр. Прав., на новый пост министра призрения, и только после моего категорического отказа избран был Шаховской. И теперь то же самое. Я с ужасом и величайшим отвращением думал об этом назначении, сделал все, что было в моих силах, чтобы отбояриться, и теперь, когда это удалось и комбинация, по-видимому, осуществится без меня, - я на время вздохнул свободно. Конечно, я понимаю, что это только на время и что эту чашу все равно придется рано или поздно испить, но все же чем позже, тем лучше. В особенности ужасно министерство юстиции с этими политическими процессами, Петропавловской крепостью, со всей этой "революционной" юстицией, которая с настоящей не имеет ничего общего. Между прочим, я имел в виду в случае принятия просить Чебышева пойти ко мне в товарищи. Сегодня, когда выяснилось, что Керенский вновь берет себе портфель юстиции, я в первый раз за все дни почувствовал себя легко и даже пошел в концерт, слушать 6-ю симфонию Чайковского!.. Чем может сейчас прельщать министерский пост - не знаю. Власть - призрачная. Возможность поправить и направить дело - самая минимальная. Трудности - огромные. Непри-

ятности и опасности на каждом шагу. При этом, конечно, надо очеркнуть личную жизнь, забыть всех и все, кипеть с утра до ночи, как в котле, тратить нервы, напрягать ум, волноваться - для чего? Для того, чтобы вас все ругали, вешали бы на вас всех собак, а в тот день, когда вы уйдете, забыли бы вас так, словно вас никогда не было. Кого может радовать такая перспектива? И какие могут быть компенсации? Нет, все кто меня любит и мне сочувствует, должны радоваться, что я пока свободен и независим, и пожелать, чтобы подольше протянулось это положение..."

Маша провертела двойной лист письма и, не найдя продолжения, спросила: "Окончание уничтожил?" Я пожал плечами. А Маша принялась читать третье письмо:

- "6 декабря 1917 г. Гаспра.

Милый друг, я благополучно приехал сюда три дня тому назад. застал всех здоровыми, наслаждаюсь дивной погодой и дивной красотой видов, хожу пешком в Ялту (около 12 верст отсюда), часами сижу с Петрункевичами, читаю, пишу письма. В общем - отдыхаю в первый раз за девять месяцев.

Совсем не знаю и не представляю себе, сколько времени я тут пробуду. Это зависит от общего положения.

Устроились мы здесь очень просто и скромно, живем отлично.

Надеюсь, Вы получили мою записку с дороги. На днях напишу Вам еще, моя хорошая.

Ваш В. Н."

Затем Маша пила чай, подзакусила.

Наша редакция выпустила очень хороший номер на тему "Для чего мы живем". Ребята хорошо отвечают на этот вопрос. Такого номера за всю историю нашей газеты не было. Этот номер поучителен и для взрослых.

Вчера принял пурген, сегодня меня прослабило. Приходится заниматься и такими делами!

Читал "Палату № 6" Чехова. Наденька Петровна во взглядах на Чехова была куда умнее меня! Я только теперь вижу, что это за писатель. Пытался заштопать носки.

Когда читал "Душечку", мысленно представлял, как этот рассказ несколько раз перечитывал Л. Толстой. Он всецело стоял за этот тип женщины. Надо почистить чайник. Закоптел.

У меня оспа не привилась. Я думаю, что не стоит вторично прививать и мучиться: ведь температура достигает 39°. Мне, в 70

лет, это просто страшно, у меня такой температуры никогда не было, и я боюсь за сердце. Читал Канта.

7 февраля, воскресенье.

Саша на “отлично” сдал экзамен. Звонила Маша. Были трое учеников Наденьки Петровны по драматическому кружку, затем подошла одна десятиклассница. Они сообщили, что драматический кружок в школе распался. Все держалось на Наденьке Петровне. И так везде: на “Интернационалке”, в Балашихе, в школе. Надо полагать, что след в их душах сохранился. А это - главное. Хорошо бы купить соломенную шляпу на лето!

А так вообще все проходит! Бог помянет.

С утра Н. С. Олсуфьева поместила у нас котенка, так как у них в квартире выводили клопов - сжигали какую-то шашку. Котенок сперва мяукал, затем целый день обходил вдоль и поперек комнату, все обнюхивал и наконец лег на стуле около письменного стола. Ничего не ел, наверно, от грусти. Поздно вечером его взяли обратно. Зовут его Барсик. А я все время звал его Васькой. Молоко скисло, надо же! Купил ведь только!

В 9 ч. вечера зашел к нам Каменский. Дома у него бедлам. Справляли день рождения Лизы, пришло много школьников. Ну и пришлось уйти, чтобы освободить для ребят место. Интересно вот что: ребята принесли бутылку ликера. Каковы школьники! Молодцы!

Учеников Наденьки Петровны поили чаем; я им много рассказывал про Москвина, Станиславского, Качалова.

Прочитал “Скучную историю” Чехова. Сильное впечатление. А ведь и раньше читал. Не понимаю, почему он при жизни не был так оценен.

10 февраля, среда.

Вчера ездил в редакцию читать оригиналы. Путь был загроможден машинами: хоронили академика Курчатова, и транспортное движение было нарушено.

День рождения Саши. С “Интернационалки” приехала Клава с сыном, мальчиком Сережей. Он только что перенес свинку, вел себя очень тихо. Поили их кофе, было 2 штуки пирожных.

К вечеру зашла Маша.

Все подзакусили и выпили. Пирожки и ватрушки привезла Клава. Водки не было, был портвейн. Сыграли в кинг. Я проиграл 25 к. Иных новостей не было.

Хорошо, что иногда к нам нет-нет да и заглянет кто-нибудь. Гораздо веселей и уютней на людях.

Маша рассказывала, что в день празднования рождения Лизы было много учеников, они шумели. Но ликера, о котором я написал 7 февраля, не было. У них сломался телевизор. Отец (Каменский) его чинил, чинил и окончательно угробил.

На улице очень потеплело - 2°. Сегодня в редакцию не поеду.

Вчера по радио передавали Качалова. А бывало, он сидел в этой комнатке и громко произносил тосты.

13 февраля, суббота.

Идет снег. Немного гулял около ворот. По обыкновению руки посинели. Что это значит? Уже летом фармацевт Наум Владимирович (со второго этажа) говорил мне, что надо обратиться к невропатологу и непременно бросить курить.

Звонила Маша, сидит дома - недомогает. Читает "Приглашение на казнь".

Позавчера вернулся домой выпивши, ехал на такси. Жена Плюща - Валентина Александровна - отмечала 15-летие работы в нашей газете. По этому поводу она устроила после работы в рабочей комнате выпивку, а на закуску были только апельсины. Я выпил четыре рюмки коньяку да рюмки две какого-то вина. Закусил апельсином. В результате опьянел. Разумеется, слегка. Приехав домой, лег на диван и спал 1 час. Ночь тоже хорошо спал. Юбиляршу приветствовали какой-то смешной песенкой. В. А. улыбалась затем преподнесли ей коробку конфет. И все! Я после двух рюмок публично похвалил номер газеты о смысле жизни, причем заявил, что надо иметь большой ум, чтобы понять этот номер. Мне хлопали и даже целовали: редактор Таисия Владимировна, Нина Матвеевна и Зоя Васильевна. Я "эфтого" не ожидал. Был доволен.

Умер Белоконь, моих лет. Когда-то он у меня работал в Марьиной роще на корректуре. В последнее время он был заведующим иллюстрационным отделом в "Советской культуре". Во время болезни Наденьки Петровны я встретил его на ул. Герцена,

около консерватории. У него был хороший вид, мы с ним обменялись впечатлениями о своей работе. Он был очень разговорчив и суетлив. Дурак дураком!

Саша за свое выступление на телевидении получил 230 р. Очень хорошо. Пошел на ура в театр. Он попал в Театр Пушкина. Какая же Наденька была неряха: в доме нет иголок!

20 февраля, суббота.

Вчера получил приглашение выступить 6 марта в клубе "Дружба". Согласился. Сказали, что мне заплатят. Получил "путевку" на свою лекцию. Заплатят мне 125 рублей. Говорить буду час, не больше. В уборной опять засор!

Федор Николаевич у нас не был с 40-го дня, - с поминок Н. П. Сегодня я ему звонил; новостей у него никаких нет, обещал зайти после 1 марта. В этот день он приглашает нас в музей МХАТа - будет прослушивание грамзаписи. Я, конечно, пойду с Сашей, а без него вряд ли. Поймал сразу двух клопов.

Интересны выводы Бергсона, которые он делает из характеристики "кинематографического метода" в отношении интеллектуального познания. Интеллект, утверждает он, характеризуется естественным непониманием жизни.

24 февраля, среда.

Была Маша. Обедала, а потом лежала на диване. Говорит, что часто вспоминает бабушку. Раньше меньше, а теперь все чаще. Видит ее во сне, даже лежащей в гробу. Будто бабушка встала из гроба и шла по комнате, волоча ногу, и будто бы говорила: "Это ничего". Маша нет-нет да и всплакнет ни с того ни с сего. Вспоминает бабушку.

Саша тоже видел во сне Наденьку Петровну. Я молчал и не сказал, что я о Наденьке Петровне думаю каждый день, словно псих какой.

Сегодня пишу (и пока ничего не выходит) поздравление нашей газете от Кирилла и Мефодия. Это мне заказали в редакции. Вот так темка! Письма Чехова перечитываю. Ужасно интересно.

На улице слякоть.

8 марта, вторник.

В субботу с утра поехал в редакцию. Для “Последних известий” кое-что снимали в редакции, чтобы передать по телевизору. Сняли и меня, разговаривающего с пионерами. Показали это в воскресенье в 11 часов вечера. А мы как раз в это время уехали от Каменских домой. Так что себя я не видал. Другие, кое-кто из сотрудников и у нас на дворе, меня видели. Вечером отпраздновали 35-летие нашей газеты. Все надели белые рубашки и красные галстуки. Выстроились на линейку. Вдоль “фронта” мне пришлось пронести знамя.

Я волновался: боялся, как бы не поскользнуться, не споткнуться и даже упасть. Но все вышло хорошо.

Затем засели за выпивку и закуску. Мы с Сашей немного поели, немного выпили вина и в 10 часов поехали домой. Нам надо было утром в воскресенье рано встать - в 7. 30. Попили кофе и отправились в клуб “Дружба” на Первомайскую ул. Это за Измайловским парком, у черта на куличках.

Я выступил. Говорил о нашей газете, о дисциплине, о галстукке и пр. По путевке Общества по распространению политич. и научных знаний мне назначено за сие происшествие 125 руб. Но могут кое-что и вычсть! В связи с 35-летием получил 400 руб.

На ночь читаю “Степь” Чехова. В восторге. И как я раньше не знал, что это первый писатель на Руси!

Совсем забыл записать, что 1 марта мы с Сашей и курьершей Викой были в музее МХАТа. Слушали пластинки из пьес и рассказов Чехова. Нельзя сказать, что было очень интересно: местами плохой звук.

Вроде постепенно наступает весна. 6 марта была годовщина с момента заболевания Наденьки Петровны. Я горевал, но скрывал это ото всех. Помню, по случаю Женского дня ей в больницу привезли сумку и еще что-то.

Вчера возвращался с работы на редакционной машине. Рассказал шоферу, как едва не умер с горя, потеряв жену. “А сколько ей было лет?” - спросил он. Я говорю: “Семьдесят три с половиной”. - “Ну, старуха”, - ответил он. Как хочешь, так и понимай эти слова. Он не знал, какая это была “старуха”! И что значит прожить 35 лет совместно.

13 марта, воскресенье.

Новостей никаких. В воскресенье себя по телевизору не видел. Зато меня видели в Ярославле С. М. и В. П. Комиссаровы. Г. З. Лобов написал письмо из Таганрога. Пишет, что рад был видеть меня и слышать мой голос. По его мнению, голос изменился, меньше металлу. Дочитал письма А. П. Чехова. Очень грустно, как он день ото дня таял. Умер в 44 года! Впрочем, это общая судьба. Никто не знает дня и часа смерти.

15 марта, вторник.

Бергсон говорит, что, как и обиходное познание, наука удерживает из вещей только одну сторону: повторение. Поэтому наука по самой своей природе не в состоянии познать новое в развитии. Посылал Сашу в магазин. Он мне купил авторучку, кальсоны, мыльницу и мыло. Брился с наслаждением.

Получил письмо из редакции "Юности". Завотделом сообщила, что "Летели дни" и "Причина причин" получены слишком поздно - майский номер уже сдан, а в июньский нужна летняя пионерская тематика. Ну, в пионерской тематике я быка съел!

По прочтении "У Толстого" Булгакова у меня было паршивое настроение - печальная книга. Жалко Толстого! Безрадостная старость, неурядицы в семье. Великий Толстой превратился в какого-то старичка. Чувствуется, вот-вот умрет и превратится в прах. Великий человек - и прах! Приятны только те страницы, когда он катается на лошади, играет в шахматы, смеется. В уборной помыл сиденье ваткой с одеколоном.

Бергсон понимает длительность времени как форму, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше "Я" активно работает, когда оно не устанавливает различия между настоящими состояниями и состояниями, им предшествовавшими. На стену повесил еще несколько рамок. Очень красиво. Сажу, пью чай с конфетой и люблюсь картинками.

18 марта, пятница.

В воскресенье, как обычно, были у Каменских. Но предварительно мы пообедали дома, так что есть нам не хотелось. Выпи-

ли по стопочке портвейну, затем был чай, а может, кисель - не помню. Дальше телевизор. Тут у меня мелькнула мысль, что Чехов писал коротко и гениально потому, что предвидел появление конкурентов в лице кинематографа и телевидения. Толстой и Достоевский этого не угадали, потому писали так подозрительно длинно. В большей степени Достоевский. А у Толстого даже граммофон был, но он не догадался, что будет дальше.

В этом отношении в пару к Чехову - Пушкин.

Маша по обыкновению куда-то удрала. К Юре? К вечеру она устает. Светлана Александровна водила ее к доктору. Просвечивание легких было благоприятным, легкие в порядке.

Я очень люблю Машу, юную, восемнадцатилетнюю. Она вылистая Наденька в юности. И темперамент тот же. А ведь она - баронесса. Страшно и смешно звучит в наше время. Александр Петрович Г., первый муж моей жены, - барон, сын градоначальника С.-Петербурга, кажется, в 80-х годах прошлого столетия. Светлана Александровна - от него. Тоже баронесса. А я вроде так себе, со стороны, бездетный, из поповичей. Но вот что поразительно, Маша для меня как родная, как внучка. Чего не могу сказать о Светлане Александровне. Чужой человек.

В противовес Наденьке Петровне ненавидит театр, читает всякую чушь, типа "Поджигателей" Шпанова, работает прорабом, вообще опростилась и выглядит как дочь прачки. Это, видимо, устраивает Каменского, он сам из Киева, упрямый и простой инженер, одним словом, совслужащий.

Саша пишет зачетную работу "Пушкин как драматург". Мне нравится его работа. Сейчас у него на носу экзамен. Маша тоже учится, второй год в институте.

В газетах сенсационный материал: четверо наших солдат в течение 49 дней плавали в Тихом океане без руля и без ветрил. Над ними поставили крест. Им нечего было есть. Потеряли в весе 15-20 кило. Их спас американский авианосец. Вскоре они, совершенно здоровые, возвращаются в СССР. Воображаю, какая будет встреча.

Действительно герои!

На оформление могилы Наденьки Петровны поднакопил 500 - 600 руб. Надеюсь на Светлану Александровну. Когда могила примет приличный вид, я буду спокоен.

19 марта, суббота.

В 11. 15 звонила Маша. Спрашивала, как мы живем. Сообщила, что Светлана Александровна заболела, жалуется на головную боль. Саша мне сказал, что Светлана Александровна на днях заходила к нам и тоже жаловалась на головные боли, и, кроме того, у нее какая-то опухоль под мышкой, опухоль безболезненная.

Все это меня беспокоит.

Позвонил Маше, чтобы обязательно вызвали врача. Маша обещала. “Не шутите”, - сказал я. Если Светлана Александровна заболит, то ведь все развалится.

Читаю книгу Строевой “Чехов и Художественный театр”. Наряду с хорошими мыслями бездна водолейства. Удивляюсь, как можно так писать.

20 марта, воскресенье.

Прекрасный солнечный день. Маша позвонила, что у них беда: Светлана Александровна повредила себе ногу - у нее что-то хрустнуло, боль такая, что не может лежать, подскочила температура. Каменский повез ее в больницу. Вот несчастье! Наденька Петровна ужасно расстроилась бы. Но, по-моему, это не опасно. Придется полежать в гипсе.

Ума у нее нет!

21 марта, понедельник.

Нашел еще одну карточку Набокова в шкатулке Наденьки Петровны, на дне. На визитке простым, но красивым шрифтом напечатано: “Владимир Дмитриевич Набоков”. А его рукой узкими и ровными высокими буквами черными чернилами написано: “Поздравляя Вас и Александра Петровича с “наступающим”, желаю, чтобы он (т. е. 1911-й год) во всех отношениях заткнул за пояс своего предшественника и принес бы с собою новый запас счастья, - юного, светлого и благоуханного, как эти цветы”. Стало быть, эта карточка была вложена в цветы. Повеса! Когда шел домой, то, неизвестно почему, подумал: мне 70 лет и за всю жизнь я, за исключением духовной школы, нигде и ни от кого не слышал разговоров о смысле жизни, о нравственных нормах, об общест-

венном идеале и пр. Если же завести подобный разговор, то наверняка это будет неприятный разговор. Все как-то заминают этот вопрос и живут, потому что все живут, и этого для жизни достаточно. В этом смысле с обыденной точки зрения жизнь можно назвать слепым процессом. Все движется - и мы движемся, претерпевая разные изменения. Купил три коробка спичек.

Таким образом, не изучая философии, все как бы прирожденные скептики: не стоит, мол, ломать головы над тем, чего все равно никак не разрешить, для жизни достаточно интересов живой жизни. Другое дело - вопрос о личном, индивидуальном счастье: здесь каждый понимает, что жить надо хорошо, и на достижение этого каждый тратит свою энергию. В результате - одни достигают приятного существования, а другие умирают с печалью на челе, ибо из их забот и хлопот ничего не вышло.

Наше время замечательно тем, что все усилия обращены на гармоничное переустройство общественно целого, и тогда должно явиться и благоденствие отдельного индивидуума. Так как подобного эксперимента не знала история, то указанный принцип пользуется полным признанием. Это не только наука, но и как бы религия.

Старая религия и этика сданы в архив. Иисус с его Евангелием не вызывает у большинства даже исторического внимания. А ведь недавно церкви были полны народу и многие расшибали лбы, каясь в прегрешениях и умоляя Творца о всяких милостях и щедротах. Поразительно!

Попалась под руку вырезка из "Известий" за 1933 год, когда перебирал бумаги Наденьки Петровны. Статья Ермилова о "Мертвых душах". Помню, многим она нравилась. Я же не согласен был с автором. Он писал, что губернатор представлен МХАТом симпатичным старичком, а на самом деле он мошенник. Вот этим мошенником и надо было его показать. А по-моему, это дело зрителя почувствовать, что губернатор - мошенник. Мошенники и жулики и пр. никогда не выглядят такими, а обычно имеют нормальный вид, а в некоторых случаях, например, у себя дома, в семье, в обществе друзей и знакомых, выглядят даже симпатичными.

Нужно чутье, чтобы раскусить или понять суть такого субъекта. При этом следует иметь в виду, что в жизни все более или менее благообразно. В том и дело, что ненормальное так прочно осело в жизни, так приукрасилось, что выглядит в большинстве случаев нормальным и даже гармоничным. Мы все врем и все

привыкли ко лжи, однако было бы ошибкой изображать нас лжецами, потому что мы всей душой любим и истину.

Так, помню, было и в спектакле “Мертвые души”. Были даны типы, на вид как будто сносные, на самом же деле - и зритель это чувствовал - они ужасны. Если же изобразить их свиньями рылами в каждой черте и поступке, устроить эдакий парад свинных рыл, то получился бы неприятный спектакль, чуждый реальности и эстетике. Это было бы верно политически и клинически, но не верно с точки зрения “живой жизни”, где все замаскировано и причесано.

Помню, как у нас проходили мхатовские вечеринки. Однажды, когда уже сидели за столом, прибыл Михальский, сильно навеселе. Налакался он в “Савойе” в компании со своим знакомым с Кавказа. Федор Николаевич очутился героем вечера в том смысле, что, к удивлению присутствующих, ругал стариков и ясно обрисовал - а мы и не знали тогда - картину ненормальных отношений между “стариками” и “средняками” в МХАТе. Впоследствии выяснилось, что Станиславский проектировал всех “средняков” уволить, а трупку пополнить Певцовым, Климовым, Поповой и пр.

Мне и Наденьке этот “скандал” в МХАТе был неприятен. Хотелось, чтобы этот театр был дружной семьей и процветал. Я предположил, что в тот вечер Москвин потому и не приехал к нам, что не желал встречаться с молодежью из-за натянутых отношений. В театре дело доходило до того, что Леонидов не кланялся некоторым актерам, Москвин был озлоблен и не любезен с ними при встречах, Качалов холоден и пр.

Леонидов, играя профессора в “Страхе”, подавал реплику Ершову в том смысле, что ему пора оставить этот дом - театр. А тот отвечал, что не оставит. Таким образом, они, играя, в сущности, ругались между собой, а публика, наверно, думала: “Здорово играют! Прямо как в жизни”.

Из этих примеров видно, насколько серьезен был “раскол”. Правительство, однако, не пошло на деление МХАТа. Все усидели на своих местах. Станиславскому дали орден Трудового Красного Знамени, Лилиной - звание народной, а “среднякам”, за исключением Кедрова, звание заслуженных. Затем предоставили театр Корша. Я передвинул этажерку к окну, стало очень уютно. Подстриг ногти на ногах и на руках.

23 марта, среда.

Вчера я и М. А. Олсуфьев были во МХАТе, в музее, на вечере записи, посвященном памяти О. Л. Книппер-Чеховой. Оба остались довольные. Я поздоровался с Раевским И. М. и Шверубовичем В. В., сыном Качалова. Костюм на мне сидит хорошо.

Еще Тихон-патриарх устраивал духовные концерты с участием виднейших артистов. Книппер-Чеховой надо было читать что-то Иоанна Дамаскина. Сперва она смутилась, для нее был необычен текст, порой непонятен. Богоматерь скорбит, видя сына умершим. Христос, ее сын, говорит, чтобы она не скорбела, ибо он - Бог! Но она мать и как женщина скорбит. В этом соль всего текста. Когда Книппер узнала, что будет патриарх, а она лютеранка, то опасалась, что у нее ничего не выйдет... Не забыть поставить кипятить молоко...

Возник вопрос, как ей одеться. Ваня хотел переговорить с ней на эту тему. Но она сама как артистка угадала: была без серег, в черном платье, а голову повязала косынкой. Читала текст превосходно. Настолько, что сама была рада, она переживала текст, увлеклась. Об этом сказала Ване Москвину и от денег, которые ей полагались - сколько бы она ни запросила, - отказалась. "Я рада, что выступила, а денег мне не надо", - сказала она.

На одном из таких концертов был я. Выступали Москвин (он читал что-то о пасхальной ночи из Чехова), Пашенная, Петров из Большого театра, затем Синодальный хор под управлением Данилина...

Как печально - наше поколение уплывает в вечность.

30 апреля, суббота.

На пасхальной неделе ездил с Сашей Лужиным на кладбище. Могила сильно осела, два венка сняты. Вид такой могилы навел на меня грусть. Ходили в контору. Должны обложить дерном.

Я приглядывался к крестам. Ужасно плохи. Но все же решил поставить крест. Наденька Петровна была продуктом христианской культуры. Крест на ее могиле уместен. Маша в недоумении: почему крест?

Какова будет судьба Маши, не знаю. Когда она по выздоровлении была у меня, я прочитал ей лекцию об устройстве человеческого организма. Маша слушала внимательно. Но какие сдела-

ла выводы - не знаю. Я пересказал ей мысли Мечникова о диссонансах нашей природы.

4 мая, среда.

Первого мая я и Саша отправились на "Интернационалку". Дождя не было, хотя небо пасмурное. Доехали благополучно. В автобусе мне уступили место. Вообще часто стали уступать место. Мне это нравится. Встретились. Нас уже ждали тетя Поля, Клава, ее муж, его брат и Зина. Засели за стол. Мы привезли с собой 1 бутылку кагора, 1 бутылку портвейна, 2 коробки хороших сардин. Кстати, они не всегда бывают.

За столом я рассказал несколько анекдотов. "Публика" смеялась, в особенности Зина. Потом зашел какой-то знакомый мужа Клавы, просидел пять часов и все время говорил про сына, который у него недавно родился. Все наши попытки дать понять ему, что нам не интересно и пр., не увенчались успехом. Знакомый продолжал на все лады рассказывать, как сын глядит, смеется и понимает, что ему говорят.

Все родители удивительны в том отношении, что свое частное событие - рождение ребенка - возводят в нечто такое, чем якобы должны интересоваться их родственники, знакомые и проч. И притом интересоваться в течение нескольких лет: как ребенок начал ходить, говорить, как прорезались зубы, как шалит, кого больше любит и проч.

Увы, все это интересно только родителям и больше никому. Вообще всякая семья - это ячейка, очерченная как бы кругом. Для лиц, сидящих в этом кругу, все, что происходит, очень важно, здесь свои радости, горести, свои принципы, традиции, привычки и пр. Но как только со всем этим багажом вы переступаете за круг, так сразу видите, что все это для других не имеет никакого значения, что другие люди варятся тоже, но в своем соку, и точек соприкосновения во взглядах, в радостях и горестях немного.

На другой день - 2 мая - с Сашей были в лесу, дошли до дачи Рокоссовского. Я пил мало - боялся сердцбиения, зато все прочее пили основательно. Мне было скучно.

В Москву вернулись поздно, в 11 часов. Я доволен поездкой. Вспоминал Наденьку Петровну, когда проходил мимо клуба. Драматический кружок работает слабо. Совсем не то, что было при На-

деньке Петровне. Я поглядел на окна комнат, где она жила. “До по-та, бывало, доведет на репетиции, а добьется своего”, - сказала мне Зина. Зина произвела на меня хорошее впечатление. Сказала, что продала билет на спектакль в Театре Ермоловой, лишь бы пови-даться с нами. Я ее понимаю, со мною и Канту было бы интересно.

Пробыли мы там 11/2 дня, а время пролетело незаметно и ве-село. Вчера дома было даже скучно. Перелистал всю книгу “Марк Аврелий” Ренана. Написана интересно там, где Ренан рас-суждает как верующий, и неинтересно, и даже ошибочно, где он рационалист, ученый и европеец. Заболел живот.

Прочитал “Чайку” Чехова. Мне понятно, почему она провали-лась в Александринке. Хлеб зачерствел, еле жевал. Надо встав-лять новые зубы.

7 мая, суббота.

После утреннего кофе поехал на кладбище. В сторожке по-дыскал крест, сговорился с могильщиком, чтобы покрасил зано-во и поставил. В конторе уплатил за крест 55 руб. Сидел на ла-вочке в аллее, был обеденный перерыв. Затем вместе пошли к могиле: могильщик с крестом, я с лопатой. Вот и наш участок. Он почти весь заполнен могилами. Наденька Петровна улеглась во втором ряду, кажется, 6-я могила.

Могила совсем осела и расползлась. Грустно было смотреть. Но вот могильщик принялся за работу. Сперва вырыл яму для креста. Я попросил его укрепить крест, т. е. его основание, кирпичами. Он так и сделал. Потом оформил могилу. Получился холмик. Покрасил крест серебряной краской. И ушел, получив с меня за работу 50 рублей.

Я сел на скамеечку на дорожке, смотрел на могилку с крес-том. Вспоминал Наденьку. Теперь хоть к могиле можно подойти. Скоро ее обложат дерном. Будет совсем прилично. А там еще что-нибудь придумаем.

И как-то на душе стало лучше, а то я все дни мучился, что мо-гила совсем без формы. Любопытно, что никто больше не беспо-коится. В наше время все заметно умнеют, но сердцем холодеют. Читаю Ренана “Апостол Павел”, умиляюсь, знакомясь с жизнью первых христиан. Смотрел на старушек, которые ухаживают за могилами своих родственников. Как будто наивно, но сколько душевной красоты в том, что они делают.

Чувствовал сердечную слабость, нанял такси и доехал за 10 руб. до дому. Саша волновался, что я пропал: уехал в 12 ч., а приехал в 7 ч. вечера.

Интересно, когда мне надоест записывать мелочи своей жизни? Подумав об этом, решил, что писать буду до последнего, то есть до того момента, когда отойду в вечность. Вот та точка и будет точкой в полном смысле. Точка, означающая, что меня уже нет.

Под окнами нашей комнаты все приведено в порядок. Сирень растет хорошо. Вдоль стены посажены какие-то цветы; они тоже принялись. Сегодня солнечный день. По радио слушал речь т. Хрущева Н. С. об американском самолете. Он нами был сбит. Летчик спустился на парашюте и, конечно, попался, при нем много денег. На самолете - аппаратура для съемки важных объектов. Получился скандал для Америки. Что из этого получится, покажет будущее.

10 мая, вторник.

Никаких звонков. Звонила только вчера Маша. И никаких новостей. Кроме: умер верхний квартирант Белов. Сегодня его хоронили. Играл оркестр. Белов работал в Музее Ленина. Член партии. Всех поучал, рассуждал на все темы. А вообще, невежественный, невоспитанный человек. Наденька Петровна говорила, что он похож на дворника из рассказа А. Чехова. Лет ему 75. Ну что ж, мир его праху. Саша говорит, что никто не плакал, даже жена.

Дело в том, что он всем надоел своими рассуждениями, а положительным образом ничем себя не проявил. Чего ж плакать, да и зачем? Из его жизни и смерти можно сделать вывод: никого не надо поучать, назидать - у каждого свой ум.

Вообще, мудрец знает истину и молчит.

Кроме того, никто не может понимать вне рамок своего сознания. А когда поучительством занимаются дураки, то это ужасно противно. Учиться надо и работать над собой, с тем чтобы приносить пользу и, следовательно, жить со смыслом. Любопытно, что умерший просил похоронить его на родине и с оркестром. Чудак!

Вчера в редакции Фельдфрид мне рассказала, что Рахманинов не был на похоронах Шаляпина: он не мог, ему было очень

тяжело! В самом деле, быть таким человеком, как Шалапин, и умереть, т. е. превратиться в прах. Во время болезни Рахманинов его навещал, но когда он был при смерти, то заходил только к семейным, а в комнату, где лежал Шалапин, не вошел. Было слишком тяжело. Нашел в щели в полу пару скрепок.

Какое счастье, что Наденька Петровна легко, я бы сказал, чудесно умерла! Не было криков, стонов. Как будто, после нескольких часов тяжелого дыхания, заснула. Глаза были закрыты. Это очень умирительно. Лицо в гробу было очень-очень хорошее. Страшно умирать! Уборную залило водой. Жду слесаря.

Сегодня чудесный день. Солнце. Но прохладно. С утра у меня было нехорошее самочувствие, но потом рассосалось. По-видимому, из приливов такого настроения мне уже не вылезти. Годики! Наконец-то нужно отважиться и купить портфель!

Дочитал "Ап. Павла" Ренана. Очень интересно. На ночь читаю письма брата Чехова - Александра. Прирожденный комик. Не сумел поймать клопа - он был высоко на стене.

23 мая.

У Плавта вычитал, что мужество в несчастье - половина беды. В Военторге присматривал портфель, а купил кашне. Как-то заходил Зарянчиков. Угощал его чаем. Он уговаривает меня поехать в Загорск. Он там был, кое-что рассказал. Меня туда не тянет: я боюсь, что буду волноваться - я там был молодой, вся жизнь была впереди, я даже не думал, кем я буду и как потечет жизнь; все было хорошо, я даже ничем не болел, выпивал порядочно, мне нравилась гимназистка Дуся. Ну а теперь с каким я поеду настроением?

Жизнь прошла, товарищи или умерли, или их осталось человек пять, да и мне уже 70 лет. Но когда-нибудь я все-таки соберусь.

Меня удивляют Каменские: никто из них не интересуется кладбищем. Может быть, им очень грустно? Не думаю. Правда, у них много дел. Маша была у нас только один раз - сдает экзамены.

Погода скверная - холодно и сыро. Взял отпуск. Сегодня первый день. Завтра пойду в ЦК комсомола - добывать путевку в П-ределкино.

19 июня.

Слушая радио, убедился, что Наденька Петровна была права, когда редко его включала. Сколько передают всякой чепухи! Впрочем, массе все это нравится.

21 июня, вторник.

Вчера приступил к работе. Работал с неохотой. В редакции был встречен приветливо.

Сегодня целый день читаю Цвейга "Марию Стюарт". Убедился, что нельзя много без передышки читать, - заболела голова. Цвейг очень словоохотлив. Можно было написать короче, без развязности - я, мол, все понимаю, все знаю - и самолюбования.

Местами очень интересно.

Звонила Маша. Я рассказал, как в Переделкине любовался яблоней и вишней, когда они были в цвету. Это две белые красавицы. Всмотривался вдаль и слушал целое утро пение иволги.

Маша сказала, что не знает, как поет иволга. Я попытался изобразить, вышло, по-моему, похоже.

28 июня, вторник.

В пятницу я и Саша ездили на кладбище. Могила в полном порядке, т. е. обложена зеленым дерном, посередине могилы - цветочки. Саша вооружился лейкой и поливал могилу, на что пошло 10 леек.

Ночью мне приснилась Наденька Петровна, но не в моей, а в какой-то чужой комнате. Она подошла ко мне, и мы очень хорошо, сердечно, поцеловались. Вид у нее был молодой. Прижавшись ко мне, она сообщила, что улучшения в здоровье нет. Прижимая ее и целуясь, я никакого страха не испытал, а наоборот, был рад встрече, и притом столь теплой, а главное, тому, что Наденька Петровна была очень ласкова. Неизвестно почему, я проснулся и был не рад, что сон оборвался.

На кладбище разговорился с одним могильщиком относительно решетки. Мы договорились, что он поставит железную решетку за 650 руб. Демокрит говаривал, что быть верным долгу в несчастье - значит совершать великое дело.

6 июля, среда.

С решеткой на кладбище пока ни с места. Ницше утверждает, что мир вовсе не адекватен логическим законам, и я с ним согласен. Вроде бы я знал, как гладят брюки, но сам погладить не смог: утюг буксовал по мокрой тряпке.

Вчера зашел мой старый товарищ Павел Терентьевич А. Он 20 лет был в заключении. Потом его реабилитировали, дали комнату в Москве. Он пишет какую-то работу, сидит невылазно в Библиотеке имени Ленина. Однажды ему пришлось идти пешком с партией заключенных 175 километров. Я был в ужасе от его рассказа. Три раза он был на грани смерти. И все-таки выжил. Неприятно болтлив и, по-моему, глуп.

Он старше меня. Вроде с виду ничего. Но 20 лет пропали зря. Нужна мудрость, чтобы, как я, сидеть тихо, на тихой работе и работать над собой.

Угостил его чашкой кофе. Мне его было жалко. Знали друг друга по семинарии и академии. Из его рассказа видно, что в Москве он читал лекции в вузах. Дочитался. Читать в наше время можно дома и без свидетелей! Жена его умерла, а мать сошла с ума. На обеих руках у него шишки от тюремного голода. Канта он не читал.

Вопрос о решетке на кладбище меня очень озабочивает, я все время думаю об этом. Часто мой внутренний глаз видит страдальческое лицо Наденьки Петровны, когда ее временная поправка быстро пошла на убыль, и я чувствовал, что наступают последние дни ее жизни. Как это грустно! Говорят, что смерть - это закон природы. Да, закон природы, но лишь для тела, а личность человека никакой смерти не требует, смерть для человека вовсе не нужна. При чем тут природа? Ведь человек давно вышел из природы, в ней нет ничего нравственного, одна бессмыслица. Каким же образом бессмысленная природа может человеку диктовать какие-то законы? Следовательно, природа - урод! Следовательно, жить можно, лишь веруя в Высшее, что не является природой.

17 июля, воскресенье.

Вчера для меня радостный день: наконец-то на могиле Наденьки Петровны поставлена железная решетка. Она хоть и скромная, а все-таки решетка. Дерн на могиле хорошо принялся,

табак тоже. В общем, все прилично. Конечно, я бы хотел лучше-го, чего-нибудь монументального, но у меня нет денег. На первых порах и так хорошо. Тот, кто делал решетку, водил меня за нос целых три недели. Признаться, я волновался: вдруг он меня надует? И мой задаток в 350 руб. пропадет!

Мы отправились с Сашей с утра - к 11 ч. От жары я изрядно потел. На нашем участке нет еще деревьев, поэтому мы примостились недалеко на могиле под кленом. Зачем? Могильщик купил 1/2 литра перцовки. Мы и опрыснули решетку. Было поэтично. Я исполнил свой долг и теперь могу быть спокоен. Пил я немножко. Затем вернулись, я - домой, Саша - в редакцию, а могильщик остался на кладбище. Он, между прочим, обещал еще раз покрасить решетку в нежно-голубой цвет.

На днях, просматривая 5-й том А. П. Чехова, в рассказе "Юбилей" нашел следующие строки: "Когда после десерта дамы распрощались и уехали, юбиляр совсем раскис и стал неприлично браниться. Винные бутылки были уже пусты, а потому актеры опять начали с водки. Со всех концов стола посыпались анекдоты, а когда запас анекдотов иссяк, начались воспоминания о пережитом. Эти воспоминания всегда служат лучшим украшением актерских компаний. Русский актер бесконечно симпатичен, когда бывает искренен, и вместо того, чтобы говорить вздор об интригах, падении искусства, пристрастии печати и пр., повествует о виденном и слышанном... Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого, испитого комика, вспоминающего былое, чтобы в нашем воображении вырос один из привлекательнейших, поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимо в своих исканиях, выносливого, как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своей широкой натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни напоминающего былых богатырей... Достаточно послушать воспоминаний, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать".

Эти строки Наденька Петровна обвела карандашом и написала на полях: "Моя характеристика".

Я ужасно был рад и этим строкам, и надписи, сделанной Наденькой Петровной. Если она так написала, то, значит, почувала в этих строчках нечто про себя. Вот нет ее - и стало и скучно, и гру-

стно. А кругом такая серость! Правда, эти серенькие люди живут, работают, добра наживают, вроде они жизненные люди, но почему они так неоригинальны, так скучны, пошлы, почему в их словах и действиях нет, хоть на момент, вспышки чего-то необычайного?

Есть нравственный мир, и в нем происходят события: каждый раз, когда я еду на кладбище навещать Наденьку Петровну, я нахожусь в особом настроении, которое - молитва особого рода. Мне приятно, что Саша без всяких громких фраз, а так молча и охотно поливает из лейки дерн и цветы на могиле. Вечером подумал о том, что у меня нет маек.

Достоин замечания тот факт, что из множества людей, которые знали Наденьку Петровну, только мы двое ездим на кладбище и только нашими трудами могила имеет тот вид, как она предстоит взору в данный момент. Почему же мы при жизни так дорожим мнениями людей, почему нам кажется, что они дорожат нами, помнят и ценят нас? Это ерунда, это ошибка. И Наденька Петровна была права, когда всех да их мнения посылала к чертям. Читал Бердяева.

19 июля, вторник.

С утра жара, в 12 часов - 33°. К счастью, днем разразилась гроза. Гром так гремел, были такие страшные раскаты, что я закрыл окна. Ливень был столь силен, что под окном погнул многие цветы с длинным стеблем. Говорят, на Трубной вода затопила подвалы. На Арбатской площади провалился павильон с овощами. Смотрел на себя в зеркало - нужно сходить в парикмахерскую. С Бердяевым кое в чем согласен.

Вечером прощальный концерт Вана Клиберна. Я уютно устроился и слушал по радио симфонию Чайковского. Дирижировал Кондрашин. Клиберн блестяще играл, оркестр был на высоте. Нужно купить проигрыватель. Напоследок Клиберн сыграл "Подмосковные вечера" в своей переделке для пианино. В заключение сказал несколько слов по-русски. Благодарил за прием, что он его никогда не забудет, передал привет от американского народа и просил не забывать его - Клиберна.

Когда я слушал, то моментами у меня глаза были на мокром месте - от восторга, от умиления, от радости наслаждения музыкой Чайковского и искусством Клиберна.

В жизни есть высокое и радостное, и этим надо жить.

Ларошфуко говорит, что ни на солнце, ни на смерть нельзя глядеть в упор. Эта мысль шатка и спорна. Конечно, на солнце в упор смотреть нельзя - ослепнешь. Но что значит глядеть в упор на смерть?

Если не решишь вопроса о смерти, то жить правильно, со смыслом невозможно. От мысли о смерти никуда не убежать. Смерть нужно душевно преодолеть, т. е. жить так, как полагается бессмертному существу, - делать только главное, а все остальное отбросить. Со временем тело дряхлеет, а душа не поддается законам природы, не портится, а, наоборот, закаляется, и я знаю, что душа нетелесна, что тот, кто живет душою, тот бессмертен.

Эти мысли я высказываю потому, что смотрю в упор смерти.

11 августа, четверг.

Во вторник была редколлегия. Я был в скверном настроении: опасался нападков на учеников-корректоров, а также увольнения Левицкой. Дело в том, что на нее поступила жалоба из дома отдыха в Переделкине, якобы она нарушала режим и вступала в пререкания с администрацией. Вышло все наоборот. Редакторша была в прекрасном расположении духа.

Сперва выступил я. Рассказал, что нам стало работать труднее, что типография работает плохо, что дисциплина у типографских корректоров слабая, что ученики стараются, что в газете в отношении корректуры все благополучно. Затем выступили корректоры. О Левицкой совсем не было речи.

Редакторша отметила, что ей нравится, как выступили корректоры, как выступил зав. корректурой - то есть я. Про меня она сказала, что в ЦК комсомола меня называют профессором. И в академии проф. Ожегов тоже отозвался обо мне как о профессоре. Мне было приятно и неприятно это слушать. Это, конечно, неверно, но моя заслуга в том, что я хоть и поздно, но ухватился за грамматику. Вчера узнал, что все ученики зачисляются в штат. Сегодня работал, как и всегда. Приехал домой усталым.

На ночь перечитывал рассказ Чехова "Студент": какое мне дело до отречения Петра, которое было 19 веков назад? Однако мы одни и те же: добро и зло одинаково волнуют нас, независимо от того, когда оно было. Почему? Потому что есть нравственный мир и в нем происходят события.

21 августа, воскресенье.

Сегодня годовщина смерти Наденьки Петровны. В 11 ч. 30 м. я, Саша, Маша и Светлана Александровна поехали на кладбище. Был солнечный день, даже жарко. Дойдя до нашего участка, я издали старался увидеть крест. Мне кажется, я его видел. Подошли к могиле. Она вся заросла травой и цветами - табаком. Решили траву и табак подстричь. Ножницы захватили из дому. Саша принялся за работу, и скоро могила приняла хороший вид.

Затем Светлана Александровна и Маша сходили за песком.

Ведро песка стоит 1 рубль. Взяли два ведра, их вполне хватило. Я сидел на скамеечке у чужой ближайшей могилы и курил папиросу. На участке было немного народу. Сидел без шляпы, но солнце так грело, что я должен был надеть ее снова. Надо беречь себя. Хорошо бы съездить в дом отдыха.

Мы с Машей вспомнили, что в прошлом году в день похорон так же было жарко. Маша сказала, что она все помнит, как будто это было недавно, а не год тому назад. Пока Саша подстригал траву на могиле, Маша и Светлана Александровна осматривали другие могилы. Хотя они и знали, что участок весь заполнен, но когда они воочию увидели это, то удивились. Мрут людишки, как мухи, а Канта не читали!

С уничтожением индивидуального "я" мир тоже разлетается в прах. Поэтому мое индивидуальное "я" неизбежно должно существовать и после моей смерти, раз только с ним не уничтожается весь мир. Сильно потеют ладони. На небе появились тучи, подул ветерок. Мы решили уходить. Идем, и вдруг раздалась траурная музыка. Маша взволновалась: "К чему музыка? И без того грустно". Чтобы не встречаться с похоронной процессией, мы пошли другим путем. Навстречу нам попались двое рабочих, в руках у них были лопаты и веревка. "Это могильщики", - сказал я. Красные морды!

Перед домом встретилась бывшая соседка Софья Павловна Ильинская, стала как ни в чем не бывало рассказывать мне, как они хорошо устроились на новой квартире. Я был вне себя, сердце колотилось. По вине этой особы Наденька Петровна раньше времени легла в гроб... Неужели все в жизни так "мирно" успокаивается и уходит в небытие?

И вот тут-то и испортилась погода. Полил дождь. В особенности вечером. Все же собрались к 9 часам. Стол отодвинули от

стены, так что все уселись довольно удобно. Я заметил Каменскому, что стол хоть и нескладный, но старинный: за ним я сидел еще мальчиком. Перечислить, сколько вообще народу сидело за этим столом, мне не под силу: надо сильно потряхнуть памятью.

Сколько раз Наденька Петровна пыталась избавиться от этого стола, но я его защищал. И вот теперь за этим же столом мы в третий раз поминаем Наденьку Петровну. "Жизнь" этого стола знаю только я. Как умру, так все пойдет прахом.

Налили по стопке, встали в память умершей и выпили не чокаясь. А дальше все пошло по порядку.

Около 12 ч. начали расходиться. Шел дождь.

У меня сильное сердцебиение от "незапланированной" встречи с Софи Ильинской, но я старался держаться. Когда гости ушли, мы быстро все прибрали. Я был рад, что были только родственники. Не было "только" пьющих и едящих. Саша сделал очень хороший салат, селедка была хорошо отмочена, кроме того, на тарелках лежала колбаса, сыр, ветчина, коробка шпрот, великолепные свежие огурцы и пирог, испеченный Светланой Александровной. Пирог всем понравился. Пили маловато: 1/2 литра столичной, 1 бут. портвейна и 1/4 горилки. Одна бутылка портвейна, которую принес Каменский, осталась непочатой, ее Каменский захватил домой. Должно быть, пожалел ее оставить у нас. "Приедете - разопьем", - сказал он.

Так прошли поминки в годовщину смерти Наденьки Петровны. Хоть и было ей 73 года с половиной, а жаль бесконечно. Я каждый день вспоминаю ее. И не знаю, чем заглушить стоящие передо мной картины ее болезни и смерти. Но примириться нужно: нельзя роптать на волю Творца неба и земли.

Однажды я ей сказал: "Вот меня не будет, тогда вспомянешь". На это она ответила: "Я раньше тебя умру". Часто, отходя ко сну, я думал: вот лежим мы вдвоем, а будет момент, когда кого-то из нас не окажется. Так и случилось. Как-то во время болезни (дома) она сказала: "А что ж не прощаешься? Ты что делаешь?" - "Я раздеваюсь, сейчас приду". Однажды она мне сказала: "С тобой мне лучше: ты близкий".

Как она любила смеяться в жизни! Но во время болезни удавалось редко ее рассмешить, улыбка была вялая, но в глазах смех был. Ужасно следила, чтобы или окно, или форточка были открыты. Приходилось обманывать ее на этот счет, но обман не уда-

вался, и она сердилась. Порой я был резок, а потом моментально смягчался. Мне было в такие минуты совестно. Во время болезни Наденька Петровна очень похорошела душевно, и мы с Сашей умилялись. Я никогда не забуду эту душевную красоту.

Иногда ссорились, и теперь думаю: зачем это? Как нехорошо! Во время ее болезни я старался быть спокойным - это мне очень трудно давалось. Кое-что я считал ненужным для лечения. А она мне говорила: "Тебе все равно". Я возражал: "Как это все равно?" - "Ну расскажи мне что-нибудь". А мне рассказывать было нечего, так, бывало, расскажешь ей какие-нибудь служебные новости. Она слушала. На момент развлекалась. Когда просилась выписать ее из больницы, то говорила: "Я буду слушаться вас, смотреть на карточки".

Когда приносили ей цветы, она указывала, в какую посуду или вазу их поставить и на какое место. О том, что ее редко посещают внучки и Светлана Александровна, ничего не говорила. Но, несомненно, ей было ясно, что весь уход за ней пал на Сашу и меня. Она молчала, ни на кого не обижаясь.

Когда сидели за столом, Саша рассказывал о пушкинских местах. Он высказал мысль, что Пушкин ближе и милее сердцу русского человека, чем Л. Толстой. Я вполне с ним согласился и развил эту мысль поярче, сославшись на то, что уже на школьной парте мы учим замечательные стихи Пушкина, мы любим оперы "Евгений Онегин", "Пиковая дама", кроме того, Пушкин был бабник и был смертельно ранен на дуэли, - все это в натуре русского человека. А Л. Толстой как крепкое вино: его чтобы пить, надо быть зрелым.

Прочистил дырочки на солонке отточенной спичкой.

Когда просматриваю Чехова и вижу красную помадку на полях, мне приятно: все-таки это след от Наденьки Петровны, это она читала. Замечательно, что, лежа на кровати больной, она, конечно, многое передумала, но никогда ничего не говорила об этих думах. Однажды сказала: "Мне страшно". Я ее успокоил: "Почему страшно? Мы же с тобой, и у тебя все благополучно". Это ее успокаивало. Увидел клопа...

В книге "Улица Мандельштама", Москва, издательство "Московский рабочий", 1989, тираж 100 тыс. экз.

Юрий Кувалдин. Собрание Сочинений в 10 томах. Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, тираж 2000 экз. Том 1, стр. 277.

ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

На площади Пушкина Шпагин вышел из троллейбуса и заглянул в “Елисейский”, где купил кило рису. Затем прошелся по Тверскому. У памятника Тимирязеву посидел на скамейке, настроение было плохое и домой идти не хотелось. Вчера пришел поздно под сильной мухой, жена кричала и грозила разводом. Однако делать далеко идущие выводы из этого Шпагин не собирался. Вообще у него с годами выработалась привычка к сдержанности, в особенности в отношениях с женой. С нею он был довольно-таки скуп на слова, но, что удивительно, она понимала его без лишних слов и, кажется, догадывалась, что он думал гораздо больше, чем говорил. От стола, разумеется, жена отказала, поэтому со вздохом взглянув на пакет с рисом, Шпагин настроил себя на более чем аскетический ужин.

Не то было вчера. Вчера Шпагин обедал по большому счету у Пашки-художника, а вечером ужинал у Маринки. Она, правда, в коммуналке комнату снимает, и праздник испортился, когда к соседям ввалились гости и стали плясать под пластинку Ольги Воронец.

Посидев у тихого памятника, Шпагин пошел по улице Воровского, заглядывал в окна бывших особняков. Жили в них когда-то состоятельные люди... Все они лежат на кладбищах, в их домах живут совсем иные люди или помещаются какие-то конторы. Многие могли бы рассказать стены, но они немые. Шпагин подумал, что проходит все, и все суета сует. По аналогии ему теперь было понятно, как в бездну небытия проваливаются целые эпохи.

Жена стояла на кухне у плиты и жарила магазинные котлеты. Мельком взглянув на Шпагина, увидев в его руках рис, она улыбнулась. Значит, отошла, подумал Шпагин и несколько суховато сказал:

- Привет!

- Есть будешь? - с насмешкой спросила жена.

Шпагин молча обнял ее и стал целовать ее волосы, виски, шею...

- Хватит, хватит, - продолжая улыбаться, сказала жена и отстранилась.

На кухню вошла старшая дочь, за нею младшая.

- Ну, куда вы все лезете! - воскликнула жена. - По очереди! Шпагин попал во вторую очередь. Когда он ел, жена все время смотрела на него, и Шпагину это было почему-то в тягость.

- Что ты все смотришь?! - вспыхнул он.

- Хоть бы побрился... Я уж не говорю о зубах!

- Я бороду отпускаю, - отмахнулся он.

- Хватит с тебя усов!

На тощем лице Шпагина поблескивала седоватая щетина и торчали рыжие усы. Они не седели. Беззубый рот Шпагина делал его стариком, хотя Шпагину было всего лишь сорок два.

- И вообще, ты старый козел! - сказала жена и засмеялась, словно изрекла что-то в высшей степени остроумное, и на миг прикоснулась к руке Шпагина, заглядывая ему в глаза с таким видом, словно у нее никогда не было более сильного желания, чем его увидеть.

- Что это у тебя за настроение сегодня? - спросил он.

- Ленку удалось втиснуть в очередь на однокомнатную квартиру! - выпалила жена. - Так что жду твоих денежек!

- Будут, будут тебе деньги, - как-то лениво сказал Шпагин. - Дай раскрутиться.

После ужина он прилег в маленькой комнате на диван, пробежал книжку "Психология великих людей" профессора Жоли. Шпагина заинтересовало изречение Ларошфуко:

"Великие души отличаются от обыкновенных не тем, что у них меньше страстей и больше добродетелей, а только тем, что они носят в себе великие замыслы".

И у него, Шпагина, великие замыслы, великие идеи: найти хороших спонсоров, внедрить отработанную им схему - и тогда...

Малышка-Наташка отворила дверь и сказала:

- Папа, тебя к тифону!

- Ох уж этот зверь тифон, - пробурчал Шпагин, вставая, и добавил: - Не даст костям отдохнуть...

Он не спеша, позевывая, подошел к телефону, взял трубку и услышал давно забытый, но тут же воскресший в памяти голос:

- Привет, старик! Рейнгольд!

Шпагин подавил удивление.

- Ты откуда? - спросил он, испытывая пристальный, личный интерес, который в каждом из живущих время от времени проявляется в той или иной степени.

- Надо встретиться! - сказал Рейнгольд весело.

- Откуда ты? Куда ты пропал? Сто лет тебя... - сделал паузу Шпагин и вставил давно выброшенное им из собственного лексикона слово: - Старик!

- Из Нью-Йорка, - с достаточной долей равнодушия сказал Рейнгольд. - Вчера вечером прилетел и сразу звоню тебе, старичок!

Звучание голоса Рейнгольда напомнило шум дождя. Шпагин сначала вбирал слухом только это звучание, потом уже до него дошли слова.

- Я так и предполагал, - сказал Шпагин взволнованно. - Исчез с горизонта... Жена моя сразу сказала, мол, Рейнгольд уехал. Ну, ты молодец! Из Штатов, стало быть? - последние слова Шпагина прозвучали торжественно-скорбно.

В это время появилась в дверях жена и горячо зашептала:

- Рейнгольд? Я же говорила! Зови его к нам!

- Из самого Нью-Йорка? - переспросил Шпагин, косясь на жену.

- Что ты, старик, ей богу! - воскликнул Рейнгольд. - Говорю, давай встретимся!

- Приезжай к нам! - предложил Шпагин.

- Старик, у меня каждый час по минутам расписан! Давай в центре пересечемся, хочу тебя видеть.

Шпагин от нетерпения сунул руку в карман.

- Завтра? - спросил он.

- Нет, - ответил Рейнгольд. - Завтра у меня все забито. Давай звони мне завтра поздно вечером.

- Куда?

- У родителей, - сказал Рейнгольд. - А ты что, не мог им за эти годы позвонить?

- Я не знаю, где они живут, - сказал Шпагин. - И телефона не знаю. Как ты исчез, так наша связь оборвалась!

- Ладно, не трепись, - возразил довольно сдержанно Рейнгольд. - И телефон я тебе давал... Впрочем... Короче, звони, старик, завтра и договоримся о встрече.

- О'кей! - непроизвольно вырвалось у Шпагина.

- Привет Верочке и дочке! - сказал Рейнгольд.

- У меня еще одна появилась за время твоего отсутствия! - радостно сообщил Шпагин.

- И ей привет! - сказал Рейнгольд и продиктовал телефон родителей.

Этой ночью Шпагину снился Нью-Йорк: Шпагин едет по Бродвею (а где же еще?!) на дорогой черной машине, а впереди машины, как на экране, с микрофоном в руках корреспондент советского телевидения Владимир Дунаев говорит:

- Осень в Нью-Йорке идет под аккомпанемент забастовок, листовок, демонстраций, провокаций, инсинуаций...

Затем Шпагин видит себя на тридцать девятом этаже небоскреба на Третьей авеню. Этот этаж отвел ему Рейнгольд под нью-йоркскую квартиру совместного предприятия. Здесь же размещаются квартиры сотрудников. На светлой кухне стоит жена и жарит нью-йоркские магазинные котлеты. Шпагин снимает трубку телефона и слышит грохот завода, работающего в рамках совместного предприятия "Шпагин-Рейнгольд и К°".

- Куда ты провалился? - слышит Шпагин собственный голос.

- Это ты провалился! - возражает ему Рейнгольд. - Я тебе давал телефон родителей, а ты им ни разу не позвонил! Скотина ты хорошая, старичок, хоть ты мне и друг!

А что для него Рейнгольд, думает Шпагин, теперь он сам в Нью-Йорке и если ему хорошенько захочется, Шпагину захочется, то он продлит себе командировку по СП хоть на полгода, хоть на год. Нью-Йорк есть Нью-Йорк, город контрастов! И т. д.

- Старичок, тебе пять тысяч долларов в неделю на первый случай хватит зарплаты? - спрашивает Рейнгольд. Это произносится самым небрежным тоном.

- Разумеется, старик, - соглашается Шпагин и, подумав, добавляет: - Как-нибудь первое время перебыюсь.

Ведь он, Шпагин, один, как глава московского филиала, ни на кого не опираясь, с завидным мужеством поведет наступление на всю экономику США с ее огромными ресурсами и сильным лобби в Вашингтоне.

Кстати, вспоминает Шпагин, нужно и в Вашингтоне филиал СП открыть и посадить там... Пашку-художника, да и Маринку пристроить...

А интересно, растут ли березы в Нью-Йорке? Сейчас конец октября, в Москве с берез сыплются желтые листья на асфальт, в лужи, и в Нью-Йорке, по-видимому, с таких же берез слетают желтые листья... Правда, говорят, у них там теплее. Нью-Йорк расположен, кажется, на полосе Кавказа-Крыма. Нужно посмотреть по карте.

Так или иначе, думает во сне Шпагин, в Нью-Йорке устроить контору - не слабо! Похоже, что с приездом Рейнгольда этот вопрос можно провентилировать.

А неплохо бы с Маринкой махнуть в Нью-Йорк. Пристроить ее журналисткой в какой-нибудь "Ньюсуик", ведь, мечтает девчонка попасть на журфак.

Проснувшись ранним утром, Шпагин вспомнил, что вчера говорил не просто с Рейнгольдом, а с умным и интересным американцем, и решил как можно оригинальнее устроить встречу с ним.

Еще до всяких дел он позвонил Пашке-художнику и сказал, чтобы тот как следует подготовился к встрече с американцем.

Пашка спросонья никак не мог врубиться в тему, хрипел в трубку что-то несвязное и жаловался на больную после вчерашнего бодуна голову.

И прежде чем пояснить что-либо Пашке-художнику, Шпагин внезапно увидел себя идущим по ущельям деловой части Нью-Йорка. И тут же, параллельно, в его голове мелькнула идея, которую он и высказал Пашке:

- Толкнем американцу твои работы!

По всей видимости, это предложение сильно подействовало на Пашку, потому что Пашка схватился за эту энергичную идею с ходу:

- Я ему пару холстов отдам!

- Ну, а ты что-то мычал! Конечно, отдашь! - сказал Шпагин и подумал, что лучшего места для встречи с Рейнгольдом, чем в мастерской Пашки-художника, не найти.

- Когда он будет? - спросил Пашка.

- Сегодня вечером с ним созвонюсь, - сказал Шпагин. - Договорюсь на завтра. У него дел - невпроворот!

- В Америке все такие, - подтвердил Пашка, как будто только вчера был на Мэдисон-авеню вместе с молодыми клерками и агентами по продаже ценных бумаг.

Вскоре Шпагин был на работе в своем НИИ по материально-техническому снабжению. Шпагин был кандидатом экономических наук и заведовал сектором, которому принадлежало две узкие и длинные комнаты, заставленные столами, за которыми сидели исключительно женщины - единственным мужчиной был сам Шпагин.

Экономист Евгения Павловна тут же сунула Шпагину записку замдиректора, в которой излагалась просьба подготовить к пятнице отчет по основным видам деятельности сектора.

- Где там у нас прошлогодний отчет? - спросил Шпагин, подмигивая Соне, которая подошла к его столу.

Евгения Павловна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Шпагин стал замечать, что у нее от болезни (какой - Шпагин не знал, но Евгения Павловна постоянно бюллетенила) минутами как будто ослабевал рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины, при этом смешно сводя глаза к переносице.

- Евгения Павловна, - сказал Шпагин, - вы возглавите работу по отчету. Ну, там цифирь в старом поменяете... Сонечка тоже пусть подключится. И Митрофанову возьмите. Сайкина и Болдырева считают? - спросил он у Сони.

- Считаю! - бодро ответила Соня.

- Хорошо, - сказал Шпагин. - Значит, все при деле?

- При деле! - воскликнула радостно Евгения Павловна и добавила просительным тоном: - Я сегодня пораньше хочу уйти... в поликлинику...

- Ради бога! - благодушно согласился Шпагин.

- А этот замдиректора, прямо, сам как будто позвонить или зайти в сектор не может! - возмутилась Соня. - Все пишет записки, как бюрократ!

- Это его прерогатива, - сказал Шпагин торопливо, потому что зазвонил телефон и Шпагин сорвал трубку.

Звонил Ефимов, который занимался разработкой устава задуманного Шпагиным кооператива. Ефимов восторженно рассказывал, что устав почти готов, что его регистрация в исполкоме будет стоить всего пару сотен и т. д. Ефимов с того конца трубки обращался к Шпагину, как школьный товарищ, на "ты", а Шпагин хладнокровно отвечал тому на "вы", дабы женщины сектора не обращали внимания на суть разговора, хотя ее нельзя было уловить по нейтральным вопросам и ответам Шпагина.

Только закончился разговор с Ефимовым, как позвонил Тапеха и заорал в трубку, что нашел пару компьютеров ИБМ европейской сборки по девяносто тысяч каждый.

- Вы этот вопрос держите в поле вашего внимания, - сказал Шпагин. - Пока я точного ответа дать не могу. Отчет будет готов к пятнице, - пояснил Шпагин и взглянул с улыбкой на Евгению

Павловну, которая сидела за первым столом у окна перед столом Шпагина. В свое время первый стол предлагали Шпагину, как заведующему, но он отказался, и сел за второй в ряду, подчеркивая свой полный демократизм.

А с того конца провода Тапеха кричал:

- Ты что, Митюха, уведут машины! Когда регистрируешься?

- Я вас не совсем понимаю? Что значит завтра? Я же вам сказал... Или не вам? Отчет будет готов к пятнице.

- Ты что там, говорить не можешь, Мить?

- Я вас понимаю, что вам некогда. Будьте любезны, позвоните мне сегодня после пяти часов, - голосом равнодушным сказал Шпагин, одновременно перелистывая рабочие бумаги сектора, которыми был завален его стол.

- Черт с тобой! - орал Тапеха. - Компьютеры нужно брать! Ладно, жди звонка в пять! Привет! - и положил трубку.

Тут же телефон опять зазвонил.

- Здорово! - услышал Шпагин голос Пиотровского. - Лично для тебя, Дмитрий Всеволодыч, пробил кредит на двести тысяч в семь процентов!

- Вы сегодня подъехать ко мне сможете? - спросил Шпагин.

- Чего, говорить при бабье не можешь?

- Вы знаете, - сказал Шпагин, - тут мы кое-какие цифры выведем и подготовим отчет...

- Я тебя понял, - сказал Пиотровский. - В пять пятнадцать я - у тебя!

Следом позвонила Светка, которую Шпагин собирался брать бухгалтером в кооператив.

- Дмитрий Всеволодыч, как там мои дела?

- Я думаю, что на следующей неделе решу ваш вопрос, - сказал Шпагин, продолжая как ни в чем не бывало листать бумаги.

- Я устала ждать. Я месяц как уволилась. А вы все меня завтраками кормите! - вспыхнула Светка. - Тогда бы уж не сбивали меня с курса!

- Ваш вопрос я держу в поле зрения. Он у меня в числе первоочередных. В понедельник я вас извещу. Или в среду.

- Опять... Ладно. Буду звонить сама в понедельник, а то вы не звоните никогда сами! - и повесила трубку.

Светка называла Шпагина - "Дмитрием Всеволодовичем" и обращалась на "вы", как и положено.

Следом позвонил Гиви из Госплана Грузии и справлялся насчет компьютеров - не поступили ли. Потом звонил Смирнов, который вел переговоры с Агропромом по поводу изготовления для них будущим кооперативом каких-то косилок или сеялок. Три звонка касались финансовых операций. Звонков десять было от других кооператоров, которые предлагали дать кредит Шпагину под пятнадцать-тридцать процентов. Шпагин им не отказал, он просил подождать. Предложение Пиотровского о семи процентах было самое выгодное.

Сотрудницы Шпагина лениво потягивались за столами, затем потянулись гуськом на обед, затем бегали за заказами: давали китайскую ветчину и сухую колбасу. Предлагали взять Шпагину, но у него после вчерашней покупки риса осталось тридцать копеек и проездной билет на все виды транспорта. Оклад у Шпагина был триста рублей без вычетов, жена получала сто двадцать, и деньги таяли, как снег весной, уходили, как вода в песок. Все деньги Шпагин отдавал жене, и все надежды его теперь возлагались на кооператив.

Между телефонными звонками, которые абсолютно не раздражали Шпагина, а, напротив, радовали, потому что пружина предпринимательства, закрученная им, двинула механизм самоорганизованных и самособравшихся “винтиков и шпунтиков”, то есть тех людей, которые умели и хотели работать за настоящую цену без сна и отдыха; так вот, между телефонными звонками Шпагин время от времени вновь представлял себя в осеннем Нью-Йорке. Вот он сворачивает на Тридцать третью улицу, выходит к Пенсильванскому вокзалу, а к вечеру оказывается в узких проездах Сороковых улиц, в районе театров...

В окно Шпагин видел желтый тополь с опадающей листвой, и подле него березу с такой же желтой листвой. Погода стояла хорошая, солнечная и сухая. Шпагин думал, что такой же тополь и такая же береза могут расти в Нью-Йорке...

А между тем, к пяти часам Шпагину очень сильно захотелось есть. Когда пришел Пиотровский, Шпагин сразу же стрельнул у него рубль, попросил Пиотровского подождать, а сам сбежал в соседнюю с НИИ булочную, купил кулебяку и при Пиотровском же жадно съел ее, запивая чаем, который постоянно готовили себе сотрудницы. Хотя рабочий день длился до шести, Шпагин приучил своих женщин в последнее время уходить в пять, чтобы оставшееся время отдавать созданию кооператива.

- На следующей неделе регистрируемся! - воскликнул Шпагин.

Пиотровский, полноватый и низенький, сидел перед столом Шпагина на стуле Евгении Павловны и гнул толстыми пальцами скрепку.

- Семь процентов - это гениально! Там у меня друг. Они уже полгода крутятся, прибыль - миллион!

- Надо бы название нашей фирме придумать, - сказал Шпагин. - Есть предложение назвать так: "Китеж"!

Пиотровский минуту был в задумчивости и продолжал гнуть пальцами скрепку, затем улыбнулся и сказал:

- Прекрасно! "Китеж", который ушел на дно!

- Остальные тоже одобрили, - сказал Шпагин, хотя название только что придумал сам.

- Ты Лобова знаешь? - спросил после паузы Пиотровский.

- Да я к нему дверь ногой открываю! - воскликнул Шпагин, дожевывая кулебяку.

Пиотровский просиял.

- Тогда мы на его имя письмишко загоним, - сказал он.

- Загоняй, а я ему позвоню.

- Что ты все эту звездочку на груди носишь?! - бросил Пиотровский, кивая на лацкан потертого пиджака Шпагина.

- Дочка прицепила, - сказал Шпагин и скопил глаза к значку, который выглядел, особенно издали, как лауреатская медаль.

- Ты Леху будешь брать? - спросил Пиотровский.

- А что делать? - сказал Шпагин, пожав плечами. - На этот вопрос нельзя ответить сразу. Но без него, наверно, не обойтись.оборотистый мужик, но просит сверху по пятьсот за тонну.

- Губа не дура! - вздохнул Пиотровский.

Только к девяти часам вечера Шпагин попал домой. После Пиотровского прибежал Тапеха, затем были двое из Армении, а остальное время ушло на несмолкающий телефон.

- Не мог пораньше прийти?! - крикнула с кухни жена.

Шпагин прошел на кухню и с порога сказал:

- Почему ты мне рубль на обед не оставила?

- Потому что ты у Пашки пропил три! А я тебе их давала на мясо! Чтобы тогда пообедал на рубль, а на два купил мяса!

За ужином жена спросила как ни в чем не бывало:

- Как твой кооператив?

Шпагин ответил пословицей:

- Что будет, то и будет. А еще то будет, что и нас не будет!

Старшей дочери дома не было, младшая сидела на диване перед телевизором. Показывали какое-то награждение кого-то.

- Я тебя уже наградила, - сказала дочка. - Ты не снимай медаль!

Присматриваясь к людям, Шпагин замечал у них сильную тягу к отличиям. По-видимому, им хочется придать себе вес каким-нибудь орденом. Первые дни на орденоносца еще смотрят, а затем - орден даже не надевается. Зато, если у вас деньги, вы без всяких орденов - король, которому все нипочем, которому доступно главное: хорошая пища, хорошие костюмы, хорошая квартира, автомобиль, приятное времяпрепровождение. Без денег и с орденами жизнь ужасна. Сильно опьяняет еще власть, поэтому лезут в начальники. Так называемое подхалимство в сильном ходу. Почти невозможно увидеть самостоятельного, с достоинством человека. Но его удел - прозябать без копейки.

Рейнгольду было звонить еще рано, и Шпагин посмотрел по телевизору окончание старого мхатовского спектакля "Три сестры". Играли главные силы. Но, странно, Шпагин не верил ни одному слову. Актеры играли каких-то бывших людей, которых уже нет и они невозможны. Но тогда зачем копаться на кладбище прошлого? Зритель идет в театр, чтобы укрепиться в настоящем, в своем понимании сущности жизни, а жизнь всегда была и есть одна и та же. Значит, пьеса хороша только тогда, когда автор в потоке изменчивости усматривает что-то вечное, ухватывается за него и как бы говорит: "Стойте на этом". Есть это вечное, думал Шпагин, и у Чехова. Примерно его можно выразить так: в жизни есть нечто серьезное, благородное, красивое - держитесь за него, делайте свое дело, не поддавайтесь среде. Примерно об этом он сказал жене.

- Ну и что? - спросила она.

- Надо помнить о вечности! - с некоторой долей раздражения сказал Шпагин.

- Мир вечности! - проговорила жена и отбросила носок, который штопала, в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение. - Все эти твои идеи о вечности сводятся к одному: сидеть на мизерной зарплате и чтобы я каждый день таскала полные сумки!

- Ты раздражена, - сказал Шпагин.

- Нет, я откровенна! - крикнула она, тяжело дыша. - Я откровенна!

Шпагин пожал плечами. Шел одиннадцатый час. В одиннадцать можно будет позвонить Рейнгольду.

Жена продолжала по инерции что-то бубнить себе под нос. Шпагин подумал, что нигде не найти человеку убежища более спокойного - как во всякий час удаляться в собственную душу.

Он зашел в маленькую комнату, где горел ночник. Наташка высунулась из-под одеяла и прошептала:

- А я не сплю!

Выражение у нее было живое и резвое, как у мальчишек, которые играют в футбол.

Послышалось мяуканье и из кровати дочери выпрыгнула кошка.

- Зачем ты ее взяла? - спросил Шпагин.

- Чтобы не спать!

Дверь открылась, на пороге стояла жена.

- А ну спать! - крикнула она.

Наташка мигом шлепнулась щекою на подушку.

Когда вышли в большую комнату, жена спросила:

- Что же ты Рейнгольду не звонишь?

- Сейчас позвоню, - сказал Шпагин и набрал номер телефона родителей Рейнгольда.

Откликнулся женский голос, должно быть, матери Рейнгольда, но имени ее Шпагин не помнил, поэтому просто поздоровался и попросил Аркадия.

- Его пока нет дома, - сказала мать.

- Когда он будет? - спросил Шпагин.

- А кто это говорит?

- Это Шпагин говорит.

- Митя? - неуверенно спросила мать Рейнгольда.

- Да.

- Давно я вас, Митя, не слышала, - сказала мать Рейнгольда.

Ему было неудобно вообще обращаться к ней, но спросить ее имя он почему-то стеснялся.

- Позвоните Аркаше утром, он спит до десяти.

- Хорошо, я позвоню, - сказал Шпагин.

И опять подумал о Нью-Йорке. И ему странно было видеть в Нью-Йорке Рейнгольда, идущего, например, по Пятой авеню, живущего где-то там... Где? Что он там делает? Как живет?

Нетерпение охватило Шпагина. Он долго не мог заснуть, выходил на кухню, курил, думал о Рейнгольде, о Нью-Йорке, о своем нарождающемся кооперативе "Китеже", о прекрасной девушке Марине, потом - о своей основной работе в НИИ, где отрубил пятнадцать лет попусту, где никто ни фиги не делал и не делает... Потом Шпагин вспомнил свою маму, которая умерла в семьдесят втором году и похоронена на Востряковском кладбище. Шпагин стал ругать себя за то, что давно не был на ее могиле, и ему стало тяжело от сознания, что благодаря хроническому безденежью он не может привести могилу в надлежащий вид.

Зайдя в уборную, Шпагин обнаружил, что не спускается вода. Унитаз засорился. Шпагин взял резиновую прокачку и принялся быстро работать ею. Вода не уходила. Тогда Шпагин набрал в ведро в ванной горячей воды и вылил в унитаз, одновременно работая прокачкой. Вода в унитазе резко чавкнула и всосалась в черное отверстие.

Глядя на обшарпанную уборную, Шпагин подумал о том, что необходимо сделать ремонт. И не только в сортире, но и в ванной, и в коридоре, и в комнатах, и в кухне. Везде. Сменить бы еще паркет. А где взять денег? На зарплату существовать невозможно. Нужен приработок не менее тысячи рублей в месяц. Чтобы заработать эти деньги, нужен кооператив. И он на следующей неделе у Шпагина будет. Но чтобы работать и на НИИ, и на кооператив - надо высунуть язык, то есть попросту заболеть. Возникает вопрос: что же делать? Ответа пока нет. Но ответ будет. Шпагин зашел в ванную и посмотрел на себя в зеркало: сильно постаревший субъект, лицо худое, малосимпатичное. Здоровье - неважное. Несомненно, он должен сидеть на диете, так как под ложечкой частенько возникает боль. Шпагин несколько раз принимал соляную кислоту. Вроде бы, она помогает, так как стул у него стал лучше. Но в весе Шпагин не увеличивается, и худоба делается стойкой. А между тем он иногда ест прилично. Во время отпуска на момент чуть-чуть поправился, но потом как рукой сняло. За последнее время питание ухудшилось, и Шпагину все время хочется есть. Когда в тарелке супа или щей попадает черный перец, Шпагин его ест - и ему нравится, как перец дерет язык. Будь деньги, можно было бы питаться хорошо.

Шпагин еще раз взглянул на себя в зеркало, раскрыл беззубый рот. Надо бы серьезно заняться зубами - вытащить корни и сделать протезы, ведь нет ничего хуже, когда человек без зубов. Шпагин со дня на день откладывал это мероприятие. Когда он с кем-нибудь разговаривает, то ему кажется, что все смотрят ему в рот, а там нет зубов. Надо бы заняться ртом, а денег нет.

- Что это ты тут делаешь? - спросила сонным голосом жена.

- Бессонница, - сказал он, обернувшись.

- Пошли спать! - сказала она.

Ее лицо было сердито, но в глазах ее было много самой нежной любви к Шпагину. Жена стояла в прозрачной ночной сорочке, и сквозь нее были видны небольшие груди. Шпагин как бы впервые в жизни смотрел на эту женщину, как на свою собственность, и тут он заметил, что у нее прелестные золотистые брови. Мысль, что он сейчас может привлечь к себе эту женщину, обрадовала его.

Когда они легли, жена говорила, что очень любит его и желает, чтобы и он так же крепко любил ее.

И опять снился Шпагину Нью-Йорк. Он сидит в своей конторе, звонит телефон, Шпагин снимает трубку.

- Вас вызывает Филадельфия, сэр, - говорит секретарша голосом Маринки.

- Хорошо, - говорит Шпагин. - А кто говорит?

- Рейнгольд. Он предлагает открыть в Филадельфии филиал СП.

- Я не возражаю, - сказал Шпагин. - Зарегистрируйте в Филадельфии филиал под названием "Китеж"...

Утром жена, спеша на работу, бросила:

- Рейнгольд тебя не очень-то ценит!

- Ну, мы старые знакомые, - пролепетал Шпагин.

После этих слов он глянул на жену и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла. Шпагин мучительно старался придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Хотя в первый момент он хотел сказать ей какую-нибудь грубость, но сдержался. И, сдерживая себя, он почувствовал неоспоримое преимущество перед женой, которая постоянно, по каждой мелочи срывалась на спор и на крик.

Что за женщина?! Или все они такие, рефлекторные, без какой-то высшей мудрости? Например, пошлет его в магазин за мясом, он, не торгуясь, потому что противно торговаться с мясни-

ком после того, как с ним в истошном крике торговались хозяйки, купит первый попавшийся кусок, принесет домой, а жена, уставив руки в боки, заорет: “Что ты принес?! Ты посмотри, что ты принес!”, - и будет тыкать этим куском в лицо Шпагину, а потом швырнет этот кусок мяса в раковину и будет безостановочно бубнить себе под нос всякие проклятия в адрес мужа. Он сядет в кресло перед телевизором, сдерживая в себе негодование, она войдет в комнату и закричит, как на вокзале: “Ну что ты сидишь, как пень?!”. Он встанет, пройдет по комнате, затем зайдет на кухню, где уже закипает принесенное им мясо, а жена скажет: “Что ты все ходишь тут?!”. Он пойдет в маленькую комнату, ляжет на диван с книгой, а жена ворвется через минуту и бросит: “Что ты разлегся, как барин?!”...

А он не противоречит, он сглаживает конфликты, он хочет добра. И на все это Шпагин находил утешение в мысли: все, что происходит в его жизни, не случайно, а обусловлено тысячью причин, и он свободен лишь отчасти. Люди с характером, волевые не раз говорили ему: “Займись собой и пошли всех к черту. Случится с тобой беда - очутишься в дураках и погибнешь”. Действительно, думал Шпагин, своим чувством добра он принес вред себе и людям. Альтруизм должен иметь границы. Громадное большинство людей в жизни руководствуется главным образом эгоизмом, и очень часто добрый человек приносит больше зла, чем добра. Влекомый потребностью к альтруизму, человек необдуманно рассыпает свои щедроты, и это приводит только к злу как для ближних, так и для него самого. Это полностью относится к Шпагину.

С одной стороны, жена во всем надеется на него, а с другой - нещадно эксплуатирует. Не нужно ее было приучать к деньгам, пусть небольшим, но все же. Зачем Шпагин со дня свадьбы стал ей отдавать всю зарплату! Давал бы сотню - и пусть бы крутилась! А теперь - не остановишь! Каждый месяц покупает себе и девчонкам тряпье, а оно все дорожает и дорожает. В результате аппетиты у них растут: давай еще, еще, еще, давай французские сапоги, давай “варёнки”, давай то, давай се! А Шпагину - фигу! В итоге он сидит без денег и без приличного костюма и утешает себя мыслью, что во всем виновата эпоха.

Итак, думал Шпагин, нельзя быть добрым без конца. Значит, надо резко изменить свою жизнь, даже с риском выйти в тираж,

чем жить изо дня в день озабоченным, худеть и слушать крики жены. Когда-то триста рублей казались Шпагину огромными деньгами. А что теперь? Какие-то капли, брызги!

Шпагин подошел к телефону и стал звонить Рейнгольду, но там было занято. Шпагин прикрыл глаза и увидел себя в светлом кабинете на верхнем этаже здания, где расположился филиал его совместного предприятия. Он сидел за массивным столом и смотрел в окно поверх зданий Манхэттена вдаль на пролив Лонг-Айленд. Шпагин открыл глаза и еще раз набрал номер Рейнгольда. На сей раз послышались долгие гудки и трубку сняли. Подошла мать Рейнгольда. Она сказала, что Аркадий только что встал и умывается, и сейчас она его подзовет.

- Привет, старик! - через минуту услышал он голос Рейнгольда. - Совсем закрутился. Вчера пришел домой в четыре утра!

Шпагин подавил первоначальное волнение и холодным тоном сказал, как говорил по телефону на работе:

- Ваш вопрос мне понятен. Но нужно встретиться тем не менее.

- Черт, мне сейчас нужно гнать на таможню в Шереметьево. Такая там волынка.

- И все же нужно встретиться сегодня.

- Вряд ли, старичок! - голос Рейнгольда оставался веселым, и вообще он всегда говорил как-то весело. - Дел по горло! А вечером еще в театр.

- Театр придется отложить, - сказал твердо Шпагин. - Я тебе устрою вечер поинтереснее. Кстати, ты же по Ленинградке будешь гнать из Шереметьева. Вот и давай встретимся у "Динамо" в три.

- В три? Почему так рано?

- Надо, Федя! - усмехнулся Шпагин. - Ты что думаешь, мы тут прозябаем! Я тебя в интересное местечко поведу.

Наступила пауза, после которой Рейнгольд с прежней веселостью крикнул в трубку:

- О'кей, старик! Рад тебя слышать, но еще больше буду рад тебя увидеть!

- Взаимно! - сказал Шпагин.

- Записываю. У "Динамо", стало быть?

- Да. У метро "Динамо", выход к восточной трибуне. Я буду стоять у выхода из метро на улице ровно в три.

- Все. Буду. Гудбай! - крикнул Рейнгольд.
- Бай-бай! - крикнул Шпагин и с чувством удовлетворенности положил трубку. Тут же раздался звонок.

- Ты еще дома? - услышал он голос жены.

- Как видишь! - с некоторой долей раздражения сказал Шпагин.

- Тогда, я забыла, разогрей щи для Наташки!

- А где она? - спросил Шпагин.

- У бабы Зины. Ты что, не знаешь, что мы второй день в сад не ходим. Там карантин, ветрянка. Баба Зина ее приведет скоро, они гуляют... Рейнгольду дозвонился? - без перехода спросила она.

- Дозвонился.

- Ну и что?

- Ничего. Пересечемся в три.

- Где?

- У "Динамо", - нехотя ответил Шпагин.

- Ага! - воскликнула жена. - К Пашке его потащить хочешь?

- Хочу!

- Пьяным не возвращайся!

"О, Господи! - так и хотелось воскликнуть Шпагину. - Перестань ты читать мне мораль!" Но у него хватило ума не высказывать этого вслух.

- Я вас понял и ваш вопрос держу в поле зрения, - деловым тоном сказал он. - Следовательно, я сегодня вряд ли попаду домой, потому что встретиться с Рейнгольдом и не выпить - не получится.

Жена бросила трубку и запищали короткие гудки.

Шпагин, взволнованный, чувствуя себя несчастным, начал ходить по комнате. Он спрашивал себя с упреком: почему он устроил себе семью с этой женщиной, почему вовремя не развелся, ведь характер жена показала уже через месяц после свадьбы, когда при всех в компании, когда он без ее согласия выпил лишнюю рюмку, когда все были веселы, когда всем хотелось смеяться и танцевать, - она ударила его по лицу...

Вновь зазвонил телефон, и Шпагин знал, что это опять звонит жена, чтобы сказать ему какую-нибудь гадость. Шпагин пересилил себя и снял трубку.

- Ты сволочь, последняя сволочь, которой нет дела до родной дочери! - кричала в истерике жена. - Подлец, негодяй, урод, выродок! Я таких сволочей...

Шпагин положил трубку и тут же набрал номер на свою работу. К телефону подошла Соня. Шпагин сказал:

- Я в Госснабе, потом еду в Госплан... Может быть, к концу дня подъеду, но, судя по загруженности, вряд ли.

- Что вы, что вы, Дмитрий Всеволодович, не волнуйтесь! - сказала Соня радостно, и Шпагин понял, что они все к обеду разбегутся.

Затем он позвонил Тапехе и Пиотровскому. Ефимову не дозвонился. Наверно, заканчивает с юристом работу над уставом.

Последний звонок Шпагин сделал Пашке-художнику. Тот сразу подошел к телефону и с обычной хрипотой в голосе спросил:

- Ну, как там американец?!

- Так. Слушай, - сказал Шпагин. - Сейчас я выезжаю к тебе, мы должны что-нибудь взять. Вся надежда на тебя, у меня рубль. В три часа я встречаю американца у метро "Динамо".

- Понял, - несколько мрачновато сказал Пашка-художник. - Но у меня же не бездонная бочка. Ладно, что-нибудь придумаем, подъезжай!

В бывшей коммунальной квартире Пашка-художник жил теперь один со своей семьей: двадцатипятилетней новой женой и двумя детьми. Со старой женой Пашка развелся, оставил ей тоже двоих детей, разменял квартиру и получил комнату в этой коммуналке. Прошло семь лет, старухи-соседки поумирали, а дворничиха, которая тоже жила в этой квартире, получила квартиру на Юго-Западе. Пашка сразу же женился и начал плодиться, чтобы занять всю квартиру. Это ему удалось.

По длинному и мрачному коридору (Пашка собирался все сделать ремонт после выезда последней жилички) катался на трехколесном велосипеде сын Пашки, трехлетний Сережа. Полуторагодовалая Настя с пустышкой во рту ползала на огромной кухне в загоне. На кухне на веревках сохло белье. У плиты стояла растрепанная жена Пашки и что-то бурчала себе под нос.

Сам Пашка, худой и длинный, с козлиной бородкой, в майке и рейтузах, дымыл "Беломором" и гневно стрелял красными глазами в сторону жены, время от времени надрывно восклицая:

- Я тебе побубню щас! Я по жопе как врежу щас! Выдра деревенская!

Шпагин, чтобы не слушать дальнейших высказываний, пошел по коридору следом за велосипедистом Сережкой в комнату Пашки.

Одна стена была увешана старыми иконами в серебряных окладах и без таковых. Сбоку при входе висели на стене кресты, древние замки, скобы, подковы и амбарные ключи, почерневшие от времени. На противоположной стене красовались работы самого Пашки: яркие цветочные линии, ромбики, треугольники, лучи и вспышки.

Глядя на один из холстов, на котором изображались то ли рыбы, то ли птицы, Шпагин подумал о том, что перемена в эмоциях, происходящая в течение жизни, составляет один из великих законов жизни. А для того, чтобы понять смысл жизни, надо долго прожить.

В комнату ворвался Пашка и, размахивая длинными руками, пламенно заговорил:

- Ты представляешь, Митюха, взял из грязи, а она носом тут крутит! Вот я дурак-то был, позарился на молодость ее. Сучка, закрутила мне мозги! Семнадцать лет... семнадцать лет! А в тыковке - две извилины. Ладно, понимаю, ухаживала бы за мной! Нет. Черт с ней, ухаживала бы за детьми, шкура, а то...

- Ты тут не очень-то себе много позволяй! - крикнула с порога жена, грозя Пашке половником.

Пашка схватил со стола банку гуаши и запустил в дверь, которая моментально закрылась.

- Видал?! Еще не то увидишь! Бляха-муха, прописал в Москве, а она уже барыней тут себя почувствовала. Рэкетом занимается. Вчера в брюках, помню, две полсотни оставалось, сегодня полез - нету! Выгребла, паразитка! Я ей покажу, как по чужим карманам шарить! Я ей, лахудре, зенки-то повышибаю!

- Послушай, Паш, оставь эмоции, надо о деле подумать, - мягко сказал Шпагин, но Пашка не обратил на это внимания.

- Дети сраные ползают, а она в парикмахерскую бегаёт, кудри завивает. Пашу-пашу, как лось, а ей все мало! - Пашка перевел дух, сел на стул и почесал грубыми пальцами, под ногтями которых засохла краска, узкую грудь, и продолжил: - Нет, ты пойми меня, Мить, обидно делается! Пашу-пашу, на прошлой неделе ей штуку дал, а она, шкура, что бы ты думал? - пальто себе и сапоги себе! И опять по карманам полезла!

Дверь с шумом распахнулась и в комнату полетел комок из двух пятидесятирублевых бумажек.

- Подавись, алкоголик! - крикнула жена. - Я о детях болею, а не о тебе! Все, с меня хватит. Я сию же минуту уезжаю к маме.

- Ну и катись! Скатертью дорожка! - крикнул Пашка и несколько приуныл оттого, что жена так быстро сдалась и вернула деньги. А он-то рассчитывал на многочасовую осаду.

- Зря ты так, Паш, - миротворно произнес Шпагин.

- А с ней иначе нельзя, - уже спокойно сказал Пашка. - На шею сядет и повезешь! Да, повезешь! А куда денешься. Мне уже полета лет. Не разводиться же во второй раз.

Он встал и прошелся по комнате, жестикулируя длинными руками и как бы не желая верить, что жена так быстро сдалась. Тут произошло, думал он, какое-то странное, глупое недоразумение. Красные пятна выступили у него на лице. И когда, наконец, Шпагин сказал, что нужно ехать в мастерскую и покупать спиртное, он легко вздохнул и первый вышел из комнаты.

- Попьем кофейку, - сказал он.

Прошли на кухню. Жена, как ни в чем не бывало, делала бутерброды с ветчиной и помидорами.

- Чего там, - сказал Пашка негромко, - осталось у нас?

Жена достала из холодильника полбутылки коньяка. Перед тем, как приняться за бутерброды и кофе, который уже смолота жена и поставила на огонь вариться, Пашка со Шпагиным выпили по рюмке с таким видом, как будто это они выпили нечаянно, первый раз в жизни, и оба смутились и захохотали.

Закусывая, Пашка сказал жене:

- Вот всегда бы так - тихо, мирно. Я же для дела беру деньги. Не на безделье же! Американец сегодня придет!

- Какой американец? - спросила жена.

- Из Нью-Йорка, - небрежно сказал Шпагин. - Мой приятель.

- Ага, понятно, - сказала жена. - А он у тебя что-нибудь купит?

Пашка даже хмыкнул.

- Еще бы, куриная твоя голова! Мы сейчас сотню на стол положим, а за нее возьмем десять! Понимать же надо, правда?!

- Я понимаю, Пашенька, - сказала жена и поднесла к губам чашку кофе, оттопырив при этом беленький мизинчик.

- Такие-то дела, дорогой мой, - сказал Пашка, обращаясь к Шпагину, - работать некогда!

- Ну, это тоже работа! - с чувством сказал Шпагин.

- Согласен! - сказал Пашка, отпивая мелкими глотками горячий кофе.

- А в Нью-Йорке сейчас тоже осень, - сказал Шпагин мечтательно. - Да, это самое своеобразное местечко в Северной Америке, у залива Лонг-Айленд, самого обжитого пространства во всем западном полушарии... Одним словом, Паша, встретим гостя из Нью-Йорка!

- Встретим! - воскликнул Пашка и поднялся из-за стола.

На Кольце, с угла Чехова, попытались поймать такси, но бесполезно потеряли двадцать минут, махнули рукой и пошли на метро. В метро было душно. Пашка потел и молчаливо смотрел по сторонам.

Вышли на "Динамо" и через Петровский парк, пешком, направились к гастроному, в просторечии именуемому "морским", потому что размещался в массивном здании "сталинского барокко", где проживали высшие чины морского флота. Было без пятнадцати два, а очередь в винный отдел уже вытянулась метров на двадцать. Сначала встали в хвост, но затем Пашка приметил какую-то знакомую женщину со спортивной сумкой, отошел с ней в сторону и поманил Шпагина.

- Конечно, нужно бы было коньяку взять, - сказал Пашка, - но не стоять же здесь до второго пришествия! А у тети Даши, - прошептал он, - водочка есть. Как? Берем? Думаю, американца стыдно встречать коньяком. Это не наш напиток. Наш напиток - водка! Давай, тетя Даш, пару бутылок!

- По тринадцать рублей, - сказала тетя Даша.

- По тринадцать - так по тринадцать! - сказал Пашка. - Значит, двадцать шесть! Держи пятьдесят и рубль, - Пашка протянул руку к Шпагину, тот мигом сообразил и достал свой обеденный рубль, испытав при этом чувство униженности и стыда.

- За угол отойдем, - сказала тетя Даша, оглядываясь по сторонам.

В грязном дворе у пустых ящиков тетя Даша положила в кейс Шпагина пару бутылок водки и отдала Пашке двадцатипятирублевую сдачу. Тут же у ящиков какие-то два мужика в желтых бушлатах пили четвертинку из горла.

В гастрономе Пашке приглянулась огромная индейка, и он купил ее, сказав при этом:

- Слышал, что американцы очень любят индеек!

Между тем время близилось к трем часам, и Шпагин не пошел с Пашкой в мастерскую, а не спеша направился через парк к метро.

Светило солнце, нагревая хвою елей, на зеленом газоне играли дети, на скамейках сидели люди с газетами. Дорожка, усыпанная кирпичной крошкой, вывела Шпагина к клумбе, а за нею оказалась ограда стадиона. Погода для октября была на редкость великолепна. Желтые листья в солнечном свете напоминали кулочки сусального золота, особенно тогда, когда трепетали от легкого ветерка. На стадионе звучала музыка. В воздухе витал приятный, дразнящий привкус праздника.

Шпагин волновался.

К метро он подошел без пяти минут и обнаружил, что здесь нет выхода к восточной трибуне, а только к северной и западной. Стало быть, Рейнгольд может оказаться у другого выхода: к южной трибуне. Было уже десять минут четвертого, когда Шпагин решил сбегать к другому выходу, и он уже пошел к другому выходу, но издали заметил Рейнгольда, идущего от того выхода к этому.

- Аркашка! - радостно воскликнул Шпагин.

Рейнгольд вскинул руку вверх. Одет он был в грубую брезентовую куртку с многочисленными "молниями" и кожаными наплечниками, в джинсы, белые ботинки с высокой шнуровкой, на голове красовалась жокейская кепочка темно-синего цвета с золотым орлом над длинным козырьком. Через плечо была перекинута голубая пузатая сумка на "молнии", с золотистой надписью: "Самбука".

Лицо Рейнгольда сияло в улыбке. Они обнялись и расцеловались. И Шпагин почувствовал, что и пахнет Рейнгольд по-американски.

- Я так и понял, что ты у того входа стоял! - воскликнул Шпагин. - Смотрю-смотрю, а тебя все нет!

- А я там, как дурак, торчу! - ухмыльнулся Рейнгольд. - Я на машине приехал из Шереметьева. Ну, куда ты меня поведешь?

Шпагин жадным взором оглядывал Рейнгольда.

- К художнику в мастерскую! - сказал Шпагин.

Они уже шли вдоль забора стадиона по сухому тротуару на Масловку.

- Надо бы взять что-нибудь, - сказал Рейнгольд.

- Уже взяли!

- Ну мне же неудобно с пустыми руками, - сказал Рейнгольд.

- Удобно! Мы принимаем... Лучше расскажи, как ты туда попал и как там живешь?

Рейнгольд взглянул на Шпагина с ироничной улыбкой и, блеснув голубыми глазами, сказал:

- Все расскажу, погоди... Ты о себе расскажи!

- Ты когда уехал?

- В семьдесят девятом, - сказал Рейнгольд.

- Ну, значит, в восьмидесятом я защитился...

- Ты гений, Митька! - еще веселее воскликнул Рейнгольд. Он шел, раскачиваясь из стороны в сторону, как матрос. - Работает там же?

- Там. Как защитился - дали сектор, - хладнокровно сообщил Шпагин, ускоряя шаг.

- Молоток! - сказал Рейнгольд. - А все же, к кому мы идем?

- К Пашке Натапову, не слыхал?!

- Пока нет.

- Хороший художник, - сказал Шпагин. - Тут я ему помог выставку одну устроить, через ребят из Совмина!

- У тебя там связи? - с недоверчивой веселостью спросил Рейнгольд, и Шпагин впервые обратил внимание на его белые крепкие зубы.

- У тебя, Аркаш, смотрю, зубы превосходные. Вставил?

- Да ты что?! Спятил. Это ж мои, родненькие зубки!

- А у меня, черт, все повывлетали, - огорченно сказал Шпагин.

- От печени, говорят, зависит. Печень у меня ни к черту.

- Ну, это оттого, что ты пил по-черному! - вдруг сказал Рейнгольд.

Шпагин смутился, он не помнил, чтобы когда-то сильно выпивал с Рейнгольдом.

- Что, забыл, как ты мне звонил однажды ночью? Говоришь, Аркашка, приезжай, а то я тут погибну! Я, как последний идиот, на такси к тебе помчался, а ты только после сотого звонка в дверь открыл и вытаращил на меня глаза: откуда, мол, я взялся?! Кричишь, Аркашка, откуда, как я рад тебя видеть!

- Это не было системой, это ты попал неудачно, - чуть порозовев, сказал Шпагин. - А вообще, скурвиться тут можно было. Кругом - стены.

- Это да, - весело вздохнул Рейнгольд. - Страна Лимония!

- Ты лучше скажи, как там Нью-Йорк?

- Да расскажу, успею, - усмехнулся Рейнгольд. - Устал сегодня, как собака. На таможене долбоносы собрались... У меня груз еще не весь пришел...

Через узкий проход они вышли к трамвайной линии и, свернув направо, пошли по Масловке к дому Пашки-художника. Шпагин широко распахнул стеклянную дверь с бронзовой ручкой и нажал на кнопки кодированного устройства, сказав при этом Рейнгольду:

- Запомни код: ноль - семьдесят восемь, как бутылка портвейна.

- Понял.

- Возле сетчатой шахты лифта в будке сидела вахтерша. Как только они вошли, вахтерша спросила:

- Вы к кому?

- К Натапову! - сказал Шпагин.

- Шестой этаж, - сказала вахтерша. - Он там.

Темная полировка лифта была исцарапана иксами и игреками.

Лифт, поднимая пассажиров, сильно гудел.

- Ну, как тут у вас? В штатах только о России и говорят, бум какой-то. Перестройка! А на самом деле?

- Вот если я свою фирму открою, - сказал Шпагин, - то она есть, а если мне не дадут ее открыть - то, стало быть, ее нет.

Рейнгольд с удивлением воззрился на Шпагина.

- Какую фирму? - спросил он.

- Потом расскажу. Ты не спешишь с рассказом о Нью-Йорке, ну и я не буду торопиться. Присмотримся друг к другу, - сказал Шпагин и подмигнул Рейнгольду.

- Что это ты значок на груди носишь? - спросил Рейнгольд.

- Дочка наградила. У нас в застое был сухостой рук с орденами!

Лифт остановился на последнем, шестом этаже. В углу широкой площадки под окном на цементном полу застыла лужа коричневой краски, валялось битое стекло, лежала лестница-стремянка и возле нее - сломанный табурет. Справа от лифта располагалось три серые двери, в одну из них - двустворчатую, - где на гвозде висела записка: "Художник работает! Просьба - не мешать!", Шпагин уверенно постучал кулаком три раза, а затем мелкой дробью еще пять.

За дверью послышались шаги, загремела цепочка, дверь открылась, и на пороге предстал Пашка, в белом фартуке, заляпанном красками, надетом на голое тело. Пашка был в длинных полосатых трусах. Сухие жилистые ноги тоже были заляпаны в некоторых местах краской. В правой руке Пашка держал палитру -

фанерку от посылочного ящика, на которой пестрыми островками поблескивали масляные краски, как крем на торте, а в левой, между пальцами, торчало несколько кистей.

- Не обращайтесь на меня вниманья, - сказал Пашка, пятясь от двери в глубь мастерской. - У меня тут жарница! - и он кивнул под потолок, где проходила толстая труба парового отопления.

Затем Пашка бросил палитру на стул, кисти сунул в банку, вытер руки тряпкой, смоченной в бензине, и, протянув руку Рейнгольду, представился:

- Великий художник земли русской Павел Натапов!

- Аркадий, - сказал Рейнгольд и бросил сумку возле мольберта, на котором стояла начатая недавно картина.

Окинув взором мастерскую, где на стенах висели Пашкины картины сплошняком, штук пятьдесят, так что на стене живого места не было, Рейнгольд воскликнул:

- Потрясающе!

Яркий, бьющий по глазам цвет Пашкиных картин действительно произвел сильное впечатление на Рейнгольда: он, вскинув голову и заложив руки за спину, ходил вдоль стен и восхищенно вздыхал.

- Очень на Зверева похоже, - наконец сказал он. - Но ярче, экспрессивнее!

- Хм, на Зверева! - сказал Натапов, извлекая из старенького холодильника, который стоял за занавеской у двери, огромную индейку. - Да Зверев тут дневал и ночевал... оригинальный был человек! Чистюля! На одном ботинке белые шнурки, на другом черные... Помню, зашел, ботинки эти надеты на босу ногу, принес бутылку минеральной воды, сел к столу, открыл пробку, а горлышко стал протирать мятым сопливым носовым платком, достал этот носовой комок, сидит и трет горлышко! - Пашка захотел, отчего затряслась его козлиная борода. - Да я его тут учил рисовать, а он взял да помер и стал знаменитым... Во делато! Что и мне подыхать что ли, чтобы на весь мир прославиться? Нет, ребята, я жить хочу! - и он принялся сдирать с индейки целлофан.

Рейнгольд, сглотив слюну, глядя на индейку, сказал:

- Ну, вы гуляете, ребята!

- А чего ж не погулять? - сказал Пашка. - У вас в Нью-Йорке, наверно, тоже так гуляют?!

- Нет. Я ни разу целую не покупал, - сказал Рейнгольд. - Очень дорого.

Шпагин с некоторым удивлением посмотрел на американского друга.

Пашка положил розоватую индейку на стол, упер руки в боки и уставился, не отводя глаз, на нее. Так он стоял минуту или две.

А Рейнгольд положил руку на плечо Шпагина и вполголоса говорил:

- Ну, старик, я благодарен тебе. Великолепный художник. - Глаза его горели. Он прошептал: - Продаст он мне что-нибудь?

Шпагин усмехнулся и шепнул:

- Не спеши, еще не вечер!

Тем временем Пашка достал откуда-то ручную пилу и крикнул Шпагину:

- Держи птицу, чтобы не улетела!

Шпагин ухватился за ноги индейки. Рейнгольд только теперь снял свою нью-йоркскую куртку на "молниях", повесил на крючок у двери и снял кепочку. Шпагин, взглянув на его лысую голову, даже воскликнул:

- Где же волосы твои, Аркашка?!

Рейнгольд скорчил жалостливую физиономию и провел с сожалением ладонью по полированной поверхности черепа. Затем, увидев в руках Пашки ножовку и то, что он ею принялся пилить индейку, Рейнгольд расхохотался и плюхнулся на диван, который стоял сбоку от окна.

Распилив индейку на небольшие куски, Пашка понес их в большой эмалированной кастрюле варить на кухню, которая помещалась на пятом этаже. Этот дом построили в тридцатых годах специально для художников, чтобы они здесь писали картины и жили. Ванные комнаты, кухни и уборные были на всех этажах, кроме шестого, так что Пашка пользовался кухней пятого этажа, за что платил ответственной за этаж, старушке-художнице, которая уже не рисовала лет двадцать, трешник. Таких не рисующих стариков и старух в доме было полным полно, и Пашка часто в разговоре со Шпагиным возмущался, что эти "старые перечницы", занимают огромные площади, а молодежи работать негде, ютятся по чердакам и подвалам...

Вернувшись с кухни, Пашка скинул фартук, оделся и аккуратно причесал свою козлиную бородку перед зеркалом. Потом он

накрыл журнальный столик широкой салфеткой и принялся сервировать его. В холодильнике у него оказалась баночка черной икры, вяленое армянское мясо в оболочке специй, хорошая колбаса и банка рыночной квашеной капусты.

Когда сели к столу, Пашка в довершение всего задвинул холщовые шторы на широком окне и зажег штук пятнадцать свечей, расставленных в майонезных банках по всей мастерской на полочках, шкафчиках, на большом столе, на мольберте.

- Ну вот вам и нью-йоркский ресторан! - сказал удовлетворенно Пашка, и все сразу же жадно выпили холодной водки за встречу.

Когда прилично выпили и подзакусили, Пашка начал было говорить речь, но слишком примитивную, и выражения его были не точны. Он не кончил, так как Рейнгольд заговорил о чем-то со Шпагиным, закурил папиросу и сел. Он сказал, что жить в Москве - это счастье, потому что одно дело - столица, другое - провинция. Москва - центр культуры. Мы можем слушать чудесные концерты, из Ленинской библиотеки выписать любую книгу. В Москве - галереи, академии, институты, музеи и прочее. Поэтому в культурном отношении нам все дано. На этом и пришлось оборвать Пашке свое словоизлияние. Он сидел теперь, курил и думал, что получилось впечатление, что только в Москве и можно жить, а Нью-Йорк - это провинция и там захиреешь. Поглядывая на Рейнгольда, Пашка решил: больше не выступать экспромтом, а то можно так "навалить", что и не расхлебаешь.

Пашка взглянул на пустые бутылки и что-то промычал неопределенное. Затем встал, протянул руку к Рейнгольду и прохрипел:

- Покажь паспорт!

- Ты чего, Паш? - удивился Шпагин.

- А ничего! - крикнул Пашка. - Никакой он не мириканец, порусски шарашит, как нечего делать!

Рейнгольд расхохотался, встал, пошел к своей брезентовой куртке и принес Пашке свой паспорт. То была синяя книжечка с золотым тиснением формата советского паспорта. Пашка шмыгнул носом, почесал бородку и открыл паспорт. На него глянул с цветной фотографии такой же лысый и веселый Рейнгольд - гражданин Соединенных Штатов Америки.

- Екалэмэнэ! - воскликнул Пашка. - Гадом буду, настоящий мириканец! - Он начал читать фамилию владельца паспорта, но язык у Пашки заплетался, и он прочитал по слогам: - Рей-ган...

Переварив в голове эту фамилию, Пашка вдруг заорал так, что Шпагин даже втянул голову в плечи.

Пашка крикнул:

- Во дает! Сын Рейгана! Чего же молчал-то, а?! - и полез целоваться к Рейнгольду.

А тот давился слезами от хохота и только кивал в знак согласия, что он сын Рейгана.

В Москве стояла золотая осень, и Шпагину казалось, что он теперь сидит в Нью-Йорке, в осеннем Нью-Йорке, стоит лишь выйти на улицу, как увидишь залив, статую Свободы и небоскребы. Он даже пропел куплет из известной песни Вилли Токарева, где были такие слова:

Небоскребы, небоскребы,
А я маленький такой...

- А помнишь, старик, капитана Кофмана? - вдруг спросил Рейнгольд, закуривая "Мальборо".

В памяти Шпагина возникла сутулая, совершенно не военная фигура капитана Кофмана, который был "покупателем", то есть приезжал в Москву за новобранцами, в числе которых были и Рейнгольд со Шпагиным, только что познакомившиеся в фойе клуба на Профсоюзной, куда призывников свезли со всей Москвы от своих военкоматов.

- Какой еще такой капитан? - спросил Пашка.

- Мы в армии вместе служили, - сказал Шпагин, намазывая на хлеб с маслом черную икру.

- Екалэмэне! - воскликнул Пашка и обратился к Рейнгольду, который положил ногу на ногу и развалился на диване: - Ты что, советским был?

Рейнгольд опять расхохотался, он хохотал и никак не мог понять: Пашка на самом деле такой тупой или прикидывается.

- Был! - сказал Рейнгольд. - И сплыл!

Пашка промолчал, засопел носом и полез руками в кастрюлю за индейкой. Вытащив приличный кусок, он сунул его Рейнгольду.

- Жуй! Поправляйся! - сказал Пашка. - Это тебе не Нью-Йорк, едрена вошь! Это тебе - Москва-матушка!

Рейнгольд нехотя принял кусок белого мяса и положил его на тарелку. Облизав пальцы, сказал:

- Эх, Пашка, тут у тебя лучше, чем в Нью-Йорке... Да что там говорить, - Рейнгольд взмахнул рукой, - тут у тебя самый настоящий Нью-Йорк!

Пашка просиял от такого неслыханного комплимента и опять полез обниматься к Рейнгольду, который стучал по его спине рукой и молчаливо, с совершенно серьезным лицом вопрошал Шпагина, мол, что дальше с этим художником делать?

Наобнимавшись, Пашка уныло обвел взглядом стол и грустно проговорил:

- Эх, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а выпить-то нечего, - затем, после небольшой паузы, добавил: - Неужели в Нью-Йорке выпить нечего, а?! Не может такого быть!

- Я же говорил, нужно было взять еще, - сказал Рейнгольд Шпагину и взглянул на часы. - У вас в Москве до каких торгуют?

- До семи, - сказал Шпагин.

- Уже опоздали, - вставил Пашка, глядя в свете свечей в циферблат своих часов.

Рейнгольд резко встал, прошел к двери, надел куртку и кепочку и сказал Шпагину:

- Пошли!

Пашка в предвкушении новой порции выпивки просиял.

После выпитого и Рейнгольд, и Шпагин были возбуждены. Рейнгольд в лифте сказал:

- У тебя девиц знакомых нет, выписал бы!

Шпагин моментально сообразил и нажал на клавишу "стоп", лифт остановился как раз на пятом этаже. Там на стене висел коммунальный телефон. Шпагин позвонил Маринке, она была дома и сразу же согласилась подъехать.

- С подругой! - крикнул Шпагин.

- Зачем? - спросила Маринка.

- Для американца! - крикнул Шпагин.

У подъезда поймали черную "Волгу". Сели на заднее сиденье.

- И все же, - сказал Шпагин, - чем ты занимаешься?

Рейнгольд улыбнулся.

- Делом, - сказал он.

Шпагин понял, что Рейнгольду не очень-то хочется рассказы-вать о своем житье-бытье в Нью-Йорке.

В машине наступило молчание. Шофер выскочил на Ленинский проспект и по команде “Стоп!” остановился у дома, в котором жили родители Рейнгольда. Машину не пустили. Когда поднимались в лифте, Рейнгольд сказал, что маму зовут Валентина Ивановна, а отца Семен Исаакович. Имя матери Шпагин забыл напрочь, а вот отчество отца - Исаакович - помнил. Однажды отец Рейнгольда приезжал в Остров, в часть, где они служили, на своей “Волге”, с оленем на капоте, друзей по этому случаю отпустили в увольнение, и он катал их до Новгорода и обратно.

Дверь открыла Валентина Ивановна и, увидев Шпагина, всплеснула руками.

- Как вы, Митя, постарели! И эти усы... У вас, по-моему, раньше не было усов?

Шпагин смущенно пожал плечами и сказал:

- Не было,

Он не помнил, сколько раз бывал в гостях у Рейнгольда после армии, не помнил лица матери, не помнил этой квартиры. А вот мать Рейнгольда его хорошо запомнила.

Прихожая была завалена дорогими кожаными чемоданами. В комнате, что располагалась напротив кухни, штабелями стояли магнитофоны “Сони”, ну, штук двадцать магнитофонов. На кровати лежал раскрытый чемодан, доверху заваленный женской косметикой и бижутерией. Возле чемодана висел стопка голубых джинсов в полиэтиленовых фирменных пакетах.

Рейнгольд вытащил из-под кровати огромную сумку с надписью: “Бойз” и протянул ее Шпагину со словами:

- Держи!

- Да брось ты, Аркашк! - выдавил тот.

А Рейнгольд тем временем стал бросать в сумку косметику, бижутерию, пару пакетов с джинсами, пачку женских колготок, несколько маек с броскими надписями по-английски на них, а сверху поставил два магнитофона “Сони”. - Это вам все с Пашкой, по одному комплекту.

Шпагин даже вспотел от таких подарков. В комнату заглянул Семен Исаакович, высокий, бодрый, подтянутый старик с орлиным носом и седым ободком волос вокруг лысины.

- Прошу за стол! - с чувством сказал он.

- Папа, да нам некогда, спешим, как лешие! - бросил Рейнгольд.

Семен Исаакович расставил руки в стороны и воскликнул:

- Не принимаю никаких оправданий! За стол - и никаких гвоздей!

Переглянувшись, друзья пошли в большую комнату. Справа стоял белый рояль, слева - стена книжных полок.

Стулья были в белых чехлах, на овальном большом столе - белоснежная, отливающая синевой крахмальная скатерть. На письменном столе у окна стояла целая радиосистема "Сони".

Появилась Валентина Ивановна с подносом в руках. На стол встала бутылка в виде глыбы льда - с водкой "Смирнофф" и хрустальные рюмочки. Затем Валентина Ивановна принесла балык, зеленые огурцы, горячую отварную картошку, посыпанную укропом, и шипящие котлеты "по-киевски".

Выпили, закусили.

Семен Исаакович нажал клавишу системы, женский, несколько вульгарный голос запел: "На Брайтоне мы встретимся с тобою..."

- Летом мы были в гостях у Аркадия, - сказал Семен Исаакович и налил еще по рюмке.

- Вот фотографии, - сказала Валентина Ивановна, протягивая Шпагину коробку.

На цветных снимках Шпагин увидел настоящий Нью-Йорк, улыбающиеся физиономии Аркадия, Семена Исааковича и Валентины Ивановны.

- А это на Аркашкином дне рождения у него дома, - указал Семен Исаакович пальцем на фотографию, на которой изображалась огромная зала, дорого обставленная, и сидели за длинным столом гости, а во главе стола, вдали от фотографа, сидел сам Аркадий с какой-то женщиной, должно быть, женой. На всякий случай Шпагин спросил:

- Это жена?

- Да, - сказал Рейнгольд. - Она сейчас в театре. Кроет, наверно, меня на чем свет стоит!

- Надо было тебе позвонить нам, - сказала Валентина Ивановна. - Вика несколько раз звонила, волновалась...

Рейнгольд махнул на это рукой.

- Мы у такого художника сидим!

Шпагин водил глазами по книгам: сплошные собрания сочинений, нет того разнообразия, какой существует у самого

Шпагина. Семен Исаакович перехватил взгляд Шпагина и сказал:

- Сейчас я вам такую книжечку покажу! - и полез на стул.

- Упадешь же, Сема! - воскликнула Валентина Ивановна, но Семен Исаакович уже протягивал Шпагину толстую книгу в добротном переплете.

На титульном листе стоял автограф: "Дорогому Семену, знатоку всех наук и искусств. - Н. Бухарин. 1926 г. Москва".

- Потрясающе! - сказал Шпагин, пролистывая книгу.

Рейнгольд вскочил и крикнул:

- Митька, нас же машина ждет!

Наскоро попрощавшись, прихватив пару бутылок "Смирнофа", ринулись на улицу. Шофер ждал, но когда сажались, что-то пробурчал, как старая бабка.

У метро "Динамо" тормознули, подхватили Маринку с подружкой, светленькой, сильно накрашенной Линой. Маринка была в черном длиннополом плаще с погончиками, а Лина - в плечистом серебристом.

Рейнгольд засиял. А затем всех, даже шофера, рассмешил словами:

- Все блондинки очаровательны (Маринка была черненькая и поэтому при этом насупилась, а Рейнгольд выкрутился), зато брюнетки таинственны!

По машине разлился аромат духов.

Долго колотили в дверь Мастерской. Наконец появился заспанный Пашка.

- Ух ты! - воскликнул он, когда Рейнгольд поставил на стол американскую водку. - Заснул в Москве, проснулся в Нью-Йорке.

У ошеломленных семнадцатилетних девиц глаза поблескивали от живописной роскоши мастерской, от свечей, от живого американца и оттого, что они впервые сюда попали. Маринка вела себя более надменно, потому что считала, что именно она привела сюда Лину. Между тем Лина, сидевшая уже на диване рядом с Рейнгольдом, забросила ногу на ногу и одернула юбку, обнажившую значительную часть красивых ног выше колена. И все мужчины машинально опустили глаза к краю ее юбки.

Маринка это быстро уловила, встала, подошла к какой-то картине, затем вернулась и поставила одну ногу на невысокий табу-

рет, на котором до этого сидел Пашка, отошедший к шкафчику за тарелками. Шпагин украдкой взглянул на нее: юбка, как и у Лины, задралась, а стройные ноги в прозрачных черных чулках выглядят еще привлекательнее, чем у Лины.

Молодец, Маринка, подумал Шпагин и от удовольствия погладил усы. Шпагин почувствовал, как в нем пробуждается желание, но заставил мысли следовать другим курсом.

Пашка поставил тарелки для девушек, посопел и обидчиво сказал:

- А мне подружку?

Маринка засмеялась, а Лина предложила позвонить какой-то Эрне. Шпагин проводил подруг к телефону, и пока Лина говорила с Эрной, показал Маринке, где находится ванная и туалет. Показывая ванную, он привлек Маринку к себе и жадно поцеловал, и Маринка ему отвечала полной покорностью и страстью.

Тем временем Лина объясняла Эрне, как найти Дом художников.

- А помнишь, как я провожал тебя в первый вечер? - сказал Шпагин Маринке. - Тогда шел дождь, было темно...

Огонек желания все разгорался в его душе. Лина, стройная, светленькая, красивая, и Маринка, с огромными карими глазами, длинноногая, казались ему ненастоящими. И когда они поднимались наверх, Шпагин шел с таким чувством, как будто видит хороший сон или действительно перенесся над океаном в Нью-Йорк.

Когда вошли в мастерскую, Лина остановилась перед одной из картин и воскликнула:

- Как здорово нарисована эта вспышка!

Пашка подошел к ней и глубокомысленно сказал:

- В рамках вечности мы тоже мимолетная вспышка.

Из-за стены послышался какой-то стук, должно быть, стучали молотком. Пашка приставил палец к губам и сказал:

- Сосед пришел. Тут перегородка тонкая, все слышно. Раньше была огромная мастерская, метров в сто, потом перегородили. Дрались за мастерские, - он помолчал, а потом тихо продолжил: - Такой на букву "м" там обитает, - Пашка кивнул на стенку, - сталинист. Тут столкнулся с ним в лифте. Везет грязный серый холст. Еле разглядел, а там - Крупская с Горьким.

Крупская сидит за столом, а Горький стоит и речь толкает. Жуть! Как будто ему красок не дают, такая серость, такая грязь!

Сказав это, Пашка пошел к двери, открыл ее, прислушался, затем вышел из мастерской, прикрыв за собой дверь.

- Ты любишь меня? - спросила Маринка у Шпагина шепотом.

- Разумеется, - шепнул он ей на ухо.

Вернулся Пашка и сказал, что сосед заскочил на минутку за посылочным ящиком. Действительно, через несколько минут его дверь хлопнула, а затем и дверь лифта на площадке.

- Наливай! - крикнул Пашка и топнул радостно ногой.

Маринка сказала:

- Мне у вас здесь очень нравится!

Она говорила весело. И Шпагин тоже улыбнулся; ему было приятно, что у него Маринка такая веселая и словоохотливая. Потом он отвел в сторону Пашку и, кивая на сумку, сказал:

- Тут тебе презент от американца...

- Какой?

- Солидный!

Пашка в нетерпении сказал:

- Пойдем в коридор, посмотрим! - И, схватив сумку, потащился на площадку к лифту.

Шпагин обернулся и увидел, что Рейнгольд в дали мастерской занимает каким-то разговором Маринку и Лину.

- Ух ты! - воскликнул Пашка, обнаружив "Сони", джинсы и майки. - Джинсы я своему старшему сыну отдам. Вот будет доволен-то! - Он стал хватать свою долю презента и, крадучись, таскать в мастерскую и складывать в шкаф, который стоял у двери за занавеской.

Все это Пашка проделывал необычайно расторопно и с завидной жадностью, несмотря на то, что был пьян. Глядя на него, Шпагин подумал о том, что если человек живет вещами, то он должен испытать разочарование, ибо все суета. Подлинная жизнь - в себе, но и она оборвется. Что же происходит с человеком? В чем смысл и разгадка? В предположении, что есть Высшая сила, ей-то и надо послужить. Все прочее - химера. Так как это предположение - наивысшее, что может дать нам разум, то предположение переходит в уверенность, что жизнь не шут-

ка и мы не напрасно живем. Как только мы встанем на эту точку зрения и утвердимся на ней, прогресс жизни обеспечен по формуле: “Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный”. Итак, совершенство во всем - вот задача жизни. Отсюда труд - не ремесло, а творчество во славу Божию. Известно, что взявшийся за это не посрамится. Мысли мыслями, однако сам Шпагин в жизни достаточно часто поступал иначе, как бы деля при этом свою жизнь на две части: идеальную и практическую.

Дома у него хранился документ, которому 107 лет: это запись о браке его деда. В нем говорится, что его дед - “бывший ученик Владимирского духовного училища”, а бабушка - дочь “бывшего дворового человека”... От деда сохранилась Библия в кожаном переплете и с медными застежками. Изредка на ночь он перелистывал ее...

- Кто он вообще такой? - спросил Пашка о Рейнгольде. - Ты знаешь?

- Занимается делом, вот и все, - сказал Шпагин.

- Но где он живет? Чем занимается?

- Ну вот, теперь и ты туда же, - протянул Шпагин с ленивой усмешкой. - Могу сказать одно: он мне как-то говорил, что занимается делом... А что это значит, я и сам пока не знаю. Но можно предположить, что дело у него солидное. Аркашка кончил университет, филологический факультет. А я на экономическом учился. Мы сразу же после армии поступили. Потом наши пути несколько разошлись: я устроился в НИИ, а он стал работать в какой-то библиотеке. Да, между прочим, он был свидетелем на моей свадьбе. Помню, примчался с огромным букетом бордовых пионов. К концу семидесятых мы виделись все реже и реже. Как-то он мне позвонил и сказал, что женится. Но у меня уже был другой круг знакомых и я почему-то не попал к нему на свадьбу, хотя моя жена настаивала, чтобы мы поехали. А потом и вовсе след его простыл. Пару раз жена вспоминала о нем и высказывала предположение, что он уехал. И вот приехал и сразу же позвонил мне. Значит, у него сохранилась определенная тяга ко мне.

- Армия сближает, - с уверенностью протянул Пашка, хотя сам в армии не служил.

Они вернулись к столу.

- Митюха, а помнишь, как мы с тобой выписали журнал "Театр"? - воскликнул Рейнгольд, наливая девицам водки "Смирнофф".

- Было дело! - откликнулся Шпагин.

- Капитан Кофман обалдел, - продолжил Рейнгольд. - В казарме двухъярусные койки, двести пятьдесят рыл, а тут какие-то вшивые москвичи журнал "Театр" выписали!

- Это почему же "вшивые"?! - с напускной грозностью спросил Пашка и залпом выпил.

Маринка улыбнулась Шпагину. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободряющей силы, встретить удастся нечасто. Кажется эта улыбка обращенной ко всему миру, но так как мир - слишком абстрактная категория, то эта улыбка всецело выпала на долю Шпагина.

Лина встала с дивана и сказала Маринке, что пора встречать Эрну. Они поспешили вниз.

Только они вышли, как Рейнгольд попросил включить верхний свет. После полумрака яркое электрическое освещение больно ударило по глазам.

- Это продается? - ткнул пальцем в одну картину Рейнгольд.

Пашка, подумав, сказал:

- Нет.

- Хорошо. А это?!

- Нет.

- Ну, а вторая от угла продается?!

- Сверху или снизу? - поинтересовался Пашка, нехотя вода мутноватым взором по картинам.

Рейнгольд раздраженно бросил:

- Сверху!

- Не продает-си, - с некоторой издевкой в голосе сказал Пашка, приставив это идиотское окончание "си".

- А эта? - указал на первую попавшуюся картину Рейнгольд.

- И эта не продает-си!

Рейнгольд с еще большим раздражением сказал:

- Так что же у тебя продается-то?! - и с пародией на Пашкину издевку добавил: - Что продает-си! - он сделал очень сильное ударение на "си".

В свою очередь и Пашка приударил:

- А ничего не продает-си! Не продает-си, и все!

Рейнгольд с хмурой физиономией обернулся на Шпагина. Шпагин беззвучно хохотал. А Пашка лениво прохаживался по мастерской, чесал бородку и что-то бормотал себе под нос.

- Гони назад тогда "Сонку" и шмотье! - крикнул Рейнгольд.

Пашка моментально бросился к шкафу и принялся выставлять прямо на пол подарки, приговаривая:

- Да бери все к едреной матери! Ничего мне не нужно! Он, понимаешь, картины покупать пришел! Да у меня тут через день капиталисты бывают, выпрашивают, а я им - во! - Пашка сложил из пальцев знаменитую фигуру под названием - "фига". - Понял? Из Нью-Йорка он приехал! Да хоть с Марса! Ты возьми кисточку и покалякай, а я на тебя посмотрю! Много вас таких! Ага, знаем. Ты заберешь картину, а я без всего останусь...

- Я же заплачу! - крикнул Рейнгольд.

- Заплатишь... А я без картины и без денег останусь!

- Но деньги-то ты получишь! - кричал Рейнгольд, размахивая руками и входя в нешуточный раж.

- Получу. И завтра их не будет. Денег не будет и картины не будет! - орал Пашка и тоже размахивал руками.

- Маразм какой-то! - в отчаянии опустил руки Рейнгольд, подбежал к столу, налил рюмку и поспешно опрокинул ее в рот.

- Мне налей! - крикнул Пашка.

- Сам наливай! - обидчиво буркнул Рейнгольд и подошел к Шпагину. - Он что, вообще что ли? - спросил он. - Недоделанный, что ли?

Пока Пашка наливал себе, стоя спиной, Шпагин прошептал:

- Это он так своеобразно торгуется. Ты деньги выкладывай, и он отдаст, что тебе нужно.

- У меня денег с собой нет, - прошептал Рейнгольд.

- Ну, тогда дело плохо, - сказал Шпагин. - Тогда он - непоколебим. Ему нужно только купюры показать...

- Я тогда слетаю на такси за деньгами...

- А у тебя с собой ничего нет?

- Есть пару тысяч, - вздохнул Рейнгольд, - долларов... Но это же для него будет мало, - неуверенно закончил он.

- Показывай ему! - приказным тоном сказал Шпагин.

Пашка в это время не спеша вытягивал свою рюмку. Рейнгольд вытащил из тугого бумажника пачку долларов и, как старый картежник, бросил их на стол перед Пашкой.

- Что это? - спросил Пашка, пальцем пошевелив стопку.

- Деньги! - крикнул Рейнгольд. - Давай картины! - Он бросил взгляд на стену и указал: - Вон ту и вот эту!

- Какие деньги? - не обращая на жесты Рейнгольда внимания, проговорил Пашка задумчиво.

- Американские! - с отчаянием буквально простонал Рейнгольд.

Пашка почесал бородку.

- Не-э, - протянул он. - Мне мириканские не нужны. Мне в тюрьму садиться не хочется...

Рейнгольд заметался по мастерской. Шпагин тихо хохотал.

- Не-э, мне мириканские не нужны, - с открытым издевательством в голосе говорил Пашка, коверкая слово "американские" то так, то сяк.

- А какие же тебе подавать? Японские? - вопил Рейнгольд. По его лысине текли струйки пота.

- Не-э, мне мириканские не нужны, - долдонил свое Пашка.

Вернулись Маринка с Линой, но без Эрны. Торговля мигом прекратилась, и Рейнгольд мгновенно спрятал доллары. Маринка сказала, что Эрна не приехала, ждали-ждали, а она не приехала. Звонили ей, она сказала, что родители непустили.

- И мне нужно домой, - сказала Лина.

- Ну началось! - вздохнул Шпагин. - Детский сад.

- Посидите немного, - сказал Рейнгольд.

- Я не могу, - сказала Лина, - скандал будет дома!

Все уговоры были бесполезны. В конце этих уговоров Шпагин даже облегченно вздохнул, потому что ему вдруг очень захотелось домой. Рейнгольд пошел провожать Лину, а Маринка чуть-чуть задержалась. Она сказала Шпагину доверительно:

- Линке нужны деньги.

- У меня сейчас нет, - огорчил ее Шпагин. - А сколько?

- Сто рублей, - сказала Маринка. - На аборт. Гуляла-гуляла с одним, а он ее бросил. А она боится родителям сказать. Только школу кончила, а уже на втором месяце.

Шпагин погрустнел, затем достал из сумки, подаренной Рейнгольдом пару колготок и пластмассовую коробочку с набором косметики, гонконгского производства, и протянул Маринке.

- Это тебе, - сказал он.

Маринка, как совершенный ребенок, вцепилась в подарки. Да и была она ребенком: в сентябре ей исполнилось семнадцать.

Вернулся Рейнгольд в расстроенных чувствах, сел к столу, налил рюмку. Тут же к нему подсел Пашка и налил себе. Они чокнулись и выпили. Шпагин пошел провожать до метро Маринку. Когда он пришел обратно, Рейнгольд и Пашка мирно беседовали о городе Нью-Йорке. Рейнгольд говорил, что он живет на окраине...

- Я поселился с женой и ребенком в Вуд-Хавене. Мой дом, - а я снимаю за пятьсот долларов в месяц первый этаж двухэтажного дома, - стоит у самой оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега. Тихий райончик, зеленые газоны, виллы... Прелесть!

- А от Бродвея далеко? - спросил Пашка.

- Прилично, - сказал Рейнгольд. - Несколько длинных мостов нужно проехать...

- А машина есть у тебя? - поинтересовался Пашка.

- Три.

- Ого!

Вмешался Шпагин:

- Аркаш, давай я сразу твой адрес запишу...

Рейнгольд взял клочок бумаги и ручку, и сам написал по-английски.

- Телефон на конверте писать не надо! - с улыбкой сказал он. - Этот телефон через Лондон.

- Понятно, - сказал Шпагин, глядя на адрес. - А что такое "88"?

- Улица, - сказал Рейнгольд.

- Ну что? по домам? - спросил Шпагин.

- Это к лучшему! - воскликнул Пашка. - Баба орать не будет. Вы идите, а я тут еще приберусь.

- Так как же насчет картин? - спросил Рейнгольд.

Пашка, как бы не слыша вопроса, вытащил из шкафа свою хозяйственную сумку и стал укладывать в нее "Сони", джинсы и прочее. Затем неопределенно сказал:

- Созвонимся утром. Созвонимся... Да. Утро вечера мудренее!

Было начало первого ночи. Шпагин с подарками ехал к себе домой с Рейнгольдом. Шпагин уговорил Рейнгольда заскочить к нему на минутку, чтобы жена не ругалась.

- У тебя мелких денег нет? - спросил Рейнгольд, когда подъезжали к дому Шпагину. - Пятерок, десяток?

- Рубль был, - вздохнул Шпагин. - И тот - потратил...

Хорошо, что у шофера такси нашлась сдача с пятидесятирублевой бумажки.

Жена не спала, и когда Шпагин стал выкладывать подарки, она обняла в каком-то экстазе веселья (не забыли ее! не забыли! - так и читалось по ее глазам) Рейнгольда, и затараторила что-то о его щедрости.

- Еще увидимся, - сказал Рейнгольд, уходя. - Закрутился, столько дел, столько дел!

- Обязательно увидимся! - воскликнула жена, закрывая за ним дверь.

Утром, не обращая внимания на побаливавшую голову, Шпагин помчался на работу. Как только он сел за свой стол, раздался телефонный звонок. Звонил Пиотровский. Затем позвонил Ефимов и сообщил, что устав готов... Досидев до обеда, Шпагин сказал своим женщинам, что его вызывают опять в Госснаб, помчался к Пашке, куда должен был уже подъехать Рейнгольд. И действительно, Аркадий находился в мастерской, а на столе стояла новая бутылка.

- Ждем, ждем! - потирая руки, сказал Пашка. - Давайте скорее, а то голова трещит. Наливай!

Когда выпили, то лицо Пашки засияло радостью. Чтобы не упустить момента, Рейнгольд бросил на стол двадцать сотенных купюр.

- Во! Эти деньги я уважаю, - сказал Пашка и дрогнувшей рукой придвинул их к себе. - Забирай! - кивнул он головой в сторону стены, с которой Рейнгольд хотел забрать пару работ.

- Высоко, я не достану, - сказал Рейнгольд.

Пашка сунул деньги в карман, притащил стремянку и полез снимать приглянувшиеся Рейнгольду холсты. В это время Шпагин шепнул Рейнгольду:

- Сразу нужно сматываться, а то передумает!

- Понял! - шепнул Рейнгольд.

Через десять минут бутылка опустела, и Пашка начал подзрительно вздыхать и коситься на стоящие у шкафа картины, уже принадлежащие Рейнгольду.

- Мы сейчас еще прекрасной выпивки достанем, - сказал Рейнгольд, прихватил холсты и пошел к лифту.

Шпагин последовал за ним, а Пашка стоял в дверях и с грустью почесывал свою козлиную бородку.

Когда подошел лифт, Пашка крикнул:

- Эх! Задарма отдал!

Вновь наняли такси и полетели к Рейнгольду домой. Семен Исаакович, увидев картины, сказал:

- А я такую живопись не люблю.

- Что ты понимаешь, пап! - сказал Рейнгольд и добавил: - Наливай!

Валентина Ивановна, прижав ладони к щекам, вымолвила:

- Что это значит, Аркадий? Что это еще за "наливай"?

Рейнгольд подмигнул Шпагину и расхохотался.

- Это пароль у нас теперь такой, - сказал он.

Прошли в большую комнату и сели за белоснежный стол.

Семен Исаакович глубоко вздохнул и проговорил тихо, глядя мимо сидящих в окно:

- Быстро проскочила жизнь, черт возьми... Мне девяносто два года, а кажется, что только вчера родился... В моей судьбе, однако, много интересного. Например, так случилось, что в начале тридцатых я заведовал автохозяйством в Магадане, при местном управлении лагерей. Ходил в кожаном пальто и курил трубку...

Рейнгольд не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал.

- Как вы туда попали? - спросил Шпагин, подцепляя ножом кусочек селедочного масла.

Семен Исаакович ничего не ответил. Он помял руками лицо, налил в маленькие рюмки водки, крякнул и улыбнулся. Его бледное лицо с орлиным носом от этой улыбки еще более понравилось.

- Итак! - произнес он с чувством и поднял рюмку.

Потом Рейнгольд пошел переодеваться, а мать в соседней комнате принялась гладить ему рубашку.

Оставшись наедине со Шпагиным, Семен Исаакович с грустью в голосе сказал:

- Обидно!

Шпагин настороженно взглянул на него и увидел в его глазах слезы. Шпагин перестал жевать и, глубоко вздохнув, притих.

- Кому все это достанется? - сказал Семен Исаакович и обвел рукой комнату. - Я же всю жизнь работал, кое-что скопил... Возвращаться нужно Аркадию! Ну, что он там нашел хорошего...

Шпагин вздрогнул и потупил взор, как будто это говорилось не о Рейнгольде, а о нем и как будто это он только что приехал из Нью-Йорка. Между тем Семен Исаакович продолжал:

- Не знаю, как он будет там жить дальше... Работает простым шофером такси, с утра до ночи...

Шпагин был убит окончательно. Он-то рассчитывал на Рейнгольда и связывал с ним большие надежды по открытию филиала совместного предприятия в Нью-Йорке. Шпагину было неловко и грустно, и казалось ему, что его обманули. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и против воли сказал:

- Разве важно, где и кем работать? Важно, чтобы эта работа нравилась и приносила доход...

Семен Исаакович вскинул на него седые брови.

- Это после университета! Вот вы... Мне Аркадий говорил... Вы - кандидат наук! А он? Кто он?! Таксист! Стоило ли ехать на край света, чтобы крутить баранку! - Семен Исаакович помолчал и, что-то вспомнив, улыбнулся и продолжил: - Правда, Аркадий великолепно водит машину. Ну, конечно, там дороги! Ни одного светофора, летишь, как птица! Аркадий возил нас в Вашингтон! Да, машину он водит великолепно... Я, было, хотел купить там себе машину, стоит-то она там гроши, но перевозка - ого-го! Шестнадцать тысяч долларов за тонну! - Семен Исаакович повеселел. - У Аркадия три машины! Но права на извоз он еще не имеет. Работает у владельца.

- Что за владелец? - спросил Шпагин.

- Ну есть там человек, который имеет лицензию на право извоза. Стоит лицензия сто тысяч долларов. С уплатой этой суммы выдается такая тяжелая, чуть ли не платиновая болвашка, на которой выписано твое право на извоз и которая крепится на борт машины. Так вот, Аркадий берет это такси у владельца на шесть дней в неделю и за каждый день отдает, помимо налогов, сто долларов этому владельцу, у самого же Аркадия остается каждый день от двухсот до пятисот долларов. Обедает все время в

ресторане. Когда мы у него гостили, он нас тоже все время кормил в ресторане. Говорит, что есть дома дороже. Я не знаю, но думаю, что Аркадию не повезло с женой. Он и здесь с Викой ходит врозь. Она сейчас где-то с подругами, а он вот с вами. Плохо они живут, - вздохнул и вновь погрузился Семен Исаакович. - Аркадий взял ее с ребенком. Ну, уехали они отсюда. И видно, в семейной жизни Аркадий несчастлив. Она не может родить ему ребенка, что-то у нее по женской части ненормально, а он - бесится, но виду не подает, и развестись не может... Совесть не позволяет. Все-таки отсюда вместе уехали, - Семен Исаакович склонился к самому уху Шагина и прошептал: - По правде сказать, она и готовить-то не умеет. Когда мы были там, я видел, что она чайник ставит на плиту носиком к себе. Ну, что это за хозяйка, которая чайник ставит носиком к себе! Паром же обожжет! Даже яичницы сделать не может. Вот и приходится Аркадию по ресторанам есть. Эх-эх! Поговорили бы вы с ним, Дмитрий! - вдруг воскликнул Семен Исаакович. - Пусть он возвращается... Он же великолепный филолог, знает три языка, когда работал в библиотеке, выпустил какой-то словарь, и все псу под хвост! Деньги он там зарабатывает. Да у меня здесь накоплено столько, что ему по гроб жизни хватит!

В этот момент в комнату вошел Рейнгольд, и Семен Исаакович сразу же замолчал. Шагин был бледен и смотрел в пол.

- Наливай! - воскликнул Рейнгольд.

- Обязательно! - насильно улыбаясь, сказал Семен Исаакович.

Рейнгольд сел к столу. Лицо его сияло белозубой улыбкой, и казалось, что этот человек живет счастливой жизнью, всем доволен и всему рад.

- А ты знаешь, Митюха, - воскликнул Рейнгольд, - что у меня в Нью-Йорке живет настоящий русский кот Васька. Такой мордорот, лупит всех американских котов! Лобяра у него с кулак, - для пущей убедительности Рейнгольд поднял руку и сжал ее в кулак. - Шерсть грязная - мой не мой, белая с черными пятнами. Порода - московский помоечный! Специально дал заказ, чтобы мне его изловили в Москве и доставили в Нью-Йорк! Бандит. Бьется не на жизнь, а насмерть! Один раз приполз весь в крови и без зуба. Я чуть не заплакал, схватил его на руки, как ребенка, в машину и к лучшему ветеринару. Сделали укол, затем проопе-

рировали и поставили искусственный клык за двести долларов! И Васька мой вновь ожил, через неделю уже бил всю американскую шуштуру...

Шпагин сидел теперь как в тумане, точно это не он был, а его двойник. Он не мог понять, почему Рейнгольд работает в такси, почему он не добивается работы по профессии. Деньги? Непонятно. И Шпагин стал вспоминать армию. Вспомнилась огромная, как конюшня, столовая с новыми скоблеными столами и лавками, с алюминиевыми мисками и ложками, с котлами-кастрюлями, которые разводящие ставили на стол и из которых половником разливали баланду. Однажды Шпагин первым выхватил половник из котла, но Рейнгольд вырвал его из рук Шпагина и ударил - то ли в шутку, то ли серьезно - Шпагина в лоб... В казарме стояли двухэтажные койки. И Шпагин, и Рейнгольд спали на нижнем ярусе, их кровати стояли рядом, и им казалось, что они спят в шалаше. На их общей тумбочке лежали журналы "Театр"... Тогда они все свободное время проводили в библиотеке: Шпагин читал Драйзера, а Рейнгольд - Голсуорси. Рейнгольд неплохо играл в ручной мяч, а Шпагин - в футбол. Они ездили на соревнования округа.

Все это удалилось в памяти и казалось нереальным. Вспоминалась из красного кирпича двухэтажная казарма. Вспоминались отдельные лица. Сержант Бодунов, с водянистыми глазами, плохо владевший родным русским языком. Подполковник Нестеренко, в огромной спецаказовской фуражке, отправивший однажды полвзвода на "губу" за распитие тройного одеколona. Вспоминался капитан Кофман, эта белая ворона армии, рафинированный интеллигент, читавший Шеллинга и Фихте, отпускавший и Шпагина, и Рейнгольда по первому требованию в увольнение. Однажды Шпагин с Рейнгольдом попали в караул, охраняли склады, была осень и было холодно, грелись в стогу сена у склада, потом нашли дырку в заборе и зашли в ближайшую избу за самогоном... Потом повесился в сортире ни с того ни с сего солдатик из Липецка, спавший на втором ярусе над Шпагиным. Потом ночью убежал с автоматом и с боекомплектом дневальный из Риги Сучков, - его ловили несколько месяцев, но так и не поймали. Потом Рахматуллаев застрелил из карабина разводящего лейтенанта Жабко; Рахматуллаев нес службу, охранял мехбазу, а пьяный Жабко шел за

спиртом; Рахматуллаеву ничего не было, его перевели в другую часть... А Рейнгольд и Шпагин читали журнал "Театр", классиков мировой литературы, вели философские беседы, и все их считали "интеллигентиками"...

Захмелевший Семен Исаакович вновь принялся показывать Шпагину фотографии. Он словно забыл об упреках в адрес сына, и, показывая очередную фотографию: дом в котором жил Рейнгольд, дом по понятиям Шпагина больше смахивающий на виллу, - он все больше гордился сыновним богатством.

- Вот посмотрите, Дмитрий!

Старик возбужденно тыкал в нее пальцем, указывая то на одну, то на другую подробность. "Вот, посмотрите!" И каждый раз оглядывался на Шпагина, ожидая восхищения.

Среди невеселых мыслей о судьбе своего друга Рейнгольда Шпагин подумал о том, что он все-таки совершил смелый поступок, проверив на практике, что земля не плоская и ограниченная забором с колючей проволокой, а круглая, и Шпагин различил дом Рейнгольда среди зеленых газонов, увидел сразу все три великолепных автомобиля Рейнгольда, увидел его за рулем такси, увидел голосующего богатого негра на Бродвее, останавливающего машину Рейнгольда, и Шпагин понял, что Америка - рядом, что она живет, существует в эту минуту, стоит лишь протянуть руку - и он дотронется до нее.

Уже смеркалось, когда они вышли на улицу и поймали машину, чтобы ехать к Пашке. По пути заскочили в "Украину". Швейцар, старый пузан с оплывшим красным лицом, преградил им дорогу с возгласом:

- Нельзя!

Рейнгольд небрежно извлек из кармана паспорт гражданина США, и швейцар мигом переменялся: побледнел, вытянулся по струнке, приложил руку к фуражке и проговорил:

- Прошу вас!

- Так-то! - бросил Рейнгольд и быстрым шагом устремился к лестнице.

Шпагин не отставал. Они прошли в валютный магазин. Полки ломились от товаров. На стеллаже выстроились, как на параде, бутылки с винами, коньяками, водкой множества сортов.

- Возьмем утюг! - сказал Рейнгольд, указывая на литровую оригинальную бутылку с ручкой. - Очень хорошая водка!

К водке взяли хорошей закуски и огромную упаковку датского баночного пива. Рейнгольд стоял перед кассиршей и с довольным видом отсчитывал доллары, а та смотрела на него с таким видом, как будто перед нею был властелин вселенной. С бодренькой улыбкой кассирша упаковала покупки в огромные полиэтиленовые пакеты “Интуриста” и поблагодарила за визит.

Когда спускались по лестнице, Шпагин спросил:

- Может быть, пригласим твою жену?

Рейнгольд хмыкнул как-то неопределенно и махнул рукой.

Прежде чем садиться в машину, немного постояли у гостиницы, покурили. Над высотным зданием в синем осеннем небе горели яркие звезды. Шпагин грустно вздохнул, затем вдруг улыбнулся, положил руку на плечо Рейнгольду и пропел:

Небоскребы, небоскребы,

А я маленький такой...

В книге “Философия печали”, Москва, Издательское предприятие “Новелла”, 1990, тираж 100 тыс. экз.

Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство “Книжный сад”, Москва, 2006, тираж 2000 экз. Том 2, стр. 3.

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

Неважно, с чего было начать разговор, важно было смело войти, чтобы он увидел ее, важно было просто-напросто показаться. Неужели она ему не понравится?! Быть такого не может. Она красива. Она это хорошо знает. Она всем мальчикам в классе нравилась. Ну и что? Опять она стала нервничать. А когда лежала в кровати до десяти, не спала, а просто лежала, нежилась, то все казалось так просто: доехать, подняться на третий этаж, пройти длинным коридором, устланным ковровой дорожкой, войти в приемную, а там уж и в кабинет.

И вот она, приемная.

Секретарша сидит, как сова, в своих огромных очках, шелестит какими-то бумагами и не замечает ее. Даже не удосужится посмотреть в ее сторону. В солнечном свете поблескивают кольца на ее пальцах. Юле хочется крикнуть на секретаршу, и она уже про себя кричит на нее, но внешне сохраняет спокойствие, даже некоторую надменность. Неужели секретарша не хочет понять, какая Юля красивая и какая единственная? Секретарша должна это понять, поэтому Юля нежным тихим голосом говорит:

- Какое у вас великолепное платье!

Секретарша вскидывает голову, как бы пробуждаясь ото сна, видит Юлию, вздыхает и быстро проговаривает:

- Да что вы, обыкновенное платье...

- Я к Вадиму Станиславовичу, - быстро, как и секретарша, говорит Юля, пока на нее смотрят.

- Он мне ничего не говорил, - сказала секретарша, вновь погружаясь в бумаги.

- Мой папа Вадиму Станиславовичу звонил, - сказала Юля, улыбаясь. - Он в курсе и ждет меня.

- Ну раз так, то идите, - сказала секретарша и вдруг весело рассмеялась, оглядывая свое платье. Затем она встала и вышла из-за стола. Все еще продолжая оглядывать себя, она сказала: - А вы правы, действительно миленькое платьице! - и провела ладонями по бедрам.

Юля с некоторой завистью взглянула на нее, потому что секретарша была выше ее на целую голову. Зато у Юли талия вдвое

тоньше! И если Юля наденет туфли на высоком каблуке, то еще посмотрим, кто будет эффектнее смотреться.

Вадим Станиславович что-то писал за своим столом. Он был лысоват и с бородой, и Юля вначале даже с сожалением поморщилась, поскольку видела его впервые. Но глаза Вадима Станиславовича Юле сразу понравились - они были голубые, как небо. Взгляд этих глаз скользнул по открытым коленям Юли. Она была в короткой юбке. И голубые глаза Вадима Станиславовича стали сразу же приветливыми. Он предложил ей сесть перед столом в кресло, но Юля села на стул сбоку, чтобы Вадим Станиславович имел возможность видеть ее колени постоянно, пока она находится в этом кабинете.

Вадим Станиславович принялся рассказывать о факультете, а Юля время от времени ловила его стреляющий по коленям взгляд. А кто-то еще говорит, что у нее ножки плохие! Увидели бы, как он смотрит на них! Прелесть, а не взгляд у старичка. Впрочем, какой он старичок, лет, наверно, сорок пять, не больше.

- Итак, значит, к нам хотите поступать? - спросил Вадим Станиславович, в очередной раз бросая взгляд на обнаженные колени Юли.

- Хочу, - с придыханием вымолвила Юля и улыбнулась.

- По-вашему, это будет правильно? - спросил Вадим Станиславович и машинально потянулся к ее коленям и чуть не дотронулся до них пальцами, но тут же отдернул руку.

Как это замечательно. Он сразу же хотел дотронуться до ее коленей. Но можно же было дотронуться, подумала Юля. Что же он смущается. Пусть потрогает ее колени. Это же так приятно. Для него. А для нее? Щекотно, не более. Интересно, о чем он еще ее спросит? Сейчас, наверняка, подумала Юля и улыбнулась, он спросит - свободна ли она сегодня вечером. Да, прямо так - вечером, не завтра, не послезавтра, а вечером, сразу спросит, чтобы не потерять связующую нить.

- А что вы сегодня вечером делаете? - спросил он, и Юля рассмеялась.

Вадим же Станиславович удивленно вскинул брови.

- Ничего, - вздохнула Юля и широко улыбнулась, чтобы он увидел ее великолепные белые зубы.

И он их увидел, и даже побледнел немного, но чтобы согнать эту бледность, тоже улыбнулся.

- Так что же вы делаете вечером, Юля? - повторил он свой вопрос, вновь опуская свои небесные глаза к ее загорелым коленям.

- Ничего, - прошептала она и приблизилась к столу. - Ничего. Вы знаете, что такое ничего? Нет, вы не знаете, что такое ничего, - зашептала она. - В Париже есть сейчас такие духи "Ничего". Я хочу такие духи! Вы слетаете в Париж и привезете мне духи "Ничего". Там мода сейчас на все русское. Это вы знаете. "Ничего", в смысле хорошо, даже - отлично, а не то, что вы подумали, то есть ничего - как пустое изречение...

Вадим Станиславович с восхищением смотрел на Юлю, и она это отмечала про себя, он видел ее волосы, светлые, почти что пшеничные, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшиеся пышным естественным каскадом; изредка выбивавшаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда Юлия встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место.

- Значит, ничего? - спросил он шепотом.

- Ничего, - шепнула она.

И они дружно расхохотались.

Вдруг Юля очутилась так близко, что ее полудетские черты с тонкими царственными бровями расплылись перед его глазами, и он чуть не поцеловал ее, даже губы вытянул, но она тут же отпрянула. Ему бы надо было на это посмеяться, но вместо того он спросил:

- И что вам дался наш факультет? Автоматизация... Зачем вам, такой красивой, автоматизация? - и добавил: - Такая прелестная девочка...

- Ух ты! - воскликнула Юля.

- И все же? - самым серьезным тоном настаивал он на ответе.

- Какая разница, где учиться, - равнодушно проговорила она.

- Да, в вашем возрасте трудно определиться. Выберите сейчас одно, а через пять лет потянет к другому...

Он встал.

Она снизу вверх посмотрела на него, и он смущенно отвернулся.

Юля захихикала и невинно выпалила:

- А я проголодалась!

- Замечательно, - сказал Вадим Станиславович. - Я тоже... У меня тут... на факультете учится один из Баку... Но он живет в Москве... председатель кооператива... кафе "Агдам", у метро "Авиамоторная"... Может быть, махнем?

Юля пожала плечами, минуту подумала и, улыбнувшись, сказала:

- Махнем!

Вадим Станиславович просиял.

В такси она придвинулась к нему совсем близко и чмокнула его в колючую бороду поцелуем, лишенным всякого вкуса, так что Вадим Станиславович даже оторопел. Если и была в ней страсть, то он мог только догадываться об этом, ибо в этот момент ни глаза ее, ни губы ничего не говорили о страсти.

Такси переехало мост через Яузу и устремилось к Таганке.

Облако, висевшее над рекой, пронизывалось заходящим солнцем. Юля еще тесней придвинулась к Вадиму Станиславовичу, и он, сильно волнуясь, положил чуть дрогнувшую руку ей на колено. Это длилось не больше минуты, затем Юля как-то мягко взяла его руку и сняла со своего колена.

В тесноватом вестибюльчике "Агдама" путь им преградил небритый черноволосый мужчина в тренировочном костюме.

- Э-э, дорогой, куда ходишь? - заговорил он с сильным восточным акцентом. - Место не хватай, а он ходишь! Иди другой кафе, у нас праздник сегодня, земляки придут сегодня, понимай же надо!

Вадим Станиславович несколько растерялся от этого напора.

- Я к Алику, - сказал он, смущенно поглядывая на Юлю, которая как ни в чем не бывало смотрелась в зеркало и подкрашивала губы.

- Ха! Так бы говорил сразу, - сказал человек и крикнул в зал: - Алик, к тебе!

Из глубины зала показался такой же черноволосый мужчина в тренировочном костюме с двумя белыми полосками по бокам. Он вскинул приветливо руки и воскликнул:

- Дорогой! Проходи! - и по-своему закричал в глубину кафе.

Юля увидела несколько восточных людей в шапках, сидевших у стойки бара. Алик, размахивая руками, поблескивая золотыми зубами, давал им какие-то указания. Затем он предложил Вадиму Станиславовичу и Юле место в углу за большим полированным столом. Тут же подскочил смуглолицый официант с подносом, на котором в огромном блюде шипели куски мяса, только что снятого с огня.

- Какая экзотика! - выдохнула Юля. - Как на азиатском базаре! И почему они сидят в шапках?

- Такой у них обычай, - сказал Вадим Станиславович, поглаживая бороду.

Подскочил Алик с двумя четвертинками водки.

- Я хочу шампанского! - сказала Юля, улыбаясь Алику.

Алик смущенно развел руки в стороны и сказал:

- Нет шампанского. Берем и так водку у таксистов. У нас не пьют. Пьют только друзья! - сказав это, Алик дернул висящую за спиной Вадима Станиславовича занавеску и она, легко прошуршав, отгородила их от остального зала.

- Какая прелесть! - воскликнула Юля, белозубо улыбаясь.

- Отдыхайте! - сказал Алик и исчез.

Тут же появился официант (кстати, он тоже был в тренировочном костюме) и поставил на стол блюдо с зеленью, а также тарелочку с лимоном, хлеб и несколько бутылочек с "фантой".

- А мне в "фанту" несколько капель, - сказала Юля, когда Вадим Станиславович хотел налить в ее рюмку водки.

Спустя минут десять Вадим Станиславович принялся рассказывать по просьбе Юлии о факультете. Говорил он не спеша, мягко, со знанием дела, шурил глаза и улыбался. Он говорил так, как говорят с детьми, упрощая многое и о многом умалчивая, полагая, что Юле это будет непонятно. А ей все было непонятно, она и не вслушивалась в смысл говоримого, она слышала только его голос, низкий и приятный.

- Я вам нравлюсь? - вдруг прервала она его.

- Конечно, - сказал Вадим Станиславович и покраснел.

Юля вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывало у мальчиков из ее класса, когда кто-нибудь из них говорил с ней, и какие при этом они делали усилия над собой, чтобы их голос звучал равнодушно.

Юле было шестнадцать лет, и она только что окончила школу. Она знала, что ее любят одноклассники Соловьев, Панкратов и Аншин, но теперь, после этой встречи с Вадимом Станиславовичем, ей хотелось сомневаться в их любви. Что от них можно было ждать? Те же проблемы, что и у нее. Соловьев собирался поступать на филфак, Панкратов во ВГИК, а Виталик Аншин почему-то в МАДИ. Наверно, потому, что у него отец шофер. Все они хорошие мальчики, думала Юля, но такие желтые, такие инфантильные. Только Соловьев однажды осмелился и поцеловал ее в щеку.

И почему в период, когда хочется любить и быть любимой, нужно заниматься с преподавателями, готовиться к экзаменам, поступать в институт... Зачем все это? Хочется жить легко, красиво, хочется безумной любви, поездок на море...

- А вы бы поехали со мной на море? - спросила она.

- На море? - удивленно переспросил он.

- Да.

Вадим Станиславович задумался. Как с ней поехать на море? Как с этой красавицей, сочной, юной, поехать на море, когда уже жена взяла билеты в Кондопогу, где жили ее родители, когда дети уже отправлены туда?

И против воли он ляпнул:

- Жена взяла билеты в Кондопогу.

Юлия посмотрела на него с удивлением и усмехнулась.

- Разве я спрашивала о вашей жене?

- Нет, нет, но...

- Я спрашивала вас, - сказала Юлия с некоторым огорчением.

Она подозревала, что Вадим Станиславович женат, но не хотела об этом думать. Пусть себе женат, но пусть бы это было его тайной. Неужели он не понимает, что говорить с такой девушкой, как она, о своей жене неприлично. Зачем говорить об этом, она же не говорит о своих мальчиках из класса, хотя Вадим Станиславович должен догадываться, что за ней наверняка ухаживают.

Просто не могут не влюбляться в нее, в такую красивую, в такую маленькую, в такую миленькую.

Он грустно и в то же время любовно улыбнулся и протянул руку к ее руке. Юлия сидела напротив. Рука его была холодной. Юлия встала, обошла стол и села рядом с ним.

- Чего же вы боитесь? - спросила она. - Скажите жене, что вас срочно посылают в командировку... после вступительных экзаменов. Ну, когда я стану студенткой вашего факультета...

Вадим Станиславович улыбнулся и обнял Юлию за талию. Юлия посмотрела в его глаза, и они были грустные-грустные. Она прочитала в них, что ему очень хотелось любить ее, любить горячо, до самозабвения, но воспоминания о жене и детях не давали ему полной свободы действий, и он был на распутье.

Юля осторожно подняла руку и погладила его по бородке. Он склонился к ней и крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы. И

ей был невыносимо приятен этот взрослый поцелуй, долгий и захватывающий. Она еще никогда в жизни так не целовалась.

За занавеской, в зале, раздался звон битой посуды. Юля вздрогнула и отстранилась. Когда она откинула занавеску, то увидела толстого, высокого восточного человека с тарелкой в руках. Он хотел и эту тарелку шлепнуть об пол, но парни в шапках вцепились в него и отняли тарелку. Толстый человек сел к столу, и все как будто успокоилось. Парни в шапках пошли на свое место к стойке. Но тут толстый человек порывлся в карманах, выхватил пачку сотенных купюр, вскочил из-за стола, выбежал на середину зала и стал поспешно рвать на глазах у всех эти деньги.

Юлия ахнула и прижалась к Вадиму Станиславовичу, который стоял сзади. Восточный толстяк с каким-то ожесточением рвал деньги и швырял их на пол. Парни в шапках вновь подскочили к нему и повисли на его руках.

- Вода деньги! - кричал толстяк. - А я их брызгами делай!

И действительно, несколько мелко изорванных купюр брызгами посыпались на пол.

Когда инцидент был исчерпан, Юлия вновь задернула занавеску и сама обвила руками шею Вадима Станиславовича.

В двенадцатом часу к ним за занавеску зашел Алик, и Вадим Станиславович полез за деньгами, чтобы расплатиться за стол. Алик возмущенно отстранил в сторону его руку с деньгами и сказал:

- Зачем обижаешь?

- Вот так всегда, - вздохнул Вадим Станиславович, - даю деньги, а он не берет. Получается, что Алик учится у меня за взятку.

Юлия усмехнулась, а Алик воскликнул:

- Зачем говоришь так? Нехорошо говоришь! Ты мой гость!

- Хорошо, хорошо, - сказал Вадим Станиславович, убирая деньги и вставая. - Термех придешь сдавать Жабину. Я с ним поговорю.

Алик просиял.

- До дома меня провожать не нужно, - сказала Юлия, когда они вышли из такси.

Они остановились под фонарем. Длинные тени от деревьев лежали на сухом асфальте.

- Как я только напишу сочинение! - вздохнула Юлия.

- Я поговорю с Корчагиной, - сказал Вадим Станиславович.

- Кто это такая?

- Председатель комиссии по русскому языку, - сказал Вадим Станиславович и хотел обнять Юлию, но она воспротивилась, сказав:

- Здесь не надо.

И он послушно убрал руку.

- Разные Островские, Грибоедовы... Скучища! - сказала она.

Вадим Станиславович взглянул на небо, оно было темное и звезд не было видно с этой точки, потому что мешал свет фонаря. Вздохнув, Вадим Станиславович сказал:

- Мне раньше тоже казалось, что скучища. А потом как-то прочитал Грибоедова и поразился его гению... Некто Эванс, англичанин, прожил в России лет сорок и оставил в ней много друзей. Он находился в приятельских отношениях с Грибоедовым. Этот Эванс впоследствии рассказывал, что по Москве однажды разнесся слух, что Грибоедов сошел с ума. - Вадим Станиславович еще раз вздохнул и продолжил: - Эванс, видевший его незадолго перед тем и не заметивший в нем никаких признаков помешательства, был сильно встревожен этими слухами и поспешил его навестить. Грибоедов встретил его настороженно и обрушился с вопросами, мол, зачем Эванс к нему явился. Эванс напугался этими вопросами и про себя подумал, что, быть может, Грибоедов в действительности сошел с ума. Грибоедов же объявил ему, что он не первый приехал, что к нему все ломятся, чтобы узнать, не сбрендил ли он на самом деле. И Грибоедов рассказал, что дня за два перед тем был на вечере, где его сильно возмутили дикие выходки тогдашнего общества, раблепное подражание всему иностранному и, наконец, подбострастное внимание, которым окружали какого-то француза - пустого болтуна. Негодование Грибоедова постепенно возрастало, и в итоге его нервная, желчная природа выказалась в порывистой речи, которой все были оскорблены. У кого-то сорвалось с языка, что "этот умник" сошел с ума, слова подхватили и разнесли по всей Москве. "Я им докажу, что я в своем уме, - продолжал Грибоедов, окончив свой рассказ, - я в них пуцу комедией, внесу в нее целиком этот вечер: им не поздоровится! Весь план у меня уже в голове, и я чувствую, что она будет хороша". На другой же день он задумал писать "Горе от ума"...

- Как интересно! - прошептала Юлия и спросила: - А к чему вы мне это рассказали?

- К тому, чтобы вы хорошо написали сочинение. Ну, отнеслись к литературе, как к живой жизни. Каждая книга - это же живое... Настоящая книга...

- Вы много читаете? - спросила она.

- Много.

- Почему?

- Потому что расширю чтением свою жизнь, - сказал несколько сухо Вадим Станиславович и погладил Юлю по голове.

- А я не люблю читать. Скучно, - сказала она. - То ли дело видик, или маг! Мы соберемся с ребятами и балдеем! А вы рок любите? - вдруг спросила она.

- Современный - нет. Он гораздо слабее рока моей юности. Был Пресли, а теперь сплошные его отражения. Были Битлы - и то же самое: сплошной гитарный плагиат. В моей юности рок был оригиналом, а на вашу долю достался тираж!

Юлия недоуменно пожала плечами и спросила:

- Как это? Я не понимаю.

- Вы не понимаете, что такое оригинал?

- Ну, это-то понимаю, а вообще не понимаю.

- Подрастете и поймете, - сказал он.

- Я уже подросла! - с долей обиды в голосе сказала Юля.

Придя домой, Юлия первым делом взглянула на себя в зеркало и убедилась в очередной раз в своей красоте. А глаза! Огромные, тревожные, любвеобильные.

- Ну, как дела, Юлька? - спросила мать. У нее на лице была кремевая маска и она походила в этот момент на Пьеро.

- Нормально! - с чувством произнесла Юлия. - Водил меня в кооперативное кафе! Там один чудик деньги рвал. Сотни так и летели брызгами. А мясо было, мам, ты такого не пробовала! Кушается, как пирожное! Мягкое, сочное!

- Ну, а он сам-то, что сказал?

- Нормально, мам! Присмотрит, куда он денется, - сказала Юлия.

- Ну, ухаживал он за тобой? - мать поглаживала бедра. Она была в ночной сорочке, уже собиралась ложиться.

- Лез целоваться.

- Ну, а ты?

- Дала пару раз поцеловать себя, - сказала Юлия, проходя в ванную. - Отец звонил?

- Нет. Со шлюхой своей совсем нас забыл!

Юле был неприятен этот разговор об отце. Пусть он живет, как знает. Семь лет назад он ушел к другой, и у него уже там двое: мальчик и девочка. Алименты платит, и хорошо! Да еще так подбрасывает, когда Юлька к нему заезжает.

Мать ушла спать. Юля быстро сбросила с себя одежду и некоторое время постояла обнаженной перед зеркалом, любуясь своим юным телом. Затем влезла в ванну и приняла душ. Коже было щекотно и по ней бежали мелкие мурашки.

Лежа в постели, перед тем как заснуть, Юлия думала о Вадиме Станиславовиче, о его любви к ней, о своей любви к нему. Конечно, она его сразу полюбила. Где еще найдешь такого человека? Он доктор наук, декан факультета. А глаза какие! Голубые-голубые, как небо! И она стала думать о небе, о звездах, о море, голубом, как его глаза, и постепенно мысли Юли расплывались и она уже думала обо всем: и о Соловьеве, и о матери, и об отце, и о его красивых детях, и о роке, и о недавно просмотренном на видеке порнографическом фильме, и о красоте своего лица и тела, и еще о многом-многом, пока сон не ухватил ее и не понес на крыльях любви над самым настоящим морем, по которому скользила белоснежная яхта и она загорала на корме этой яхты в шезлонге...

Утром ее разбудил телефонный звонок. Звонил Вадим Станиславович, предложил встретиться вечером, и она с радостью согласилась.

Юлия встала с постели, потянулась и стащила с себя сорочку, чтобы снова полюбоваться своим телом перед зеркалом. Она очень любила рассматривать себя в зеркало, каждую деталь своего тела рассматривать и восхищаться. Затем, не одеваясь, села перед этим зеркалом на стул, взяла щетку и стала расчесывать волосы. Она водила щеткой по волосам до тех пор, пока у нее не затекли руки, а волосы не превратились в шелковые.

Делать было нечего. Скучая, Юлия облачилась в варёнку, кое-что поклевала на кухне и затем включила на полную громкость магнитофон. Сделала несколько ритмичных движений в стиле рок и широко зевнула. Надо же, позвонил в девять часов. Влюбился! Юля радостно зевнула еще раз.

Вновь зазвонил телефон. Звонил Соловьев. Спросил, что она делает. Она ответила, что готовится к экзаменам. А он предложил готовиться вместе. Она сказала: "Давай!" И Соловьев через пятнадцать минут был у нее. Он жил в соседнем доме. Бледный,

встревоженный, он сел на диван и вдумчиво устался на орущий магнитофон. А Юлька взяла и выключила его. Соловьеву пришлось что-то говорить.

Высокий, худой, Соловьев говорил на знакомом языке:

- Вчера вечером у Аншина балдели. Предки его куда-то укондехали. Клевая музыка была. Потом видик зырили...

И Юлии почему-то стало неприятно слушать этот "родной" язык. Уставившись на Соловьева, так что он покраснел, Юлия сказала:

- А ты знаешь, почему Грибоедов "Горе от ума" написал?

Соловьев даже вздрогнул от этого вопроса. И она рассказала ему то, что ей поведал Вадим Станиславович.

- Включи лучше маг, - сказал Соловьев, - давай побалдеем.

Он встал и положил ей руки на плечи. Юля дернула плечами и руки соскочили.

- Что ты, детка?

- Иди. Уходи, - твердо сказала она, как бы ощущая взгляд на себе Вадима Станиславовича. - Мне заниматься нужно.

Она подошла к книжному шкафу и вытащила несколько учебников. Затем, помедлив, бросила их на стол.

- Мне с тобой неинтересно! - вдруг выпалила она.

- Чего ты, старуха? - заикаясь, спросил Соловьев.

- Ничего!

- Изречение или духи? - пытаюсь понять, в чем дело, спросил бледный Соловьев.

Ничего не говоря, Юлия села в кресло и опустила голову. Когда она ее подняла, то увидела, как Соловьев, ничего не понимая, сделал шаг к двери. На миг Юле захотелось - он такой молодой, такой наивный! - броситься ему вслед, впитаться в него, почувствовать его рот, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя. Но она увидела Вадима Станиславовича и ей стало стыдно этого своего внезапного порыва. Ну что этот мальчик ей может дать? Глупый, дурашливый мальчик, которому только и подавая ее любовь. А что дальше? Ничего!

Он ушел.

Опять стало скучно. Но видеть, кроме Вадима Станиславовича, никого не хотелось. Она подошла к зеркалу. Вот она - вчерашняя школьница с распущенными волосами, такая юная и невинная, воплощенная инфантильность...

Потом она вдруг вспомнила про “Горе от ума”, бросилась к шкафу, нашла книжку и, плюхнувшись в кресло, стала читать. Она читала не своим, а его голосом, даже не читала, а как бы слышала его голос.

Ровно в семь она была у памятника Гоголю, на бульваре, там, где Гоголь стоит в сапогах и в шинели, как Сталин. Прошло минут пятнадцать, а Вадима Станиславовича все не было. Юля стала заметно волноваться. Наконец, Вадим Станиславович появился.

- Вы же не барышня, чтобы так безобразно опаздывать! - сказала Юлия. Ее слова и бледное лицо были сердиты, но в глазах читалась самая нежная, девическая любовь. А глаза были большие, яркие, ясные и влажно сияли.

Вадим Станиславович не сводил глаз с нее. Вся Юлия, казалось, трепетала на последней грани детства: без малого семнадцать - уже почти расцвела, но еще в прекрасной утренней росе.

Целый день она ждала этого момента встречи как развлечения. Искать развлечений ее побуждала скука и неопределенность и жадность школьницы, успешно закончившей год и считающей, что заслужила веселые каникулы.

Они пошли по бульвару в сторону “Кропоткинской”. Он изредка приотставал, пропуская Юлию вперед, чтобы полюбоваться ее походкой. У нее была осанка балерины, и она несла свое тело легко, при каждом шаге как бы взлетая. Светило солнце. Они сели на пустую скамейку. Вадим Станиславович говорил о каких-то осложнениях в парткоме института, членом которого он был. Юля слушала вполуха. Солнце сильно припекало в спину. Юля сняла куртку-варёнку, осталась в облегающей крепкую грудь кофточке на тонких бретельках. Вадим Станиславович все говорил и говорил. А она смотрела в его глаза и видела море.

Он откинулся на спинку скамейки, а она спустила с бронзовых плеч лямки кофточки, чтобы лучше загоралось спине. Через мгновение она ощутила на ней прохладную ладонь Вадима Станиславовича и вздрогнула от этого приятного прикосновения.

Он ей казался теперь самым прекрасным мужчиной в мире, самым добрым и обаятельным. И она знала, что встреча и знакомство с ним сулят ей в будущем новый мир, перспективы, одна другой увлекательнее. Нужно только ухватиться за него крепче и не отпускать, как говорит ей мать.

Мать была лучшей ее подругой и руководила ею, опираясь на свой вполне состоятельный опыт. Хотя она и бранила отца, но по-прежнему его любила и никак не могла понять, как это он ушел к другой, как это он оставил ее, такую прежде родную и единственную. Теперь у матери был майор Никольский, но то было не то. Хотя майор нравился Юле мягкостью и приветливостью. Он всегда приносил шоколадку и, вручая ее Юле, неизменно произносил достаточно серьезным током:

- Сахарком не посыпать?

А мать всем видом показывала Юлии, что ей можно пойти к друзьям "побалдеть". Лицо матери было еще красиво той уходящей красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью морщин, но глаза у матери не старели: взгляд был спокойный и одновременно живой и внимательный.

Вадим Станиславович что-то говорил.

Дул легкий теплый ветерок, шелестел листвою. Юлия молча любовалась Вадимом Станиславовичем. Ей не верилось, что она влюбила (или почти что влюбила) в себя настоящего доктора наук, декана крупнейшего факультета крупнейшего института.

Они встали и пошли по бульвару. Вадим Станиславович вновь приотставал, чтобы полюбоваться ею. Юлия оглянулась и улыбнулась ему. Он оглядел ее с головы до ног, и что-то вдруг как бы раскрылось в Юлии навстречу этому взгляду. Не влечение, нет, ничего похожего на восторженное чувство, просто электрический разряд. Этот человек желал ее, и девичья скованность воображения не помешала ей представить себе, что она могла бы уступить.

- Куда мы пойдем? - спросила она.

- Ко мне, - без запинки сказал он.

Она внутренне вздрогнула, но промолчала и даже попыталась улыбнуться.

Потом Юлия спросила:

- А как же жена?

- Она уехала на пару дней к сестре на дачу.

- Понятно, - произнесла Юлия и постыдилась своего вопроса про жену.

А он подумал именно о жене. Она была старше его на пять лет и помимо его детей у нее была дочь от первого брака, дочь, которой было уже тридцать и которая уже была дважды разведена. Жена постарела и стала хорошою брюзгой. Ревновала его ко

всему и ко всем. И он жил с нею по какой-то инерции, не то что любви, даже дружбы не осталось.

Он жил в просторной квартире в переулке между Кропоткинской и Арбатом. Окна спальни выходили на маленькую церквушку.

Когда они только вошли в квартиру, он, притворив за собой дверь, повернулся к Юлии и хотел поцеловать ее, но она испуганно отшатнулась, как дикая кошка.

Он оцепенел от изумления.

Затем шутивно-отеческим тоном сказал:

- Давайте ужинать!

Но Юлия не приняла этот шутивно-отеческий тон. Она сказала медленно:

- Никакой любви у вас ко мне нет, а если бы она возникла, то переломила бы вашу жизнь... привычную жизнь... с женой.

И опять она спохватилась, когда вылетела эта "жена". Ну, зачем!

Вадим Станиславович сильно расстроился. Они прошли на кухню, где сильно урчал холодильник. Вадим Станиславович достал из него несколько бутылок минеральной воды и бутылку сиропа. Затем поставил на стол два высоких и узких хрустальных бокала. Открыл сироп, налил немного в оба бокала, а затем уж довел их до полна минеральной водой.

- Попробуйте, вкусно, - сказал он мрачновато.

- Ну вот, - вздохнула Юлия, - вы и духом упали.

Она подошла к нему и погладила его по лысеющей голове. Он вдруг как-то поспешно обнял ее и упал на колени, руки его проскользили вниз по ее телу. Он прижался губами к ее коленям.

Юлия откинула голову от прилива нежности и против воли прошептала:

- Поцелуйте меня.

Он медленно встал и прижался губами к ее губам.

Затем, отстранившись и переводя дух, сказал:

- Какой же я дурак! Я втрое старше вас... тебя, - поправился он, в первый раз обратившись к ней на "ты".

- Я не ребенок! - с детской строгостью сказала Юлия. - Я просто знаю, что у вас...

- Перейдем на "ты"...

- Я не могу так сразу.

- Попробуй!

Она молчала, напряженно дыша, пока он не повторил:

- Обращайся ко мне на "ты", Юличка!

- Я знаю, что никакой любви у... тебя ко мне нет. Ты просто хочешь воспользоваться отсутствием жены и взять меня, а потом бросить.

Он обхватил свою голову ладонями и взмолился:

- Глупости. Ты ничего не понимаешь в жизни. Я сразу же полюбил тебя, как увидел! Нас с женой ничего больше не связывает. Я был открыт для любви, и сразу же ты появилась, как по заказу.

Юлия нервно заходила по кухне.

- Зачем ты смеешься надо мной?! Я-то прекрасно знаю, что у тебя нет никакой любви ко мне!

Юлия остановилась и неосознанно уловила, что, должно быть, переживает в этой сцене, но все же продолжила:

- Чтобы как следует полюбить, нужно минимум полгода встречаться!

Он засмеялся.

- Кто тебе сказал об этом?

- Все говорят!

- Глупости. Ты ведь совсем еще девчонка, а ссылаешься на всех. Никогда не ссылайся на всех. Ты не знаешь еще, что весь мир существует благодаря тому, что ты живешь. Весь мир - в тебе! Ты не знаешь еще, что блаженство заключено внутри тебя. Когда-нибудь ты это поймешь...

Он замолчал и вспомнил жену. Что осталось от совместной жизни с ней, от когда-то бывшей любви? Долг? Пожалуй, один лишь долг и остался. А после того, как жене сделали операцию, она превратилась в какого-то мужика. Страсть навеки покинула ее, и она от этого стала психичкой, кричит по каждому поводу и без повода. Долг остался. Так что же, и жить всегда в долгу? Он понимал, что назревает конфликт, и где-то в подсознании закалял себя и точил оружие, готовясь к сражению.

Такую красивую девушку, как Юлия, он встречал впервые в своей жизни. Самым искренним образом он считал ее красивее всех, кого знал, находил в ней все, в чем нуждался.

В большой комнате стояло старенькое черное пианино с бронзовыми подсвечниками. Вадим Станиславович, глядя на Юлию, сел к нему, заиграл, слегка фальшивя, потому что некоторые клавиши западали, и запел:

Снился мне сад в подвенечном уборе,
В этом саду мы с тобою вдвоем.
Звезды на небе, звезды на море,
Звезды и в сердце моем...

Юлия отворила дверь в комнату детей с волнением, не ведомым Вадиму Станиславовичу. Она вторгается в его жизнь. Она сейчас, глядя в комнату детей, поняла это просто и ясно. И ей стало немного страшно. Она оглянулась на Вадима Станиславовича.

Он пел, и лицо его было грустно. Лишь в следующую минуту, когда он перехватил ее взгляд, в нем нашла отклик беззащитная прелесть ее улыбки. Он встал и подошел к ней. Она стала сама целовать его короткими, быстрыми поцелуями, а он дивился необыкновенной шелковистости ее кожи.

Юлия думала, что в ее жизни наступила пора, когда все удаётся, когда сама себе кажешься героиней.

Вадиму Станиславовичу все время хотелось смотреть на нее. И он целовал ее. Своими поцелуями он словно благодарил ее за прекрасный вечер, и все больше и больше понимал, что влюбился, как юноша, а она становилась от ласк все уверенней, радость стала переполнять ее, как будто Юлия вобрала в себя всю радость, какая только есть в этой жизни.

Юлия улыбалась, стараясь как можно больше вложить чувства в эту предназначенную ему улыбку. Она всю себя отдавала за такую малость, как поцелуй, за мгновенный отклик на порыв Вадима Станиславовича.

Для Вадима Станиславовича проступало что-то новое в ее лице, близкое и родное, позволявшее угадывать, каким это лицо станет потом, таким же красивым в период расцвета и зрелости. Было ясно, что это лицо будет красиво и в старости, об этом говорило его строение, изящество черт.

- Что ты меня так рассматриваешь? - шепотом спросила Юлия и облизнула самым кончиком языка губы.

- Просто думаю, что ты всегда будешь так же красива, как сейчас, - сказал он с дрожью в голосе.

Вдруг она отстранилась и стала ходить по комнате. Встретив его взгляд, она внимательно оглядела всю его фигуру, которая сохраняла, несмотря на некоторую грусть в его глазах, горделивую осанку (а какую же осанку иметь доктору наук, преподавателю-профессору, декану факультета, который должен быть об-

разцом для студентов?!), посмотрела в его лицо, на котором улыбка словно не смела задержаться надолго и тотчас же уступала место привычному выражению сосредоточенности. По-видимому, в нем было нечто такое, что делало его моложе своих лет, что-то сближавшее его с молодежью, в среде которой он варился всю жизнь, и он выглядел более мужественно, что ли, чем другие мужчины его лет, которых видела Юлия. И с этой стороны, со стороны мужественности (муж?!), она его не знала, и - откровенно! - боялась узнать, хотя ей и очень хотелось докопаться тут до глубины.

Юлия сделала шаг навстречу и спросила:

- Я тебе на самом деле нравлюсь?

- Конечно! - воскликнул он.

- Ты врешь! - топнула ножкой Юлия.

Голос ее упал. Вадим Станиславович шагнул к ней. Она была теперь так близко, что он невольно обнял ее за талию, и сейчас же его губы нашли ее губы. Все ее тело откликнулось на этот поцелуй. Он обнимал ее, вдыхал ее, а она все прижималась к нему и прижималась, не узнавая сама себя, вся поглощенная и переполненная своей любовью.

Я приручу его, - кружилось у нее в голове, - он будет мой!

Его рука скользнула вниз по ее бедру, затем пошла медленно вверх под подолом юбки. Для Юлии все это было так ново, так восхитительно, что она медлила вырываться, хотя знала, что вот-вот придется вырываться, медлила с тем, чтобы насладиться до самого предельного момента.

Он гладил ее так нежно, что она заскулила, как собачонка.

Наконец, дрожь пробила ее. Она резко оттолкнула его и бросилась к двери.

- Я провожу! - крикнул он.

Но Юлия уже хлопнула входной дверью. Она подумала: пусть, пусть помучается, пусть пострадает!

У матери был майор Никольский: его китель висел на спинке стула на кухне. Юлия беспричинно рассмеялась. Через некоторое время на кухне появилась мать.

- Он сейчас уходит, - сказала она, кивая за стену.

- Да пусть хоть ночует, - сказала Юлия. - Что тут у тебя мож-но поесть?

- Он что, тебя сегодня не покормил? - спросила, зевая, мать.

- Минеральную воду пили.

- А-а... понятно... Где?

Юлия потянулась, затем нехотя сказала:

- У него.

Мать всплеснула руками.

- Ты пошла к нему?! И что же он там с тобой делал?

- Ничего. Пару раз поцеловал и все.

- И не лез?

Юлия рассмеялась.

- Когда полез, я сразу же убежала.

Мать нежно улыбнулась и засуетилась у плиты. Затем оглянулась и наставительно сказала:

- Теперь все. Будет лезть, как кобель. Но ты все делай так, как я сказала. Слушай меня!

- А если я не сдержусь, - тихо сказала Юлия и как-то меланхолично добавила: - Он такой хороший.

Мать остановилась с открытым ртом.

- Ты что это говоришь? - прикрикнула она. - Что это еще за хороший?! А? Спрашиваю!

Юлия молчала.

- Я спрашиваю, что это еще за хороший такой?! Ты соображаешь, что ты говоришь? Он же тебе в отцы годится! Ты в уме ли своем, Юлька?

- Заткнись! - вдруг крикнула Юлия и покраснела.

Мать оторопело смотрела на нее, но больше ничего не говорила, опасаясь, что с дочерью случится истерика. Через некоторое время Юлия чуть мягче сказала:

- Иди, вон, к своему майору... Ублажи, а то он, наверно, там заснул от скуки!

- Дуреха же ты, Юлька! - закачала головой мать. - Честное слово, дуреха.

Юлия повернулась и пошла в ванную. Она долго рассматривала свое лицо в зеркало, затем медленно разделась и пустила воду. Капли застучали по ее нежной коже. Юлия закрыла глаза и сразу же увидела Вадима Станиславовича. Но, что самое странное, увидела и себя, стоящей к нему спиной. Он шагнул ближе и с силой повернул ту, другую Юлию, которую эта Юлия видела с закрытыми сейчас глазами, с силой повернул ту к себе, а она положила руки ему на плечи и поцеловала его, потом еще и еще.

Его глаза становились огромными каждый раз, когда она приближались к ее лицу, становились, как море.

Когда Юлия вышла в халатике из ванной, то увидела, что мать уже приготовила ей ужин. Юлия принялась за еду. Мать села напротив, и вдруг глаза у нее наполнились слезами, а рука, лежавшая на столе, задрожала. Юлия догадалась, о чем думала мать, и глаза ее тоже заблестели от слез.

Затем мать нагнулась к ней и стала говорить о чем-то шепотом. Мать была к дочери лицом к лицу, и вдруг мать замолчала и изумилась, что дочь так красива и что раньше она словно не замечала этого.

Утром Юлию разбудил телефонный звонок, и прежде чем снять трубку, она улыbnулась и догадалась, что это звонит Вадим Станиславович. Да, это звонил он.

- У Гоголя на том же месте? - переспросила она.

Слышно было плохо.

- Да! - крикнул он и, попрощавшись, положил трубку, а она еще с минуту слушала прекрасные долгие гудки.

Потом, положив трубку, Юлия пропела:

Снился мне сад в подвенечном уборе...

У нее был красивый голос и хороший музыкальный слух.

В этот момент Юля желала закрепить свою власть над Вадимом Станиславовичем, желала, чтобы он всегда оставался при ней.

Делать было нечего, и Юлия бесцельно слонялась по квартире. Это недолгое одиночество, физическое и душевное, порождало в ней тоску, а тоска еще более усиливала одиночество. Чтобы отделаться от этого чувства, она старалась думать о Вадиме Станиславовиче. По всей видимости, за многие годы жизни у него, кроме жены, были любовницы, и, очевидно, он любил их. А какое место она сейчас заняла в его жизни?

Чтобы чем-то занять себя, Юля вновь, как и вчера, взяла "Горе от ума" и вновь читала его голосом.

На сей раз она сама опоздала к Гоголю. Вадим Станиславович - это она заметила издали - нервно прохаживался и поглядывал по сторонам. Увидев Юлию, он буквально ринулся ей навстречу и сразу же поцеловал.

Пока они шли к нему, он радостно что-то рассказывал о наметившемся конкурсе в институте, о том, что переговорил со всеми нужными людьми, чтобы Юлия наверняка стала студенткой.

Юлия взяла его за руку и остановила, затем быстро-быстро поцеловала его в колючую бороду.

- Быть с тобой, - сказала она, - быть так близко от тебя, и не поцеловать тебя - это ужасно!

- Малыш мой!

Когда вошли к нему в квартиру, то сразу же стали целоваться, стоя посреди комнаты. Потом она плюхнулась в кресло, но просидела в нем ровно секунду, снова вскочила и подбежала к Вадиму Станиславовичу. Поцелуй был долгий, страстный. Юлия крепко прижалась всем телом к Вадиму Станиславовичу, затем опять вернулась в кресло.

Он сбегал на кухню, принес минеральной воды с сиропом и коробку шоколадных конфет. Надкусывая конфету, Юлия, не отрываясь, смотрела на Вадима Станиславовича.

- Какие у тебя, Юлька, длинные ресницы! - воскликнул он.

Он назвал ее Юлькой! Совсем как мать. Приручился!

- Как я счастлив, что встретил тебя, - сказал он мягко.

Она встала и зажала ему рот поцелуем. Он обнял ее и в каких-то вальсирующих движениях через прихожую провел в спальню. Она на мгновение вырвалась и подошла к окну. Он лег на кровать поверх покрывала. Юлия сказала с придыханием:

- Какая красивая церковь!

- Красивая, - согласился он и добавил: - Иди ко мне.

Она подошла. Он схватил ее за руку и притянул к себе. Она легла рядом, и они стали целоваться до тех пор, пока у обоих не заболели губы. Дыхание Юлии было легким и свежим, как у ребенка.

Он гладил ее, а она скулила. Но когда рука пошла вверх и почти что достигла предела дозволенного, а другая рука в борьбе с ее рукой больно сжала ее грудь, она шепнула:

- Нет, сейчас нельзя. Сегодня я не могу.

- Почему?! - вырвалось у него.

- Неужели ты не понимаешь? - удивленно спросила она и села.

Он послушно убрал руки: и с явным сожалением сказал:

- Давай ужинать.

- Давай, - согласилась она.

Но они продолжали сидеть на кровати. После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикал будильник на тумбочке, Вадим Станиславович вздохнул и сказал насмешливо:

- Связался черт с младенцем!

- Почему черт? - удивленно спросила она. - Ты скорее похож на ангела...

- Да-а? - удивился он.

- Да, - сказала она и встала с кровати.

Вадим Станиславович достал из холодильника тощего куренка и сказал, что сейчас приготовит отменного цыпленка-табака.

Пока раскалялась сковорода, Вадим Станиславович сел за пианино и спел:

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел,
И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви...

Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь все живет
В моем сердце больном...
Отцвели уж давно
Хризантемы в саду...

Юлия любила чувствительные романы, и сейчас, когда Вадим Станиславович пел, у нее радостно щемило сердце от чудесных звуков. Она думала о будущем, о том, как она будет жить с Вадимом Станиславовичем, как он будет в буквальном смысле слова носить ее на руках, дорого одевать и ездить с ней в загранкомандировки. В тоске ожидания этого будущего, которое наверняка наступит, она с умилением смотрела на клавиши пианино, на пальцы Вадима Станиславовича. И ей вдруг захотелось, чтобы перемена в ее жизни произошла сейчас же, сию же минуту, и было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет еще продолжаться некоторое время.

Из кухни запахло паленым, и Вадим Станиславович бросился туда готовить своего куренка.

Юлия легла на тахту возле пианино. Когда Вадим Станиславович вернулся, она плакала.

- Что с тобой? - спросил он взволнованно.

- Ничего.

- Духи?

И они рассмеялись.

- Нет, - сказала она, - мне просто до слез хорошо с тобой. Я люблю тебя, честное слово!

Он сел, а она, продолжая лежать, положила ему голову на колени. Он гладил ее волосы.

- Можно я задам тебе вопрос? - спросила она.

- О чем?

- О твоих романах.

Вадим Станиславович напрягся, затем простодушно рассмеялся и сказал:

- Запомни, Юлька, есть вещи, о которых не принято говорить вслух.

- Ты просто не хочешь быть со мной откровенным! - обидчиво сказала она.

Он вздохнул, а она всхлипнула.

- Я хочу, чтобы ты был только моим, слышишь?

Она встала, и он последовал ее примеру, затем обнял ее за талию, но Юлия устало отклонилась назад и на минуту застыла с закрытыми глазами, со свесившимися волосами. Он наступал на нее, а она отстранялась, испуганная своей ревностью, которая отбивала ласку и нежность.

- Хочешь анекдот? - вдруг спросила она.

- Хочу.

- Чебурашка приходит в булочную и спрашивает у продавщицы: "Сколько стоит крошка хлеба?" - "Нисколько", - отвечает та. - Тогда, - говорит Чебурашка, - крошите мне батон!

Вадим Станиславович засмеялся неестественным смехом и пригладил хохолок на лысеющей голове. Зайдя сзади, он положил ей руки на плечи, потом, скользнув ладонями от плеч вниз, крепко сжал ее пальцы. Их щеки соприкоснулись, губы встретились, и Юлия глубоко вздохнула, то ли от нежности, то ли от изумления, что эта нежность так сильна.

На улице еще было светло, когда он пошел ее провожать до троллейбуса.

- Поцелуй меня еще.

Он поцеловал.

Следующий день они провели в разлуке. Юля не находила себе места. Позвонила с работы мать и сказала, чтобы Юля отнес-

ла белье в прачечную. Юля огрызнулась, но отнесла, затем зашла в магазин и купила два пакета молока, батон, двести граммов масла и триста колбасы.

Потом она минут пятнадцать позанималась математикой, а после принялась дочитывать "Горе от ума".

Когда она встретилась с Вадимом Станиславовичем, он сказал, что никуда идти не хочется, и предложил просто погулять. Вид у него был какой-то усталый, даже подавленный. Подходя к Москве-реке, Вадим Станиславович быстро заговорил, словно его что-то прорвало. Он говорил о жене, с которой уже успел поскандальить, о том, что жизнь с ней стала для него невыносима, о том, что он не только морально, но и физически не переносит ее...

Юля слушала, и ей было страшно от этого рассказа.

По реке шла белая баржа. Несколько чаек парило над кормой. По пояс обнаженный матрос кормил их хлебом. Он швырял кусочки вверх, и чайки их на лету ловко подхватывали.

- Ты знаешь. Юля, я знаком с тобой несколько дней, а кажется, что знал тебя всегда, - продолжал Вадим Станиславович. - Интересно устроена жизнь. Живешь и чего-то главного не замечаешь, уходишь от этого главного. Отвлекаешься работой, другими делами. А есть какая-то банальная, примитивная сила жизни. Если бы мои родители не повстречались и не полюбили друг друга - не было бы меня. И эта страсть и жажда любви нами загоняется в подполье. Живем так, как будто мы с неба упали, а не появились на свет самым обычным образом. И почему в человеке заложено так много страсти, так много любви. Почему мне каждое утро хочется женщину!

Юлия быстро взглянула на него и отвела глаза на реку.

- Да, всему сволочному организму хочется женщину. Не душе моей, не мозгу, а физиологической моей сущности! Неужели я спланирован так, чтобы каждый день хотел женщину. А что бы было, если бы я каждый день оплодотворял все новых и новых женщин? Это же уму непостижимо, какое потомство я бы оставил. Каждый день! Это же 365 детей в год, это же 3650 за десять лет! Что это такое! Я не хочу этого умом, душою цивилизованного человека не хочу, а на меня давит похоть, не мною в меня заложенная! Неужели подобное происходит с каждым мужчиной? Когда-то в юности я думал, что мужчина способен на продолжение рода лет так до тридцати, а потом увядает, как осенние астры с пер-

вым снегом. Но нет! О ужас, я знаю у нас в институте восьмидесятилетнего доцента, который при каждой встрече со мной считает своим долгом поведать мне о своей новой победе. И говорит об этом сально, с подробностями! Ты можешь себе представить? Я не знаю, как от него избавиться. Прямо ему сказать о том, что мне его откровения противны, не могу, какое-то вежливое стеснение охватывает... Так что приходится, как только завиджу его издали, разворачиваться и идти окольным путем. Что это? Ему же восемьдесят лет! Значит, и мне еще без малого сорок лет мучиться этой не от меня зависящей похотью. На эту тему я читал много умных книг и не нашел в них ничего, что бы дало мне ясный ответ на этот вопрос! А ты что думаешь на этот счет? - обратился он к Юлии, которая облокотилась на парапет и смотрела в воду.

Юлия молчала, и легкий румянец выступил на ее нежных щеках.

- Вот ты молчишь, как будто не понимаешь, о чем я говорю. А ты вот в метро, спускаясь на эскалаторе в час пик, взгляни на толпы. Откуда они все? Задай себе такой вопрос. Каждого ведь родила женщина! А девять месяцев до того эта каждая женщина была с мужчиной, была страстна и любвеобильна! Смотришь на какого-нибудь академика серьезного или на генерала деревенского и думаешь: э, а ведь ты, братец, оттуда же! Чего же ты корчишь из себя?!

Вадим Станиславович махнул рукой и замолчал. Он уставился на проходящий по реке прогулочный теплоход. Затем, сменив тему, заговорил вновь:

- В понедельник у тебя первый экзамен. Вроде, я все сделал как нужно.

- Как? - спросила она.

- Узнаешь.

- А заранее узнать нельзя?

- Я думаю, что не стоит. Мало ли что. Вдруг да ты кому-нибудь проговоришься и все сорвется.

- Да что ты! - вспыхнула Юлия. - Я никому не скажу!

- Не нужно. Ты лучше позанимайся в выходные...

- Мы с тобой до понедельника не встретимся? - спросила Юлия испуганно и схватила его за руку.

- Нет. Я никогда в выходные из дому не выхожу. Жена это прекрасно знает. Зачем же я буду подавать повод к скандалу? - сказал он мягко и улыбнулся Юлии.

Юлия поникла.

- Я знала, что ты меня не любишь! - резко сказала она.

Он обнял ее и привлек к себе.

- Еще как люблю! Но нужно же себя контролировать и сделать все без эксцессов!

- Что сделать?

- Ты же сама знаешь, что, - сказал он и задумался.

Помолчали.

- Какая же ты драгоценность! - вдруг воскликнул он, кладя ей руку на плечо. - Вот чтобы ты сейчас жила, все твои предки до Адама должны были передать по живой человеческой цепочке свое семя, чтобы оно дошло до тебя. Это уму непостижимо! Все они, до того, как умереть или погибнуть, отдавались страсти, чтобы родился новый человек, и женщины твоего рода, как матрешки, выходили одна из другой миллионы раз, и, наконец, вышла ты. Ты понимаешь, что твой род, раз ты жива, не пресекался, твое генеалогическое дерево живо! И твой предок - Адам!

- И Ева! - усмехнулась Юлия.

- Да, и Ева! - горячо проговорил Вадим Станиславович и поцеловал Юлию в прохладные губы.

Из-под моста показался еще один прогулочный теплоход, с борта которого неслась песня:

Еще не вечер, еще не вечер...

Юлия взглянула на него и улыбнулась. По выражению ее счастливых глаз и лица, которое стало в эту минуту еще красивее, Вадим Станиславович понял, что она его любит. Юлия провела рукой по своим волосам и в каком-то приливе радости закрыла глаза. Он взял ее за талию. А она положила руки ему на плечи и минуту с восхищением, словно во сне, смотрела на его умное, немножко грустное лицо, голубые глаза, лоб, прекрасную бороду.

Юлия вновь закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и очень долго никак не могла прервать этого поцелуя.

Они пошли по набережной, потом еще долго гуляли переулками, а когда стало темнеть, он проводил ее до метро.

В субботу и воскресенье Юлия не находила себе места. Звонил Соловьев, предлагал прошвырнуться в кинишко, но она с раздражением сказала, что ей некогда и что она готовится к экзамену.

Мать несколько раз заводила разговор о Вадиме Станиславовиче, но Юлия, не начав этого разговора, обрывала ее. В воскресенье вечером приезжала тетка, и Юлия с матерью готовили к ее приезду домашний пирог.

В понедельник Юлия проснулась в половине восьмого в холодном поту. Неизвестно почему на нее накатил страх. А вдруг да все сорвется, и она с треском провалится?

В институт она приехала за двадцать минут до экзамена. И сразу же пошла к кабинету Вадима Станиславовича, но его не оказалось на месте. Тогда она направилась в аудиторию и заняла место в середине. На столах уже были разложены чистые листы со штампами. Аудитория постепенно заполнялась абитуриентами. Появились и преподаватели, и, наконец, объявили темы. Время пошло, и все принялись строчить про разные "образы". А Юлия сидела и не знала, что делать.

Минут час, некоторые скорописцы стали уже сдавать свои сочинения, а Юлия все сидела с видом утопленницы над чистым листом и делала вид, что она усердно пишет. В аудитории появился какой-то студент с красной повязкой на рукаве и спросил, кому не хватило бумаги. Юлия тут же, как будто ее кто толкнул, крикнула, что ей. Студент подбежал к ней и проворно сунул под ее листы какую-то стопку.

Некоторое время Юлия продолжала имитировать писание, а когда студент исчез из аудитории, она, осмотревшись, не наблюдает ли кто за ней, отодвинула с подсунутой стопки чистые листы и увидела написанное аккуратным почерком сочинение на тему, которая среди других была обозначена на доске: "Трагедия Григория Мелехова из станицы Глазуновской в романе Федора Крюкова "Тихий Дон".

Юлия внутренне возликовала, но внешне оставалась спокойной, и даже еще минут сорок помахала пером над бумагой.

Сдав сочинение, Юлия бросилась к Вадиму Станиславовичу. Не обратив внимания на секретаршу, она сразу же открыла дверь в его кабинет. Вадим Станиславович с кем-то беседовал, но как только увидел Юлию, встал и предложил ей место на стуле сбоку от стола. После этого Вадим Станиславович еще некоторое время побеседовал с посетителем, который сидел в кресле. Вадим Станиславович говорил о какой-то перспективной модели специалиста, о сокращении числа кафедр на факультете, об интенсификации учебного процесса.

А Юлия рассматривала его, и когда его голубые глаза смотрели на нее, она видела море.

Посетитель ушел. Вадим Станиславович тут же склонился к ней и поцеловал в губы. Она протянула к нему обе руки и обняла за шею.

- Ты меня любишь? - спросила она.

- Люблю! - страстно прошептал он.

- Как ты меня любишь?

- Безумно! - прошептал он и спросил: - Как твой экзамен?

- Пришлось здорово поволноваться! - усмехнулась Юлия.

Вадим Станиславович сел на свое место и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнившую все его существо.

Потом он повел Юлию в студенческую столовую обедать. Он взял себе и ей супа, котлет с макаронами и компот. И этот посредственный обед показался Юлии самым вкусным на свете.

Когда они из столовой поднимались по лестнице, Вадим Станиславович, обнаружив, что они одни на этой лестнице, обнял Юлию, и она откинула голову назад, и он поцеловал ее в губы и, чтобы этот поцелуй длился дольше, он взял ее голову в ладони, а Юлия обвила руками его шею и прижалась к нему всем телом так крепко, что хрустнули косточки.

Потом они оба быстро побежали вверх по лестнице.

Вечером они ходили в кино, в "Повторный", смотрели "Андрея Рублева" Тарковского.

Весь фильм Юлия сжимала руку Вадима Станиславовича.

Когда она вернулась домой, мать спросила взволнованно:

- Ну, как?

- Нормально.

- А все же?

- Ниже пятерки не поставят! - уверенно сказала Юлия.

Мать села за стол, подперла голову кулачком.

- Нет, ты скажи, Юлька, помог он тебе или нет? - настаивала мать.

- Помог, помог! Отстань.

- Не груби! - мать пристукнула ладонью по столу.

- Все тебе, мам, расскажи! Я расскажу, ты кому-нибудь расскажешь, и все пойдет прахом, - сказала Юлия, зажигая конфороку под чайником.

- Ну, а сейчас где были? - спросила мать, улыбаясь.

- В кино. Мам, такой экзаканский фильм зырили!

- Что еще за зырили! Ты мне, Юлька, брось эти словечки!

Юлия смутилась. Ей самой были теперь неприятны подобные слова, но в разговоре со своими они как-то незаметно сами вылетали изо рта.

- Ладно. Смотрели отличный фильм. "Андрей Рублев" называется...

- Это про богомаза, что ли? - неуверенно спросила мать.

- Про него.

- Ну, а после кино что делали? Не приставал он к тебе?

- Ну, мам, ты прямо, я не знаю! - вспыхнула Юлия. - Не приставал. Я сама к нему приставала! Вот тебе!

- Ну уж и спросить что ли совсем нельзя, - усмехнулась мать и, встав, подошла к плите, чтобы приготовить дочери горячий ужин.

Мать осталась довольна тем, как Юлия выполняла ее наставления. Ей все время хотелось поставить дочь на рельсы и подтолкнуть, и вроде бы дочь вставала на эти рельсы.

На другой день Юлия сразу же сказала Вадиму Станиславовичу:

- А я влюбилась в тебя с первого раза, как только увидела.

Он сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей, как обыкновенную любезность. Но на самом деле что-то радостно дрогнуло у него в груди от этих слов. В его взгляде светилась нежность и доброта. Юлия взяла его руку. Их щеки соприкоснулись, губы встретились.

- Хочешь посмотреть, как я живу? - спросила она.

- Хочу, - тут же согласился он.

Они вышли из троллейбуса у ее дома-башни. Из какого-то окна слышалось радио, диктор объявила: "Два романа Демона прозвучат в исполнении Федора Шаляпина". Они вошли в подъезд. В лифте он поцеловал ее.

- А вот моя комната, - сказала она, открыв дверь в маленькую комнату.

Вадим Станиславович обнял Юлию за талию и как бы тихонько подтолкнул ее в комнату. Юлия повернулась к нему лицом, он взглянул в ее огромные глаза с расширившимися зрачками, и достаточно было с его стороны одного движения, как она села на кровать, а он принялся страстно целовать ее колени. Потом его рука пошла вверх.

- Не надо, - сказала Юлия и впилась в его рот своими губами.

Ее короткое сопротивление доставило ему радость. Юлия забыла о наставлениях матери, обо всем на свете, она видела голубые, изменившиеся глаза и уходила все дальше в глубь непостижимо прекрасных ощущений. Была минута в их близости, когда она, как ребенок, забыв, кажется, и саму себя, вскрикнула:

- Мамочка!

Это произошло почти в ту же секунду, когда его плоть оторвалась от ее плоти, и когда ее вдруг охватило чувство пронзительной любви к нему.

Юлия приподнялась, облокотясь на подушку, и сказала:

- Я люблю тебя!

- Я тебя тоже, - тяжело дыша, отозвался он, ложась рядом.

Юлия опустила голову на подушку.

Несколько минут прошло в молчании. Вдруг Юлия сказала:

- Ты помнишь тот разговор у реки? Так вот, я тогда боялась быть с тобой откровенной. Но я так понимаю тебя. У меня были те же чувства. Ты представить себе не можешь, как мне хотелось этого... ну, того, что ты сейчас со мной сделал. И это было со мной, знаешь, с каких лет?

- С каких? - спросил он шепотом.

- С двенадцати! - выпалила она.

Вадим Станиславович даже присвистнул.

- Да. В двенадцать лет у меня начались месячные... Я представить себе не могла, что уже в эти двенадцать лет могу рожать детей! И с каждым месяцем страсть во мне все усиливалась. Я ложилась и просыпалась с чувствами похотливой кошки. Меня распирали чувства, но я знала, что это нехорошо, что нельзя так думать. И мать мне постоянно долбила, что нужно беречь себя... Так зачем же я так скроена, что я хочу, а мне по каким-то там высшим причинам нельзя?! Почему? В мыслях я была смелой и даже, знаешь, - она повернула голову к нему и прошептала, - мне снился половой акт, в котором я принимала самое активное участие. Мне часто снятся я сама... Я как бы со стороны сама на себя смотрю... И кто это определил, что только в восемнадцать лет можно выходить замуж! Я же уже пять лет, как созревшая... Я хочу любить тебя, милый!

Вадим Станиславович приподнялся над нею и было видно, что он любит ее загорелым телом с белыми полосками на острой груди и на бедрах.

Юлия широко раскинула руки на постели и смотрела в его глаза. Ее тело взмокло от страсти и от шеи к ложбинке между двумя утесами грудей бежал ручеек.

- Иди ко мне, - шепнула Юлия, и он припал к ней, и она от прикосновения вздрогнула и проскулила тонко-тонко.

Все вокруг для Юлии исчезло, превратившись в сплошную нежность.

Когда Вадим Станиславович хотел встать, она сказала:

- Не спеши, милый. Полежи еще...

И он лег, глубоко дыша, прикрыл глаза и не заметно для себя заснул. Юлия некоторое время слушала его ровное дыхание, затем прижалась щекой к его плечу и тоже уснула.

Проснулась она внезапно, ей показалось, что ее позвала мать. Юлия привстала и оглянулась на дверь комнаты. На пороге стояла мать, бледная, с округленными глазами, с открытым ртом, с прижатыми к щекам ладонями.

Юлия приложила палец к губам и прошептала:

- Тихо, мам! Пусть он поспит, бедненький!

Руки матери, как ватные, опустились.

- Вот это миленько! - прошептала мать.

Вадим Станиславович открыл глаза, приподнялся и увидел мать Юлии. Тут же он догадался натянуть одеяло на голые тела: Юлии и свое.

- Здравствуйте! - достаточно бодро проговорил он, перебарывая в себе ужас неожиданного визита и собственный страх.

- Здравсьте-здасьте, - с долей ехидства проговорила мать и, покачав головой, пошла на кухню.

- Господи, откуда она свалилась! - с дрожью в голосе прошептала Юлия и вскочила с постели.

Странные чувства овладели Вадимом Станиславовичем: первоначальный страх схлынул и появилось что-то вроде трепетной радости, какая бывала в детстве от неожиданного подарка.

Одевшись, вышли на кухню, где мать хлопотала у плиты. Мать посмотрела на Вадима Станиславовича и проговорила не своим, а каким-то странным, сорванным голосом:

- Знать, мне на роду написано ничего не понимать. У меня в глазах темно, - и, обратившись к дочери, добавила: - Юлька, что ты со мной делаешь?!

Мать взяла тарелку, и видно было, что у нее дрожат руки. И вдруг она зарыдала от горя и стыда.

Вадим Станиславович чувствовал необходимость сказать что-нибудь этой женщине, но не находил таких слов, которые бы успокоили ее.

- Ну, мам! - сказала Юлия.

Вдруг мать перестала плакать и, улыбнувшись, сказала:

- Что делать! Раз случилось, так случилось. Этого уже поправить нельзя... Садитесь за стол.

По всему виду Юлии было заметно, что она не смущена, и смотрела на мать и на Вадима Станиславовича искренно и ясно.

Вадим Станиславович перестал испытывать смущение.

- Как у вас уютно в квартире, как чисто! - сказал он.

- Ну, еще бы! - отозвалась мать. - Я по три раза на день протираю, мою, каждую пылинку снимаю.

Мать взглянула на Вадима Станиславовича спокойно, даже обыкновенно, как будто знала его давно, несколько лет. Она уже заранее представляла эту встречу и, основываясь на собственном опыте, чувствовала, что это человек порядочный и по-своему несчастный.

Да, это, несомненно, хороший человек, - думала мать, - выдержанный, учтивый, с ласковым, участливым взглядом, и он стал доступен дочери, и этим человеком она завладела, не раздумывая, и правильно сделала. Ну и что, что ему за сорок?! Можно ли гадать в жизни наперед?! Вот она когда-то гадала, а муж, который был старше ее всего на полгода, взял и бросил ее! Когда начинаешь понимать, что у нее какой-то другой, загадочный смысл, который не в состоянии уловить простым размышлением: строишь планы на будущее, а они в один момент разваливаются, и выводят в какие-то неведомые дебри. В самом деле, человек рождается не по своей воле, и не по своей воле уходит из жизни... Почему? Зачем? Хочется узнать смысл этой жизни, своей жизни, а он постоянно исчезает. И есть ли этот смысл вообще? Есть ли цель жизни? Люди чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, и что может быть счастливее, как найти себе надежную опору на всю жизнь?

Юлия с любовью смотрела на Вадима Станиславовича, но не с тою любовью, которая была в ней до этого дня, а с какою-то новой, почти что блаженной. И в глазах у нее появилось новое вы-

ражение, выражение первоначальной женственности. И это выражение уловил Вадим Станиславович, и ему захотелось тут же вновь привлечь к себе Юлию. Теперь было ясно, что он связан с нею, и не только потому, что мать стала свидетельницей их близости, а потому, что сама Юлия, как чистый солнечный свет, осветила и согрела его.

Появление матери лишь усилило в нем чувство любви к этой прекрасной девушке, и он вполне удостоверился, насколько глубоко затронуты этой девушкой его сокровенные чувства.

Глядя на Юлию, не веря в ее существование, он как бы старался уйти от наваждения и вернуться в реальный мир. Но он уже был в этом реальном мире! В мире, где помимо Юлии существовала его жена, его дети. И он невольно углубился в анализ ситуации, в анализ, как реакцию на происшедшее, как реакцию на воздействие жизненных перипетий. В этот момент ему хотелось каким-то сказочным, безболезненным путем обойти пропасть, разверзнувшуюся у него под ногами. И он как-то спокойно подумал о жене. Теперь, по крайней мере, его ничто не связывало с ней.

А дети?

Мать подала Вадиму Станиславовичу тарелку щей. Теперь ей хотелось обласкать его, сказать ему, что он ей симпатичен. Но вместо этого у нее вырвалось:

- В магазинах совершенно ничего нет. Забегала сегодня в гастроном, и даже захудалой колбаски купить не смогла!

- Это так, - тут же согласился Вадим Станиславович.

- Да ничего, - сказала мать. - Проживем как-нибудь. Я человек неприхотливый.

- Я, признаться, тоже, - сказал Вадим Станиславович.

- А я нет, - усмехнулась Юлия. - Мне всегда хочется чего-нибудь такого...

- Да она у меня ничего не ест, - сказала мать. - Фигуру все соблюдает.

- Это хорошо - соблюдать фигуру, - сказал Вадим Станиславович и с нежностью посмотрел на Юлию.

- Вот видишь, мам? Человек понимает, что нужно следить за собой!

- А я тоже слежу за собой, - сказала мать и осмотрела себя. - Неужели я уж такая полная?! - и рассмеялась.

- Конечно, нет, - сказала Юлия, глядя на Вадима Станиславовича с выражением девочки, которой очень хочется шалить. Она легко вздохнула и засмеялась. - Мамочка, ты очень у меня красивая!

Щеки матери покраснелись, и это ее немного смущало, и она стеснительно поглядывала на дочь и на Вадима Станиславовича.

И Юлия поглядывала то на мать, то на Вадима Станиславовича, полная горделивого сознания, что ею совершено что-то в высшей степени смелое и необыкновенное (да так оно и было!), страстно любящая и страстно любимая, предвкушающая новую счастливую жизнь и упивающаяся этой новой жизнью. От избытка счастья она взяла руку Вадима Станиславовича и крепко сжала.

...В среду у входа в институт на огромных щитах были вывешены списки с результатами первого экзамена; возле фамилии Юлии красовалась пятерка. На экзамене по математике, спустя пятнадцать минут после начала, к ней подскочил тот же студент с красной повязкой и незаметно взял у нее задание. Буквально минут через двадцать он же ловко подsunул ей исполненное самым аккуратным почерком решение. С ним Юлия, приняв самый сосредоточенный вид, какой и подобает в данной ситуации абитуриентке, просидела еще около часа.

И ей казалось, что этот экзамен длился целую вечность. Тем более что перед тем, как идти сдавать работу, Юлии стало как-то не по себе. Дело в том, что один какой-то абитуриент пристально изучал левую сторону ее физиономии. В конце концов, Юлия взглянула на него таким испепеляющим взором, что тот подался назад и сильно покраснел.

Она перевела взгляд, полный негодования, на другого своего соседа: не смотрит ли он на нее? Но то был невзрачный веснушчатый мальчик, безумно вспотевший, глядящий воспаленным взглядом в свои листки.

После экзамена Юлия пошла к Вадиму Станиславовичу. Он был на месте. Увидев Юлию, он тут же бросил все свои дела, вскочил из-за стола, обнял ее за талию и привлек к себе. И в эту минуту Вадиму Станиславовичу показалось, что Юлия стала удаляться, и все предметы в кабинете как-то резко уменьшились и стали размываться.

Удерживая Юлию за талию, он резко качнулся и упал вместе с нею в кресло. Юлия вздрогнула и увидела, что его лицо быстро

стало бледнеть, а голубые глаза помутнели и потеряли всякое выражение.

- Что с тобой?! - вскрикнула Юлия, высвобождаясь из его железных объятий.

В ответ на это он что-то промычал и как-то машинально стал неуверенной рукой копаться в кармане пиджака. Напуганная до смерти Юлия принялась дрожащими руками ослаблять его галстук и расстегивать верхнюю пуговицу крахмальной белой сорочки.

В каком-то полусне Вадим Станиславович извлек из кармана стеклянную колбочку с маленькими таблетками, но тут же его рука с этой колбочкой упала на колено. Юлия моментально выхватила у него колбочку, насыпала себе на ладонь несколько таблеток и сунула их ему в рот. Минуту-другую он сидел, согнувшись, закрыв глаза. Потом, не вставая, потянулся к графину с водой, но Юлия опередила его и налила стакан, расплескивая воду по столу и по полу.

Он жадными глотками выпил половину стакана, глубоко вздохнул и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Юлия стояла напротив него, прижав руки к груди. Наконец он открыл глаза и слабым голосом сказал:

- Сердце прихватило, - и в это же время прижал правую руку к левой стороне груди.

- Бедненький, - сказала Юлия и хотела сесть ему на колени, но он, встряхнув головой, встал и прошел к окну.

У окна он немного постоял без спокойно, затем, повернувшись лицом к Юлии, сделал несколько мягких движений руками, отдаленно напоминаявших утреннюю зарядку.

- Может быть, врача вызвать? - неуверенно спросила Юлия.

- Зачем? Пустяки, - отмахнулся он, и его глаза приняли прежнее выражение ясности и голубизны моря.

- Тебе лучше? - спросила она.

- Как будто ничего и не было, - сказал он.

- Ты переволновался, - сказала она.

Он не спеша прошелся по кабинету, глядя в пол.

- Всю ночь не спал, - сказал он. - Жена вывела из себя. А сегодня утром уехала в Кондопогу за детьми. Сказала, что привезет их сюда, назло мне!

- И что же ты? - спросила Юлия, кусая губы.

Он взглянул на часы и сказал:

- Час назад подал заявление на развод.

Сердце у Юлии екнуло, она хотела что-то сказать, но промолчала, затем улыбнулась, но улыбка была недолгой, и по лицу разлилась бледность, сменившаяся через секунду румянцем.

Вадим Станиславович подошел к ней и взял в ладони ее голову. Вглядевшись в ее глаза, он сказал:

- Ты моя! Понимаешь ли ты, что ты моя навсегда!

- Да, - прошептала она.

- Ты моя невеста?

- Да.

- Ты моя жена?

- Да.

- Ты мне родишь ребенка?

- Да.

- Мальчика или девочку?

- А кого ты хочешь? - прошептала она, прижимаясь щекой к его аккуратно подстриженной бороде.

- А ты кого?

- Нет, я первая спросила, - сказала она. - Кого ты хочешь?

- Девочку, - прошептал он ей на ухо и добавил: - Таковую же красивую, как ты.

- Я хочу тебя сейчас же, - сказала Юлия. - Поедем ко мне.

Он крепче прижал ее к себе и поцеловал в губы. А она гладила его спину, шею, голову.

- Подожди меня внизу, - сказал он, отрываясь от ее губ.

Юлия посмотрела на себя в маленькое зеркальце, затем, сунув его в сумочку, двумя пальчиками с облупившимся маникюром помахала Вадиму Станиславовичу, который проходил на свое место, и выпорхнула из кабинета. В приемной секретарша читала "Московские новости", она столь была углублена в чтение, что не заметила, как Юлия вышла из кабинета и как покинула приемную.

У входа в институт на солнышке толпились стайки абитуриентов, живо обсуждали только что прошедший экзамен. Вдруг к Юлии подошел тот юноша, который стрелял в нее глазками на экзамене, и спросил:

- Можно с вами познакомиться?

Юлия с ледящим душу холодком взглянула на него, так что юноша попятился, и сказала:

- Отвали, я занята!

В этот момент из дверей института вышел Вадим Станиславович, и изумленный юноша, знавший, что это декан факультета, увидел, как он взял Юлию под руку и как они вместе, улыбаясь, побежали по ступеням вниз.

Как только они дошли в ее квартиру, избавившись от взглядов прохожих, пассажиров, пешеходов, их бросило друг к другу, словно от подземного толчка. Ее груди расплющились под его ладонями, ее рот, по-новому теплый, сросся с его ртом. Они перестали думать, перестали видеть, испытывая от этого почти болезненное блаженство. Их одежды беспорядочно упали на пол.

Когда Вадим Станиславович лег рядом, он подумал о том, что то, что он делает в последние дни, означает крутой перелом в его жизни, - настолько это не вяжется со всем, что было прежде. Никакие бы даже самые смелые предположения не смогли сравниться с тем, что ныне происходило.

Юлия положила ему руку на грудь, и он перестал обо всем думать, он просто закрыл в каком-то блаженстве глаза и через несколько минут уснул почти что детским сном.

Юлия осторожно, чтобы не разбудить его, встала, прошла в ванную и приняла освежающий душ, затем некоторое время любовалась своим телом перед зеркалом. Взяв пинцетик, она выщипнула три волосика из тонких бровей. Глядя на свои груди, она глубоко вздохнула и села перед зеркалом. Потом она осмотрела ногти и принялась, почистив их пилочкой, покрывать лаком. Кисточка тщательно обходила лунки на ногтях. Убедившись в красоте своих ногтей, она завинтила крышку на бутылочке с лаком, и стала помахивать в воздухе руками, чтобы лак быстрее просох.

Вернувшись в свою комнату, она села на край кровати и склонилась к лицу Вадима Станиславовича. Ее груди коснулись его груди, и он раскрыл глаза.

Словно во сне, в счастливом сне, он как-то поспешно обхватил ее руками, и прижал к себе, и поцеловал в губы. Она обвила его шею, а он, точно растерявшееся, преследуемое животное, хотел выскользнуть из-под нее, но она не дала ему этого сделать. И он, забыв все напряжение вчерашнего вечера, забыв окончательный разрыв с женой, как бы вычеркнув из жизни все прошлое, ощутил небывалую нежность.

В глазах Юлии появился масляный блеск.

Припав к нему в последний раз, она воскликнула:

- О, милый! - и упала рядом на подушку.

Минут через двадцать она встала, накинула халат и плотнее запахнула его. Пока Вадим Станиславович принимал душ, она приготовила кофе и бутерброды с сыром.

Вадим Станиславович вышел из ванной просветленным, даже каким-то посвежевшим. Он погладил Юлию по волосам, поцеловал в щеку и сел за стол.

- Тебе хорошо со мной? - спросила она.

- Безумно!

- Ты любишь меня?

- Люблю, - сказал он менее страстно, отпивая кофе.

- Мы поедем на море? - с долей неуверенности спросила она.

- Да. Мы обязательно с тобой поедем на море. У меня есть прекрасное местечко под Евпаторией, деревня Оленевка, море в ста метрах. Правда, я там не был, но друзья говорят, что превосходное местечко. Показывали как-то по телевизору в "Клубе путешественников" окрестности Евпатории, я посмотрел и удивился, какие, оказывается, в Крыму есть еще девственные места. А тут у меня приятель собирался в отпуск. Бусыгин, с кафедры электроники. Ну, я его попросил съездить в те места. И что бы ты думала? Приезжает, отдохнув, с адресом в эту самую деревню Оленевку, застолбил великолепную комнату у старухи! Так что, Юличка, мы с тобой в эту комнатку и махнем через недельку!

- Как это здорово! - воскликнула Юлия, глядя его бороду.

Вадим Станиславович встал и сказал:

- Мне пора в институт. В четыре часа у меня деканат.

Когда он ушел, Юлия кинулась примерять пестрые купальники, чтобы уже сейчас быть готовой к поездке в Оленевку. Ее захватил дух какого-то карнавального веселья. Она уже просто сгорала от любопытства: что же это за Оленевка такая на берегу моря? Это любопытство было вызвано тем, что Юлия ни разу не была на море. На миг ей померещилось, что она на корабле и берег исчезает на горизонте.

И настроение у Юлии было веселое, праздничное. Когда пришла мать, Юлия лежала на тахте и читала учебник физики.

- Какая сегодня великолепная погода! - сказала мать. - А ты все с учебниками. Хоть бы вышла подышать воздухом.

- Последний экзамен остался, мамочка! - воскликнула Юлия, захлопывая книгу. - И я - студентка!

Мать посмотрела на нее с улыбкой и спросила:

- Ну, как он-то?

- Ничего, - ответила Юлия.

Мать засмеялась.

- Завидую я тебе, - сказала она. - Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то талант.

За ужином мать все вздыхала и покачивала головой.

- Но все на этом свете имеет конец, - сказала она как бы между прочим. Отчасти эти слова она адресовала и себе.

Юлия ела без аппетита и время от времени поглядывала на мать, как бы вопрошая, все ли идет так, как нужно. Мать молчаливо подтверждала, одними глазами, мягкими и добрыми, что все идет, как нужно.

Зачем говорить в счастливые дни, что будут и страдания, что, возможно, Юлия разлюбит его или он разлюбит ее и будет ей изменять, а Юлия будет приходить в отчаяние и сама начнет изменять. Но настанет время, когда и все это станет воспоминанием, наступит старость и Юлия-старушка будет холодно рассуждать о прожитом, и считать это прожитое совершеннейшими пустяками.

Она очень любила дочь. Но ей было ясно, что в один прекрасный момент Юлька выскочит замуж и оставит ее. Однако мать старалась не думать об этом.

- А что он говорил тебе сегодня? - спросила мать.

- Да, в общем, ничего особенного, - сказала Юлия, стараясь быть равнодушной. Но потом не выдержала, рассмеялась и радостно воскликнула: - Он сказал, что мы поедем на юг! Сразу же после экзаменов!

- И куда же?

- В Крым.

- А для меня там местечка не найдется? - усмехнувшись, спросила мать.

- Да что ты, мама!

- Я шучу, - сказала мать и повторила: - Шучу.

Ложась в постель, Юлия все время думала о море, о солнце, о пляже, о Вадиме Станиславовиче, а потом - о подвенечном пла-

тье, о свадьбе... Потом она унеслась в белые облака и видела под собою горы с белыми шапками ледников.

Экзамен по физике прошел столь же удачно, как и по математике. Наконец настал день, когда перед входом в институт вывесили списки зачисленных, и Юлия, как бы не веря сама себе, с волнением прочитала собственную фамилию.

Юлия не то испугалась этого, не то удивилась и смотрела на список большими глазами. Она даже запыхалась от этого чтения и побледнела. Затем еще и еще раз вглядывалась в свою фамилию и, как богомолка, про себя читающая молитву, шевелила губами.

А рядом были восклицания, вздохи, слезы.

- Ну, как?! - услышала Юлия обращенный к ней вопрос.

Она оглянулась и увидела того молодого человека, который на одном из экзаменов рассматривал ее.

- Полный кайф! - машинально воскликнула она и порозовела от прилива счастья.

- И у меня то ж! Поступил! - воскликнул юноша и взмахнул руками. Пальцами правой руки он изобразил "козу". - Прошвырнемся? - спросил он.

- Что ты ко мне привязался?! - отрубила Юлия. - Ты же знаешь, что я занята!

- Я думал, ты уже освободилась! - сказал он с оттенком ехидства.

Юлия смерила его уничтожающим взглядом с головы до ног и, отвернувшись, пошла в институт.

- Мы же в одной группе! - услышала она сзади.

Вадим Станиславович вышел ей навстречу из-за стола, радостно распахнув руки для объятий. Прижавшись к нему, она откинула назад голову и он поцеловал ее в губы.

В Евпаторию они ехали в мягком вагоне "СВ". Юлия проснулась рано. От непривычки спать в поезде у нее немного побаливала голова. Она томилась от ожидания встречи с морем, и все утро смотрела в окно. Ей были видны горделивые тополя, освещенные солнцем. Над домами деревень - голубое небо, птицы, а за зелеными садами - просторная степь.

Проснулся Вадим Станиславович, обнял ее за плечи и тоже уставился в окно счастливыми глазами.

До Оленевки от автовокзала добирались на машине. Старушка-хозяйка встретила их радушно и сразу же спросила, глядя на Юлию:

- Это, что же, дочка ваша будет?

Вадим Станиславович немного смутился, но затем сказал:

- Жена.

Юлия сразу же захотела идти на море. И когда она увидела его голубую даль, то вся затрепетала, и глаза ее сделались большими, яркими и засияли влагой.

На пляже Вадим Станиславович сразу же принялся надувать матрас. Наблюдая за этим, Юлия сказала:

- Я совсем не умею плавать, - и скинула халатик.

На ней был миниатюрнейший купальник желтого цвета. И матрас был желтый.

- Это ничего, - сказал Вадим Станиславович. - Я тебя научу.

Солнце обжигало плечи.

Юлия стремглав бросилась к воде. Из-под ее ног летели брызги. Она, окунувшись, весело стала бултыхаться на мели. Наконец Вадим Станиславович надул матрас и вошел с ним в воду. Море синело в глазах Вадима Станиславовича, слитое с небом в одну раскаленную полосу.

Юлия легла на матрас, и Вадим Станиславович, толкая его впереди себя, поплыл вдаль.

Юлия смотрела сквозь прозрачную воду на дно и видела отчетливые тени от матраса и от плывущего Вадима Станиславовича.

Вдруг ей стало страшно, потому что они заплыли так далеко от берега, что он превратился в полоску, а тени на дне уменьшились почти что до точки.

- Хватит, - сказала она.

Вадим Станиславович послушно остановился и подплыл к ней сбоку. Она с улыбкой посмотрела в его глаза и вдруг заметила, что они резко стали мутнеть. Вадим Станиславович схватил Юлию за руку и хотел подтянуться, чтобы вскарабкаться на матрас, но от этого сама Юлия чуть не оказалась в воде.

Юлия с силой дернула свою руку, и она выскользнула из руки Вадима Станиславовича. В следующий момент Юлия, застыв от изумления, увидела, что голова Вадима Станиславовича исчезла под водой и что все его тело, плавно извиваясь, пошло вниз.

Море любовно втягивало его в себя, просачиваясь в волосы, в уши, в нос, забираясь во все складочки тела.

Юлия в ужасе закричала так пронзительно, что у нее зазвене-
ло в голове, и перед глазами поплыли синие круги.

Спустя мгновение, она увидела, что уменьшенное тело Вади-
ма Станиславовича, как тельце новорожденного, задело дно,
качнулось в медленных струях подводного течения и затихло.
Серебристые пузыри тянулись тонкой нитью к поверхности.

Все вокруг замерло. Только синело море, слитое с небом, да
где-то далеко, на берегу, продолжалась хлопотливая жизнь.

В книге "Философия печали", Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990, тираж
100.000 экз.

В сборнике "Эрос, сын Афродиты" (сборник открывает Юрия Нагибин "Любовь вождей", а
закрывает Юрий Кувалдин "Не говори, что сердцу больно"), Москва, издательство "Москов-
ский рабочий", 1991, тираж 100.000 экз.

Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006,
тираж 2000 экз. Том 2, стр. 95.

ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Слышно, как вдали стучат топором по дереву.
А. П. Чехов. Вишневый сад

- Есть другая реальность: воспоминаний, картин, обобщений, духа! - крикнул, встал и заходил долговязый Волович. - Подробности...

- Парийский может по этому поводу речь толкнуть, - предложила Инна, укладывая ногу на ногу.

Парийский, в очках, в белой рубашке с короткими рукавами, в сандалиях на босу ногу, откинулся к спинке стула.

Он, подумав, сказал:

- Читал Ницше. Настолько самоуверенно, бессвязно, с той самой "поэзией", с которой я в контре, что, кроме иронии, ничего не вызывает. - Он на мгновение остановился, глядя на расхаживающего Воловича, и продолжил: - Хотя очень недурно написано. Захватывает... Все это дионисийство давно выродилось в хамство, пьянство, проституцию... Лирой воспевал желудок! Если Ницше сравнить с Аввакумом, то Ницше кажется просто фиглярю рядом с глубоко серьезной и трагичной фигурой первого русского писателя. Как можно бороться с идеализмом, если идеализм - единственное, что отличает человека от животного!

Алик Петросов, пошатываясь, появился из правой кулисы с огромным телевизором "Темп" в руках, подошел к рампе и остановился, часто шмыгая своим внушительным крючковатым носом. Он стоял на краю сцены, как над пропастью. Экран телевизора засветился: толстощекий мужик в модных очках, говорить не умеет, сплошное "так сказать" и ни к селу, ни к городу - "народ, народ".

- Очень низка культура, - сказал Алик, напряженно сутулясь под весом телевизора. - А ведь претендует на роль проповедника. Хоть бы раз написали о деревне, как в свое время сделали это Бунин и Чехов! Честно: рвань, грязь... А то - сопли в квасе, и морда от водки лоснится. Если мне, тысячекратно русскому, это противно, то каково же остальным?!

Волович резко взмахнул рукой:

- Стоп! Это делать нужно иначе, - быстро заговорил он, обращаясь к Алику тоном просителя. - Ты из жалости к себе не можешь смеяться над окружающими. Критика твоя исходит оттого, что ты не прощаешь, а все помнишь. А нужно забыть! В конце ты все забываешь, но начинаешь сначала: углубляешься в расчеты с Парийским. Ребенком ты жил, не зная ничего о жизни, только Парийский подавлял знанием!

Инна усмехнулась. Парийский заметил:

- Перепады настроения. Как это важно! Любой человек живет этими настроениями. Как не может быть всегда хорошо, точно так же не может быть всегда плохо.

- Да поставь ты телевизор! - сказала Инна.

Алик пошел, тяжело переставляя ноги в кедах, в глубину сцены, где стояла солдатская койка, покрытая серым одеялом с двумя широкими белыми полосами в ногах. Алик поставил "Темп" производства 1957 года возле спинки койки, подумал и сел на него, уперев локти в колени.

- Хорошо! - воскликнул Волович. - Мы обрастаем подробностями, в которых вся соль. Быть во власти сюжета - значит галопом проскакать по эпизодам. Идти от эпизодов, не заботясь о сюжете, на мой взгляд, путь более правильный.

Лицо Инны выхватил луч прожектора.

- Фабула: я - есть все, - сказала Инна, вставая со стула. - То есть все во мне, и я могу (могла быть) каждым. Не навязчивая идея, а степень погружения в историю, как в жизнь конкретных людей, точно таких же по природной своей сути, как я. Меня всегда интересовал вопрос, почему сознание "вдувается" в конкретного человека. Почему мое сознание не "вдуто", допустим, в Алика?

Инна держалась гордо, на лице были красные пятна.

Из левой кулисы появился простоватый человек с лестницей-стремлянкой. За ним, сильно хромя, с прямой ногой, длинноволосый малый лет двадцати. Было видно, что малый, хромя, наигрывает. Простоватый человек - Поляков, светловолосый, с широким полноватым лицом - остановился в середине сцены, раздвинул стремянку и полез вверх. Все заметили, что Поляков был босиком.

Пока он лез по высокой лестнице к колосникам, двадцатилетний малый - Клоун (такое у него было прозвище) - хромал вокруг

этой лестницы с видом умалишенного, чем вызвал хохот Воловича, смех Париийского, улыбку Алика и легкое возбуждение Инны.

С сильным грузинским акцентом, шепелявя, Клоун сказал:

- Жизнь идет своим порядком. На Хамовническом плаце смотрел верховой упражнением. Мне очень нравилось смотреть на лошадей. Конюхи их чистили. Одну лошадь кузнец подковывал.

Из-за сцены донесся звук удара металла о металл. Голова Полякова исчезла в колосниках. Видны были лишь босые ноги на верхней перекладине лестницы. Послышался голос Полякова:

- Небо оделось в тучи. - Тенорок у него был маленький, но приятный.

Клоун вдруг обратил внимание на глаза Инны и сказал:

- У вас очень умные глаза.

Инна в ответ что-то пробормотала, смущенная таким заявлением.

Поляков почесал ногу о ногу, спустился и сказал:

- Я погасил задолженность за электричество. А так у меня все валится из рук, - он равнодушно толкнул лестницу, и она с грохотом повалилась на подмости. - Я только наружно сохраняю спокойствие,

Волович сел на койку, закурил и задумчиво вымолвил:

- Мне это не нравится.

Инна возразила что-то. Волович повторил тверже:

- Мне это не нравится.

- Я оставляю за собой право иметь свои взгляды и вкусы! - сказала Инна, выходя к рампе. Яркий луч прожектора все еще высвечивал ее лицо с большими голубыми глазами. Как бы что-то вспоминая, она продолжила: - Я стояла у собора, когда он был закрыт. Луч солнца озарял большую главу. Позолота окрашена, но кое-где краска смылась, и солнце играло на позолоте.

- Когда это было? - спросил Алик, продолжая сидеть на телевизоре, экран которого голубо светился.

- 18 августа 1889 года, - сказала Инна. - С тех пор пейзаж бульваров изменился.

- Я согласен, - сказал Алик.

- Ты бы ноги помыл, - сказал Париийский, обращаясь к Полякову.

Поляков потрогал челку своих светлых волос, ответил:

- Импортное мыло пахнет не по-нашему.

Клоун продолжал хромать, ходя теперь уже вокруг лежащей лестницы по эллипсу.

- Твое хождение действует на нервы, - заметила Инна.

Клоун скорчил плачущую физиономию, обхватил руками то место, где у человека, согласно Дарвину, был хвост, и сказал:

- У меня гриппозное состояние! А хромание благотворно действует на мою психику.

Парийский осторожно подошел к Инне сзади, взял ее за талию и передвинул, как глиняную статуэтку, в сторону из луча прожектора. Сам встал в этот луч, линзы очков блеснули. Парийский энергично выбросил руку вверх и с пафосом воскликнул:

- Немыслимо примириться с мыслью, что смерть есть уход в Ничто!

Судя по взволнованному лицу Инны, можно было предположить, что она догадывалась, что это не Парийский говорит, а она сама, но догадка была слабой, едва мерцавшей на горизонте сознания и не привносившая в реальность происходящего ровно никакого изменения.

Волович перехватил ее взгляд, сказал:

- Переживай до полного воплощения, перевоплощения в человека конца века, все видеть его глазами... А то у нас так познают тех людей, что получается, что все они до 17-го года были плохие! Какая-то сверхзадача - огадить прежних людей.

- Взаимодействие сна и яви, - тихо сказал Клоун и перестал хромать. - Пошли покурим, - сказал он Полякову.

- Пойдем, - сказал Поляков и волоком потащил лестницу за кулисы.

Алик встал с телевизора и нерешительно подошел к Парийскому, который продолжал стоять в луче прожектора с вскинутой рукой. Синхронно повернули головы, и на белом заднике сцены отпечатались черные профили.

Из кулисы строевым шагом вышел Поляков в армейских кирзовых сапогах. Здоровый деревенский парень с бычьей шеей, широкоскулым лицом, с небольшим вздернутым носом, светлые, почти что белые волосы и брови, и ресницы, на щеках легкий румянец. Поляков шел, сильно стуча каблуками и высоко выбрасывая ноги, как караульный солдат, но руки при этом были прижаты к бедрам, и казалось, что он сейчас упадет.

Но вместо падения Поляков сильно ударил плечом Алика и заорал голосом старшины:

- Ты, солобон, че стал в дверях, не стеклянный!

- Я с вами коров не пас, - полушутливо бросил Алик и, пройдя к телевизору, опять сел на него.

- Ща-ас как дам! - Поляков грубо замахнулся, поднося кулак к очкам Парийского. Поляков видел, что Парийский пугливо зажмурился и отступил на шаг из луча. В луче остался лишь кулак. Поляков крикнул: - Че менжуешься?!

Волович оживленно потер руки, сказал:

- Точно так шутит Поляков. Это что-то страшное, скотоподобное, держащее в своих руках всех и каждого, это - рота охраны Инны, а не муж. Вот вам и дети природы! Особенно невероятно звучит: "философ Поляков".

- Да ему хоть книжку в руки надо дать, - сказал Парийский.

- Да нет, - возразил Поляков, - зачем мне книжка? Я так буду философствовать. Ну, например: это все от ученья! - Поляков заговорил не своим голосом. - Раньше книжек не читали, вот и порядок был...

- Стоп! Плохо! - крикнул Волович, и его лицо, узкое, с длинным носом, помрачнело. - Снимай сапоги! Эта версия не пойдет. Зачем множить ублютков...

Поляков развел руки в стороны и, пожимая плечами, ушел в правую кулису. А Волович вслед сказал:

- Даже подлецу дай глоток клубничного сиропа или проще - осветли его. Это придаст жизненность.

Клоун, с папироской в зубах, выглянул из-за кулисы и голосом человека, которого обокрали, заорал:

- Смотришь на людей и видишь, что никто из них не думает ни о смысле жизни, ни о Боге и не работает над собой!

- Цыц! - выдохнул Волович и улыбнулся.

- На взлет! - крикнул Алик, нагнулся и включил звук телевизора под собой.

Перекрывая звучание телевизора, Инна воскликнула:

- Хорошо жить на свете и заниматься любимым делом. Для меня это дело - сцена!

Парийский подошел к койке, лег поверх одеяла, подбил подушку под головой.

Медленно опустился черный задник с окном, забранным решеткой.

Луч прожектора погас. Стало совсем темно: и в комнате, и за окном. Через некоторое время раздался голос Парийского:

- Алик, включи свет.

- А его нет, - отозвалась Инна, и комната осветилась трехрожковой люстрой.

- Где он? Где Волович, Клоун, Поляков?

- Алик пошел в магазин, а эти уехали.

Парийский поправил тонким пальцем очки на переносице и вздохнул. Затем спросил:

- Значит, ты хочешь, чтобы Волович устроил тебя на телевидение?

- Да.

После некоторого молчания, когда было слышно лишь, как стучал старый будильник, Парийский вздохнул и сказал с насмешкой:

- В гении метишь! Гении по блату... Так, так. - Он шевельнулся на койке. - А как насчет - возлюби отца и мать своих? Пойми, что твоя жизнь столь же величественна, что и жизни других прежде живших гениев. Гений - это тот, кто беззаботно возвышается над авторитетами, отвергнув их. Подавленные магией авторитетов - это всевозможные пушкиноведа (с наганами, как говорил Осип Эмильевич) и прочие веды! Гении - отчаянные личности, без страха идущие на штурм любой мысли, оставаясь при этом в рамках христианских заповедей, то есть этики. Без соблюдения этики это уже злодеи!

- Ты всегда говоришь так сложно, что я не понимаю, - сказала Инна.

- Чего же тут непонятного? Прегрешение пред душой человеческой. Душу гробят. Скоту корыто поставь, он и доволен. Мне стакана воды и черного хлеба достаточно, дай только душу открыть, дай возвыситься душою, дай поговорить, - сказал Парийский и взглянул на часы. - Который час? Не разгляжу. - Он пошевелил очки на переносице.

- Десять минут восьмого.

Инна подошла к шкафу с зеркалом в средней створке и принялась рассматривать себя.

- Я красивая?

- Красивая.

- Так почему же меня никуда не взяли! - воскликнула Инна. - Я понимаю, что комплекс красоты сбивает с толку. Ты сам говорил, что красивые женщины глупы, как правило. Но я стараюсь

развиваться, читать... И тем не менее давит на меня эта красота... Институт культуры заканчиваю, а что делать, не знаю. У меня нет никаких целей. Вот Волович хлопочет на телевидении, в дикторы хочет устроить. А что такое диктор? Попугай. Читает чужие бумажки...

- Мы все читаем чужие бумажки, - вздохнул Парийский. - Едва родимся, как начинаем читать чужие бумажки. Зачем, почему? Не знаю. И никто не знает.

- И я не знаю.

Инна оглянулась, положила руки на бедра и погладила их со вздохом. Выражение лица у нее было оживленное. Подумав, она подошла к Парийскому и села на край кровати, сетка которой скрипнула. Парийский лениво обнял Инну за талию и привлек к себе.

Раздался звонок в дверь. Инна пошла открывать и вернулась с Аликом. Тот держал в руках две бутылки вермута.

- Холодно, - сказал Алик. - Надо к лету готовиться.

- Декабрь, а он - к лету, - сказала Инна, поправляя волосы перед зеркалом.

- Цыган шубу продает в декабре, - невозмутимо парировал Алик и черенком вилки сорвал белую пробку с бутылки. Пробка с шумным шлепком ударилась в потолок. Густая бордовая жидкость забулькала в чашки.

- Я не буду, - сказала Инна.

- Мы тебе такой смазки и не предложим, - сказал Алик, поднося чашку Парийскому, который продолжал лежать на койке.

После двух чашек Парийский заснул. Алик включил телевизор и сел на него. Экран светился без звука и без изображения. Инна подошла к двери, ведущей в смежную комнату. Дверь была крест-накрест забита досками.

- Все ушли на фронт, - сказала Инна.

- Зря все-таки он развелся, - сказал Алик и кивнул на спящего Парийского. - Хорошая была женщина. Саша. И дочка хорошая.

- Как скучно Парийский пьет, - сказала Инна.

- Скучно.

- Ты будешь смотреть телевизор, когда я буду вести программу "Время"? - спросила Инна, разглядывая себя в зеркало и поглаживая бедра ладонями.

- Без звука, - сказал Алик, встал с телевизора и, подойдя к Инне, обнял ее. - Хорошо заниматься любовью при свете и у зеркала.

В дверь позвонили, Алик с неудовольствием оторвался от Инны и пошел открывать. Шумно вошли Клоун с Поляковым. Клоун принес водки, а Поляков гитару.

Растолкали Парийского. Тот, зевая, поднялся на кровати и привалился спиной к спинке.

После того как выпили, Парийский попросил Клоуна:

- Витек, сделай эту...

Клоун, подбоченясь, сделал шаг вперед, выпятил грудь и тонким громким голосом отчеканил:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра Борис Букреев. "На солнечной поляночке"!

И немислимо высоким тенором азартно запел, пуча глаза:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.

Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума!

Парийский улыбался и в такт причмокивал губами. Поляков между тем настраивал гитару, и, когда Клоун закончил и поклонился, Поляков ударил по струнам и хрипловато запел:

Едем, едем в Братиславу.
Мчит наш БТР.
Уходи с дороги, дядя.
Контрреволюционер!

Едем мы не на гулянку
И не водку пить
Уходи с дороги, дядя,
Можем задавить!

И хором - Алик, Клоун, Инна и даже вполголоса Парийский - грянули припев:

И, траками играя,
Шумит-поет мотор!
Машина ты лихая,
Наш бронетранспортер!

Поляков, как и Клоун, был молод, только что демобилизовался, закончив службу в Чехословакии. Он был ранен в руку, делали операцию, одна рука стала короче другой, но действовала.

- Что моя воля, - сказал он. - Прикажут: квадрат 45! И я еду! Мы воюем не с людьми, а с квадратами! Так легче... Но мне горько было, когда вслед кричали: "Оккупант!"

Алик взял топор из-под кровати Парийского и молча пошел на улицу. Через некоторое время за окном послышался стук топора по дереву.

- Это другая реальность, - сказала Инна. Она выпила водки и немного захмелела. Сидела на стуле, положив ногу на ногу, при этом сильно обнажив их.

- Но это было у Чехова, - вяло проговорил Парийский.

- Мало что было! - воскликнул Клоун. - Что же теперь, Парийский, тебе без света жить! Правильно рубит. Днем, как ночью, в квартире!

Поляков брэнчал на гитаре и поблескивающим взглядом смотрел на Инну.

- У тебя красивые ножки! - сказал он и подмигнул Клоуну.

Тот подошел к Инне сзади и обнял ее за плечи. Поляков резко встал, отложил гитару и подхватил Инну за ноги. Подняв Инну, друзья понесли ее к ванне, которая оказалась из левой кулисы, где была заколоченная дверь. Инна взвизгнула и оказалась в воде.

- Как тепло! - сказала она.

- Который час? - спросил Парийский.

- Начало одиннадцатого, - сказал Поляков, потирая руки.

Парийский шмыгнул носом, снял очки и аккуратно положил их под подушку.

Через минуту он уже спал.

Верхний свет погас. Луч прожектора выхватил Инну, отжимающую платье над ванной. Из кулисы показался Клоун с биноклем в руках. Он поднес бинокль к глазам и навел его на обнаженное тело Инны.

- Что ты на меня смотришь? - спросила она, почувствовав на себе острый взгляд. - В чем мне теперь ехать?

- Это мы мигом, - сказал Клоун и развесил белье над газовой плитой на веревке. - Ты не уезжай, Инна! - с придыханием добавил он, смущенно отводя взгляд.

На сцену быстро вышел длинноногий Волович.

- Стоп! С этим стриптизом нас никто не выпустит!

- А с квадратом 45 выпускают? - усмехнулась Инна, прикрываясь пледом. - Нас даже с "Оптимистической трагедией" в вашей трактовке не выпускали.

Она ушла в кулису, из которой тут же появился в черной рясе Поляков - Священнослужитель из "Оптимистической трагедии". Низким голосом он зачитал текст по бумажке, которая была у него в руке: "Как угодно. Я хотел вам помочь. Я хотел спасти вам жизнь, а вы предпочитаете смерть. Вы ведь знаете, как это происходит. Разрыв тканей, околечение. И первый червь проползет сквозь горло в нос. Глаза засыхают. Везде молчание... Так что ж, подумайте. Ведь ни у кого нет другой жизни, только эта единственная, такая крепкая..."

Из-за окна продолжал слышаться стук топора по дереву. Вошла Инна в черной кожанке с кобурой на бедре. За нею, крадучись, показался полуголый Клоун.

Стало тихо.

Инна извлекла бумажку из кармана, взгляделась в текст: - "Это не шутка? Проверяете?"

Клоун прошелестел своим текстом:

- "Н-но... У нас не шутят".

Инна прочитала:

- "У нас тоже". - Прикоснулась к кобуре и сказала: - Пух. Убит.

Затем продолжила чтение: - "Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Ты? (Другому.) Ты? (Третьему.) Ты? (Стремительно взвешивает, как быть, и, не давая развиваться контрудару, с оружием наступает на парней.) Нет таких? Почему же?... (Сдерживает себя и после молчания, которое нужно, чтобы еще немного успокоить сердце, говорит.) Вот что. Когда мне понадобится, - я нормальная, здоровая женщина, - я устроюсь. Но для этого вовсе не нужно целого жеребячьего табуна".

Инна сунула текст в карман кожанки, сняла ее и бросила поднимающемуся с пола Клоуну. Тот ушел с курткой в кулису.

- Спать хочется, - сказала Инна и потянулась.

На койке зашевелился Парийский, пошарил под подушкой, нашел очки и надел их.

- Который час? - спросил он.

В дверях показался Алик с топором, как дровосек. К его одежде налипли щепки.

- Светает, - сказал он, положил топор под кровать и сел на телевизор.

Парийский встал с койки, покачнулся и вытянул руки перед Собой. Руки сильно дрожали.

- Фу-у, - вздохнул он и сказал: - Надо снять колотунчик...

Этот "колотунчик" он произнес с заиканием и принялся копаться в ящике стола, шелестя обертками лекарств. Насыпав на ладонь штук семь разноцветных таблеток, Парийский проглотил их все сразу и пошел умываться.

На полу возле койки вповалку спали Клоун и Поляков. Когда Парийский ушел на работу, из кулисы показались Инна с Воловичем. Они быстро разделись и легли на свободную койку. Стемнело. Лишь голубовато светился экран телевизора, и поэтому были видны ноги Алика, продолжавшего сидеть на телевизоре.

Луч прожектора выхватил лицо Клоуна, глаза которого были открыты.

Клоун приложил ладонь к уху и прислушался к шепоту, доносившемуся до него с койки:

- Ты была с ними?

- Нет, не была.

- Какая ты крепкая...

- Какой ты большой...

Клоун сжал зубы, поморщился, как от боли, и зажал уши ладонями. Проснулся Поляков, сел, потер глаза пальцами. Его светлые волосы были всклокочены, а рыхловатое лицо припухло от сна и выпитого накануне.

- Пойдем на Ленивку, - сказал Поляков.

- Пойдем, - сказал Клоун и кисло улыбнулся.

Волович встал с кровати, накинул на узкие плечи пиджак и спустился со сцены в зал. Подойдя к режиссерскому столику, Волович зажег на нем настольную лампу, нащупал в кармане пиджака сигареты и, закурив, сел.

- На сегодня достаточно, - сказал, кашлянул, посмотрел на часы.

В верхнем фойе поблескивал паркет и стояли кресла в белых чехлах. Парийский сидел в одном из кресел и покуривал. Поляков, держа в руках гитару, подошел к нему, спросил:

- Ты завтра дежуришь?

- Да. А что? - белый тонкий палец прижал мостик очков к переносице.

- Сестру хотел показать.

Парийский в знак согласия кивнул и, увидев выходящего из зала Воловича, встал. Следом за Воловичем вышли Инна, Алик и Клоун.

Алик, почесав в задумчивости крючковатый нос, спросил у Парийского:

- Юраш, ну что, я сегодня заберу телек?

- Давно пора, - сказал Парийский, спускаясь по мраморной лестнице клуба к фойе, где была раздевалка.

Волович шел с Инной и о чем-то шептался. Клоун снял с вешалки шубу Инны и предложил ей одеться. Когда их глаза встретились, Клоун покраснел.

Когда вышли на улицу, шел легкий снежок, было темно, фонари горели тускло. По набережной пробежали редкие машины.

- Мы пройдемся до Балчуга, - сказал Волович, беря Инну под руку.

- Я с вами, - сказал Поляков, держа зачехленную гитару на плече, как полено.

- Привет! - сказал Парийский.

- Привет! - сказал Волович, поднимая воротник демисезонного пальто.

У трамвайной остановки брусчатка мостовой поблескивала, как чешуя свежемороженой рыбы. Парийский поскользнулся, чуть не упал, но его поддержал за локоть Клоун, на котором была короткая куртка, и он зяб в ней. Алик курил и смотрел задумчивым взглядом в сторону метро "Новокузнецкая", откуда ждали трамвая.

Парийский надел кожаные перчатки, которые были великоваты и кончики пальцев которых были загнуты, как воровские отмычки.

Вздохнув, Парийский сказал:

- Волович предложил подхалтурить в одной программе. Он делает какую-то муру в своей редакции. Я отказался. Вернее, принял это сообщение, как говорится, к сведению, не более. Тот

период, когда я мог халтурить, миновал. Мне сорок лет. Что же из этого следует? То, что актерство - это замыкание на себе. И я замкнулся. Смотрю на окружающих и вижу, что они бегут от себя - вовне. Я же наоборот - извне давно уже иду в себя, пропуская внешний мир через свою душу. Только в этом случае можно чего-то достичь. Другого пути нет. И в этом отношении я превращаюсь в замкнутого, неинтересного для других индивида, живущего от времени до времени в поисках вдохновения.

Белый глаз трамвая вынырнул из-за деревьев, припорошенных снегом.

- Ты прав, - сказал Клоун, ежась в своей осенней куртке. - Прекрасно создавать нечто новое, совершенно свободно, без всякого образца!

Вагон был пуст и ярко освещен лампами дневного света.

- День на колесах в туннеле ночи! - громко сказал Алик.

Парийский опустился на красное сиденье, Алик и Клоун встали рядом, держась за поручни. Кроличья шапка, облепленная снегом, была глубоко надета на глаза Парийского, так что даже очки пришлось снять. Глаза Парийского, бледно-голубые, улыбнулись.

- Покровка еще торгует! - произнес Парийский.

Клоун провел покрасневшей рукой по заснеженным густым волосам (он ходил без шапки) и, вздохнув, сказал:

- Я пустой.

- У меня тридцать три копейки, - тоже с долей грусти сказал Алик и покосился на руку Парийского, которая полезла в карман.

- Сегодня за аборт Зинка полтинник отдала, - сказал Парийский и извлек из бумажника красненькую бумажку.

У Яузских ворот он вышел, а Клоун с Аликом поехали до дежурного магазина у Покровских ворот.

Выйдя из трамвая, Парийский пошел переулком к дому, который располагался в коротком Тессинском переулке, у Яузы.

Через некоторое время по черным строчкам его следов шли Алик и Клоун, достаточно быстро отоварившиеся.

- Купили бы хоть сырок зажевать! - с досадой в голосе сказал Парийский. - У меня ничего нет.

- Картошка есть? - спросил Клоун, выставляя на стол портвейна четыре бутылки - по 2 р. 20 к. и три бутылки жигулевско-

го пива. - Жалко деньги на закуску тратить. Смотри, отличный портвейн! И пивко на утро!

- Ну, Витек! - усмехнулся Парийский, стаскивая галстук с шеи. - Рационалистичный ты человек!

- Просто знаю, что нужно брать больше, - рассудительно ответил Клоун. - Все закроется, куда бежать. А мы хорошенько посидим, без затей.

- Чего там, конечно, - поддержал Алик.

На кухне стоял большой квадратный стол, покрытый выцветшей клеенкой. Тут же за полиэтиленовой занавеской была ванна. На газовой плите стояла сковорода с застывшим на дне жиром.

- Я никогда не мою, - сказал Парийский, садясь к столу и принимаясь открывать бутылку. - Сразу можно жарить.

Алик и Клоун в две руки быстро начистили картошки, нарезали ее на раскаленную сковороду.

Ни с кем не чокаясь, Парийский медленно выцедил стакан портвейна, облизал губы и сказал:

- Как говорил Пиранделло, жизнь надо или прожить, или в книгу вложить!

Выпили и "кашевары".

Алик улыбнулся, стягивая зубами горячие ломтики жареной картошки с вилки, сказал:

- Вчера бродил в Замоскворечье. Зашел во дворик, где родился Островский, и понял, что все его пьесы про деньги!

- Открытие, достойное дурака, - беззлобно сказал Парийский, откидываясь к спинке стула. - Островский писал не про деньги, а про нас. Это надо понимать! - подумав, Парийский обратился к Клоуну: - Витек, давай, спой!

Клоун не заставил себя долго ждать. Он встал, опустил руки по швам, скосил глаза к переносице и голосом кастрата завопил:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Бориса Александрова Иван Букреев! "На солнечной поляночке"!

Предвкушая удовольствие, Парийский улыбнулся, поправил очки и сложил руки на груди.

На солнечной поляночке,

Дугою выгнув бровь...

Клоун пел форсированным тенором, точно попадая в тон, который набил оскомину исполнителями армейского ансамбля.

Между столом и ванной стоял телевизор “Темп”, который давно не работал и который использовали вместо стула. Алик сидел на этом телевизоре и похохатывал. Когда Клоун кончил и сел к столу, Алик, смахнув слезы, сказал:

- Прекрасно отражен идиотизм нашего времени. Мне, как и тебе, Юраш, - обратился он к Парийскому, - сорок лет, и ничего, кроме идиотизма, я не видел. Когда учился в архитектурном, были какие-то мечты. А теперь, - он махнул рукой, - одна студия и осталась. И та гибнет на корню. Вернее, наш модернизм будет зарублен на корню. Ты говоришь, что время пишет набело и что играть нужно только экспромты. Может быть, может быть. Но я уже ничего не понимаю. Мой мозг съедает питье. А без питья я совсем опухну в своей архитектурно-планировочной мастерской. Да что говорить, вы все сами видите... Маленькую девочку лаская, от обид в грозящий лифт! - несуразицей закончил Алик, налил, посмотрел на желтоватую жидкость и выпил.

Парийский угрюмо посмотрел на Алика и пошел в комнату, где стояла солдатская койка, покрытая серым одеялом с двумя белыми полосами на нем в ногах. Вдоль стены высился самодельный стеллаж с книгами. На письменном столе стояла пишущая машинка “Эрика” с заряженными чистыми, проложенными копиркой листами бумаги. Парийский снял с полки хорошо переплетенный машинописный том Гумилева, вернулся в кухню, нашел, пошелестев страницами, нужное и, чмокнув губами, прочитал:

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы.
Передо мною летел трамвай.
Как я вскочил на его подножку,
Было загадкой для меня.
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня...
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала.
Где же теперь твой голос и тело?
Может ли быть, чтобы ты умерла?
Как ты стонала в своей светлице.

Я же напудренною косою
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.
Понял теперь я: наша свобода -
Только оттуда бьющий свет.
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет...

- У меня такое впечатление, что мы живем в другой реальности, - сказал Алик.

- Кто-то уже об этом говорил, - сказал Клоун. - Наверно, Иван Букреев. Глубина интеллекта...

- Мы - как река, - сказал Алик. - Нас сковали гранитные берега, но мы течем сами по себе.

- Точно сказано, - воскликнул Парийский, - точно! - вскочил и побежал к машинке "Эрика".

Послышалось ее суховатое щелканье, по бумаге побежал текст:

"Алик сидел на телевизоре.

Алик: Мы - как река. Нас сковали гранитные берега, но мы течем сами по себе.

Парийский: Иногда Алик говорит умные вещи. А ведь он родился в тюрьме. Да, мать-алкоголичка родила его в тюрьме. Отец у Алика тоже был алкоголиком. И мне кажется, если бы не наши ребята, в том числе я, то Алик бы давно уже спился. С детства он ходил ко мне, читал мои книги, играл со мною в шахматы, занимался в кружке изобразительном в доме пионеров. Он шел по моему следу и выстоял. Больше того, окончил архитектурный институт...

Алик: Чтобы проектировать Бескудниковский бульвар. Одно название - Бескудниковский - меня страшит. В этом названии слышится что-то беспардонное, хамское, бандитское... Когда я слышу это название, то вижу желтые бараки, пьяные рожи, поножовщину... Я не виноват в этом! Не виноват!

Парийский: В чем не виноват?

Алик: В том, что напроектировал пятиэтажных барачков! Серость! Иногородние живут! Москвичей нет! Культуры нет! Вся Москва - это Бескудниково!"

- Юраш, кончай стучать! - сказал Алик, поднялся с телевизора и пошел в комнату.

Следом пошел Клоун. Алик заглянул через плечо Парийского в текст.

- "Москва - это Бескудниково!" - прочитал он и усмехнулся. - Неплохо.

- Я же говорю, что пьеса пишется экспромтом и набело. Более того, лучшая пьеса та, которая не имеет текста. Волович, кажется, это начал понимать.

Алик слушал Парийского, глядя в одну точку, серьезно, покачивая головой, глаза его поблескивали, и он изредка бормотал:

- Возможно. Возможно. Возможно...

У пишущей машинки на столе горела яркая лампа. Трехрожковая же люстра горела тускло, и поэтому свет настольной лампы резал глаза. Алик зажмурился, затем сказал:

- Вся эта наша пьеса - лажа! Дурака валяем от нечего делать! А таланту - с гулькин хвост. Вот и пыжимся на уровень гениальности! Кругом серость, и мы - серость, и все люди - серость, потому что живут вслепую! Никто ничего не знает. Отвлекаемся разными химерами: работой, театром, телевизором! Серость, серьезная серость. Главное ведь, посудите, каждый знает, что подойдет, а нет, нос задирает, мол, вкладывает свою лепту в общее дело! Что это за дело? Никак не пойму! Кто меня спрашивал, чтоб мне родиться на свет? Никто не спрашивал! Легли в постель предки и сотворили меня самым примитивнейшим способом, даже противно! Ну, ладно, родился, въехал, так сказать, в общество человека, и что же я вижу? Серость, серость, серость. Чем тупее, наглее тип, тем он выше продирается и еще ссылается на народ! Что это такое за дубина - народ? Продукт слепого процесса! Не более того. Скотоподобие. Рождаемся зверями, скотами. Путь от скота до человека духовного - огромен. Я хочу проделать этот путь, но серость мешает, среда заедает! Буду говорить штампами, давно известными, потому что это давно известное никому, как выясняется, не известно. Я банален, как продукт слепого процесса! Мне жрать нужно и, чтобы не подохнуть от безликого скотоподобия, пить вино. Открывать себя иным мирам.

- Это в пьесу не пойдет, потому что на самом деле банально! Да, Алик, говоришь ты одними общими местами! - проговорил Парийский тоном человека, вполне уверенного в том, что в этом мире нет необходимости произносить банальности, пусть и правильные, - все равно, мол, толку никакого не будет.

Алик как-то равнодушно махнул рукой, вышел на кухню, налил вина и выпил. Утерев рот рукавом, воскликнул:

- Спой, Витек, ублажи душу банального человека! Клоун встал у плиты, подбоченился, выставил ногу вперед и начал:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра Борис Букреев!

Парийский прервал:

- Что он у тебя то Иван, то Борис!

- Я сам не знаю, - сказал Клоун и запел:

Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат...

Он пел тем высоким, пронзительным голосом, каковым, собственно, и поют солисты ансамбля пляски. При этом лицо Клоуна сияло радостью, глаза горели. Он пел и вытягивал шею, как будто собирался взлететь, для пущей убедительности этого намерения помахивал руками.

- Который час? - спросил Парийский, поправляя очки.

- Черт его знает! - отозвался Алик.

Парийский налил вина Клоуну, предложил:

- Выпьем за тебя, здорово веселишь!

- Нет, я больше не буду, - сказал с улыбкой Клоун и, подумав, продолжил: - И тебе, Юраш, не надо. Тебе сорок лет, и ты пьешь почти что каждый день! Ну, ладно, я мальчишка! Я и прикладываюсь за компанию, а так бы и не стал. Когда один - не тянет, понимаешь. Мы теряем время! Давно бы пьесу набабахали. С вином же - тянем ее, тянем, и толку пшик. Алик прав, наша пьеса - лажа, хотя само слово "лажа" мне не нравится. Она не получается потому, что ты механически переносишь нашу жизнь на сцену. А механический перенос не годится, потому что, на мой взгляд, жизнь и сцена - совершенно разные вещи. Ну, кому интересно видеть и знать, что ты уже почти что алкоголик!

- Я алкоголик?! - обиженно воскликнул Парийский и побледнел. - Вот уж от кого не ожидал, так от тебя, Витек! - он покачал головой и отвернулся к окну.

Но Клоун не обратил внимания на это замечание. Судя по взволнованному виду, он и не думал останавливаться.

- Типичный алкоголик, клянящий судьбу! Знаешь, мне противно иногда бывает тебя видеть: маленький, тщедушный, бледный,

дрожащий, а туда же - философствовать, пьесы с листа играть! Противно. И на тебя, Алик, смотреть противно, - Клоун отошел к раковине, в которой валялась неубранная шелуха от картошки. - Ты, как щенок на поводке, за Парийским ходишь. - Клоун включил воду, подставил под струю руку и затем провел влажной ладонью по лицу и волосам. - Какая-то бессмыслица. Но в банальностях Алика больше проку, чем в твоих оригинальностях. Я сам есть продукт серости и никогда не буду это выносить на сцену, потому что в этой серости не только нет никакой загадки, там нет даже того, что мы привыкли называть народной мудростью. Если мудрость в том, чтобы жрать, бить морды и спать, то увольте меня от этой мудрости. Свернуть шею мыслящим людям - это еще не значит устроить общество совершенно. Я вот сам учусь у тебя, прошу ночлега, потому что я - из самой гущи серой массы. У тебя, - Клоун обратился к Парийскому, - хоть дед был священником, отец учителем, а у меня - неграмотные, страшные, серые люди. Что их образ жизни? И мать и отец из деревни. А что такое деревни их? У отца изба топилась по-черному - дым в потолок. Ходили в онучах. Книг никогда не читали и гордились этим. Ходит на завод, вечером храпит после четвертинки. Мать толстая, как свиноматка, двух слов связать не может. Газету прочитать не может! А соседке волосы вырывает вполне успешно за то, что та существует в коммуналке, рядом. Для чего живут? Мне стыдно, что у меня такие родители. Но что мне делать? Я плоть от их плоти, и никуда мне не деться! Они же в Москву протырились через шахту метрополитена! Значит, доброе дело все-таки сделали, и я родился в Москве. И, знаете, прямо-таки дорвался до книг. С каким-то мщением за всю безграмотную серость предков вгрызаюсь в эти книги, потому что хочу многое знать, обогащаться знанием, быть культурным, с себя положить начало интеллигентности рода!

- Ну и клади, - вяло сказал Парийский, - но зачем же другим в душу плевать? Ну, какой я алкоголик? Я пью от тоски по совершенству, которого не вижу кругом. Алкоголик... Да я простой бытовой пьяница...

- Я тоже не алкоголик! - поддержал Алик, посапывая носом. - Молод еще старших-то поучать! Он из крестьян, видите ли! Ну и что! А я из уголовников! В тюрьме же мать меня родила и без моего согласия, повторяю!

- Это он от молодости бунтует, - сказал Парийский. - Посмотрим, как он лет через десять - пятнадцать запоет. - И, оглядев Клоуна с ног до головы, добавил: - Есть все шансы стать патентованным алкоголиком. Тем более плохая наследственность - в деревнях одни алкоголики и жили!

Клоун молча подошел к столу, сел на стул.

- Давайте говорить только о себе, - сказал он и принялся развивать мысль дальше: - Да, только о себе. Обрыдло слышать эти клише: "Как и весь советский народ, одобряя и поддерживая...". Я, например, не одобряю это и не поддерживаю, когда от моего имени, как от малой части народа, что-то там пытаются оправдать...

Парийский снял очки, протер, сказал:

- Скучно мыслишь. Сам нигде не работаешь, из армии комиссовался... Тунеядец, одним словом.

- Я в ГИТИС поступать буду...

Парийский на это только махнул рукой:

- Кому ты там нужен!

- Спой лучше, Витек, - сказал Алик.

- Не буду.

- Обиделся, - сказал Парийский.

- Ничего я не обиделся.

- Вижу, что обиделся... Спой.

Клоун брезгливо поморщился, о чем-то думая про себя, затем, искусственно оживившись, звонко запел:

На солнечной поляночке...

Алик с Парийским чокнулись стаканами, выпили и заулыбались.

- Нет, ты полностью, - сказал Парийский, - с объявлением.

Преодолевая себя, Клоун воскликнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Бориса Александрова Иван Букреев. "На солнечной поляночке". И с иррижимым напряжением запел:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь...

- Очень хорошо, очень хорошо! - потер руки Парийский, медленно поднялся и, покачиваясь, побрел в комнату к солдатской койке.

Когда он заснул, Алик тихо сказал Клоуну:

- Зря ты на него напал. Он отличный парень.

Клоун пожал плечами, промолчал.

- Отличны-ый па-рень! - чуть громче повторил Алик. Было видно, что он начал хмелеть. - О-отличны-ый! - повторил он.

На лице у Алика было торжествующее выражение, словно он этим словом "отличный" что-то доказал и словно радовался, что получилось точно так, как он предполагал.

- Частями, - сказал Клоун, глядя на лицо Алика, на котором лежали густые тени под глазами.

- О-отличны-ый.

- Да и черт с вами! - вспыхнул Клоун и выпил целый стакан. - И я такой же отличный!

Алик ухмыльнулся и положил руку на плечо Клоуна.

- Зна-аешь, критиковать дру-угих мы мастаки... А бревна в свое-оем глазу не видим! Во-от! Это тебе автор проекта Бескудникова говорит. Архитектор высшего класса, которого за это Па-аскуд-никово жи-ивьем в землю закапывать мо-ожно!

Клоун вздохнул, принес из темной комнаты матрац и, расстелив его в комнате у стеллажа, лег. Алик погасил в комнате свет, прикрыл дверь. Слышно было, как он гремел стаканами, вздыхал, сидя за кухонным столом. Сквозь щель в комнату бил узкий луч света и падал на пол возле лежащего Клоуна. Клоун не мог сразу заснуть, думал о будущем, улыбался в темноте и представлял, как он, будучи уже знаменитым актером, будет выходить на сцену, играть в какой-нибудь превосходной пьесе, которой еще нет на свете, но непременно она - эта пьеса - будет к тому времени написана: пьеса мудрая, с философской глубиной в каждой фразе, с энергичным действием и трагичным финалом.

Клоун протянул руку к лучу и заснул с улыбкой на лице. Утром его разбудил Алик. Собственно, утра еще не было. Пять часов.

- Голова гудит, - сказал Алик. Чем бы похмелиться?

- Иди ты к черту! - сказал Клоун, поворачиваясь на другой бок.

Скрипнула сетка кровати.

- Алик, дай водички попить, - стонущим голосом попросил Парийский.

К восьми Парийский был одет и дрожащей рукой бросал таблетки в рот.

- Фу, - вздыхал он. - Как алкоголик!

- Ребята, дайте подремать, - сказал Клоун, зевая.

- Я на работу не пойду, - сказал Алик. - Совру, что трубу паровую прорвало.

- Я бы тоже соврал, - вздохнул Парийский, надевая шапку. - Но сегодня эксперимент.

- Юраш, оставь червончик, а? - попросил Алик, смущенно отводя глаза в сторону.

- Придешь вчера, получишь мукой! - с напускным раздражением бросил Парийский, сверкнул на него очками так, как будто впервые видел, и пошел в клинику.

Клоун умывался, расчесывал свои длинные густые волосы. Настроение у него было неважное. Он думал о том, что нужно устроиться работать, но неинтересная работа пугала его, о том, что нужно показаться дома, но как вспоминал пятнадцатиметровую комнатку в бараке, пьяного отца и тупоумную мать, желание это само по себе отпадало. Клоуну было стыдно за вчерашнюю речь о родителях, потому что, думал он теперь, какими бы они ни были - они все-таки родители, и с ними нужно поддерживать добрые отношения. Пожалуй, нужно к ним съездить.

Когда Клоун уехал, Алик лег на солдатскую койку и проспал до прихода Парийского. Широко зевая, Алик спросил:

- Принес чего-нибудь?

Парийский хмыкнул неопределенно, нагнулся и достал из-под кровати никелированную ванночку с гинекологическими инструментами, блеснувшими в неярком свете трехрожковой люстры, включаемой Парийским и днем и вечером в связи с тем, что зарешеченное окно было маленькое и дом был старинный, маленький, а перед окнами чернел частокол деревьев, зимой еще более или менее пропускавших кое-какой свет, а уж летом - тьму зеленую хранивший.

- Прояви выдержку, - наконец с улыбкой сказал Парийский. - Сейчас одна на аборт придет. Давай-ка быстренько подготовимся. Ты мне проассистируешь!

Алик сразу же одним махом вскочил с койки и принялся за дело: налил воды в никелированную ванночку с инструментами и поставил ее на плиту кипятиться. Парийский тем временем готовил "операционную", смежную комнату, в которую дверь вела сразу из прихожей. Ход в ту комнату прежде был и из комнаты Парийского, дверь сохранилась, но теперь там стоял стеллаж, заставленный книгами.

И дверь была забита. Разведенная жена жила у родственницы.

- Еле провел сегодня эксперимент, - сказал Парийский, доставая из портфеля белый халат и надевая его. - Колотун бьет, а мне зонд в сердце больной заталкивать. Ну, хорошо, Тамара грамм пятьдесят спиртику поднесла. Оклемався. Рука не дрогнула.

Алик что-то промычал в ответ из-под холодной воды: он освежал голову.

- Дал бы мне пятьдесят грамм, если есть, - сказал он.

Подумав, Парийский сделал лицо чрезвычайно серьезным, как подобает врачу перед операцией, затем извлек из портфеля бутылку водки, откупорил зубами и, подняв стакан до уровня глаз, нацедил в него ровно пятьдесят граммов.

- Выспался? - спросил он, когда Алик махом выпил.

- Да... Очень, - сказал Алик и зевнул. - На работу не пошел. Сплю не вовремя, питаюсь плохо, каждый день пью... не здорово все это. Прежде все куда-то спешил, горел, носился с проектами... Потом увидел, что никому не нужны мои архитектурные старания. Никому. Нет частной инициативы, все запихнуто в центрифугу тоталитаризма... Нехорошо! Клоун, по-моему, прав, спиваемся мы, Юраша! Вернее, уже спились, возврата назад нет. Я по себе это чувствую. Как чуть трезв, тоска заедает. Все опротивным кажется. Именно опротивным. Буду ваять новые слова! А выпьешь, так все сглаживается, как будто плохонькую картину лаком покрываешь, и - ничего, смотрится.

Вдруг на глазах Алика показались слезы.

- Ладно тебе, - сказал Парийский, вздыхая.

Алик уставился заплаканными глазами в окно, на черный лес деревьев.

- Обидно, Юраш, - продолжил он. - Я ведь до чего дошел, на женщин не смотрю, тебе ассистирую. А никакого чувства не вспыхивает. Вялый я стал. Это в сорок-то лет!

В шкафчике над раковиной Парийский нащупал нашатырный спирт, открыл, понюхал едкий запах.

- Что ж делать, - вздохнул Парийский. - Наследственная патология: мать алкоголичка, отец алкоголик. Родился в тюрьме.

- Да, в тюрьме, - подтвердил Алик.

- В общем, плохи наши с тобой дела, - сказал Парийский, - поэтому грустить нам не следует. Сейчас придет бабенка, абортируем ее и вздрогнем! Ты бы хоть чайку поставил, - сказал он Алику.

- Я искал, не нашел, чаю нет.

- У меня пачка в письменном столе, в углу.

Алик пошел в комнату.

Раздался звонок в дверь. Парижский пошел открывать. Понесся женский голос, усилился у двери в кухню и затих в дальней комнате.

На плите кипели инструменты. Алик, заварив чай, снял инструменты с огня, слил воду в раковину, наполнив кухню туманом, и отправился с ними в "операционную".

Через некоторое время он вернулся, воровато оглянулся и налил себе треть стакана водки. Только поднес к губам, как раздался звонок в дверь. Подумав, Алик все же выпил, спрятал бутылку под стол и пошел открывать.

Оказалось, приехал Клоун. Он ежился в своей короткой куртке, был красен с мороза. Раздевшись, Клоун прошел в кухню и сел к столу.

- От тебя приятно пахнет водкой, - сказал он Алику и, помедлив, вытащил из внутреннего кармана старенького пиджака бутылку. Это тоже была водка. Поставив бутылку на стол, Клоун сказал: - Мать червонец дала. Жалеет она меня. Приехал, вошел в коридор, а она моет пол. Чулки коричневые ниже колен спадают, платье какое-то драное, волосы седые. Вот, говорит, подработала, на тебе, - и достает с груди, из-под лифчика, десяточку, поешь хоть и сигаретки купишь. Так это сказала - "сигаретки", что я чуть не разрыдался. Вошли в комнату, а мне противно и за них, и за себя. Как в тюрьму пришел. Тоска в комнате, хоть вой. Две кровати с никелированными спинками, какие-то допотопные половики над кроватями прибиты вместо ковров, на столе - сковорода с гречневой кашей. Чуть меня не вырвало. Червонец в зубы и - бежать. Взял бутылку, и на душе легче стало. Думаю, сейчас приеду, там Юраша, Алик! Свои, хорошо. Можно философствовать, читать стихи, быть самим собой. Знаешь, я с матерью чужим себя чувствую. Как иностранец, на разных языках говорим: я ее не понимаю, она - меня. Об отце и речи не идет - каждый день пьяный с завода приходит. Обычных слов не знает. Однажды спрашивает: "По чему трамвай ездит?" Забыл он слово "рельсы". Понимаешь? Я ему подсказал, а он говорит "по рейсам". Да не по "рейсам", говорю, а по рельсам. Он - не понимаю, говорит, что еще за "рейсы" такие. Коверкают слова так, что страшно становится! Ну их к черту, плеебев!

Проговорив столь длинную речь, Клоун взволнованно встал и заходил из угла в угол. Алик сочувственно смотрел на него, затем вытащил из-под стола початую бутылку, налил Клоуну и себе и сказал:

- Не бунтуй, привыкай, привы-ыкнешь!

- Ну, вот, право...

Выпили без закуски. Клоун поморщился, сказал:

- Алик, сходил бы зажевать чего взял. А то я так намерзся, в Перово-то таскаться. Трамвай двадцать минут ждал.

- Я пустой, - сказал Алик.

Клоун покопался в карманах, сунул Алику трояк, затем, подумав, добавил еще пару рублей.

- Возьми еще красенького, что ли, полакироваться, чтоб уж не бегать больше!

Алик оживленно сунул деньги в брюки и, накинув в прихожей, темной и тесной, свой полушубок, помчался в магазин.

В дверях показался Парийский. Он был бледен.

- Никак кровотечение остановить не могу, - сказал он растерянно и развел руками: - Пойдем, поможешь...

Клоун неопределенно пожал плечами и нехотя пошел с Парийским в "операционную".

На квадратном столе, покрытом выцветшей клетчатой клеенкой, возле бутылки водки появился черный жирный таракан, пошевелил усами, словно принюхиваясь, затем быстро отбежал к краю стола, у окна, круто развернулся, словно призывая кого-то, и посеменял к хлебным крошкам, оставшимся со вчерашнего дня. Следом на столе появились сотоварищи прусака, штук пять упитанных тараканов, гуськом направились к крошкам.

В это время из норы под раковиной выскочила остроногая мышь, принюхалась, ловко взобралась на плиту, а там в незакрытую сковороду, где стыли остатки вчерашней жареной картошки, и принялась быстро и жадно есть.

Когда послышался голос Парийского: "...транквилизаторов наглоталась, потом на водку хорошо ложится..." - кухня мигом опустела: тараканы - в щели в полу, мышь - в норку под раковиной.

- Ну, хорошо, остановили, - сказал Парийский, принимаясь мыть руки под краном. - Я даже испугался.

Клоун смущенно посмотрел в окно.

- Противно, - сказал он. - Копаться в этом... А она красивая... И фигура...

- Полновата... Такие бедра! - сказал с улыбкой Парийский.

- Я люблю такие бедра, - кашлянув и покраснев, сознался Клоун. - Ты меня поражаешь спокойствием, Юраша! А я стоял в каком-то любовном экстазе!

Парийский вытер руки о полу халата, снял очки, протер их другой полкой халата, надел на нос и, пристально взглядевшись в лицо Клоуна, сказал:

- Так, влюбился? Вижу - влюбился!

- Ты обедал в клинике? - поспешно сменил тему Клоун.

- Нет, не обедал.

- Так вот кстати и пообедаем. Я Алика послал за закусоном.

- Вообще, надо сказать, я горячего дней десять не ел, - сказал Парийский обиженным тоном. - Да и аппетита как-то нет.

Внезапно на кухне погас свет. Хотя на улице был день, зимний день, день солнечный, в зарешеченное окно слабо лился серенький свет.

- Всю жизнь со светом живу! - возмутился Парийский. - И какой дурак насажал под окнами деревьев!

- Вырубим! - воскликнул Клоун. - Вон Алик придет, и вырубим с ним!

- У меня топора нет, - сказал Парийский. - Да и соседи со второго этажа завопят. Им что, к ним солнце попадает!

- Пила есть?

- Пила должна быть, в сортире посмотри.

Клоун сходил в уборную и через некоторое время вернулся в кухню с большой двуручной пилой, тупой и ржавой.

- Напильничек бы. Поточить, - сказал он, трогая пальцем крупные зубья пилы.

- Посмотри в нижнем ящике письменного стола, - сказал Парийский, снимая халат.

Когда вернулся Алик, Клоун сидел на телевизоре с зажатой между коленями пилой и водил по зубьям трехгранным личным напильником: взжих-взжих-взжих. Пила гудела.

Алик удовлетворенно потер свой крючковатый красный нос, крякнул от удовольствия и выставил на стол две большие бутылки вермута.

Клоун перестал водить напильником по пиле, удивленно уставился на Алика, спросил с досадой:

- А закусон где?

Алик выдержал паузу с улыбкой на покрасневшем от мороза лице, затем извлек из кармана, сырок, плавленый, в серебристой обертке, за 15 копеек, и торжественно произнес:

- Вот он, закусон!

Парийский рассмеялся, Клоун огорченно вздохнул и продолжил точку пилы: взжих-взжих-взжих.

- Грей картошку! - наконец сказал он.

Алик чиркнул спичкой, включил газ под сковородой с холодной картошкой. Из дальней комнаты послышался женский голос:

- Юрий Владимирович, мне можно уже уходить?

Парийский спросил:

- Который час?

Алик принес громко стучащий будильник из комнаты. Поставил на стол, циферблатом к Парийскому.

- Семь минут четвертого, - проговорил Парийский и, подумав, встал из-за стола и пошел к пациентке.

Клоун поспешно отложил пилу и пошел следом. Алик шевелил алюминиевой ложкой шипящую на сковороде картошку, затем, взглядевшись в угол возле ванны, обнаружил там луковицу, поднял ее, почистил и порезал к картошке. Запахло жареным луком.

Вернулся Парийский с деньгами в руках. Он шелестел, пересчитывая, разноцветными бумажками.

- Пятьдесят? - спросил Алик.

- Семьдесят, - ответил сосредоточенный Парийский. - За сложность. Я ее предупреждал. Как видишь, согласилась.

- Жить всем надо! - усмехнулся Алик, продолжая шевелить картошку.

В кухню влетел Клоун, налил полстакана водки, махом выпил, выхватил у Алика ложку, подцепил жареной картошки и, обжигая рот, закусил.

- Вкусно, - сказал он. - Я провожу Ларису!

Парийский, усмехаясь, засунул деньги в бумажник и сел к столу.

- Надо б лампочку вернуть, - сказал он, щурясь в полумраке кухни.

- Я быстро, провожу и назад! - вскричал Клоун и исчез.

Алик бросил деревянный кружок на стол и поставил на него горячую сковороду.

В прихожей зазвонил телефон. Парийский лениво поднялся, пошел к трубке. Послышалось его односложное:

- Дуй!

- Кто там? - спросил Алик, наливая себе и Парийскому.

- Поляков.

Выпив, друзья навалились на картошку и быстро съели ее. Без хлеба.

- Эх, придется заначку доставать, - сказал Парийский и пошел в прихожую. Вернулся он с банкой баклажанной икры. - Открой-вай, Алик! Аппетит пошел.

За окнами совсем стемнело, когда пришел Поляков. Свет в кухню падал из комнаты, от трехрожковой люстры. Желтая трапезия этого света лежала на столе. Парийский сидел спиной к двери из комнаты, поэтому его лицо было в тени, а лицо Алика с крючковатым носом было освещено этим желтым светом и казалось восковым, с лиловыми кругами под глазами.

Поляков тут же выкрутил лампочку из настольной лампы и, встав на стул, ввинтил вверх. Кухня осветилась и сразу же уменьшилась в размерах.

- Свет крадет пространство! - тут же заметил Алик.

- И не говори, - сказал Поляков, присаживаясь к столу.

Алик убрал пустую бутылку под стол, открыл вилкой другую, налил Полякову. Выпили. Поляков осторожно развернул сырок и отщипнул пальцами уголок белой массы.

- Как мне все надоело! - вдруг воскликнул Поляков, и на его широком рыхловатом лице выразилась досада. - Юраш, ну ты бы смог жить с недоделанной, а? Ведь договорился, что повезу ее сегодня к тебе, а она вздумала за хлебом пойти. Ну, пошла, курва, и пять часов ходила! Я отпросился с работы, сидел как дурак, ждал ее, а она! Сам знаешь, как она ходит! - Поляков вскочил из-за стола, скорчился, перекособочился, высунул язык, скосил глаза и сделал два спотыкающихся шага, таких, которые характерны для больных полиомиелитом. - Упала где-то, поскользнулась, не могла подняться, никто не поднимал... В общем, черт ее поймет! Пришла окоченевшая, синяя. Мать в слезы. Я психанул, шапку в руки. Как так жить дальше! Все в одной комнате. Она же больная, а на очередь с трудом поставили, говорят, года через три дадут квартиру. Денег не хватает: мать шестьдесят рублей получает, и я семьдесят!

Парийский вздохнул, сказал:

- Знакомо. Социальный портрет выходцев из деревни.

- А мне хочется сказать вам что-нибудь приятное, веселое!

Поляков достал расческу и принялся причесывать свои белые мягкие волосы. Дунув на расческу и убирая ее в карман, подмигнул Алику и сказал:

- Скинемся?

- Чего скидываться. Полбутылки водки еще осталось да пара бутылок вермута...

- Не, я вермут не буду! - сказал Поляков и выложил на стол мятый рубль.

Парийский посопел носом, подумал, затем накрыл этот рубль червонцем и сказал:

- Тебе и бежать... Да-с...

- Я не против! - улыбнулся Поляков, завидев красненькую.

- Только возьми чего-нибудь поесть, - сказал Парийский.

Раздался звонок в дверь. Поляков, готовый идти в магазин, столкнулся с Клоуном.

Когда Клоун разделся и сел к столу, Парийский радостно потер руки, уютно привалился к спинке стула и сказал:

- Витек, давай, спой!

Клоун был в хорошем расположении духа, с лица не сходила улыбка. Он быстро выпил, закусил баклажанной икрой, встал, подбоченился, выбросил руку вперед и воскликнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Бориса Александрова Иван Букреев. "На солнечной поляночке"!

Парийский даже причмокнул губами. У Алика заблестели глаза от предвкушения удовольствия.

Клоун грянул:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.

Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил,
Какие полушалки ей
Красивые дарил...

Парийский с Аликом не выдержали, вскочили из-за стола и выстроились в линию рядом с Клоуном, выпятив по-армейски груди. Все дружно грянули припев:

Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума!

Хоровое пение прервал звонок в дверь, Парийский впустил Полякова и... Воловича с Инной.

- Знаменитая сцена - не ждали! - входя на кухню, громко и в нос, почти что гнусаво, проговорил долговязый Волович. Он всегда говорил таким голосом: высоким и гнусавым. С рождения.

Инна была в модных очках. Лицо ее было сильно накрашено.

Алик помог снять Инне шубу. Поляков выставил на стол три бутылки сухого и водку.

- А пожевать? - огорченно спросил Парийский.

- Закусывать аморально! - сказал Волович.

Поляков бросил на стол три плавленых сырка, сказал:

- Думал-думал и... чтобы не бегать, взял по полной программе!

Когда выпили, в комнате стало как будто светлее.

- Что такое морально, аморально? - проговорил Алик.

В связи с отсутствием места Инна сидела у Воловича на коленях.

- У нас есть страстное желание жить, - задумчиво заговорил Клоун. - Есть желание продолжать жизнь, и есть страх перед уничтожением этой жизни. Моральное, следовательно, заключается в том, что служит сохранению и развитию жизни. Аморальное же уничтожает жизнь или препятствует ей. Короче, моральное - это добро. Аморальное - зло.

- Умно! - усмехнулся Волович и выпил сухое вино, смешанное с водкой.

Клоун несколько смутился от замечания Воловича, но спиртное действовало растормаживающе на психику, и Клоун спокойно продолжил:

- Фактически можно все, что считается добрым в обычной нравственной оценке отношения человека к человеку, свести к материальному и духовному сохранению и развитию человеческой жизни и к стремлению придать ей высшую ценность.

Поляков вскинул удивленный взгляд на Клоуна, как бы поражаясь, что тот может так рассуждать, и выдохнул:

- Хорошо сказал: высшую ценность! Хорошо...

Клоун продолжил развивать мысль:

- И наоборот, все, что в отношениях людей между собой считается плохим, можно свести в итоге к материальному и духовному уничтожению или торможению человеческой жизни, а также к отсутствию стремления придать жизни высшую ценность. Так что добро и зло - стороны одного и того же процесса: жизни. Поистине нравствен человек только тогда, когда он, следуя душе своей, помогает любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред. Для него священна жизнь, как таковая...

Парийский некоторое время был мрачен, затем вдруг рассмеялся и сказал:

- Ладно, непротивленец, сбациай нам что-нибудь для поднятия жизненного тонуca. То есть, говоря твоими словами, помоги живой жизни жить!

Инна, порозовевшая от вина и умных разговоров, захлопала в ладоши.

Клоун медленно вышел на середину кухни, вскинул руку, растянул рот в улыбке и объявил:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра ЦСКА Иоган Букреев. "Давно мы дома не были".

Инна улыбнулась, а Волович легонько поцеловал ее в щеку. Возвышенным тенором армейского солиста Клоун грянул:

Горит свечи огарочек,
Гремит недалний бой...
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой...

И тут же, не допев куплет, Клоун крикнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра Иван Букреев. "Дорожная песня".

Голос Клоуна зазвучал на пронзительно верхних нотах, как голос Робертино Лоретти:

Лучами красит солнышко
Стальное полотно.
Без устали, без устали
Смотрю, смотрю в окно...

И тут же объявление:

- Слова А. Суркова, музыка М. Блантера... Запел:

Для нас открыты солнечные дали.
Горят огни победы над страной.
На радость нам живет товарищ Сталин,
Наш мудрый вождь, учитель дорогой...

Клоун закончил, мрачно сел к столу и после некоторой паузы сказал зло, резко:

- За одну эту песню Суркова с Блантером нужно подвесить за одно место!

Алик посопел носом, возразил:

- А как же насчет способствования сохранению жизни?

Все засмеялись, а Клоун махнул рукой:

- За это место, на которое ты намекнул, не подвешивали блантеров с сурковыми, - сказал Волович. - Это место зажимали во внутренней тюрьме дверями и добивались любого признания! Чего хочешь добивались, ломали людей... Куда там инквизиции! Какие-то станки пыточные, приспособления. А тут ничего не надо: это место защемляют дверью - и готово! Наш директор клуба как-то рассказал. Оказывается, он гэбэшничал в самый разгул... Так-то...

- Как это страшно! - воскликнула Инна. - Как мы все напуганы террором...

- Да не все, не все! - вскричал Клоун. - Этому директору до лампочки, моим предкам - до лампочки, вообще всем, кто не прикоснулся к духовности, - до лампочки. Их никто никогда не трогал! Понятно! Били и бьют мыслящих, духовных людей, то есть интеллигенцию. Она всегда помеха. Потому что совестлива и врать не может! - Клоун замолчал, затем сказал: - Алик, пошли пилить вишневый сад!

- А там, правда, вишни? - спросила Инна.

- Вишни, - сказал Парижский.

- А вам уже известно, что ваш вишневый сад продается за долги, на седьмое декабря назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя хорошая, спите себе спокойно, выход есть, - проговорил Клоун, поднимая над головой двуручную пилу.

Волович спросил у Клоуна:

- Разрешите бросить реплику?

- Буду рад, - сказал Клоун.

Волович:

- Извините, какая чепуха!

Инна:

- Вырубить? Простите, вы ничего не понимаете. Если по всей Яузе есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только вишневый сад.

Парийский:

- Замечательного в этом саду только то, что он закрывает собою весь свет в окнах. Вишня не родится. Весной лишь хорошо цветет белым, как невеста в фате. Но я во двор лет двадцать не выходил, да и делать там нечего.

Клоун взял пилу за спину, как опытный пильщик, и согнул ее. Алик оделся, перехватил пилу. Оделся и Клоун. Они ушли.

Через некоторое время послышался достаточно отчетливый, пилящий звук из-за окна.

- Скоро Новый год, нужно покупать елку, - мечтательно произнесла Инна.

Волович погладил ее по волосам.

- Мы пойдем в ту комнату? - спросил Волович у Парийского.

Парийский неопределенно подмигнул и склонил голову. Как хотите, так и понимайте: нужно - идите, не нужно - сидите.

Инна потянулась, встала с коленей Воловича, и направилась через прихожую в "ту" комнату. Волович направился следом.

- Дозволено цензурю, - сказал Поляков, проводив их взглядом, насмешливым и едким.

- Отрицать, верить и сомневаться так же свойственно человеку, как лошади бегать, - сказал Парийский, разглядывая розоватую этикетку на бутылке вермута. - Не нужно иметь слишком возвышенной души, чтобы понять, что в этом мире нет вовсе удовлетворения истинного и прочного, что все наши удовольствия только суэта, что наши бедствия бесконечны, что, наконец, смерть, ежеминутно нам угрожающая, должна неминуемо в короткое время довести нас до страшной необходимости, или навек исчезнуть, или нам уготовано вечно быть несчастными. Как бы мы ни храбрились, это - конец, который ожидает и самую прекрасную в мире жизнь. Стоит только подумать об этом, и придется сказать, что благо в этой жизни обусловлено надеждой на другую жизнь - вечную... Там, далеко... Через сто лет люди обретут, может быть, эту надежду, а мы... мы живем на разломе духовности, в сокрушительном безверии, в потере координат муд-

рости, когда невежество одержало единоподержавную победу над плюрализмом интеллекта...

- Где твоя гитара? - спросил Поляков, вставая из-за стола.

- Там, - кивнул грустно расфилософствовавшийся Париийский на свою комнату.

Из-за окон неслось: взжи-взжи-взжи...

- Пилят, - вздохнул Париийский, - вопреки драматургии пилят. Нужно рубить, а они пилят мой вишневый сад. Послышался звон струн, Поляков вышел с гитарой.

Ботиночки дырявые,
Один хожу-брожу
И пальцами корявыми
Подошвы шевелю,
Ой-ой, ей-ей,
Да по асфальту...

Голос у Полякова был высокий, тоскливый и чуть-чуть хрипловатый. Париийский посмотрел в потолок и вновь заговорил:

- Я, умеющий думать, полный идиот, дурак, потому что не знаю, кто меня послал в мир, чтобы узнать мир. Я не знаю, что такое я...

За окнами продолжала звенеть пила. Поляков вполголоса пел:

Ой-ой, ей-ей,
Да по асфальту...

Париийский говорил:

- Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мои мысли, что такое мои чувства, что такое моя душа, что такое эта самая часть моего "я", которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я нахожу себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я брошен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить...

За окнами звенела пила, повизгивала: "знай, знай, знай..."

Поляков хрипловато подпевал:

Ой-ой, ей-ей,
Да по асфальту...

- Я вижу везде туманные бесконечности, которые поглощают меня в себе, как атом, как тень, которая продолжается только момент и никогда не возвращается... Все неопределенно шатко. Поэтому невежды, опасаясь духовного произвола, все организуют в схему, в план, в сценарий, чтобы спокойно знать, что будет завтра. Они сегодня строят вилами на воде свое планомерное завтра и от этого впадают в ужасную скуку, в тоску, поэтому разрывают себя на две субстанции - одна для схемы-плана, другая для темной комнаты, где грудастые жены или любовницы обвиняют их дряхлые тела, как холодные змеи. Не зная, откуда пришел, я точно так же не знаю, куда иду. Говорят, что живем для будущего. Хорошо. Предположим, это так. Но какими идиотами были те миллиарды моих предков, которые готовили мне это будущее, в котором оказался теперь я. Оптимистом, разумеется, хочется быть, хочется верить, что через сто, двести, тысячу лет люди вкусят бессмертия, откроют для себя завесу, скрывавшую тайну этого бесконечного тиражирования человеческих жизней. Привет вам от алкоголика Парийского из 1969 года! Привет всем интеллигентам-плюралистам от подпольщиков духа...

Ой-ой, ей-ей,
Да по асфальту...

Донесся хруст дерева, падающего на снег.

Загремели какие-то металлические предметы в соседней комнате.

Перебирая струны гитары, Поляков сказал:

- Наверно, смысл жизни в том, чтобы стать интеллигентом и говорить такие же длинные и умные монологи, как ты, Юраша. Нет, что ли? Конечно, да. Но при этом не забывать, так сказать, о сфере материального производства, а то нас обыватели сгноят, как всегда гноили.

- Не люблю слова "обыватели"... Что это, кто это?

- Обыватели - живущие материально и не по совести. Интеллигенты - живущие мыслью и по совести. Совесть, по-моему, в первом приближении - суть христианские заповеди. Проще не скажешь...

Хрустнуло еще одно дерево и упало.

- Не люблю этих всеобъемлющих разговоров, - задумчиво сказал Парийский. - Как что, так давай - экономические рычаги,

свободное время на культуру общества... Бред. Познай себя, не вреди другому, зарабатывай свой хлеб, и точка.

Поляков пригладил светлые волосы, сказал:

- Кто спорит. Конечно, свой хлеб и своя душа.

Зазвенела вновь пила за окном: "знай, знай, знай..." Поляков провел пальцами по струнам, запел:

Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой!..
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?

В дверях показался Волович с улыбкой на узком лице. Волович заправлял рубашку в брюки. Подхватив мелодию, гнусаво затянул с Поляковым:

Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть...

Инна медленно вошла, поглядывая на себя в маленькое зеркальце и подкрашивая губы. Инна подтянула:

Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла,
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала...

Краснолицый Клоун показался с пилой, поддержал с порога:

Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернешься ты домой...
И горьки мне, горьки твои упреки,
Горячий мой, упрямый мой!..

Алик вошел следом, от него вкусно пахло морозом. Улыбаясь, Алик присоединил свой голос к хоровому пению:

Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему:
Смотри, смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному...

Клоун, подбоченясь, голосом Букреева перекрыл:

Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой...
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой.

Волович обхватил рукой подбородок, задумался, затем воскликнул:

- С этого же начинать нужно было... Затем в луче прожектора быстро появляется Парийский... Юраша, появляйся!

Парийский нехотя поднялся со стула, подошел к Воловичу.

- И читаешь что-нибудь... Страстно читаешь, - говорил Волович. - Что бы читать тебе? Надо что-нибудь о гражданской войне... У меня идея композиции созрела...

- Композиции?! - удивился Парийский. - А пьеса набело?

- Набело само собой, - быстро заговорил Волович, - но понимаешь, в доме художественной самодеятельности Аза требует прокат спектакль... Я не могу отказать. Слепим? И компромиссом небольшим отделаемся. Подумаешь, споем этих "Кубанских казаков", затем спляшем что-нибудь в ритмах Суворовой Маргариты, затем из Евтушенко что-нибудь, из Окуджавы, из Аксенова, а?

Парийский молча сходил к книжному стеллажу, вернулся с Багрицким, полистал, нашел что-то, подумал и вдруг резко сделал шаг вперед, вскинул руку, голову приподнял, лицо сделал романтически напряженным и, не щадя голосовых связок, чеканно проскандировал:

На плацу открытом
С четырех сторон
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон...

- О! То, что надо! - вскричал возбужденный Волович и, ухватив Инну за локоть, подтолкнул к Парийскому и сказал: - Пой, Инна, пой про девушек, а ты, Юраша, бери ее за руку, ноги вперед и - скульптура Мухиной "Рабочий и колхозница".

Инна и Парийский четко исполнили пожелание Воловича: один к одному, как говорится, получилась скульптура Мухиной.

Инна запела:

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!

Клоун выскочил вперед, замахал рукой и, подвывая, как Евтушенко, запричитал:

Бледные дружинники глядят, дрожа,
Как синенькие джинсики дают дрозда!

Алик сидел у телевизора, подливал спиртного, выпивал и похотывал над балаганчиком. Потом бельевой веревкой обмотал телевизор, поднял его и потащил к выходу.

- Поеду отведу, - сказал он Парийскому, который возбужденно выкраивал композиционную халтуру для проталкивания на конкурсе художественной самодеятельности с тем, чтобы студия могла жить в клубе на Раушской набережной.

- Куда ты на ночь-то глядя? - крикнул Клоун.

- Обещал, не могу подвести.

- Ну, давай, - сказал Парийский.

Алик оделся и, сгибаясь от тяжелой ноши, ушел.

- В пятницу - прогон! - сказал Волович. - Значит, так, весь монтаж - в одно действие - сорок пять минут, как футбольный тайм. Я подберу музыку. Инна - девушек, два стихотворения Берггольц о блокаде. Клоун - Евтушенко, Парийский - Багрицкий, Поляков - под гитару "казаков" и еще что-нибудь советское, я - какую-нибудь прозу...

- "В круге первом", - достаточно мрачно сказал Парийский, вздыхая протяжно.

- Погляди, Юраша, - прогнусавил Волович, - серьезно надо.

Парийский сходил к стеллажу, принес Катаева, проходного и ловкого советского графомана, как тут же аттестовал его Волович, и сунул книжку в карман. В книжке было "Время, вперед!".

- С отношеньцем все это сыграем! - воскликнул Волович и подмигнул Парийскому.

- Понятно, - проговорил тот.

Когда Волович и Инна ушли, Поляков тоже заторопился, напоследок выпил полстакана водки и, закусывая сырком, сказал:

- К бабе опаздываю...

- К даме, - поправил Парийский.

- К даме, то есть к абрикосам с пушком, - усмехнулся Поляков и расшифровал свою мысль: - Дороги, автомобили, мосты - ждут меня!

Был первый час ночи. Легли спать.

Свет был погашен. Клоун спросил:

- Понравилась тебе идея Воловича?

Парийский шевельнулся на кровати, чиркнул спичкой. Лицо осветилось кумачово-голубоватым светом. Закурил. Красный огонек маячил в темноте. Приятно запахло сигаретным дымком.

- По-моему, чепуха, но...

- Что "но"?

- Живем в эпоху всеобщего вранья. И нам соврать надо, но честно. Мы сделаем композицию с широкими швами, то есть проблемами, где подтекст будет читаться даже глухонемыми!

Клоун лежал в одежде на матрасе, брошенном у стеллажа. Парийский загасил сигарету, отвернулся к стене и, сунув очки под подушку, уснул. Клоуну сразу стало грустно, он почувствовал себя одиноким, не нашедшим своей обители в этом мире. Клоун смотрел в темный потолок и думал о том, что таких, как он, на этом свете много, да что там - на целом свете, таких много рядом, стоит лишь оглянуться. Вот, например, Парийский. Жизнь свою пустил по инерции, потерял семью, пьет уже не для веселья, а по необходимости, потому что организм требует алкоголя, как автомобиль бензина, иначе не поедет. А Поляков? Сестра - инвалид со страшным, искаженным болезнью лицом. А Алик Петросов? Кто ему мешает придумывать свои оригинальные проекты? Смирился в критике сущего, а своего нет. А сам Клоун? Полуфабрикат человека, заготовка в алкоголики, будущий актер?

Кто придет к ним и расскажет, что такое счастье?

С этими малоприятными мыслями, поворочавшись на жесткой постели, Клоун заснул.

Утром Парийский бродил в трусах по квартире, тяжело кашлял, вздыхал, искал остатков спиртного, чтобы опохмелиться. На работу он идти передумал, потому что дрожали не только руки, но и ноги, и спина, и голова, и волосы на ней. Не обнаружив спиртного, Парийский насыпал на маленькую ладонь таблеток, грустно посмотрел в темное еще окно и высыпал таблетки в рот.

Когда рассвело, проснулся Клоун. Из окна шел ослепительный снежный свет. Клоун радостно вскочил, отряхнулся и выглянул в окно: несколько деревьев лежало на притоптанном снегу.

Парийский спал. Клоун тронул его за плечо. Парийский открыл глаза, воспаленные, с расширенными зрачками, затем нащупал под подушкой очки и надел их.

- Который час? - спросил он хрипло.
- Одиннадцать, - сказал Клоун, заправляя рубашку, мятую и несвежую, в брюки, которых давно не касался утюг.
- Сгоняй в магазин, Витек?
- Я пить не буду!
- Не пей. Притащи мне. А то помру.
- Пошли прогуляемся, - сказал Клоун. - Смотри, день какой и свет какой. Правильно, что с Аликом спилили деревья...
- Сходи. Помираю.
- Да отчего ты помираешь. Я как ни в чем не бывало. Отличное самочувствие.
- Ты молод. Попьешь с мое, тогда вспомнишь.
- Пошли вместе, погуляем, отдышишься. Нужно тебе расхотиться, понимаешь? Что ты все, как старец, на койке лежишь! Вставай, пойдём, лучше станет...

Наконец, минут через сорок, Парийский поднялся и лениво оделся. Когда вышли из полутемного подъезда, в котором сильно пахло хлоркой, солнце ударило в глаза. Искрился снег. Небо было голубое. Воздух был прозрачен.

Клоун весело скатал снежок и бросил его в кирпичную стену. Снежок звонко прилип к кирпичам, как точка в конце фразы.

Парийский мрачно смотрел себе под ноги, шел неуверенной походкой, вздрагивал, руки держал в карманах пальто, и Клоуну было слышно, как он стучал зубами. К счастью для Клоуна, угловой магазин был закрыт на санитарный день. Парийский проскулил от разочарования. Безусловно, он рассчитывал поправить свое здоровье прямо в магазине, где его все знали и давали стакан в подсобке.

Пришлось идти на Солянку. Желтые особняки в солнечном огне плыли по Москве, покачивались, как лодки, в сознании Парийского. Ему было плохо, многочисленные прохожие раздражали, гул машин пугал.

Когда покупали бутылку, Клоун заметил, что у Парийского много денег.

- Жалко все пропить, - сказал он между прочим. - Хоть бы купил что себе!

Парийский молча, по-видимому ему не хотелось говорить или сил на разговор не было, вышел из магазина и направился в первый подвернувшийся двор. Вздрагивая, с необычайным напряжением сорвал зубами пробку рыжего портвейна и, закатив гла-

за, принялся жадно булькать из горлышка. Отпив треть бутылки, протянул Клоуну.

- Нет, я не буду. Противно, - сказал тот и отвернулся.

Солнце поблескивало в окнах. На карнизах светился снег. Через несколько минут Парийский удовлетворенно, вздохнул и, улыбнувшись, сказал:

- Витек, давай вполголоса Букреева...

Клоун со злостью сплюнул в снег.

- Обрыдло! - вскричал он. - Что я тебе, Клоун, что ли?!

- Конечно, Клоун! А так чего тебя держать...

- Меня держать?! - возмутился Клоун и побледнел. - Да, я свободный человек, я сам по себе, а то, что у тебя, ночую...

Парийский не обратил внимания на возражения, отпил из бутылки, затем заткнул ее пробкой и сунул во внутренний карман.

- Свободный тот, - сказал Парийский, - кто у себя живет, никому не мешает, ни к кому не ходит... Впрочем, чушь все это.

Он вышел из двора. Клоун, расстроенный и подавленный, шел сзади.

У галантерейного магазина Клоун окликнул Парийского:

- Вон кофты мужские видно. Пойдем, купишь себе...

Зашли. У Парийского было прекрасное настроение. Он деловито осмотрел серую вязаную кофту, предложенную продавщицей.

- Хорошо, - сказал он. - И карманы по бокам, курево класть.

От кофты приятно пахло шерстью.

Парийский шел с покупкой по Солянке, улыбался и все просил спеть ему "На солнечной поляночке".

- Юраш, одолжи на дорогу, - вдруг сказал Клоун. - Мне к родителям съездить...

Парийский щедрой рукой нащупал в кармане горсть мелочи и протянул Клоуну.

Клоун шумно ссыпал мелочь в карман своей холодной куртки. Клоун неопределенно чему-то заулыбался, как будто вспомнил о чем-то приятном.

- А я бы сейчас еще служил, - сказал он, продолжая улыбаться.

- Эков своих сторожить?

- Один попал за малолетку. Баскетболист. Читал мне Ахматову. Семь лет получил. А я-то за что, думаю. В красном уголке зоны с ним плакаты рисовали. Я и он - подобие людей на всю зону. Остальные чурки, арканом заловили и в роту охраны. Пару

слов связать не могут по-русски. Тоска такая меня одолела, хоть вешайся. На офицеров смотреть не могу. Думаю, я здесь по необходимости, а они-то добровольно свою судьбу определили. Добровольно в тюрьме работают. Лица, словно топором сработаны. Знаешь, Юраша, есть такой тип людей: лицо не освещено ни одной мыслью. Им бы землю пахать, урожаем сеять, а они понацепляли звезд на погоны... Эх! Что там говорить, противно. Низменные интересы: где мяса достать, рыбы, водки, икры. Жрут, пьют, ряхи наедают, и ноль мысли на челе.

Парийский с доброй улыбкой сказал:

- Чтобы идти в тюремщики, в палачи, в стукачи и так далее, нужно одно условие: отсутствие совести, стыда. А так как эти качества не природные, не данные с рождения, их у этих идущих нет. Отсюда вывод: настоящая интеллигенция никогда не пойдет ни в тюремщики, ни в стукачи, ни в палачи! Это реальность. И ее надо понимать. Мы не идем, а потом удивляемся, откуда там эти физиономии, не озаренные мыслью. Мы же им дорогу даем! И пусть. Потому что нам с ними не по пути, потому что мы живем в параллельной реальности. Ну, как, допустим, Земля вращается сама по себе, а Марс сам по себе. Так и они для нас, как Марс. Пусть вращаются...

Клоун посмотрел на Парийского с любопытством.

- Ты так рассуждаешь, потому что реальность мало тебя задела. А я там, в зоне, за колючей проволокой, на вышке, с автоматом через день на ремень, в тесной казарме с малопривлекательными людьми. Не с кем словом перемолвиться. Одного баскетболиста и нашел. Ахматову читал и сокрушался, что из-за целки всю жизнь себе переломал. Сама отдалась, чтобы он женился, чтобы с ним за кордон ездить... А он не хотел пока жениться. Мамаша девицы и посадила. Наслушался я его, тоскливо мне стало. Ладно, думаю, не буду я тут за одну присягу отбывать в тюрьге. А действительно получилось, что я не служил, а отбывал. В увольнение ходить было некуда. Ближайший поселок за двадцать километров. Кругом степь голая! Ах, так, думаю! Купил в военоторговской палатке десять пуговиц и стал их глотать. На просвечивание меня повезли, пару месяцев в госпитале кантовался, и признали язву. А я по пуговице перед рентгеном!

Показался трамвай. Клоун сорвался с места, побежал, оглянулся, крикнул:

- До репетиции! - и вскочил в вагон.

Не потому побежал и вскочил в вагон, что ехать ему нужно было куда-то, а потому, что противно стало вдруг ходить в клоунах у Парийского...

На "Кировской", у черного памятника Грибоедову, Клоун вышел из вагона и стал думать, что бы ему предпринять. К родителям он и не собирался ехать. Достал из кармана мелочь, пересчитал: около двух рублей. Неплохо! Взглянул на солнце, зажмурился, поежился от холода и решил спуститься в метро, погреться.

Доехал одну остановку до "Дзержинки", вышел и направился к "Метрополю", в кино. Сидел в теплом тесном зале, смотрел какую-то дребедень про войну и мучительно соображал, как взять собственную жизнь в руки и куда ее направить.

После кино слонялся по улицам, неприкаянный, никому не нужный, даже родителям, которые его уход восприняли с благодарностью, де, мол, места больше будет. Эдак вышвырнули его на волю, как котенка в воду: выплывет - выживет! Папаша пьяный кричал, когда увидел досрочно возвратившегося из армии сына, что не ждал, что он тут не нужен... Пьяный был папаша, спать хотел ложиться отдельно от матери, а теперь нельзя было лечь отдельно: сыну место подавай!

Вдруг Клоун вспомнил Ларису, которую провожал от Парийского, отыскал записанный на клочке бумаги номер ее телефона, позвонил из будки автомата.

- Мне очень грустно, - сказал он в трубку, - мне некуда деться. Я один. И я тебя люблю.

Он услышал в трубке смех.

Пошел сильный снег, крупный, радостный. Потому что его радостно ловил ладонями Клоун, спеша в метро, чтобы ехать на "Сокол" к Ларисе.

Вот ее дом-башня, дом высокий, белый, чистый, как рафинад, как прямоугольник белого пенопласта, которым пользовался Алик, макетируя свое Бескудниково.

На лифте Клоун поднялся на шестой этаж.

Однокомнатная квартира, паркетный пол, уютно. На кухне Лариса усадила Клоуна за белый стол, отделанный пластиком. Клоун ел борщ со сметаной и смущенно опускал глаза. Лариса сидела глубоко в старинном кресле.

- Тебе нужно срочно подыскать работу, - говорила она. - Так же нельзя жить. Что это за философия - не работать?

- Это философия неприкаянных, разочарованных людей, - с долей иронии проговорил Клоун.

В кухню вошла Маша, шестилетняя дочь Ларисы, сказала:

- Дядя меня в садик поведет?

Лариса рассмеялась.

- Дядю самого нужно вести в садик, - сказала она, поглядывая на Клоуна сочувственно.

Маша играла на полу в комнате, а Лариса с Клоуном сидели на диване, смотрели на нее и разговаривали.

- Я развелась из-за того, что не видела в муже интеллекта. Его ничего не интересовало: ни кино, ни литература, ни театр.

- Зачем же нужно было выходить за него?

- О! Учились вместе в школе... Так, по привычке. Три года прожили и разошлись. Он деловой!

Клоун поморщился, сказал:

- Не выношу это слово: "деловой"!

Она засмеялась. Затем встала и подошла к окну, за которым горели огни города. Клоун тоже встал и, преодолевая смущение, вдруг обнял ее и поцеловал...

В пятницу он был в клубе на Раушской набережной. На сцену был дан свет выносных софитов. Поляков сидел на солдатской койке и брэнчал на гитаре. Вскоре появились Волович и Инна. От бархатных черных кулис пахло пылью.

- Где Парийский? - спросил Волович. - Где Алик? Не люблю, когда опаздывают... Театр начинается с дисциплины! Поляков громко ударил по струнам.

Открылась дверь в конце зала, вошел Парийский. Пройдя проходом к сцене, не поднимаясь на нее, он с какою-то странною веселостью воскликнул:

- Алик погиб!

На Парийском была серая новая кофта. Из кармана виднелась пачка сигарет "Ява".

- Не люблю, когда опаздывают! - грозно сказал Волович. - Да еще так глупо шутят.

Парийский поднялся на сцену, пожал руки собравшимся, затем сел на койку возле Полякова. Когда Парийский пожимал руку Клоуну, тот почувствовал винный запах, идущий от него.

- Я не шучу, - все с той же веселостью сказал Парийский. - Алик погиб. И нужно ему было тащить этот телевизор! Повез его

куда-то за город, на платформе то ли поскользнулся, то ли телевизор его перевесил, но итог: упал вместе с телевизором под электричку...

- Нет, ты серьезно? - воскликнул Волович, бледнея.

Наконец улыбка сошла с лица Парийского.

- Вполне, - сказал он.

Поляков побледнел и встал. Струны гитары жалобно взвизгнули.

Минуту все стояли молча, не глядя друг на друга.

- Не могу понять, - с волнением сказал Клоун, - был Алик, и нету... Не могу понять.

- Ну, что же тут непонятного, - сказал Парийский. - С телевизором упал под электричку, удар, крик, стон и конец.

Парийский сразу как-то постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной.

Клоун почувствовал себя слабым, жалким, и ко всему этому еще примешивалось чувство неловкости, стыда за эту нелепую смерть Алика.

После некоторого молчания Волович сказал:

- Смерть в жизни - это одно. Смерть на сцене, в пьесе - это совершенно другое. Нам на сцене нужен живой Алик. А в настоящем виде, то есть со смертью Алика, пьеса более интересна в исходном замысле, нежели в воплощении. Драматичная сама по себе житейская история Алика не может быть так оборвана на сцене. Вообще, я считаю, что обилие ужасов в жизни возможно, но не в произведении искусства. Если у нас Алик будет гибнуть на сцене, то зритель невольно воскликнет классическое: они пугают, а нам не страшно.

- Но Алик мертв, и похороны завтра, - сказал Парийский. - Он мертв, искалечен. Холодные останки его покоятся в морге.

Лицо Воловича выхватил яркий луч прожектора.

- Да, в жизни любой идиотизм проходит. Люди гибнут, умирают. Трупы лежат в моргах. На кладбищах копают могилы. Ломами долбят холодную землю. Ну и что из этого?.. Что, мы должны убивать зрителя смертями и кладбищами? Закон искусства - поднимать душевный настрой людей, а не долбить ему о смерти.

- Не ему, а им, людям-зрителям, - поправила Инна. Было заметно, как на ее глазах блеснули слезы.

Парийский встал с койки, вошел в луч света, несколько потеснив Воловича.

- Так вы хотите не пьесу, а нечто развлекающее, - сказал он. - Единственная вещь, утешающая нас в несчастьях, - это развлечение, а между тем оно является самым большим из наших несчастий.

Волович усмехнулся, спросил:

- Как же так?

- А так, что оно главным образом мешает нам помышлять о себе и незаметно нас губит. Без развлечений мы очутились бы среди тоски, а эта тоска принуждала бы нас искать более действенные средства выйти из нее. Но развлечение забавляет нас и заставляет совершенно незаметно приближаться к смерти. Если бы человек был счастлив, то его счастье было бы тем больше, чем меньше он предавался бы развлечениям...

Клоун нервно заходил вдоль рамп.

- А ты зачем развлекаешься?! - вскричал он, вскидывая руку в сторону Парийского. - Ты же залез, как мышь, в нору развлечения. Эти вечные просьбы: Витек спой! На тебе:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке...

Высочайшим тенором пропел Клоун и, обхватив лицо руками, убежал в кулисы.

- Ну, то я, а то законы искусства! - бросил вслед Парийский.

- Какие к черту законы. Искусство создается только беззаконием, - сказал Поляков. - Только дерзость способна продвинуть искусство. И я считаю, что Алик должен погибать на сцене, как в жизни! Нечего нам-то лакировать действительность!

- Да бросьте это, - миротворно сказал Парийский. - Я пару бутылочек принес. Все же надо помянуть Алика.

Волович подошел к стоящему на сцене телевизору, долгим взглядом посмотрел на него, затем нагнулся, включил и, когда за светился экран, сел на него.

- Печально, - сказал он.

Все помолчали. Клоун вышел из-за кулисы, засмеялся и, прижимая ко рту ладонь, сказал:

- Все мы тут ради развлечений и собираемся. Чего уж там врать самим себе. В этом смысле я поддерживаю Воловича. Нам скучно, нас одолевает тоска, поэтому мы расходимся по студиям, по кино, по театрам. Нам скучно в одиночестве, нам тоскливо с

самими собой. Вот в чем дело. И это характернейшая человеческая черта. Им было скучно, и они пришли на нашу пьесу, а мы им - гибель Алика. Нужно это или нет, я пока не знаю. Что я могу знать, если я себя не знаю. Я лишь знаю одно, что я точно хожу в студию потому, что мне просто пойти некуда, я как нищий прибился к ночлежке. Но все-таки нужно говорить правду, раз наша пьеса пишется набело!

Волович посмотрел на Клоуна долгим, испытующим взглядом, затем поднялся с телевизора и подошел к Инне:

- Ты тоже от скуки сюда ходишь?

- Пустяки, - махнула носовым платком Инна.

- По сути, Витек прав, - сказал Парийский. - Я уж определенно хожу сюда от нечего делать. Иногда даже затем, чтобы выпить с приятными людьми. Я сейчас принесу вина.

Парийский не спеша пошел в фойе. Волович пожал плечами.

- Конечно, все мы скучаем в жизни. А я, что, не такой? Тоже приходится скучать. Но я не даю скуке покорить меня. Я просто ухожу от нее, не говорю о ней. Мало ли что в жизни случается, так что же, мы должны обо всем говорить?..

Клоун резко прервал Воловича:

- Должны! Потому что опасно слишком выставлять на вид человеку, насколько он равен зверям, не показывая ему величия его. Потому что опасно также слишком выставлять ему на вид величие, не указывая на низость. Еще опаснее оставлять его в неведении относительно того и другого. Но очень выгодно выставлять ему на вид и то и другое. Пусть сам человек дает себе настоящую цену. Пусть он любит себя, потому что он способен к добру. Но пусть он и ненавидит себя за все низости, которые в нем есть...

- Да ладно вам митинговать! - крикнул Парийский, появляясь на сцене с портфелем.

Поляков провел расческой по своим светлым волосам, дунул на нее и, выставив вперед, как указку, сказал:

- Пришел бы человек со стороны и подивился нашему модернизму! Я представил себя в роли этого нового человека. Я пришел сюда в студию, смотрю и не понимаю: что здесь вы делаете? Просто все здесь дико с непривычки, - продолжал он, постепенно повышая голос и хмурясь. - Никто ничего не делает, черт знает что! Парийский должен был дать текст экспромтной пьесы, а не дал. Наверно, не написал. Алик должен был явиться на про-

гон... Мы же этот, для Азы, монтаж должны были прогнать... Но он погиб! Вы как режиссер, - указал расческой Поляков на Воловича, - сами не знаете, чего хотите, и ничего не делаете. Этюды, этюды, этюды... Да сколько можно! Давайте возьмем "Вишневый сад", проку больше будет. А так, я подозреваю, мы для вас всего-навсего материал, на который вы смотрите свысока и из которого вы хотите вылепить нечто такое, что впоследствии даст вам возможность ставить спектакли где-нибудь во МХАТе... Что мне, непонятно, что ли?!

Волович побледнел и застыл в луче прожектора. Парийский копался в портфеле, где под белым халатом лежали бутылки. Когда он извлек первую бутылку, то вместе с ней показалась из портфеля змейка стетоскопа, блеснув никелированными деталями.

- Это ты им сказала, что мне предлагают ставить профессиональный спектакль! - закричал Волович на Инну.

- Зачем мне говорить? - тихо проговорила Инна.

Парийский достал стакан, налил. Поляков буквально выхватил у него стакан и со злобой сказал:

- Больше моей ноги здесь не будет!

Выпив, он схватил гитару и прыгнул со сцены в зал, но Клоун окликнул его:

- погоди, пойдем вместе!

Парийский налил ему, Клоун взял, пригубил, а уж затем сказал:

- Пусть земля будет Алику пухом.

Клоун взглянул на Инну. Она, невысокая, красивая, стройная, показалась теперь ему очень далекой, и он понял, что, как следует не влюбившись в нее, разлюбил.

- Зря вы это, обижаться, - сказал Парийский, выпив. - На самих себя следует обижаться. Осуждать просто. А вы сами зачем здесь? Из одной любви к искусству, что ли? Это только я из любви... А вы? Ладно, Волович на нас практикуется. А что тут плохого? Ведь вы тоже практикуетесь, не так ли? Поляков, ты же на режиссерский летом будешь поступать. Чего тебе-то выступать! Сам натаскиваешься на этюдах будь здоров! Импровизируешь прекрасно. А пришел каким, вспомни? Угловатый, стеснительный, зажатый. Каждую фразу говорил с напряжением. Сам себя на сцене пугался, боялся в зрительный зал заглянуть. А теперь? Ты же овладел органикой. Живешь на сцене запросто, без напряжения, раскрепостился. А Клоун? Только благодаря нашей методике натаскался.

Я уже сейчас вижу, что любая студия тебя возьмет. И ГИТИС, и Щукинское, и Щепкинское... Ты свободен в своем "я"... А откуда это? Только от пьесы, которую мы играем набело, экспромтом. Импровизация - это ключ к актерству. А Инна? Вы взгляните на эту красавицу. Это же в скором времени звезда телеэкрана!

Поляков сел в партере на первом ряду, перебирал струны гитары.

- Кто спорит, - сказал он. - Но...

- Боже мой, отчего мне так тяжело! - вздохнула Инна и заплакала.

- Прощайте! - прошептал Клоун и осторожно, точно боясь нарушить возникшую на сцене тишину, сошел в зал.

Поляков поднялся и пошел за ним в фойе. Там Клоун сказал:

- Пойдем быстрее. Не люблю я этих растянутых прощаний.

Все равно сюда возврата нет.

Они быстро сбежали по широкой мраморной лестнице к нижнему фойе, оделись и вышли на улицу. Шел снег, и все вокруг было тихо и чисто.

- Здесь всех нас ждала судьба Алика, - продолжил Клоун. - Обреченность во всем какая-то.

- Это есть, - согласился после паузы Поляков, поднимая воротник пальто.

- Не есть, а прекрасная нам школа. Да я бросил пить лишь из-за Парижского. Он для меня наглядный пример. И вообще - точка. Я зацепился за другую жизнь. Я сам почувствовал пьесу. И могу плыть без них! - Клоун кивнул назад. - Ты знаешь, мне было некуда деться. Вот я и лип к Парижскому. У него приют нашел.

Поляков закурил, держа гитару под мышкой. Затем сказал:

- Разве я не понимаю? Мне теперь нужно зацепиться. Клоун нагнулся, скатал снежок и бросил его через дорогу в замерзшую, желтоватую от фонарей Москву-реку.

- Я не в том смысле. Я женщину себе нашел, - и добавил после паузы, - с ребенком и с квартирой. Это то, что нужно. Иначе у меня безвыходное положение. Теперь вот с понедельника иду на работу...

- Что подыскал? - спросил Поляков, выпуская клуб дыма.

- Что я мог подыскать? Как мышонок... Смотрел все справки под стеклом на улицах. А там одно и то же: токари, слесари, грузчики... Она, женщина моя, нашла. Приезжал в гости при мне бородатый друг ее... Ну, короче, берет к себе в НИИ, он там зав. сектором. Графики буду ему чертить до лета, а там в ГИТИС...

- На актерский?

- Ну его к черту! На режиссерский. Вот с тобой хотел поговорить. Ты уже разработку делаешь?

- Угу, - кивнул после некоторого молчания Поляков.

- А что читать будешь?

- Стихи - Пушкина, прозу - Чехова, басню - Крылова. Стандарт. М-да.

- А я разработку нашей пьесы дам. И Алик в ней погибнет, как в жизни.

- Зачем? Алик ведь, посуди, так и так бы долго не протянул. Законченный алкаш... Но дело не в этом. Дело в том, что приемные комиссии не любят всякого модернизма. Это ты должен запомнить. Они проверяют абитуриентов на классике.

Клоун пожал плечами, помолчал.

- А читать буду Мандельштама...

- Ты спятил? Он же враг народа, - вполне серьезно сказал Поляков.

- И для тебя враг?

- Для меня, разумеется, нет, но... Он же не издан... А что ты хочешь читать?

Они перешли на противоположную сторону, к Москве-реке. Было тихо, безветренно. Снег плавно ложился на спящую реку.

Клоун поежился в своей куртке и начал:

Я не увижу знаменитой "Федры",
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе
Двойною рифмой оперенный стих:

- Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнует,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали.
Расплавленный страданием, крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог...

пьеса для погибшей студии

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии -
Очнувшийся сосед мне говорит:
- Измученный безумством Мельпомены;
Я в этой жизни жажду только мира:
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

Клоун читал нервно, то возвышая, то понижая голос. Последний стих был прочитан с такой безнадежной скорбью в голосе, что у Полякова выступили слезы на глазах.

- Здорово! - сказал Поляков и пробормотал: - "...покуда зрители-шакалы..."

- Вдруг мне это все открылось, - сказал Клоун. - Все эти современные пьесы с кукишами в карманах, все эти шакалы-зрители... А как пахнет апельсиновой коркой! И вот я, кажется, нашел, что искал. Ты представляешь, у нее квартирка, такая уютная, чистая. Пахнет домом. Понимаешь. И она мне нравится. И дочка ее. Ах, что за прелесть женщина. Ни о чем не спрашивает, все чувствует. Утром проснулся, боялся сначала глаза открывать, думал - у Парийского на полу, на грязном матрасе. Открываю глаза - чистота. Книжный шкафчик. Дочку Машу повел в детский сад. Шел с ней за ручку и улыбался всему свету и всем встречным-поперечным. Так мне хорошо стало. Все, я женюсь. Надоело шляться. Были бы еще родители приличные. А то ведь как чужие. В чужом пиру - похмелье! Только, знаешь, стыд в себе приходится подавлять, давить его, этот стыд поганый.

- А что такое? - спросил оживленно Поляков.

Судя по всему, стихи и рассказ Клоуна его растрогали.

- Да аборт ей Парийский делал! - Клоун даже как-то проскулил, произнеся это. - И Алик ассистировал. И я ее видел...

Поляков оценивающе взглянул на Клоуна, но промолчал.

- Что скажешь? - спросил Клоун.

- Что я скажу. Конечно, приятно мало. Но это твой крест. Все когда-то женились, влюблялись, страдали, изменяли друг другу и покорно тащили свой крест. И мы так же будем...

Поляков не договорил и замолчал. Выражение лица у него было такое, как будто он мысленно решал какую-то очень трудную задачу.

Послышались сзади шаги и тяжелое дыхание: подбежал Парийский, на ходу поправляя указательным пальцем очки на переносице. В линзах мелькали огоньки.

- Алика-то поможете хоронить? - спросил он, переводя дух.

Не глядя на него. Клоун сказал:

- Хоронить помогу, но на поминки не пойду. Мне пить противно.

- Тебя никто и не просит, - сказал Парийский, закуривая. - Вообще, ты мне не нравишься в последнее время. Говоришь таким тоном, как будто я тебя принуждаю пить... Мать Алика просила помочь. Гроб некому поднять.

Поляков шумно вздохнул и спросил:

- Когда и где?

- Завтра к часу, в Мытищах...

Назавтра Клоун, пока ехал в электричке, думал о живом Алике, о его рассуждениях, о проектировании Бескудникова, а когда увидел искалеченный труп на каталке, похолодел и потерял всякую способность мыслить. Парийский, посапывая, протянул санитару десятку и сказал:

- Подгримируй хоть лицо малость, просветли, а то весь фиолетовый, как чернила.

Было дико видеть, как укладывали в гроб сначала туловище, потом ноги...

На Востряковском кладбище, когда открыли крышку, лицо Алика уже не казалось таким страшным, как в морге. Сильно выделялся крючковатый нос, которому санитар придал телесный цвет.

Поляков на похороны почему-то не приехал.

У Клоуна мало-помалу наступило безразличное настроение, в какое впадают обычно люди, спустя некоторое время после перенесенного горя. Когда ехал в морг, мучила неизвестность. Теперь же все встало на свои места, последний ком глины упал на свежий холмик. Клоун думал уже о том, что, слава Богу, теперь все уже позади и нет этой ужасной неизвестности, уже не нужно целую ночь ожидать, томиться, думать все об одном.

Теперь все ясно, кроме одного - нужно ли помещать гибель Алика в пьесу?

Парийский уже раздобыл где-то стакан, звенел им о бутылку за сухими заснеженными кустами у ограды соседней могилы. Клоун взглянул на длинный, красный от мороза нос Воловича и вспомнил, что у Алика нос на сей раз не покраснел.

Мелькнули алые копыта маникюра Инны на белом снегу. Она взяла стакан и выпила с донышка водки, которую символически плеснул ей Парийский.

Мать Алика, тощая старуха в каком-то коротком детском пальто, заплаканная, раскрасневшаяся, держалась желтой, сухой рукой за ограду. Очки с треснутым стеклом, подвязанные резинкой, перекошились на ее лице, и казалось, что старуха кому-то подмигивает. Парийский подошел к ней, налил и протянул стакан. Старуха быстро вцепилась в него и жадно, как будто опаздывала на поезд или еще куда, одним махом выпила, затем широким взмахом стряхнула капли из стакана на снег, как заправский купец на масленицу.

- Бывали-и дни-и ве-эсе-олые! - завопила она, но ее успокоили.

Сильно пахло еловыми ветками. Парийский подошел, предложил стакан. Клоун отвернулся.

- Хоть бы телефончик списал, куда звонить тебе, - сказал Парийский, убирая бутылку в карман.

Клоун вырвал листок из записной книжки, написал, протянул молча Парийскому.

Вечером Клоуну было грустно, Лариса гладила его по волосам, целовала и говорила:

- Ничего... забудется...

Странно, от нее немножко пахло вином.

Бородатый друг Ларисы, доктор экономических наук, выделил Клоуну отдельную комнату, с широким окном, с видом на Замоскворечье. Режим работы в научном институте был достаточно свободный, часам к трем Клоун бывал уже свободен, ехал в детский сад за Машей, приводил ее домой, читал, писал, готовил ужин и поджидал Ларису. Все текло мирно, но чего-то не хватало.

Он знал чего: студии. Как алкоголик тянется к вину, так Клоун не мог жить без студии. Но он пересиливал себя, отвлекался, все больше и больше привыкал к Ларисе, а в марте они подали заявление в загс.

То утро было веселое, немножко суетливое, но праздничное. Часов в десять Лариса была одета в новое голубое платье (от бе-

лого и тем более от фаты она по вполне понятным причинам отказалась), причесанная, с подведенными бровями и ресницами, она прошла по комнате перед сидящим на диване Клоуном и постояла немного у открытого окна, и улыбка у нее была наивная, широкая, как у ребенка. Клоун был тоже в новом костюме, в крахмальной, отливающей синевой сорочке, но без галстука, который никогда не носил и не собирался надевать сегодня. Лариса не настаивала, как Клоун не настаивал на белом платье и фате.

Была суббота. Машу отправили к бабушке Ларисы. К трем собрались гости. Родители Ларисы, родители Клоуна и бородастый доктор экономических наук. Отец Клоуна приехал трезвым, на потертом пиджаке поблескивали медали и орден Красной Звезды. После нескольких рюмок отец сказал громко:

- Молодец, Витька! Такую бабу отхватил! С квартирой! С дитем, правда, но...

- А чиво дите, оно нешто выроdkовое како! - одернула его полная мать Клоуна. - Сиди уж, закусывай!

Но чем дальше шла свадьба, тем громче выкрикивал отец:

- Ну, Витька, сволочонок! Увесь у меня уродилси! Хват-обрывала! Уцепилси же за таку красотку!

Все смущенно переглядывались. Клоун краснел, но Лариса отвечала с хохотком:

- Неужели я не хороша! Неужели я не красива! Отцу нравился этот подыгрыш, он хохотал во всю глотку и стучал кулаком по столу от радости понимания его душевных порывов. Когда отец уже был хорош, Клоун и Лариса проводили его и мать до такси. Уже из машины раздался голос:

- Ну, баба! Зверь!

И такси исчезло за поворотом,

Когда вернулись, Клоун сказал:

- Вы уж извините за отца. Простой человек.

Клоуна будто не услышали, а доктор экономических наук, шеф Клоуна, продолжал развивать какую-то мысль отцу Ларисы, ответственному работнику минавтопрома.

- ...система свойственна социализму, - говорил он, - но в нормальных условиях она противопоказана ему. Да это ясно, что причина наших трудностей не только и даже не столько в тяжком бремени военных расходов и весьма дорогостоящей глобальной ответственности страны. При разумном расходовании...

Отец Ларисы взмахнул рукой, прервал бородача:

- Да это ясно, как днем! Тут дело в том, что глубоко укоренился административный взгляд на экономические проблемы, почти религиозная вера в номенклатуру, нежелание и неумение видеть, что силой, давлением, призывом и понуканием в экономике никогда ничего путного не сделаешь.

Лариса сидела возле своей мамы, они шептались. Клоун делал вид, что увлечен спором мужчин, а сам прислушивался к женщинам. Он услышал:

- Он, конечно, красивый, видный мальчик, - шептала мать, - но эти тонкие губы, острый подбородок, - она бросила испытующий взгляд на Клоуна, - говорят о его характере!

Последнее слово было сказано таким тоном, что не требовало эпитетов типа: "вздорный", "упрямый", "своевольный".

- Он прекрасно читает Мандельштама! - воскликнула Лариса.

Мужчины примолкли и недоуменно посмотрели сначала на Ларису, затем на Клоуна.

- Почитай! - сказала Лариса.

- Просим! - после паузы сказал отец.

Клоун вздрогнул, побледнел, но тут же заставил себя сосредоточиться, и резким, твердым голосом прочитал:

Мы напряженного молчанья не выносим -
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился тещ,
И радостно его приветствовали: просим!

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо;
Кошмарный человек читает Улялюю.
Значенье - суета, и слово - только шум,
Когда фонетика - служанка серафима.

О доме Эшерова Эдгара пела арфа,
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк, -
Чтоб горло повязать, я не имею шарфа!

С последней фразой Клоун сделал внезапный жест от горла к потолку, и в его глазах показались слезы.

На кухне он сказал Ларисе, что должен, что обязан съездить к Парийскому. Она пожала плечами, промолчала. Но когда Кло-

ун взял из холодильника бутылку водки и сунул ее в карман пиджака, сказала:

- Не дури! Ему же нельзя пить!

От "Сокола" до "Новокузнецкой", без предварительного звонка по телефону, сюрпризом. Две остановки на трамвае, через мост. Мелькнули золотом луковки кремлевских соборов, голубая вода в реке, белый теплоход у причала. Мимо синей колокольни на Яузских воротах, переулками, в Тессинский. Звонок в обитую дерматином и крест-накрест посеребристой тесьмой дверь.

Послышался за нею знакомый кашель, затем голос:

- Кто?

- Тень Гамлета! - громко отчеканил Клоун.

Дверь со скрипом отворилась, на пороге стоял Парийский в трусах и в майке, волосы всклокочены, на щеке красная складка от подушки.

- А-а, - без особого удивления протянул он, пропуская Клоуна в квартиру.

Пахло сыростью, перепревшим луком, несвежим бельем, и все это было окутано крепким перегаром и дымом от сигарет. Окна на кухне и в комнате были плотно закрыты. Свет горел и там и тут, потому что в окнах, странно, было темно: сплошная зеленая масса виднелась за стеклами.

Клоун запыхался от быстрой ходьбы, почти бега, поэтому некоторое время молчал, переводя дух. Парийский, босой, прошел в комнату и лег на свою солдатскую койку. Одну ногу, белую, безволосую, он положил на спинку кровати.

- Сил нет не то что ходить, но и говорить, - тяжело проговорил он и, собравшись с силами, добавил хрипловато: - Вчера так насандалился, что...

Он не договорил, положил ладонь на лоб и вытер холодный пот. Клоун сунул руки в карманы и принялся насвистывать.

- Ой, не свисти, - с мольбой в голосе выдавил Парийский.

В этот момент Клоун сделал изящный жест, как при поклоне, и, выпрямляясь, извлек из внутреннего кармана пиджака водку. Взгляд Парийского оживился. Клоун сходил на кухню, нашел стакан, от которого пахло селедкой, помыл его под краном, вернулся в комнату и налил полстакана. Парийский сел на кровати, торопливо схватился за стакан двумя руками и без промедления выпил.

- Как чувствовал, что ты тут страдаешь, - тоном благополучного человека сказал Клоун.

Парийский закурил, а Клоун поморщился. С улицы в комнату казалось очень душно. Когда в комнате много дыма, курить почему-то совсем не хочется, и Клоун отказался от предложенной сигареты.

- Ну, я пошел, - сказал он.

Парийский бросил на него удивленный взгляд:

- Зачем же приходил?

- Похмелить, - с долей веселости сказал Клоун и после небольшой паузы добавил: - Я женился. Сегодня свадьба.

Парийский тяжело поднялся, пошел к крану напиться.

- Я уже женился, - затем сказал он. - На сковороднице. Дурак дураком был. В общем, взял дуньку с трудоднями. Думал, молчаливо будет обеда готовить. А она тихая-тихая, пока в общежитии жила, а как прописалась - зверь! Чуть что - на меня с кулаками. В мозгах одна извилина, и та укороченная...

Клоун с сожалением посмотрел на Парийского, как на законченного неудачника, спившегося человека, протяжно вздохнул и пошел к выходу. Парийский не удерживал.

Темнело, и кое-где зажглись окна в домах.

Счастливый, улыбающийся Клоун поднялся на лифте на шестой этаж, открыл ключом дверь, не спеша вошел в комнату и увидел, как Лариса, покрасневшая от стыда, столкнула с себя бородача и села, оправляя юбку, прикрывая заголившиеся полноватые ноги.

Голова у Клоуна закружилась, словно его тошнило, поплыли в глазах зеленые круги.

- Ви-итя! - диким голосом завопила Лариса, вцепляясь в свои волосы руками.

Но Клоун уже сбегал вниз по лестнице. Вздрагивая от ярости и обиды, крепко стуча каблуками по асфальту. Клоун бежал по темной улице, освещенной редкими фонарями, неизвестно куда. У магазина остановился, нащупал в кармане конверт с деньгами - подарок родителей на свадьбу, и купил четыре бутылки водки. Рассовал их по карманам и, скрипя зубами, пошел в метро.

Когда вышел в город на "Новокузнецкой", начался сильный дождь. В ожидании трамвая, которого не было минут десять, промок. По лицу бежали холодные струйки.

- Кто? - спросил Парийский, когда Клоун позвонил в дверь.
- Участковый!

Парийский был в сатиновых широких шароварах, в байковой рубашке нараспашку, с сигаретой в зубах, улыбающийся. Ни о чем не расспрашивая, гостеприимно пригласил Клоуна в квартиру. Тот походкой участкового, сильно стуча каблуками, прошел к столу, выставил бутылки на стол.

- Продолжение свадьбы? - почесывая голову, спросил хозяин.

- Как хочешь, так и понимай, - буркнул Клоун, стаскивая с себя все мокрое.

Парийский бросил ему пижамные штаны и серую кофту, которую когда-то вместе покупали. Повесив пиджак и брюки над плитой сушиться, Клоун воскликнул:

- Наливай!

Парийский весело ударил в ладоши, отвесил поклон и взвизгнул:

- Слушаюсь, сударь-с?

Через некоторое время, когда выпили и покурили, Парийский попросил:

- Витек, спой.

Клоун встал, подбоченился, вскинул голову и, подавляя все мрачные мысли, воскликнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александровского центра Иван Букреев. "На солнечной поляночке". Высокий чистый тенор повел:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь...

- Выпьем! - сказал затем он азартно, глядя Парийскому в лицо. - Пей, зав. отделением кардиологии, кандидат медицинских наук, пей, Юраша, гений ты наш подзаборный. Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей...

Клоун выпил первый, подышал открытым ртом, зажевал, что подвернулось, и сказал:

- Природа делает нас во всех положениях постоянно несчастными...

Он не договорил, хотя намеревался рассказать о случившемся. Держать в себе - это значит не досаждать другим.

Парийский сказал:

- Между тем наши желания постоянно рисуют нам счастливое состояние, потому что к состоянию, в котором мы находимся, желания присоединяют удовольствия того состояния, в котором мы не находимся. Когда же мы достигаем этих удовольствий, мы не будем от этого счастливы, потому что мы тогда будем иметь другие желания, сообразные с этим новым положением.

Клоун закурил, долго не гасил спичку, глядя на огонь, и подумал, что в трудные минуты лучше всего курить, потому что это отвлекает.

Парийский сходил в комнату, принес старую тетрадку с пожелтевшими, засаленными страницами. Принялся листать.

- Дед тут записывал, - сказал Парийский и, найдя нужное, принялся читать: - "Иисус ищет какого-нибудь утешения, по крайней мере, в своих трех, более любимых друзьях, но они спят. Он просит их побыть немного с ним, а они Его оставляют с полным пренебрежением и столь мало разделяют Его страдания, что не могут удержаться минуты от сна. Таким образом, Иисус был оставлен один на волю Божью.

Иисус не только один на земле чувствует и выносит Свою скорбь, но даже один и знает о ней: Небо и Он были единственными свидетелями ея.

Иисус - в саду, но не в таком саду прелестей, в каком Адам погубил себя и весь род человеческий. Он - в саду мучений, где спасает себя и весь род человеческий..."

Клоун представил и увидел: луна сделалась желтой и желтый свет лился в Гефсиманский сад - и на деревья, которые отбрасывали длинные тени, и на землю, по которой шел Иисус, склонив голову и следя за легкой тенью своей... И Клоун слышал тихий шелест листвы, и шум шагов, и дыхание Иисуса...

Парийский между тем продолжал читать:

- "Я думаю, что Иисус никогда не жаловался, кроме этого единственного случая; но в этот раз Он так горько жалуется, как будто бы не мог более сдержать своей чрезмерной горести, ибо душа Его скорбит смертельно.

Иисус ищет соучастия и облегчения со стороны людей. И это, мне кажется, единственный раз во всю Его жизнь. Но Он не получает его, ибо ученики спят.

Иисус удаляется от своих учеников, чтобы предаться предсмертной скорби: станем же удаляться из среды своих близких и интимных друзей, чтобы подражать Ему.

Неужели ты хочешь, чтобы Мне стоило крови спасение человечества, а чтобы ты не пролил и слез?

Врачи тебя не исцелят: ты все-таки умрешь. Иисус исцеляет и делает тело бессмертным. Терпи цепи и телесное рабство; пока Он освобождает тебя лишь от духовного рабства”.

Белая фигура скрылась в темноте, луну затянуло облаком, шаги смолкли. Клоун вскинул взгляд на Парийского. Тот снял очки, на глазах были слезы. Отнеся тетрадку на место, он достал из стола и показал фотографию, хорошо сохранившуюся, деда, священника Парийского, учителя Закона Божьего: большеглазый человек, с густой бородой, в рясе, с крестом...

В прихожей зазвонил телефон. Парийский пошел слушать, а Клоун читал на обороте плотного глянцевого картона: “С.-Петербургской императорской Академии художеств фотография класснаго художника”. И крупно, в центре, вязью: “Фр. Опитць”. Далее: “В Москва, Петровка, д. Самариной, против Петровскаго монастыря”.

Слышался голос Парийского:

- Подумаешь, невидаль! У меня телевизора нет... Он еще что-то говорил, а Клоун, рассматривая фотографию, видел не священника Парийского, а Ларису, мучился душевно, но сдерживал себя, чтобы не дойти до отчаяния и не разрыдаться. Клоун понял, что нашел женщину, слабую в том пункте, который называют изменой, слабую, подобно алкоголику, не мыслящему свою жизнь без вина, в любви, то есть нашел своего рода любовную алкоголичку. Настроение у Клоуна сразу переменялось, резко, как будто его ударили палкой по голове. Испытывая стыд, он покраснел, почувствовал унижение человека, которым пренебрегли, затоптали в грязь, но с появлением в кухне Парийского сделал вид, что внимательно рассматривает фотографию.

- Волович звонил, - сказал Парийский, закуривая. - Оказывается, сейчас Инна на экране телевизора... Последние известия на Москву вешает...

Чтобы отвлечься от горестных чувств, Клоун воскликнул:

- Надо посмотреть! Есть у кого-нибудь тут телевизор?

- Да ну ее к черту, смотреть еще на нее! - беззлобно воскликнул Парийский, затем, после паузы, добавил: - Вон, у Лучкина есть...

Пошли к Лучкину, соседу, который смотрел футбол по первой программе. Нехотя он переключил телевизор на московский канал, и все увидели дикторшу, Инну. Клоуну показалось, что она смотрит на него своими большими серыми глазами. Какая Инна красивая! У нее высокий чистый лоб. Только изредка на нем появляется морщинка, это значит, знал Клоун, что Инна волнуется.

Инна читала текст: "...участники совещания единодушно одобрили положения и выводы речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. На совещании выступил член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь МГК КПСС В. В. Гришин..."

- Хорош! - сказал Парийский, и Лучкин моментально вернул на экран футбол. - Вот и вся премьера! - усмехнулся Парийский и, выходя из квартиры соседа, добавил с долей издевки: - Митя Кулдаров попал под лошадь и сделался известным - о нем пропечатали в газетах!

Выпили.

- А как Поляков? - спросил Клоун, занюхивая черствым черным хлебом.

Парийский поправил очки указательным пальцем и как-то машинально сказал:

- В тюрьме.

Клоун побледнел и взволнованно, чувствуя себя несчастным, встал и начал ходить из кухни в комнату. В пишущей машинке "Эрика" был зажат лист, на котором Клоун мельком заметил: "Алик: Я еду строить новый город. Пока все неизвестно, но я знаю, что там нужны мои знания и мои руки.

Он поднимает рюкзак и надевает его на плечи".

- Развесели, Витек, спой! - вдруг попросил Парийский.

- А как это случилось с Поляковым? - с дрожью в голосе спросил Клоун.

- Как-как?! - воскликнул Парийский. - Мерзопакостно. Растегнул ширинку в троллейбусе и бегал за какой-то девицей. В полночном троллейбусе, вскочив в него на ходу, - добавил с усмешкой Парийский.

Клоун протяжно вздохнул, закрыл глаза на мгновение и почувствовал, как похолодели руки.

- Значит, Поляков в нашей пьесе куда-нибудь поднимать целинные земли поедет?

Парийский захохотал, откидываясь на спинку стула. Когда он кончил хохотать, на глазах у него были слезы.

- Ведь Алик едет строить города, - продолжил Клоун и вскричал: - Никогда не думал, что ты на лажу пойдешь!

- Это Волович просил, - равнодушно ответил Парийский. - Ты же знаешь, что он набрал новую студию?

- Нет.

- Да это и неважно, как чувствовал я себя, когда писал про Алика. Там надо что-нибудь пожизненное, но только не смерть! Это противоречит всей христианской этике. Мы же бессмертны!

Клоун промолчал. Подошел к темному окну и вдруг спросил:

- У этого соседа, Лучкина, топор есть?

Через некоторое время Клоун с соседским топором пошел во двор. Парийский сидел за столом, смотрел остекленелым взглядом в одну точку, о чем-то думал и слушал, как вдали стучат топором по дереву.

Парийскому припомнилось, как по этой кухне начинала ходить его дочка, как звонко звала его, когда научилась говорить... И вдруг Парийский начал сознавать, что вот эти стуки топора и есть тот самый конец всего, о котором ему когда-то смутно грезились и ожидание которого незаметно для него самого проходило через всю его жизнь. И Парийский понял, что прошлое кончилось, а будущее не началось и не сможет начаться, потому что его срубают топором...

Послышались шаги. Клоун вернулся без звонка, потому что дверь была не заперта.

- Что приуныл, Юраша! - весело воскликнул он. - Поднимем бокалы, содвинем их разом!

Парийский улыбнулся.

- Хороший ты парень, - сказал он. - С тобой не соскучишься. Что ж, подыдем стаканы, чтоб кончился разум... Наше воображение настолько раздвигает для нас пределы настоящего времени и настолько уменьшает вечность, что из вечности мы делаем ничто, а из пустяков вечность, - продолжил он. - Воображение вследствие фантастической оценки до такой степени преувеличивает малые предметы, что целиком наполняет ими нашу душу. А великие предметы воображение, по безрассудной заносчивости, уменьшает до своей мерки, как это бывает, когда какой-нибудь узколобый атеист от сохи с двумя извилинами говорит о Боге.

По щеке у Клоуна поползла крупная слеза и капнула в стакан с водкой.

- Ты чего? - спросил Парийский.

- Да так, расчувствовался, - махнул рукой Клоун и, весь как-то подобрившись, воскликнул: - Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра Иван Букреев. "На солнечной поляночке"!

Парийский просиял, а Клоун громко затенорил:

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь...

Когда он кончил, то спросил:

- Сколько Полякову дали?

- Год.

- И когда это случилось?

- Еще зимой.

- Не могу поверить! - взволнованно сказал Клоун.

- В жизнь вообще верится с трудом, - сказал Парийский. - Это тебе не пьеса, где все раскладывается по сюжетным полочкам. Да-а, - вздохнул он. И еще раз вздохнул: - Да-а...

Клоун, покачиваясь, раскатал пыльный матрас у стеллажа, подумал и лег не раздеваясь. Парийский погасил свет, сунул очки под подушку и тоже лег. Металлически скрипнула сетка его солдатской койки.

Утром в комнату заглянул солнечный луч.

Клоун встал и долго тряс головой. После вчерашнего возбуждения он был утомлен, вял и говорить ему не хотелось. Пальцы у него дрожали, и по лицу было видно, что у него сильно болела голова. На водку, которая все еще стояла на столе в кухне, у него не было сил смотреть.

Преодолевая болезненное состояние, Клоун подставил голову под кран с холодной водой, затем принялся размахивать руками, приседать, бегать на месте. Взглянув на зарешеченное окно, почувствовал, что в помещении недостает воздуха. Подошел, откинул шпингалеты и рывком открыл сначала внутренние, потом наружные рамы, пыльные, с грязными стеклами.

Свежий воздух с запахами листвы и травы полился в квартиру.

Клоун вскипятил чай, с удовольствием, обжигаясь, выпил, а Парийский все не вставал.

Наконец послышался его слабый голос:

- Ви-итек, на-алей.

Клоун спросил:

- Может, не надо?

- Помру, - отозвался Парийский.

Клоун брезгливо взял бутылку и с отвращением налил пол-стакана. От запаха водки его чуть не стошнило.

Дрожащими руками, с мучительным выражением на лице Парийский выпил, нащупал очки под подушкой, надел их, и вдруг глаза его сделались неподвижными и стали смотреть в одну точку.

- Здесь очень мило - море и все остальное, - сказал он.

Клоун с испугом взгляделся в его лицо: видно было, как вздрогнула на лбу какая-то жилка, подрожала-подрожала и внезапно замерла.

- Море, - сказал с трудом Парийский, и после этого ему пере-косило рот.

В ужасе Клоун отступил на два шага. Затем круто развернулся и побежал к телефону, вызывать "скорую помощь".

В ожидании он сидел на кухне и смотрел в открытое окно. Солнечный луч лежал на подоконнике, и в его свете дрожали пылинки. Наконец раздался звонок в дверь. В волнении Клоун ринулся открывать, и, когда открыл, остолбенел: на пороге стояла Лариса.

- Я знала, что ты здесь, - сказала она взволнованно. После того как она это сказала, наступило долгое молчание. Клоун боялся поднимать глаза на ее лицо, белеющее в темноте дверей. Он лишь чувствовал запах пудры и духов, идущий от Ларисы. Клоун знал, что Лариса ждет от него чего-то. Может быть, она думала, что он заговорит, скажет что-нибудь резкое, может, даже ударит или задаст вопрос, чтобы заговорить самой.

Но Клоун молчал, и это гнетуще действовало на Ларису. Наконец он сделал шаг в сторону, как бы предлагая ей войти в квартиру. Она, помедлив, не глядя на Клоуна, вошла и, в страхе замедляя шаги, остановилась на пороге кухни.

- Юраша того, - наконец сказал хрипло Клоун, все еще боясь смотреть на Ларису. - Я "скорую" вызвал.

Лариса сразу же оживилась, посмотрела на него с мольбой блестящими серыми глазами. И вся она показалась Клоуну жалкой, виноватой, готовой на любое унижение, лишь бы он простил ее.

- Где он? - с дрожью в голосе спросила Лариса. И было заметно, как дрожали ее брови и щеки.

- Там, - кивнул на комнату Клоун и почувствовал, что страх по-немногу проходит.

Она быстро пошла в комнату. Эта решительность так подействовала на Клоуна, что он совсем перестал о чем-либо думать. Он просто пошел на голос Ларисы в комнату, когда она его позвала, машинально взял брюки Парийского и стал надевать их на непослушное тело, потом так же машинально надевал при поддержке Ларисы рубашку и серую кофту.

Он лишь чувствовал, что Парийский жив, что он дышит, что по телу все еще бежит кровь, что сердечная мышца совершает свою механическую, не контролируемую мозгом работу.

- Бедненький, - шептала Лариса, глядя ладонью щеку Парийского.

Тот что-то забормотал, и Клоуну стало еще отчетливее видно, как перекошен рот Парийского.

После этого Лариса привела в порядок кухню, убрала бутылки, помыла посуду и протерла стол влажной тряпкой. Она чувствовала, что любая деятельность сглаживает недомолвки между нею и Клоуном, поэтому боялась просто так остановиться, привлечь к себе внимание, а все что-то делала и делала.

Наконец раздался звонок в дверь. Клоун впустил врачей. Больному что-то впрыснули. Появились носилки.

- Я поеду с ним, - сказал Клоун Ларисе.

Она вздрогнула, потупила взор и тихо спросила:

- Мне где быть?

- Будь здесь, - подавляя всяческие чувства, холодно сказал Клоун. - Продолжай уборку, помой пол, почишь ванну, постирай белье... Сама знаешь. Не мне тебя учить!

Лариса сосредоточенно и радостно, порозовев, выслушала эти наставления, и по всему было видно: что бы ни приказал, о чем бы ни попросил Клоун в эти минуты, она все безропотно выполнит.

Носилки с больным вдвинули в машину. Клоун сел на откидное сиденье рядом и все время, пока ехали, жалобно смотрел на бледное лицо Парийского, которое иногда освещалось солнцем, и думал о том, что все, быть может, обойдется. В смысл этого слова "обойдется" он вкладывал еще нечто, едва чувствуемое, что касалось непосредственно его самого.

Проехали площадь Маяковского, свернули, а когда въезжали в ворота больницы, Клоун различил на табличке: “Институт нейрохирургии им. Бурденко”.

Когда Клоун возвращался назад, то с каким-то щемящим чувством думал о том, что Ларису нужно простить, что нужно забыть все плохое и жить только хорошим, как бы это ни было трудно. Тут он вспомнил почему-то Полякова и его слова о том, что нужно тащить свой крест. Именно тащить, а не бежать в сторону при первой же неудаче.

У метро “Новокузнецкая” продавали цветы. Подумав, Клоун купил у какой-то цыганки букет сирени. Клоун не стал дожидаться трамвая, а пошел пешком, через мост, смотрел на голубую реку и думал о том, что нужно всячески давить в себе зло.

Когда он вошел в подъезд, то негромко засвистел, для храбрости, и заметил, что дверь в квартиру была приоткрыта, а рядом с нею стояло ведро, полное мусора, и веник. Лариса мыла пол на кухне: она часто дышала, руки у нее запачканы, прядь волос прилипла к щеке.

Увидев Клоуна, Лариса выпрямилась, задержала дыхание, торопливо одернула платье и поправила волосы. Глаза ее недоуменно уставились на пышный букет сирени.

- Поставь тут, что ли, в банку, - сказал Клоун. - А то все дымом пропахло.

- Ты хороший, - задрожавшим голосом сказала Лариса, - а я - подлая! Нет мне прощения!

- Есть, - сказал он. - Если б люди друг другу не прощали, то давно бы перебили друг друга.

- Прости меня, Витя! - сквозь слезы закричала Лариса и бросилась ему на шею.

Клоун погладил ее по волосам и протяжно вздохнул.

- Я молод, чтобы слишком понимать жизнь, - сказал он. - Но я чувствую, что нужно стараться меньше досаждать друг другу. Многие говорят: если человек слишком молод, он судит неправильно. Если он слишком стар - то же самое. Если он недостаточно поразмыслил - результат опять тот же. Если он слишком много размышлял-он чересчур вбивает себе в голову и становится упрямым... Где же, спрашивается, истинная точка?

В комнате пол был уже вымыт. Узкая железная койка была аккуратно заправлена.

- У него белья совсем нет, - сказала Лариса.

- Не только белья, - вздохнул Клоун. - У него родственников нет. Никого не осталось. Жаль, что эта квартирка отойдет государству...

- Неужели никого нет? - спросила Лариса, продолжая мыть пол на кухне.

- Если только бывшая жена, - пожал плечами Клоун, затем, помолчав, добавил: - Да дочь семи лет.

- Позвони им, - сказала Лариса.

- Пожалуй, надо позвонить. Пусть хоть дочь сюда пропишет, к отцу, пока жив.

Клоун нашел в записной книжке Парийского телефон бывшей жены, направился в прихожую к телефону, который вдруг сам зазвонил. Клоун взял трубку.

- Где там Парийский? - услышал он гнусавый голос Воловича.

- В больнице, - сказал довольно спокойно Клоун.

- Это ты, что ли, Витек? - неуверенно спросил Волович.

- Я.

- А что с Юрашей?

Клоун объяснил.

- Да-а, - протянул Волович и тут же воскликнул: - Спектакль горит! Мы уже тут, в клубе, уже зрители идут, а Парийского все нет и нет. Слушай, Витек, - внезапно вскричал Волович, - выручай! У нас на Парийского нет замены. Выручай, старик! У него же опорное - "На плацу открытом"...

- Я не знаю текста, - хмуро сказал Клоун.

- По бумажке будешь шарашить! Спасай, гони скорее! Будешь?

- Не знаю. Я не один. Потом только что из больницы, расстроился. Рот на моих глазах перекосило. Я чуть от страха не умер...

- Понимаю, - прервал Волович. - Но ты же профессионалом хочешь стать. Должен понимать: в любом настроении надо работать, и работать хорошо. Не раскачивайся, через полчаса начало. Выручай, будь человеком!

После некоторого молчания, подумав, Клоун ответил:

- Ладно, - и положил трубку.

Затем набрал номер бывшей жены Парийского. Она сама взяла трубку. Клоун рассказал, как все случилось. Бывшая жена, Са-

ша, охала-ахала и сказала, что сейчас же мчится в больницу. Горестную весть она восприняла очень искренне, как будто у нее не было никаких обид на Парийского.

Положив трубку. Клоун сказал Ларисе:

- Ты здесь побудешь или со мной?

- С тобой! - ни о чем не спрашивая, сразу же согласилась Лариса.

- Тогда бежим!

У ворот клуба висела афиша: "Театр-студия на Раушской набережной. "Время, вперед!" Литературно-драматическая композиция Ю. Парийского и М. Воловича по мотивам советской литературы. Режиссер - М. Волович". Внизу крупно: "Главный режиссер театра-студии - М. Волович".

В зале уже был погашен свет, бордовый бархатный занавес подсвечен огнями рампы, когда Клоун влетел за кулисы.

- Шестой! - облегченно воскликнул Волович. Большеглазая Инна от волнения чмокнула Клоуна в щеку и шепотом спросила:

- Видел меня вчера?

Клоун кивнул, принимая от Воловича листочки...

Занавес разъехался в стороны, лучи прожекторов выхватили солдатскую койку, зарешеченное окно на черном заднике, телевизор, стоящий на полу. Людей на сцене не было. Вдруг громко понесся из динамиков рок-н-ролл: Бил Хэлли надрывно хрипел рок "Вокруг часов".

На сцену высыпали все шестеро участников спектакля: пять мальчиков и девочка, Инна, и принялись ритмично выделывать па рока.

Черноволосый паренек, который был за Полякова, сел на койку с гитарой и, когда рок смолк, ударил по струнам и запел:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой родины сыны...

Клоун пораженно сел на телевизор. Клоун думал, что Волович все-таки оставит в этом месте песенку Полякова:

Едем-едем в Братиславу,
Мчит наш БТР,

пьеса для погибшей студии

Уходи с дороги, дядя-
Контрреволюционер...

Когда композиция дошла до момента, когда в луче света должен был появляться Парийский и декламировать "На плацу открыто", Клоун врезал за Парийского:

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.
Сон был старше, чем слух, слух был старше, чем сон, - слитен, чуток...
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах...
День стоял о пяти головах, и, чумя от пляса,
Ехала конная, пешая, шла чернотверхая масса:
Расширением аорты могущества в белых ночах, - нет, в ножах -
Глаз превращался в хвойное мясо.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только б ушко,
Чтобы тройка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка - ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?
Чтобы Пушкина славный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеец в шинелях с наганами племя пушкинovedов -
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только б ушко!
Поезд шел на Урал. В открытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой -
За бревенчатым тыном, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего!

На последней фразе Клоун сделал резкий жест от горла вверх. Волович невольно схватился за голову, а зрительный зал взорвался неимоверными аплодисментами.

- Bravo! - отрывисто бросил бас где-то в глубине партера.
Клоун исчез в кулисе.

- Есть другая реальность: воспоминаний, картин, обобщений, духа! - крикнул, встал и заходил долговязый Волович. - Подробности...

- Парийский может по этому поводу речь толкнуть, - предложила Инна, укладывая ногу на ногу.

Клоун за Парийского появился в очках, в белой рубашке с короткими рукавами, в сандалиях на босу ногу. Он, подумав, сказал:

- Немыслимо примириться с мыслью, что смерть есть уход в Ничто!

Коренастый малый, который был за Алика, пошел в глубину сцены, где стоял телевизор, и поднял его. Затем подошел к рампе и остановился, как над пропастью.

- Да поставь ты телевизор! - сказала Инна. Она вошла в яркий луч света. - Я сегодня не работаю. Я пришла живьем!

В партере зашевелились, некоторые зрители узнали новую дикторшу телевидения, захолопали.

Внезапно свет на сцене погас, слабо светилось лишь зарешеченное окно на заднике.

Клоун за Париийского:

- Всю жизнь живу со светом из-за деревьев, разросшихся за окном.

Коренастый за Алика:

- А мне нравится, что растут деревья. Зелено. Я люблю старую Москву.

Он не спеша отошел к солдатской койке и поставил рядом с ней телевизор.

Черноволосый за Полякова:

- Есть топор?

Щуплый паренек в ковбойке за Клоуна:

- Есть.

Инна:

- Вырубить деревья? Это же вишни. Если по всей Яузе и есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только вишневый сад.

Черноволосый за Полякова и Щуплый за Клоуна, не слушая Инну, уходят с топором в кулису.

- Я архитектор, - сказал Коренастый за Алика, - и мне не предписано сердцем что-то ломать, вырубить. Я еду в Сибирь строить новый город, светлый, чистый, просторный!

Наступило молчание. Вдруг среди тишины раздался глухой стук топора по дереву, зазвучавший одиноко и грустно.

Занавес

РАННИЕ СУМЕРКИ

I

За окнами шел снег, по радио пел Утесов, в коридоре кричал, как ребенок, кот Васька, которого мать мыла в тазу особым мылом - от него, говорили в аптеке, пропадут блохи. Маленькая елка стояла в углу на телевизоре, и от нее приятно пахло хвоей. Елку купили и поставили вчера, но еще не наряжали.

Слава связал в узел грязное белье, которое мать просила отнести в прачечную, и сунул узел в большую спортивную сумку. Затем Слава подошел к зеркалу, склонил голову и принялся рассматривать пробор, тонкой белой жилкой выделявшийся даже на светлых, слегка вьющихся волосах, потому что накануне Слава аккуратно выбрил этот пробор. Убедившись в безукоризненной прямизне пробора, Слава поднял воротничок сорочки, надел и завязал тонким узлом галстук, затем, опустив воротничок, застегнул длинные уголки этого воротничка на перламутровые с четырьмя дырочками пуговицы.

Приехал Вадим, с некоторой завистью оглядел Славу и сказал:

- Где ты только достаешь такие вещи?

Слава подправил маникюрной пилочкой свои белые ногти, басовито ответил:

- Батничек мать спроворила, а щузню взял у комка.

“Щузня” - мужские полуботинки - была из дорогостоящей кожи, лаково-желтой, с узором из мелких дырочек на носках.

В темном полированном серванте вместе с хрусталем стояло несколько книг, среди которых Вадим заметил двухтомник Есенина.

- Читал? - кивая на него, спросил Вадим.

- Некогда читать, - сказал Слава, беря с низенького столика деньги и убирая их в новый кожаный бумажник. - Хотя “Собаке Качалова” читал. Ничего...

Пятнадцатиметровая комнатка была перегорожена. На двери перегородки висели шелковистые занавески. За перегородкой

был угол матери: кровать, шкаф, тумбочка. Слава спал в большей половине на раскладном кресле.

Вошла мать с завернутым в махровое полотенце котом. Мать была высокой, красивой женщиной с пышной прической и голубыми глазами. Положив кота в кресло, мать прошла на свою половину, быстро сбросила халат, и Вадим увидел ее обнаженную прямую и белую спину. Вадим стыдливо отвернулся.

- Слава, - сказала мать, - застегни-ка!

Краем глаз Вадим заметил, как мать накинула на плечи бретельки, завела руки за спину и оглянулась, ожидая помощи сына. Слава неторопливо застегнул пуговицы.

Вадим не мог понять, почему мать Славы не стесняется двадцатидвухлетних парней.

Кот тщательно вылизывал свою влажную шкурку.

- Захвати еще мою юбку, - сказала мать и неодетая вышла в большую половину комнаты. Она принялась отыскивать юбку в нижнем отделении серванта, нагнувшись и положив одну руку на бедро.

Вадим почувствовал неловкость, покраснел и, чтобы не выдавать своего смущения и не созерцать далее соблазнительные формы сорокалетней женщины, поспешно вышел в коридор.

У окна на табурете сидел сосед, тощий и лысый токарь Коля, курил сигарету через черный самодельный мундштук. На полу еще были видны брызги от мытья кота.

- Удумала чего, - сказал Коля, щурясь от дыма, - котов мыть!

- Дрессированный, раз дается мыться, - дружелюбно сказал Вадим, глядя в окно на кирпичную стену, на заснеженный куст, на идущий крупными хлопьями снег.

- Рублевочкой не разживешь? - тихо спросил Коля.

Вадим усмехнулся и отрицательно покачал головой.

Из уборной вышла старуха, другая соседка, принялась и со злобой сказала:

- И курят, и курят, дышать нечем!

- Шла б ты отсель, Ивановна, пока чувствую равнодушие! - прикрикнул на нее Коля.

Появился Слава, одетый в дубленку и пыжиковую шапку, с объемистой сумкой. Вадим нацепил на голову своего кролика, надел ратиновое осеннее пальто. Шли вдоль линии железной

дороги. К вокзалу бежала электричка, повизгивая колесами на стрелках.

- Отец обещал мне сделать однокомнатную квартиру, - сказал Слава, поджигая сигарету фирменной американской зажигалкой.

- А кто твой отец? - спросил Вадим, впервые услышавший от Славы об отце.

- Зампред исполкома, - сказал с долей неподдельной гордости Слава.

- А чего ж с ним мать разошлась? - спросил Вадим.

Вспомнив как мать переодевалась при нем, он смутился, и глаза его заблестели.

- Отец влюбился в другую. Она и сейчас - во! - поднял большой палец в замшевой перчатке Слава. - Ножки, фигурка, губы, ресницы... А моя сводная сестренка! - чмокнул Слава губами. - Уже готова, хотя ей нет и семнадцати!

В прачечной Слава разлюбезничался с молоденькой приемщицей. Слушая его болтовню, Вадим смущался, но внутренне завидовал Славе, как тот легко знакомится и как, наконец, вынуждает девушку дать ему свой телефон.

После химчистки доехали до "Елисеевского" за покупками к новому столу. Глядя на огромную люстру под высоким лепным потолком, Вадим спросил:

- Говорил насчет меня?

- Я и забыл тебе сказать, что все в порядке, - сказал Слава, пересчитывая деньги. - Говорил с Чистопрудовым. Он тебя возьмет. Сразу после праздника позвони ему и подъезжай.

В "Елисеевском" приятно пахло кофе и яблоками.

II

В комнате погасили свет и включили лампочки на высокой елке. Женя, хозяин, зажег на столе свечи. Вадим сидел рядом с полной Татьяной и рассказывал ей о том, как привез из армии целый чемодан списанных книг. Татьяне было неинтересно слушать, она все ждала, когда Вадим пригласит ее танцевать.

Слава, обеспечивший Вадима этой полной Татьяной, уже танцевал с Надей, вернее, стоял с ней в полумраке у елки, целовал

взасос и гладил обеими руками по спине, талии и еще гораздо ниже.

- Десятитомник Достоевского удалось списать, - говорил Вадим. - Я обалдел, когда читал "Мертвый дом"...

Вдруг Татьяна обхватила его могучей рукой и впилась в его губы своими потрескавшимися сухими губами. Вадим закрыл глаза и представил, что его целует прекрасная Ольга Игоревна, мать Славы. Повинуясь Ольге Игоревне, он встал и, ведомый ею за руку, пошел в страхе предчувствуемого таинства любви в ванную. Женская рука закрыла ванную на крючок и принялась темпераментно шарить по телу Вадима, как будто обыскивала на контрольно-пропускном пункте.

Они стояли в темноте у стены. Женщина сильно дышала носом.

- Ну, что ты, как теленок, ждешь! - шепнула она на ухо, укусив это ухо, нашла своей рукой руку Вадима и крепко, по-мужски, ее сжала.

Вадиму стыдно было самого себя, что он, двадцатидвухлетний парень, не знал еще женщин.

- Подожди, - сказал он, чтобы как-то оттянуть развязку.

Голос Татьяны, так не похожий на голос Ольги Игоревны, вывел Вадима из забытья, и ему вдруг стало стыдно еще и оттого, что он прячется ото всех с этой кубышкой в ванной. Но Татьяна не слушала его, что-то шептала, и все крепче сжимала его руку. Вадиму было неприятно.

В дверь резко постучали, послышались голоса соседей, а затем и голос Жени:

- Вадим, тут людям ванна нужна!

Вадим с радостным облегчением вздохнул, протянул руку к крючку, чтобы открыть дверь, но Татьяна на мгновение остановила его и поцеловала в лоб, как покойника.

Сосед в майке, с татуированной на груди змеей вокруг лезвия кинжала, с бельевым баком в руках недовольно бросил:

- Нашли место шуры-муры разводить!

- Да ладно-ть, - шикнула на него худощавая жена, - полизать-ся уж им что ль нельзя?!

Покрасневший Вадим быстро прошел в комнату Жени. Слава сидел на диване у елки, а на коленях у него была Надя. Девушка Жени лежала под одеялом на кровати.

- Чего ты в ванную полез! Тут что ли места мало? Вон, ложись на пол. Сейчас раскатаю матрац вам. - И с ухмылкой подмигнул Татьяне.

Женя включил свет, чтобы найти в шкафу матрац. Вадим взглянул на полную Татьяну, на ее круглое румяное лицо с двойным подбородком и темными усиками над верхней губой, взглянул и поморщился, как от сильной боли в голове. Слава погладил Надю по плечу, с какой-то обидой сощурил глаза и крикнул:

- Туши фонарь!

Вадим посмотрел и на него, и на его Надю, и на лежащую под одеялом девушку Жени, и на серебристые шары на елке. Вадиму стало очень грустно. Он оглянулся на Татьяну и показал ей язык.

- Дурак! - крикнула та.

- Га-га-га! - захохотал Слава.

Вадим схватил пальто и шапку и бросился вон. На улице было светло от снега и от горящих в домах окон. Вадим быстро пошел вдоль железнодорожных путей к дому Славы, то есть к дому его матери, Ольги Игоревны. Вадим часто дышал и все еще не мог успокоиться от нанесенной ему, как он считал, Татьяной обиды.

Не может же он заниматься этим с каждой встречной-попечной!

Вадим вошел во двор, двинулся вдоль кирпичной стены к окнам комнаты Ольги Игоревны. Ветка куста ударила Вадима по щеке, но он не почувствовал этого удара, потому что увидел в освещенной комнате Ольгу Игоревну. Она была в нарядном голубом платье с белым шалевым воротником, с красивой прической, высокая, статная, крупная женщина, единственная на всем белом свете, потому что все женщины терялись в воображении Вадима рядом с Ольгой Игоревной.

- Будь со мной, будь со мной всегда ты рядом, - прошептал Вадим одними губами и привалился спиной к кирпичной стене.

За прозрачными занавесками была хорошо видна комната, стол, празднично накрытый. За столом кроме Ольги Игоревны сидели две женщины и мужчина.

Через час у Вадима так замерзли ноги, что он их не чувствовал. Наконец гости стали собираться домой.

Вадим услышал голоса у подъезда, шаги. Ольга Игоревна вернулась в комнату, стала убирать со стола. Когда она подошла близко к окну, Вадим против воли сильно постучал в стекло и за-

стыл от волнения. Ольга Игоревна взгляделась в окно, узнала Вадима. На лице ее вместе с улыбкой выразилось удивление. Подумав, она вскинула брови и жестом руки пригласила Вадима зайти.

- Ты откуда? - спросила она, когда Вадим вошел в коридор. - Где Слава?

Бледнея и заикаясь, Вадим сказал:

- Можно я побуду у вас. Ноги окаменели от мороза.

- Конечно! - рассмеялась Ольга Игоревна, проводя Вадима в комнату. - Раздевайся... А где же все-таки Слава?

- У Жени.

Вадим разделся и сел в кресло.

- Можно я и ботинки сниму? - спросил он.

- Что за вопрос, - улыбнулась Ольга Игоревна. - Будь как дома.

Вадим тер онемевшие пальцы ног до тех пор, пока их не стало покалывать.

Потом пили чай и разговаривали о пустяках.

- Я тебе кресло сделаю, - сказала Ольга Игоревна.

Когда постель была готова и свет был погашен, горела лишь настольная лампа за перегородкой, Ольга Игоревна сходила умыться. Вернулась она с мохнатым полотенцем на плече и от нее пахло земляничным мылом. Халат был расстегнут, так что Вадим, стоявший у приготовленного для него кресла, видел и шею, и грудь.

Ольга Игоревна не пошла сразу в свой угол, а остановилась возле Вадима, с усмешкой заглянула в его глаза.

- В твои годы нужно веселиться, ухаживать за девушками, влюбляться.

Вадим медленно расстегивал свою рубашку, боялся смотреть на лицо Ольги Игоревны.

- Я уже влюбился, - вдруг, подавляя волнение, прошептал он и почувствовал, что во рту все пересохло.

- Ну-ну, - сказала Ольга Игоревна и пошла к себе.

- Я люблю... люблю вас! - сказал он.

Почти машинально он сделал несколько шагов, приблизился к Ольге Игоревне и, ничего не соображая, неуклюже взял ее двумя руками за талию. Глаза их встретились, и по расширившимся зрачкам Ольги Игоревны Вадим догадался, что и она его любит.

Однако Ольга Игоревна легко высвободилась из объятий и шутиливо бросила:

- Я же для тебя старуха, на восемнадцать лет старше... И потом в любую минуту может прийти Слава...

- Он не придет, - горячо проговорил Вадим.

- Одумайся, ложись в кресло, - сказала Ольга Игоревна. - Я же мать твоего друга. Подумай, это же невысказано, не укладывается в голове! - последние слова она проговорила с чувством.

Вадиму вдруг стало невыносимо совестно, он вернулся к креслу, торопливо разделся и лег под одеяло. Он лежал, затаив дыхание, и ему было слышно, как раздевается Ольга Игоревна, как поскрипывает ее кровать, как шелестит крахмальный пододеяльник.

Свет погас.

Слышен был стук будильника.

Через некоторое время Ольга Игоревна сказала:

- Вадим, там в серванте лежит шкатулочка с лекарствами...

Принеси, пожалуйста, ее мне...

- Сейчас...

В ее половине зажглась настольная лампа.

Вадим быстро встал, открыл дверцу серванта, нашел шкатулку и, дрожа, пошел на половину Ольги Игоревны.

Из-под одеяла выглядывала белая рука. Вадим нагнулся и раскрыл перед лицом Ольги Игоревны шкатулку. Рука отвела шкатулку в сторону...

- Мальчик мой, как же я тебя люблю! - сказала Ольга Игоревна вполголоса.

III

Из проходной телецентра на Шаболовке Вадим позвонил начальнику цеха осветителей киногруппы Ивану Степановичу Чистопрудову. Затем получил пропуск и, предъявив его милиционеру, ступил на территорию телецентра. Была оттепель. Серый снег хлюпал под ногами, но на ажурной Шуховой телебашне был белым, воздушным.

Чистопрудов оказался высоким, плечистым мужиком с ширококостным крестьянским лицом. Он сидел за столом на железных

антресолях в осветительном цеху, напоминавшем сарай. К Чистопрудову вела железная лестница, наподобие тех, что называются “пожарными”.

- Ну, чаво, пацан, робить будем? - спросил грубоватым голосом Чистопрудов и сдвинул потрепанную мерлушковую шапку на затылок.

Вадим не предполагал, что на телевидении работают такие “ископаемые” мужички. Когда шел сюда, виделся, представлялся начальник интеллигентный.

Внизу топали, сильно стучали приборами вернувшиеся со съемки осветители.

Послышался металлический удар: уронили на дощатый пол огромный черный прожектор. Чистопрудов запустил вниз с антреселей многосоставным матом. В ответ получил не менее оригинальное непанибратское матосочетание, достойное разухабистой пивной.

- Дорохвеев! - крикнул Чистопрудов. - С собой возьмешь энтого пацана. - Ткнул корявым пальцем в Вадима.

В другом конце антреселей, у раскрытой двери каптерки, играли в шахматы. От толпы играющих отделился пожилой человек с простецким лицом, приблизился по узкому балкончику антреселей к Вадиму, спросил:

- Варежки получил, как тебя?

Вся эта публика явно не нравилась Вадиму. Он снисходительно ответил:

- Простите, зачем мне варежки, я же не картошку копать пришел.

Дорофеев тупым взглядом красных глаз осмотрел Вадима, усмехнулся, зычно втянул в себя сопли и харкнул на металлический пол.

- Бычок! - крикнул Дорофеев, закуривая “Памир”. - Покаж новичку проводочки! - И толкнув в спину Вадима к лестнице, добавил: - Пять “дигов” и две коробки.

Высокий Бычок, одетый модно, как бы Слава сказал: “под фарцу”, положил руку на плечо Вадиму, когда тот спустился вниз, подвел к толстому кабелю, висевшему на крюке, и сказал тоном наставника:

- Старичок, бери и выноси на улицу. Сейчас машина подойдет.

На полках вдоль стен стояли осветительные приборы: огромные “диги” и “десятки”, поменьше - “полтинники” и “двадцатьпятки”, совсем маленькие - “бебики”. В торцы полок, обитых кровельным железом, были вколочены крюки, на которых висели кабели разного сечения, как хомуты на конюшне. Тот моток кабеля, к которому Бычок подвел Вадима, был самый толстый, с внушительными крючковатыми медными клеммами.

У Вадима едва хватило сил, чтобы сбросить кабель с крюка на пол. Глядя на этот черный моток, Вадим понял, что пришел работать не туда, куда хотел, что все иллюзорные представления о телецентре рухнули в одну минуту.

- Старичок, - прикрикнул Бычок, - давай-давай, тащи, “диги” пора таскать.

Вадим ухватил кабель, связанный в двух местах веревкой, за клеммы и волоком потащил на улицу. Асфальтовый двор был широк. У дверей осветительного сарая курили осветители. Вадим, разочарованный и подавленный, тоже закурил, став в сторонке. К нему подошел худощавый молодой человек, сказал:

- Ты не переживай. С “дигами” мы редко работаем. В основном - с “зеркалками”. Легкие ящички, тонкий провод, штативы компактные.

- А вы давно здесь работаете? - спросил Вадим.

- Третий год.

- Я только до лета, - сказал взволнованный Вадим, как будто ему кто-то грозил трехлетним сроком работы в этом сарае, - и в институт.

- Можно здесь работать и учиться, - сказал щуплый молодой человек. - Я во ВГИКе на экономическом, на втором курсе...

- Да-а?

- Да. Жду места. Администратором не хочется. Пойду сразу на директора картины.

- А вы Славу Тимофеева знали?

- Он в телеоператорах. Год у нас отработал, дождался местечка и махнул в телеоператоры.

Шумно подкатил к дверям сарая грузовик, гремя бортами.

- На “Сerp и молот”! - сказал шофер.

Дорофеев голосом армейского старшины крикнул:

- Кончай перекур!

Бригада осветителей принялась быстро загружать машину. Носили из сарая тяжелые “диги”, такие же тяжелые неуклюжие треножные штативы на колесах, провода, распределительные коробки.

Следом за грузовиком подъехал автобус. Осветители сели в него, закончив погрузку, и поехали к выходу. Дорофеев бросил Вадиму новые брезентовые рукавицы.

В заводском цеху стоял металлический грохот. Бригада осветителей устанавливала прожектора на штативы, разматывала провода, коммутировала их. Дорофеев молчаливо ходил между приборами, глубокомысленно молчал, изредка поправляя галстук. По всему было видно, что перед заводскими работягами он хотел казаться иным человеком, чем был на самом деле, то есть представителем сферы культуры. Это у него плохо получалось, и Вадим усмехнулся, поглядывая на его простецкое лицо и потертый черный костюм.

Да и другие осветители держались надменно по отношению к заводчанам. Когда те что-нибудь спрашивали, осветители или величественно молчали или говорили что-нибудь сквозь зубы, типа: “Контрольной не очень удачно поставлен, и рисуночек боковым надо подыграть”.

Если осветители держали себя надменно в отношении рабочих завода, то столь же надменны были по отношению к осветителям кинооператор, его ассистент, звуковик и автор двухминутного сценария для “Московских новостей”.

Вспыхнули голубоватые дуги между угольными электродами “дигов”, цех осветился.

Ассистент кинооператора небрежно бросил Вадиму:

- Что ты, как этот, куда светишь? Дай чуть-чуть в потолок!

Ассистент был в батнике и в замшевой куртке и чем-то напоминал Славу, не внешне, а манерами.

Вадим с некоторой обидой поправил прибор.

В конце пролета показался коренастый мужичок, ведомый под руку автором сценария.

Когда они приблизились, Вадим разглядел на лацкане мужичка золотистую звезду Героя. Мужичок был лыс, розоват, упитан, подвижен.

Он подошел к станку, оглядел его, затем надел прямо на костюм засаленный черный халат, застегнув его на верхнюю пугови-

цу, чтобы белой сорочки с галстуком не было видно, и нацепил на изнеженную лысину берет с поблескивающими на нем опилками.

- Так! - воскликнул кинооператор. - Свет можно погасить. Пока. Порепетируем.

Вадим закурил в отведенном месте. На лавке сидели заводские рабочие.

- Что это за диво привезли? - спросил Вадим, кивая на переднего Героя.

- А-а, - протянул один рабочий. - Такая падла, пробы ставить негде! Тут нам все мозги полоскал, за звездочку выкобенивался. Бывают же такие скоты!

- Ладно-ть тебе, Гриш! - успокоил его пожилой рабочий. - А то еще узнает и прижмет.

- Я ему прижму! Всю кровь выпил, пока тут был. Слава богу, туды взяли! - рабочий кивнул вверх.

Снимали фиктивного станочника часа три, потому что он не мог связно проговорить заранее заготовленный текст, все время путался.

Вечером усталый Вадим сидел в кресле у телевизора и жадно ждал "Московских новостей". Отчим, полковник МВД, шелестел газетой рядом.

- Вот он! - вскричал Вадим, когда пошел сюжет об "ударнике коммунистического труда".

Отчим сквозь очки смотрел на работающий станок, на рабочего в засаленном халате и в берете.

- Норму выработки я выполняю регулярно на два месяца вперед... В настоящее время я тружусь в счет следующей пятилетки.

- Вот негодяй! - воскликнул Вадим. - Его на заводе никто не видит, а он тут о нормах!

- Не горячись, - сказал отчим. - Об этом только ты и знаешь. А для народа это имеет большое воспитательное значение.

IV

Принесли заявки от кинооператоров на свет. Чистопрудов разбрасывал осветителей по бригадам: кого на завод, кого на

фабрику, кого в театр, кого в школу... То есть туда, где собирались снимать очередные сюжеты для новостей.

Вадима распределили на фабрику "Красный Октябрь" с бригадиром Борей Чесалиным, разбитным сорокалетним человеком, с золотым зубом, в замшевом пиджаке и в замшевой "щузне".

Пару зеркалочек положили в багажник микроавтобуса, приваляли оператора с ассистентом и автора.

Оператором оказалась миловидная молодая женщина Марина.

Когда ехали, она сказала ассистенту:

- Вчера читала "Живаго". Стихи прекрасны, а проза не очень. В общем, роман слабенький.

- Я бы не сказал, - ответил ассистент.

- Но исключить из союза такого поэта! - воскликнула Марина.

Вадим разволновался и, глядя на Марину, продекламировал:

Гул затих. Я вышел на подмостки...

Марина взглянула на осветителя удивленно, как бы не веря, что среди осветителей есть знающие Пастернака люди.

- А "Гефсиманский сад" знаете? - спросила она с придыханием. Голосок у нее был тонкий, детский.

- Наизусть нет.

В карамельном цеху Боря Чесалин сказал Вадиму:

- Не перебивай аппетит. Терпи до шоколадного. С зеркальными лампами работать было приятно и легко. Начальник шоколадного цеха пригласила в свой кабинет, куда принесли ведро какао на молоке, а на столе высилась гора любых шоколадных конфет и плиток шоколада.

- Кушайте на здоровье! - сказала начальница и вышла.

- Как вы думаете, - спросил у Марины Вадим, - я смогу поступить на операторский во ВГИК?

- Если умеете фотографировать, то почему бы нет, - сказала Марина, надкусывая белыми зубами круглую конфету с ромом.

Вадиму нравилась ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, детский голос, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое серое платье, своим видом она должна была возбуждать в скучных людях чувство умиления и радости.

Напившись горячего какао и насытившись шоколадом, направились на съемку в цех.

- Поснимай, - сказала Марина ассистенту, а сама задумчиво отошла к окну, которое выходило на набережную.

Вадим с Чесалиным быстро поставили свет, ассистент дал поддержать кинокамеру Вадиму, пока замерял освещенность экспонометром. Вадим посмотрел через окуляр камеры на Марину.

Ассистент принялся снимать, а Вадим подошел к Марине.

- Вы "Записки из мертвого дома" читали? - спросил он.

- Нет, - подумав, ответила Марина. - Я вообще не люблю Достоевского. Он плохо писал. Не художественно. Все это - черновики, не отделано. Пыталась несколько раз начинать "Бесов", но так и не смогла втянуться.

- Напрасно, - сказал Вадим. - В конце "Мертвого дома" отбивают заклепки, кандалы падают, арестанты отрывистыми, грубыми голосами говорят: "С Богом!". Да, они говорили: "С Богом!". И думали, что их ждала новая жизнь, свобода, воскресенье из мертвых... То же чувство испытал я, когда дождался минуты демобилизации из армии. Вы знаете, темный народ у нас в стране, необразованный. В Москве мы еще видим проблески культуры, а там, - куда-то за окно махнул рукой Вадим, - все та же дикость, какая и при Достоевском была. Никто в гарнизоне ничего не читал. А если и читали, то газеты да развлекательную чушь типа "Двенадцати стульев"...

- Вы впечатлительный мальчик, - сказала Марина и улыбнулась. - Вам трудно будет жить. Прошла минута в молчании.

- Вы снимаете то, что хотите? - спросил Вадим.

- Если бы! - усмехнулась Марина.

Подошел Чесалин, сверкнул золотым зубом:

- Предлагают коробку шоколадок, - сказал он.

- Нас на проходной не выпустят, - сказала Марина.

Чесалин вытянул шею и подмигнул. Взяли черный мешок, в котором заряжали пленку, засунули в него коробку с шоколадками: 100 штук. Мешок положили в кинооператорский чемодан, сверху камеру. На проходной черношинельный вахтер бросил беглый взгляд в микроавтобус и разрешительно махнул рукой. Поехали. Чесалин вытащил мешок, вскрыл коробку и поделил шоколадки на пятерых, включая шофера.

С этими шоколадками Вадим зашел в студию “Б”, где у телевизионной огромной камеры стоял Слава. Когда к нему подошел Вадим, Слава снял наушники, сказал:

- Мы тут малость в парке культуры, - пауза, - и горького отдыха... Будешь? - От него довольно сильно пахло вином.

- Что? - спросил Вадим, протягивая Славе шоколадку в обертке.

- О, закусон! - воскликнул Слава и подозвал другого оператора, от которого тоже веяло спиртным.

Слава разломил шоколадку и половину протянул коллеге.

- Что тут у вас? - спросил Вадим, кивая на декорации.

- Съемка с монитора, балет, - сказал Слава.

Вадим взялся за рога телекамеры, посмотрел в экран.

- Идиотская работа, - сказал он. - Каждый сможет. Это же телевизор! Смотри, резкость подкручивай, панорамируй...

Слава обидчиво вытянул губы.

- Идиотская работа у тебя, - сказал он грубовато. - У осветителя. Плебейская работа! А у нас, - обвел широким жестом руки студию Слава, - творческая!

- В таком случае, - не сдавался Вадим, - у каждого, кто сидит перед экраном, - работа творческая!

- Будешь? - не обращая внимания на язвительность Вадима, повторил вопрос Слава.

- Что? - непонятливо пожал плечами Вадим.

Слава извлек из заднего кармана брюк плоскую коньячную бутылку и с улыбкой посмотрел на Вадима.

- С какой радости? - простовато сказал Вадим, усмехаясь.

- Просто так, - сказал Слава, поправляя узел галстука.

- Нет, - сказал Вадим, оглядывая отутюженного, модного Славу, и спросил: - Ты сегодня когда освободишься?

В студии было душновато от горячих софитов и пахло краской и столярным клеем от декораций.

- Сегодня до упора, часов до двух ночи.

- Ну, ладно, поеду домой, - сказал Вадим и добавил: - Сегодня был на “Красном Октябре” с прекрасным оператором...

- С кем? - Слава опустил глаза на свои импортные туфли.

- С Мариной...

- О, Мариночка! - сказал Слава и, поднеся щепоть к губам, звучно чмокнул. Белой жилкой мелькнул пробор.

Вадим почувствовал досаду на Славу, страх и удовольствие оттого, что ему можно сейчас поехать к Ольге Игоревне. Лицо Вадима в этот момент покраснело густым малиновым румянцем. Слава дружелюбно хлопнул по плечу Вадима, мельком взглянул на окна аппаратной, хлебнул из горлышка коньяку, кашлянул и с видом облеченного властью человека надел наушники и взялся за ручки телекамеры.

Уже смеркалось, когда Вадим свернул в подворотню и пошел вдоль щербатой кирпичной стены, поскрипывая снегом.

Окно светилось.

Вадим увидел лицо и плечи Ольги Игоревны, сидевшей глубоко, немного сгорбившись в знакомом кресле. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове заметно было, что она занята рукоделием. Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову и глубоко вздохнула, затем неожиданно быстро, с тревожным выражением повернула лицо к окну.

V

Золотые волосы Ольги Игоревны падали крупными локонами на плечи, ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели доверчиво и кротко. Цвет этого красивого, правильного лица порадовал Вадима своим ровным, нежным тоном, совсем юным.

- Любовь к вам, Ольга Игоревна, - какая бездна тайны, какое наслаждение и какое сладкое, острое страдание! - вдруг сказал восторженно Вадим.

Он рассеянно и неловко улыбался, но тотчас же хмурился и бледнел, пугаясь нелепости и прямизны своих слов.

- Да, да... это так... Ну, хорошо...

Вадим смотрел на нее сияющими влюбленными глазами, не выпуская из своей руки ее руку.

- Вадик, - сказала Ольга Игоревна шепотом, - нет, правда, не забывай меня. У меня теперь единственный человек, с кем я, как с родным, - это ты. Слышишь?

Вадим испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, не существовавшим на земле напитком.

Вдруг Ольга Игоревна спросила тихим, вздрагивающим голосом:

- Вадик, хорошо тебе?

Он нашел губами ее руку, затем взволнованно проговорил:

- Вы необыкновенная, прекрасная. В вас какая-то загадка, я не понимаю, какая... Но... Все это мне кажется противозаконным, я боюсь и вместе с тем совершаю...

Она засмеялась, и этот низкий, ласкающий смех отозвался в груди Вадима радостной дрожью.

- Милый Вадик! Милый, добрый, трусливый, милый Вадик! Я ведь тебе сказала, что это тайна наша. Мне должно быть страшнее, я многое повидала в жизни... Не думай ни о чем, Вадик. Знаешь, отчего я такая смелая с тобой? Нет? Не знаешь? Я же в тебя влюблена!

Вадим вздрагивал, глядя ее волосы.

- Ольга Игоревна... Ольга... Оленька! - произнес он благодарно. Ему хотелось сказать ей еще что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама. И он сказал страстно: - О, милая!

- Подожди... Слушай меня. Это самое важное. Я тебя сегодня видела во сне. Это было удивительно. Где-то играла музыка, и мы с тобой танцевали...

Чем дальше Ольга Игоревна говорила, тем сильнее становилась грусть Вадима. Ему почему-то было жаль и себя, и Славу, и Ольгу Игоревну. Вадим ясно видел ее глаза, которые стали огромными, голубыми-голубыми и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в свете настольной лампы все ее знакомо-незнакомое лицо. Была ли у Вадима зависть к ее зрелой красоте, или он жалел, что эта необыкновенная женщина досталась ему на краткое мгновение, случайно, и никогда не будет всегда с ним, или он смутно чувствовал, что ее красота только ему кажется таковой, а другие люди, быть может, вовсе и не считают это красотой, но грусть Вадима была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке именно созерцанием настоящей красоты. Он это знал наверняка. И чтобы очнуться от этой грусти, он сделал над собой усилие и сказал:

- Теперь я немного понимаю Печорина...

- А кто это? - невинно спросила Ольга Игоревна.

- Такой же молодой человек, как и я. Он тоже любил женщин, которые много старше его...

- Ах! - воскликнула Ольга Игоревна. Она стала гладить и перебирать его волосы. - Вадик, славный мой. Я чувствую себя молодой... твой возраст... ты такой... Я верю песне: любви все возрасты покорны...

Он перебил ее с ласковой и грустной улыбкой:

- А я Пушкину: "Люби все возрасты покорны; но юным, девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям..." И эта буря - во мне...

- В этом вся твоя прелесть...

Они замолчали. Ольга Игоревна обвила руками его шею и прижалась губами к его губам, и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом, от ног до груди.

Когда Вадим пришел в себя и почувствовал смущение, она потянулась и лениво сказала:

- И бури вешние проходят, - и встала, белая, прямая.

Вадим закрыл глаза, слышал шаги ее босых ног и никак не мог до конца поверить в то, что происходит между ними. Это какая-то новая форма существования материи, раздувающая чувства, подобно огненным мехам.

- Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя! - сказала Ольга Игоревна, присаживаясь на край кровати.

Вадим, еще, казалось, минуту назад охваченный смущением, вновь почувствовал прилив неконтролируемой страсти. От Ольги Игоревны струился нежный запах духов. Вадим протянул к ней руку, ища ее руки.

- Ольга Игоревна! - произнес он просительно. - Милая!

- Милый...

Вадим был в другом мире.

Тот, знакомый, вещный мир был где-то далеко, за границами видимого и осязаемого, словно его, настоящего мира, совсем не было. Вадим точно вступил в странный, обольстительный, одновременно живой и призрачный мир запретов, таинств любви. Да, нереальными были и эта комнатка за перегородкой, и свет настольной лампы под голубым абажуром, и странная, милая женщина в шелковом халате, сидевшая рядом, так близко от него.

Вадим потянулся к ней. Ему казалось, что от лица Ольги Игоревны идет бледное сияние.

- Я люблю вас! - прошептал он тихо.

- Милый... милый... милый, - сказала она и оперлась о подушку локтем.

Вадим стал целовать ее халат, отыскал ее руку и приник лицом к теплой, душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, срывающимся голосом:

- Оленька... Я люблю вас... Я люблю...

Он жадными, пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом:

- Милый... милый... милый... Что же мы с тобой делаем... Зачем все это... Почему я не могу справиться с собой... Почему? Милый... милый... милый... Я помолодела с тобой... Ты для меня как та буря, но что-то в ней есть осеннее...

- Ольга Игоревна... Какое счастье! Я люблю вас... - твердил Вадим в каком-то блаженном бреду.

Ольга Игоревна молчала.

Вадим поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг нереальным, вымышленным. Чтобы убедить себя в реальности происходящего, он прикоснулся дрожащими пальцами к ее щеке.

- Воображаю, что будет, если кто-нибудь узнает, - наконец сказала Ольга Игоревна, плотнее запахивая халат.

- Милая...

На ночном столике глухо стучал будильник.

У Вадима билось сердце.

- Милый, - сказала она.

С туманной головой, с шумом в ушах Вадим вдруг крепко прижался к ней.

- Вадик... - услышал он ее слабый, протяжный и несколько ленивый голос.

Вадим видел ее золотистые волосы, видел ее голубые глаза, видел чистый открытый лоб, дрожал и наслаждался до горечи, до постижения неизведанных глубин своей души.

- Вадик, зачем ты такой... Я не хочу скрывать... меня влечет к тебе, ты мне мил всем: своей неловкостью, своей наивностью, своей нежностью...

Обжигающее прикосновение ее губ обострило пронзительное чувство нереальности.

Глухо стучал будильник.

- Я уже не думаю ни о чем, - сказала она.

- Милая...

Вдруг постучали в дверь. Ольга Игоревна испуганно вскочила, одернула халат и, приложив палец к губам, пошла открывать. Вадим услышал голос соседа Коли:

- Игоревна, у тебя соли не найдется?

- У, черт, не дает отдохнуть! - возмутилась Ольга Игоревна и полезла в сервант за солью.

Когда она вернулась, Вадим застегивал пуговицы на рубашке. Ольга Игоревна села на стул у ночного столика и смотрела на Вадима с улыбкой и грустью. Затем она взяла губную помаду и стала подкрашивать губы.

- Милый...

Она встала, взглянула на окно, подошла и плотнее задернула занавески.

Вадим сделал шаг к ней, обхватил сзади и поцеловал плечо через шелковистую ткань. Ольга Игоревна вздрогнула и, не поворачиваясь, прильнула всем телом к Вадиму.

Слышно было, как тикал будильник.

Они стояли некоторое время молча, затем Ольга Игоревна освободилась из его объятий и сказала твердо:

- Довольно... Скоро Слава придет.

Вадим в этот момент подумал о Славе с ненавистью. А Ольга Игоревна мрачно добавила:

- Какая же я дура!

На глазах ее показались слезы.

VI

Судя по заявке, в которой значился Вадим, Марина обратила на него внимание. Однако Чистопрудов, недовольно хмыкнув, Вадима из заявки вычеркнул и вписал его в ту, где требовались "десятки".

Вадим огорченно сказал:

- Вы не должны так поступать, поскольку оператор сам просит. Я же не нанялся таскать эти бочки по заводам, где снимают сплошную липу!

В маленькое окно с антресолей виден был двор, большой корпус студий, где в тепле работал Слава, видны были ворота, наклонный люк в подвал.

Чистопрудов принял позу, какая подобает начальнику, и громко высморкался в синий клетчатый платок.

- Ну, этто... мы поглядим! Липу! Сопли утри сначала, хм. Поедешь туды, куды пошлют! - сказал он.

Вадим с неприязнью посмотрел на этого плохо владеющего родным русским языком человека, надулся и нахмурился.

- Вы говорите со мной почтительно и не тыкайте! - сказал Вадим.

- А, чтоб тебя... - проворчал Чистопрудов, поднимаясь и задвывая головой в мерлушковой шапке низко свисающую лампу. - Иди, пацан, "десятки" грузить.

Вадим помялся и несмело пошел вниз по лестнице. В это время со двора послышалось урчание грузовика.

Черные прожектора, размером с "диги", но чуть полегче, выносили вдвоем с Бычком, который все время почему-то подмигивал Вадиму. Когда садились в автобус, Бычок спросил:

- Будешь?

Вадим отрицательно покачал головой, а Бычок, отпив из горла рыжего портвейна, передал бутылку по кругу. Бригадир Кусков, коренастый, маленький, с красным грубым лицом, перед тем как выпить, протер горлышко полой желтого армейского бушлата. Выпив, сказал:

- Ну, значит, вот... Теперь мы на месяц, значит, того... Вместе... Надо сброситься, - и снял с головы шапку, в которую кинул скомканную трешку.

В автобусе поднялся веселый гул, осветители оживленно копались в карманах, выгребая рубли и мелочь, у кого сколько было. Чтобы не выглядеть белой вороной, Вадим швырнул в шапку свой обеденный рубль. По просьбе Кускова шофер тормознул у гастронома. Набрали портвейна и поехали на площадь Журавлева в Телетеатр.

Пока ехали, Кусков говорил хриловатым, простуженным голосом:

- Вчерась, наконец-то, развелси. Эх, братва, мой вам совет: не женитесь вы на стервах. Всю кровь выпила, сволочь! От тебе, гундосит, вином каждый день пахнет! Фифа какая! У самой

отец не просыхает, самогонку варит, а мене все брешет, чтоб я энтим... приличным был! Как приду домой, так скандал! А я что, не мужик, что ли? Рази мне выпить нельзя? Да без вина на Руси ни одно дело не делается! Открывай, Бычок!

Бычок быстро распорядился и пустил бутылку по кругу. Когда очередь дошла до Вадима, он широким жестом взболтнул жидкость в бутылке и, перевернув, приставил к плотно сжатым губам. Лишь по губам чуть-чуть потекло. Передал бутылку следующему.

Чтобы не таскать "десятки" с грузовика, Вадим ухватился за толстый и тяжелый магистральный кабель, который был в автобусе, выволок его на снег и спросил у Кускова, где будет подключение. Бросив концы кабеля у энергетического щита с тыла Телетеатра, Вадим потащил другой конец через черный ход, через сцену в зал, где уже другие осветители устанавливали на треножки штативов огромные черные прожектора с рифлеными стеклами, защищенными металлическими сетками.

Кусков, от которого сильно пахло портвейном, ходил по залу среди кресел партера с видом метрдотеля дорогого ресторана, чему способствовал лоснящийся от старости черный пиджак и белая сорочка с черным галстуком.

Вадим подтащил конец кабеля к большой распределительной коробке, нагнулся, перевернул коробку и накиннул крючки клемм на стержни болтов, привернув клеммы накрепко ушастыми гайками. Затем сходил с Кусковым и электриком Телетеатра к щиту, который на минуту обесточили, подсоединили кабель клеммами к специальным зажимам, и врубили нагрузку.

Разбросали шнуры к софитам, подсоединили, после чего сам Кусков воткнул рубильник на коробке, а вслед за тем - и на каждом приборе. Зал и сцена ярко осветились.

Кусков скрестил руки над головой и крикнул:

- На сегодня хорош! Все свободны... Завтрева к шести вечера прямо сюда...

Вадим радостно взглянул на свои черные от кабеля ладони. Пока мыл руки в туалете, думал об Ольге Игоревне, дома ли она сейчас или на работе, думал и о Славе - где он? Жаль, что нет у них дома телефона. От администратора Телетеатра позвонил на студию, оказалось, что Слава сегодня выходной.

Вадим несколько огорчился.

Слава, выбритый, наодеколоненный, гладил брюки. В кресле дремал лохматый кот Васька. Ольга Игоревна еще не пришла с работы.

- А, старичок! - сказал приветливо Слава, когда Вадим вошел в комнату.

Дверь в квартиру ему открыла полная соседка.

- Только что в Телетеатр аппаратуру забросили, - сказал Вадим, чтобы что-то сказать. Разумеется, откровенничать о тайне тайн с кем-либо он не собирался, но чувствовал внутреннее напряжение: не догадывается ли Слава о чем-нибудь.

- Там клево работать, - сказал Слава. - Я однажды там пару месяцев кантовался. И палец о палец не ударил. Тяжело лишь в день приезда и в день отъезда... Вы с "десятками"?

Судя по спокойному тону, Слава, конечно, ни о чем не догадывался.

- Да. Восемь "десяток". Две на сцене по краям. Остальные в зале... Какую-нибудь муру будут снимать...

Слава усмехнулся и с долей некоторой надменности сказал:

- Это я свет заказывал. Да, старичок. Будем там работать. Съемка с монитора.

- А ты куда гладишься?

- А ты разве не знаешь, что у Жеки сегодня день рождения?

- Забыл.

- С тебя пузырь. Жека так распорядился. Сказал, увидишь Вадика, скажи, чтобы тащил пузырь.

- Ладно, - вздохнул Вадим и возбужденным взглядом посмотрел за перегородку.

Слава поставил утюг на подставку и громко сказал:

- Слушай, старичок! Я с матыгой лицевой счет разделил!

При слове "матыга" Вадим порозовел, но промолчал. Уж очень оскорбительным ему это слово показалось, но он не собирался воспитывать Славу.

- Отец потребовал, - продолжил Слава, надевая брюки. - К лету обещал квартиру... Но, - Слава грустно помолчал, - с женой. Говорит, что на одного меня провести через исполком не может. Там, говорит, очередь до второго пришествия. Женись, говорит, срочно. А где я сейчас жену найду, кругом одни б...! Что ты на это скажешь? - спросил он.

В это время кот принялся мусолить языком переднюю лапу и тереть ей за ухом.

Вадим задумчиво смотрел на кота.

- В этом вопросе, - сказал Вадим, - мне кажется, нельзя ни с кем советоваться. Это такое дело... загадочное, тайное, - он представил Ольгу Игоревну и покраснел, - что я не берусь тебе что-либо советовать...

- Это ты прав, старичок, - сразу же согласился Слава. - Дело щепетильное. Ты же должен понять меня, что я хочу по-настоящему жениться. Ну чтобы она меня любила и ухаживала, чтобы я ее любил, чтобы, как говорится, характерами сошлись.

- А с мамой ты не советовался? - спросил Вадим и на слове "мама" опять порозовел.

Но Слава не смотрел на него.

- Советовался. Обещала в субботу кого-то привести. Ты приходи обязательно. Хотя со стороны посмотришь. Но... До лета надо во что бы то ни стало жениться. Отец уже на двоих записал там меня. Понимаешь?

Вадим сел в кресло, взял кота на руки и, поглаживая его, со вздохом сказал:

- Раньше были свахи, все выведает, все обстряпают. А теперь, как волки в лесу, люди. Найти свое... единственное... по любви... практически невозможно. Вдруг да твоей единственной еще пятнадцать лет или, наоборот, сорок?

Вадим опять покраснел.

- Гм!.. Вопросец! - сказал Слава и воскликнул: - Да я бы взял лучше деревенскую или из какого-нибудь городка. Но где эта деревня и где этот городок, где "батончик" мой живет?

Вадим сменил тему:

- А кто будет у Жеки?

- Кто? Он, я, ты и три чувихи!

- Не новогодние?

- Нет. Женина баба и две ее подружки... Да какая разница, с кем спать! Это тебе не женитьба.

Вадим сбегал домой. Мама сидела у себя в кабинете и готовилась к лекции.

Сегодня у нее были занятия с вечерниками. Мама была доцентом кафедры философии и научного коммунизма. Отчим еще не пришел с работы.

- Мам, у Жени день рождения, - сказал Вадим, целуя маму в щеку. - С-ссуди, сколько можешь, на подарок. - Свистнули лишние "с".

Мама пошевелила челку, взглянула на сына с улыбкой.

- Возьми сколько тебе нужно в моей сумочке.

VII

Водка продавалась и в рыбном, и в мясном, и даже в бакалейном отделах; ее продавцы охотно отпускали без очереди как штучный товар. Вадим купил бутылку "столичной" за 3 р. 12 к.

На столе была красная рыба, икра, сухая колбаса, лаково блестящие маслины, салат с зеленым луком. Остро пахло сельдереем и петрушкой, пучки которых живописно лежали на плоском большом блюде с рулетом из фаршированной щуки...

Черноволосый, похожий на цыгана Женя заиграл на гитаре и низким голосом запел:

Идут на Север, в строга огромные,
Кого ни спросишь, у всех указ.
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз...

Слава выпил и включил магнитофон "Астру", на котором скрипели, задевая друг друга, кассеты. Из магнитофона неслось:

В меня влюблялася вся улица,
И весь Савеловский вокзал...

Слава взял Вадима за пуговицу пиджака, шепнул:

- Ты тут только про женитьбу не бухни, а то не отвяжешься!

- Я вообще не имею привычки вести разговоры на подобные темы, - сказал Вадим.

Перемотали кассеты, поставили Битлов. Женя пригласил свою тощую девицу танцевать. По всему было видно, что эта некрасивая девушка нравилась Жене. Слава, поправив галстук, подлетел к более или менее смазливой подружке, а Вадим протянул руку невысокой скуластой девушке восточного типа.

Почему-то от нее пахло постным маслом. Она стеснительно поднимала свои черные глаза на Вадима и бледнела.

- Вы не помните, кто писал о Печорине? - спросил Вадим.

- Девушка наморщила лоб.

- Наверно, Пушкин.

Вадим вздохнул и больше девушку ни о чем не спрашивал.

В это время Женя поднял над головой руку с зажатой в ней бочечкой, вроде батарейки для карманного фонарика, с хвостиком проволочным, в изоляции, как показалось Вадиму.

Женя вскричал:

- В честь моего дня рождения сейчас салют будет!

Слава небрежно сунул руки в карманы своих отутюженных сталистого цвета брюк, кивнул на поднятую руку и спросил:

- Что это, старичок?

- Сигнальная шашка! - выпалил Женя, сверкая глазами, и побежал на улицу.

Вадим со Славой не спеша пошли следом. Остановились поодаль. Вышла тощая девица Жени. Тоже встала в сторонке. Женя чиркнул спичкой, поднес к короткому проволочному хвостик у огонь. Проволочка вспыхнула ярко-голубым светом и, шипя, стала отбрасывать искры в стороны, как электрод у электросварщика.

- Бросай! - крикнул Слава.

- погоди, - не понятно почему медлил Женя, жадно следя за шипящим огоньком.

Наконец он взмахнул рукой, и на взмахе раздался взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой, как от блица фотоаппарата. Запахло сгоревшим порохом и еще чем-то приторно-сладким.

Женя выронил дымящуюся шашку и обхватил лицо руками.

Вадим подбежал к нему, обнял и быстро повел домой. Все были очень напуганы. При свете в комнате рассмотрели фиолетово-бордовый отек под правым глазом. И правая рука Жени была такого же цвета и волдырилась.

- Главное - глаз цел! - говорил подавленно Женя, рассматривая себя в зеркало.

- Дурак же ты, Женька! - обидчиво сказала ему его девушка. И принялась делать ему примочки.

Вадим собрался уходить, одевался.

- Посидим еще! - попросил Слава, судя по бледности лица, то же сильно испуганный.

- Да ну вас к черту! - зло сказал Вадим. - Какая-то бестолочь. Зачем-то собираемся, пьем, едим... И эти, - кивнул он, - девичьи... Чего мы хотим? Ни одного умного разговора для прочистки интеллекта. Какая-то тупость. А время уходит, уходит. И ты, Слава, не знаешь, чем себя занять. А ведь, сознайся, ничего из Достоевского не читал!

- Зачем мне твой Достоевский! - огрызнулся Слава, наливая в зеленоватый тяжелый бокал водки. - Что ты, как ребенок, с книжечками все своими!

- Ох-ох, грамотей выискался! - бросила Вадиму восточного типа девушка, с которой он до этого танцевал.

Слава медленно выцедил водку из бокала, взял руками пучок петрушки и поднес этот сочно-зеленый букетик к носу. Понюхав, он зачихал весь пучок в рот и стал смачно жевать.

Женя лежал на диване и тихо постанывал.

- Меня еще про Печорина расспрашивал! - не угомонялась девушка восточного типа. - Не могу терпеть этих грамотеев! Как чуть что - начинают познания качать...

Вадим смерил ее с ног до головы насмешливым взглядом и с подчеркнутым хладнокровием сказал:

- В ваши годы, уважаемая, стыдно не знать, что Печорина написал не Пушкин, а Лермонтов. И называется все это про Печорина "Герой нашего времени", а также "Княгиня Лиговская"...

Девушка восточного типа вспыхнула, сжала кулачки и крикнула, не известно к кому обращаясь:

- Я же говорила, я же говорила! Смотрите, он же издевается над нами своими познаниями! Смотрите, это же гаденыш, которых голыми руками давить нужно! Он же над нами издевается! Он нас ни в грош не ставит! - она резко отвернулась, отошла и села на стул.

Слава, подумав, налил себе еще, затем сказал снисходительно и чуть заплетающимся языком:

- Старичок, будь вежлив с девушками. Ну, что ты хочешь от этих матрешек. У них же в голове мякина, а ты им о Лермонтове, Пушкине!

Смазливая подружка Славы, сидевшая до этого молча в углу, встала и, покраснев, воскликнула:

- Это у тебя, дурак, мякина! - и грозно пошла на Славу.

- Трудно прощаться, но еще трудней прощать, - сказал неопределенно Слава и на всякий случай обошел стол и остановился с другой стороны.

- Да хватит вам трепаться! - стонущим голосом сказал Женя.
- Дайте отдохнуть!

Возникла неловкая пауза. Слава выпил еще раз, затем быстро оделся. Вадим поехал домой: пару остановок на троллейбусе. Слава пошел провожать девушек.

Придя домой, Вадим сразу же лег в постель, подбил выше подушку под головой, и в свете бра стал читать Достоевского. Вадим любил читать на ночь, лежа в постели. На грани сна и яви возникал через книжные строчки другой - представляемый мир, который, быть может, сильнее действует на человека, выкрадывает этого человека из реальности, крадет его жизнь, и чем больше человек читает, тем, по всей видимости, он меньше умеет и хочет жить сам.

Вошел отчим, высокий, привлекательный мужчина с серебряными висками, спросил:

- Ты плохо себя чувствуешь?

- Нет.

- Что читаем?

Вадим молча показал серую обложку.

- Угу. Понятно, - сказал отчим и вышел.

Вадим с нетерпением впился глазами в черные строчки: "...в то морозное и сиверкое ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно надо было идти со двора "по одному весьма важному делу", а между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели, по некоторому экстремному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора..."

Вернулась из института мама, вошла, спросила:

- Ты картошку почему не купил?

Вадим вздохнул, переключаясь из одного мира в другой, и недовольно посмотрел на девическую челку мамы.

- Mam, очень важно в жизни молодиться? - не отвечая на вопрос, задал свой.

- Что ты имеешь в виду?

Вадим улыбнулся, помолчал, затем сказал:

- Ну, то, что сознание все-таки, на мой взгляд, первично. В том понимании, что оно постоянно поправляет материю. Тебе хотелось бы всегда выглядеть моложе своих лет?

Мама провела пальцами с длинными маникюренными ногтями по челке, сказала:

- Как ты всегда сложно говоришь! Вернее, отговариваешься. Лентяй ты, Вадька! - и другим тоном добавила, более жестко: - Завтра же купи картошки! Деньги на телевизоре оставляю! - и вышла, хлопнув дверь. Должно быть, обиделась за челку.

Вадим бежал глазами по строчкам, а сам думал о том, что книги и жизнь - несоизмеримые величины. Из-за книг он с недоверием относился к реальной жизни. И в последнее время так заразился этим недоверием, что начинал видеть одну лишь материальную, вульгарную сторону всего.

Блажен, кто забывается в книгах!

И Вадим забывался только в книгах. Он с некоторой долей страха чувствовал, что книги дают ему гораздо больше, чем люди. Для него воспоминание о людях всегда бледнело перед воспоминанием о книге.

Нейтральные строчки позволяли вести свою мысль, но вдруг эта своя мысль заглушалась: строчки исчезали и вставал тот застрочечный, забуквенный мир, облакался в плоть и кровь, напивался запахами, наполнялся звуками, раскрашивался красками, становилось, короче, предметным то, что не было таковым.

В данном случае такими строчками стали: "...в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка..."

И он увидел лицо Катерины, точь-в-точь похожее на лицо Ольги Игоревны, увидел красного кричащего ребеночка, с еще не перевязанной пуповиной, ребеночка со взрослым лицом Славы.

- Вы, Ольга Игоревна, так хорошо обо мне говорите... Как будто я и вправду все могу делать, - сказала Нина, которую пригласила Ольга Игоревна для знакомства со Славой. Нина залилась румянцем и принялась теревить тесьму скатерти, опустив глаза.

Вадим смотрел на ее чистенькую, худощавую фигурку, большой лоб и длинную косу, так не вязавшуюся с представлением о современной девушке, вслушивался в ее речь, и ему казалось, что она как раз подойдет для Славы этой своей наивностью и недалекостью. Рот у Нины был большой, и губы не закрывали зубов, что выглядело очень смешно, и она напоминала кролика.

Слава с Вадимом выходили несколько раз в коридор курить, и Слава, волнуясь и стряхивая пепел прямо себе под ноги, спрашивал с заметной дрожью в голосе:

- Ну, что скажешь, старичок? А?

- По-моему, для жены - в самый раз, - говорил Вадим, взвешивая в уме все "за" и "против". - Какая у нее прекрасная коса! Это же говорит о ее чистоте! - Вадим тут же хотел сказать о своем завтрашнем дне рождения, на который он собирался пригласить и Славу, и - главным образом - Ольгу Игоревну...

- Но зубы! - болезненным тоном перебил Слава. - Рот, как у крокодила! Безобразный ртище! Как представлю, что с ней придется целоваться, дрожь в коленках начинается...

Возвращались в комнату, чтобы еще и еще раз всмотреться в Нину и вслушаться в ее голос.

Откровенно говоря, Вадиму с первого же взгляда эта девушка не понравилась. Она поразила его своим каким-то утомленным, крайне болезненным видом. Несомненно, она была молода, неплохо сложена, с почти что правильным (если бы не огромный рот!) лицом, но, в сравнении с Ольгой Игоревной, казалась угловатой, вялой и попросту глупенькой.

Сватовство она воспринимала очень серьезно, и так же серьезно говорила, как будто Слава уже согласился на ней жениться:

- Я не люблю, когда мужчины выпивают. У меня сразу это кончится. По хозяйству будем работать вместе. Нужно мужу ходить в магазины, мыть пол, чистить картошку...

По-видимому, главным в женитьбе она считала плановость и хотела это подчеркнуть. Она говорила:

- Детей необходимо заводить сразу, не откладывая. Я бы хотела иметь троих...

Ольга Игоревна слушала ее, затем сказала:

- Ты, милочка, уж очень прямодушна. Хотя в чем-то я тебя и поддерживаю. Все эти рассуждения, что мужчин нужно держать, или держать нужно женщин, я не разделяю. Нужно просто любить друг друга. Да, любить! - улыбнулась Ольга Игоревна и мельком взглянула на Вадима, который тут же покраснел.

Нина по-прежнему теребила тесьму скатерти и гнула свое:

- Ох, Ольга Игоревна, слышали мы про эту любовь. Одно расстройство. Ну, что такое любовь? Сгорит и дыма не останется, а жить нужно. И жизнь очень длинная...

По всему было видно, что Нина рассуждает с чужого голоса. Так рассуждают старухи и незамужние женщины в годах. Движения Нины, ее суховатая или, точнее, нарочитая улыбка, ее слова носили в себе что-то вымученное, холодное. Хотя, если честно, то по всем пунктам она была права: нужно друг друга уважать, деньги отдавать жене, не пропивать их, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей... Но беда в том, что это были не мысли живой души, девушки, а банальности, штампы, лозунги, от которых хотелось бежать и делать все наоборот: изменять жене, не просто жене, а именно такой жене, пропивать подчистую получку, плевать на кухонную философию, и вообще уйти из дворца надуманной порядочности и валяться свиньей под забором.

Обо всем этом думал Вадим, с удовольствием рассматривая Нину, еще и еще раз убеждаясь в том, что она поет с чужого голоса. И чтобы проверить свою догадку, Вадим спросил:

- Нина, вы слышали что-нибудь о непротивлении злу?

Так же рассудительно Нина сказала, как на экзамене:

- Да, слышала. Это учение Толстого. Оно ошибочно, потому что если не противиться злу, то оно сокрушит все и мы окажемся в каменном веке.

- А кто такой Печорин? - заинтересовавшись, спросил Вадим и заметил, что Ольга Игоревна встрепенулась и едва заметно побледнела, вероятно, вспоминая, что Печорин - такой же молодой человек, который любил женщин среднего возраста.

Задав вопрос, Вадим ожидал услышать стандартное: лишний человек. Но не услышал, потому что Нина покраснела и сказала:

- Печорин очень хороший человек, потому что ему скучно и он не нашел еще себе жену, чтобы она его образумила. Как только Печорин женится, так и успокоится. Он умный мужчина. Но он не знает, что делать со своим умом. Еще дороги своей не нашел. И цели у него нет.

Пока она говорила, Слава бледнел, потел, вздыхал и незаметно подливал себе сухого красного вина.

Вадиму же стало очевидно, что Нина - тяжелый человек, что всю жизнь она будет говорить штампами, вставать в позу, отчитывать мужа, качать права и так далее. Вадим махнул рукой на эту Нину и принялся разговаривать со Славой и с Ольгой Игоревной.

Но и с ними у него разговор не клеился, потому что Вадиму хотелось говорить о людях, томимых духовною жаждою, а Славе с Ольгой Игоревной - о тряпках.

К примеру, Ольга Игоревна сказала:

- Я тебе такое французское платье, Ниночка, достану...

- А мне еще пару батничков, - вставил Слава.

Наконец, когда прошло часа два, но еще не стемнело, Нина сказала:

- Мне пора!

Она это сказала таким тоном, как будто с нею кто-то собирался спорить. А Вадим видел в этот момент не лицо, а одни зубы, как в сюре у Дали.

- Слава, проводи девушку до метро, - сказала Ольга Игоревна, вставая из-за стола.

Вадим тоже поднялся, сказал:

- Я тоже пойду...

- Отчего же, Вадик! - сказала Ольга Игоревна. - Посиди.

Слава понял эту остановку как желание матери обсудить кандидатуру Нины на должность жены. Слава подмигнул Вадиду, давая понять, что он скоро вернется и тоже примет участие в обсуждении.

Глядя на него, Ольга Игоревна спросила:

- Слава, ты не купишь сахара на обратном пути? А то у нас кончился... Да и хлеба прихвати. Только не бери бородинский, я не люблю.

Как только дверь за ушедшими закрылась, Ольга Игоревна вспыхнула и обняла Вадима.

- Какой ты молодец, что пришел, - сказала она. - Эта девчонка - то, что надо. Это она для начала такая. Но жена будет верная, обтешется. Славику другой и нельзя. Иначе он распухнет...

Вадим молчал, вздрагивал, не слушал и гладил Ольгу Игоревну по спине. Затем взял ее руку в свои обе и медленно поднес к губам.

Они прошли на ее половину. Ольга Игоревна поспешно задернула занавески...

Потом она сказала:

- Милый... милый... милый!

И лицо ее при этом выражало блаженство.

К приходу Славы они сидели за столом и пили чай.

- Ну, что скажете? - спросил Слава, раздеваясь и рассматривая свой пробор в зеркале.

Ольга Игоревна так ушла в Вадима, что ни разу не взглянула на своего сына.

Вадим сказал:

- Я остаюсь при прежнем мнении: по-моему, это то, что нужно тебе. Все ее прописные истины в один момент улетучатся, как только вы соединитесь.

Слава громко засмеялся и, глядя на стол, спросил:

- По рюмочке еще пропустим?

- С удовольствием! - воскликнула Ольга Игоревна, отрывая наконец-то взгляд от Вадима и переводя его на сына.

Слава осмотрел запонки на манжетах белой сорочки, поправил фирменный (голландский!) галстук - сталисто-серый с золотой искоркой - и сел за стол.

Выпив, Слава промокнул крахмальным платком губы и вдруг вскричал:

- Глядеть противно было на эту невесту! А вы мне - подойдет! Фашистка какая-то... То нельзя, это нельзя, будешь делать так... Сама бы на себя взглянула в зеркало - кролик! Ни кожи, ни рожи!

- Слава! - одернула его мать.

- Да ладно, мам! Не тебе же с ней жить, а мне... Хоть бы, как говорится, чувство вызывала. А то, как вобла, как фанера... У нее грудь-то плоская!

- Слава!

- Ну что, Слава? Я двадцать два года Слава! - с чувством закончил Слава и добавил: - Сам себе найду!

Ольга Игоревна смущенно пожала плечами. Вадим, чтобы разрядить обстановку, сказал:

- Завтра мой день рождения. Слава, Ольга Игоревна, приходите, пожалуйста. Я приглашаю.

- Ты с Жекой вместе почти что, - сказал Слава.

Подумав, он выпил еще одну рюмку, а Ольга Игоревна протянула ему на вилке дольку апельсина.

IX

День рождения Вадима начался с того, что отчим подарил ему пыжиковую шапку, с искрящимся нежным мехом, пушистую, как Славин кот Васька, когда свертывался клубком и дремал в кресле, высохнув после мытья.

На кухне приятно пахло горячим печеньем, которое делала мама. Вкусное печенье, рассыпчатое, с застывшими капельками густого малинового джема.

- Слава, дай наш подарок! - воскликнула Ольга Игоревна, после того, как выпила вторую рюмку водки.

Слава развернул бумагу и торжественно поставил на стол бронзовую статуэтку Чернышевского, которого Вадим сразу узнал.

- Хотели купить Лермонтова, - сказал Слава, - но не нашли. В ГУМе одни Ленины чугунные и вот эти бронзовые Чернышевские.

Мама Вадика пожала плечами и сказала:

- Помнишь, Ольга, в седьмом классе родительское собрание?

- Что-то, Вера, припоминаю...

- Тогда еще классная... Отчим громко воскликнул:

- А не сыграешь ли нам вальсочек, Вадим?!

Вадим поднялся и подошел к черному, старому пианино. Он взял несколько аккордов, затем заиграл какой-то вальс Штрауса. Отчим тут же пригласил на танец Ольгу Игоревну. А Слава протянул руку маме Вадима. Отчим был в своем полковничьем мунди-

ре с двумя ромбиками - "поплавками", - свидетельствовавшими об окончании двух высших учебных заведений. На службу и в праздники отчим ходил в мундире.

После вальса Слава подошел к Вадиму, сказал:

- Сбацай нашу!

Из-за стола шел разговор:

- Если б он со вниманием писал, - говорила Ольга Игоревна, - тогда бы не было ошибок...

- Об ошибках я уж и не говорю... Им все там казалось дурным, - говорила мама Вадима. - Школа в сфере правил и законов. А этому противится живая душа. Она хочет полета. А в школе серость забила все и вооружилась серыми учебниками.

- Да, ты права, - говорил отчим.

Слава нависал над сидящим за пианино Вадимом, просил:

- Сбацай нашу!

Но Вадим не стал "бацать нашу", а громко заиграл одну из сонат Бетховена.

- Гм... длинно! - сказал Слава, когда Вадим закончил и отошел от пианино.

Вадим промолчал и печально посмотрел на Ольгу Игоревну, на лице которой была написана скука.

- Верочка, а как ты делала это печенье? - спросила она.

Сначала мама Вадима покачала головой и поморщилась (гости, по-видимому, уже начали надоедать ей), затем со вздохом сказала:

- Я тебе дам рецепт, Оля.

Отчим налил всем водки и предложил выпить за дружбу. На щеках и на лбу отчима выступили красные пятна. Он выпил и стал говорить о том, как хорошо выглядит Ольга Игоревна.

- Много вокруг женщин! - говорил он. - Но даю честное слово, Вера, твоя подруга - это редкая женщина. Конечно, - усмехнулся он, - есть и недостатки, - у кого их нет! - но все же вы, Ольга Игоревна, очаровательны и очень молодо выглядите!

- Ну, что вы, - краснела Ольга Игоревна, - честное слово! Верочка куда очаровательнее!

Отчим взмахнул рукой.

- Вера вне конкурса! - и обнял жену.

Вадим смущенно смотрел на отчима и про себя клялся в любви Ольге Игоревне, и приходил в ужас от своего поступка, кото-

рый в этой обстановке казался ему диким и бессмысленным, но сильнее того ощущения, которое испытывал там, за перегородкой, представить себе не мог. Вадим поглядывал на отчима и все: щеки, глаза, заметное брюшко, толстые губы - было сыто, лениво и противно.

Слава рассказал анекдот про Чапаева: "Василь Иваныч! Белого привезли!" - "Сколько ящиков?" - и все рассмеялись. Выпили за дам. Отчим закусывал молча - теперь он имел хмурый, сонный вид и смотрел важно, холодно, как начальник. У Вадима билось сердце и холодела спина.

X

Горел свет. Слава в наушниках стоял за камерой на краю сцены. Вадим сидел в ложе и читал Марселя Пруста: "Бришо, зрение которого постепенно все слабело, вынужден был, даже в Париже, все меньше и меньше заниматься по вечерам. К тому же он мало симпатизировал новой Сорбонне, где принципы научной точности, в немецком духе, начинали брать верх над идеями гуманизма..." В этот момент раздался грохот, отвлекший Вадима от чтения.

Слава вместе с камерой упал со сцены. Через микрофон прозвучал грозный голос ведущего режиссера:

- Что там у вас происходит! Картинка улетела...

Слава, постанывая и потирая колено, поднялся, и все заметили, что он пьян в дым.

Ведущий режиссер, лысый, толстый старикан, прибежал в зал из автобуса ПТС, мгновение соображал, затем, взмахнув рукой и указывая пальцем на дверь, заорал:

- Во-он!

Слава, покачиваясь, смело подошел к нему и, обдавая ведущего парами водки, пробормотал:

- Ша, дядя, ты на кого тянешь, а?

В этот момент что-то затрещало. Бригадир Кусков, такой же пьяный, как Слава, кинулся к распределительной коробке, которая стояла в проходе партера, споткнулся и упал. Туда же ринулся, раскачиваясь, как маятник, Бычок. Треск усилился, от

распредкоробки брызнули искры, затем ослепительно голубым светом озарился зал и все погасло. Тьма опустилась на Телетheater.

- Скоты! - вопил в этой тьме ведущий режиссер. - Да они тут все пьяные! Дайте какой-нибудь свет!

- Не лапай! - взвизгнул голосок какой-то актриски со сцены.

- Бычок, бе-эги к щи-итовой, - орал Кусков откуда-то из-под стульев. - Вы-ыруби на-агрузку!

- Куда бежать, - откликнулся Бычок. - Ничего не вижу...

Запахло огнем, оранжевое зарево поднялось над партером: то горел паркет и занимались пламенем кресла.

- По-ожар! - завопил ведущий режиссер.

- Ну, че-эго гло-отку-то дра-ать! - окоротил его Кусков, снимая с плеч свой засаленный пиджак и принимаясь вяло стучать им по огню.

Вадим помчался в уборную, схватил там мусорное ведро, стоявшее в углу, вывалил мусор прямо на пол, налил воды и, вернувшись в зал, плеснул воду на горящий паркет. Пар пошел к потолку. Где-то сбоку вспыхнул дежурный свет. Кто-то тянул к месту аварии брезентовый пожарный шланг, но воды в нем не оказалось.

- Дураки! Нельзя во-одой! - крикнул Кусков, ошалело глядя по сторонам.

- Уже можно! - бросил вернувшийся от щитовой Бычок. - Я снял нагрузку!

Бычок сильно, как и подобает пьяному, сопел носом и вытирал ладонью обильный пот с лица.

Когда огонь был погашен и все успокоились, Кусков рассуждал:

- Бляха-муха, Сла-авка, па-аразит, сва-алился со сцены, вон тама, кабель ка-амерой потянуло, ко-онтакт на ко-оробке замкнулси! Ско-ольки разов го-оворил Чистопрудову, де-элай другие ко-оробки! Тута же ко-онцы го-олые рядом вты-ыкаем, полсантиметра зазор... Ду-ураку ясно, что...

Бычок склонился к нему, сказал:

- Ла-адно, тре-эпаться... Будешь?

- А чо, еще есть?

Съемка с монитора была отменена. Грозный ведущий режиссер сразу же укатил. Слава в пьяном веселии махнул рукой на

все последствия и ходил в слабом свете дежурного освещения по сцене вприсядку.

Его компаньоны - телеоператоры - хохотали. Они тоже были сильно навеселе и, когда явившийся пожарник попросил их очистить помещение, предложили ему прямо из горла, на что тот незамедлительно согласился, уйдя с бутылкой портвейна "агдам" в кулису.

Минут через сорок последствия аварии были устранены: пол затерт влажной шваброй (паркет был надраен мастикой), а подгоревшие кресла партера (всего в количестве трех) выскоблены и вычищены. Концы проводов, обгоревших и приварившихся к коробке, превратившейся в металлический слиток, обрублены топором.

- Хо-орошо, под ко-оробкой пла-астину положили, - сказал Кусков, в последний раз оглядывая пол, - а то бы про-ожгло на-скро-озь!

Обрубки кабелей, слиток бывшей коробки вынесли во двор и тщательно замаскировали в помойном баке. Монтеры связи привели в порядок упавшую телекамеру. Слава ходил возле них и спрашивал:

- Материального ущерба не нанес? А, старички?

- Все нормально, старик! С тебя пузырь!

- В получку поставлю!

Монтеры связи смеялись:

- В получку мы сами нажремся до поросячьего визга! Ты сейчас давай!

Слава разводил руки в стороны, говорил:

- Се... мы... сегодня все выжрали... Ста-арики, да-айте выпить! - говорил он, обводя взглядом группу.

Кусков снизошел, сказал Бычку:

- Да-ай, по-острадавшему...

Бычок артистичным жестом выхватил из заднего кармана брюк еще один "агдам".

- Э, тутова не надо! - закричал со сцены пожарник. - Вона, подите, - перешел он на шепот, - в гримерную.

Слава запел:

Ямщик, не гони лошадей!

Мне некуда больше спешить.

Мне некого больше любить.
Ямщик, не гони лошадей!..

- Не грусти, человечек! - вскричал Бычок, обнимая Славу и целуя его в щеку. - Пройдет и дождь, и снег... Каждый год, каждый век у любви есть дождь и снег!

Они пошли, покачиваясь, в боковую дверь зала. За ними двинулись остальные.

Вадим нагнал Славу на подходе к гримерной, сказал:

- Кончай ты это... Уже второй час ночи... Надо домой!

Вошли в тесную озеркаленную комнату, кто-то быстро распорядился, Слава выпил залпом стакан вина, хотел что-то сказать, но передумал, опустился на стул, тут же уронил голову на колени и упал на пол.

- Го-отов! - весело воскликнул Бычок, высасывая остатки вина из горлышка.

Кусков поглядел на его сияющее лицо и хмуро прогудел:

- На во-оздух его... Отва-аливаем!

Шофер автобуса давно уже томился в ожидании. Славу кое-как внесли в узкую дверь и уложили на заднее сиденье. Вадим сел рядом и все время, пока ехали, придерживал его, притискивая к спинке.

Вадим не просто нервничал, а им овладело чувство досады, настоящего отчаяния от бессмысленности и бесцельности этого телевизионного шоу. Неужели эти люди были рады и довольны такой жизнью? Вадиму хотелось сделать так, чтобы всем им вдруг стало стыдно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь, чтобы увидели темную улицу, услышали, как чавкает под ногами грязь, чтобы наконец-то поняли, что, проснувшись завтра утром, ровно ничего не обнаружат, потому что для того, чтобы что-то обнаружить, нужно создавать духовный задел сегодня.

А завтра опять будет водка и этот бездарный балет столетней давности, будет огромная толпа, армия телевизионщиков: группа режиссера, администраторы, монтеры связи, телеоператоры, осветители, инженеры ПТС, бутафоры, гримеры, реквизиторы, балерины, шоферы автобусов и разъездных легковушек... То есть будет синдикат, Молох голубого экрана, который создаст такую бездарность, что даже ценитель балета, посмотрев минуты две-

три, погасит этот голубой экран, дабы углубиться в книгу какого-нибудь самиздатовского гения, чтобы не похоронить себя преждевременно духовно.

Шофер автобуса включил приемник, который голосом Утесо-ва запел:

...Ну, так как же это все же получается,
Что-то в жизни перепуталось хитро...
А теперь плетемся тихо по асфальтовой...
Ты и я поникли... головой...

Эх, Маруська.

XI

- С "ручником", парень, поедешь, - сказал Чистопрудов. - Она, в каптерке возьми кумулятор...

Было шесть часов вечера, но еще не стемнело, день заметно прибавился, шел март четвертым числом. Кое-где у метро, из-под полы, цыганки торговали мимозой, теплое солнце подтапливало слежавшийся почерневший снег, из подворотен тянуло гнилью. Вольный весенний ветерок с юга приятно гладил по лицу.

Оператор, автор и Вадим сели в "Волгу" и к семи были в Шереметьеве. В сумерках поблескивали фюзеляжи самолетов, горели огни, светились окна аэровокзала и домиков аэродромных служб.

Автор побежал выяснить, где и что снимать, оператор и Вадим остались в машине. Оператор расстегнул "молнию" меховой курки, повернулся к Вадиму, спросил:

- Кто же нам ужин подаст?

Вадим недоуменно пожал плечами. Светлые глаза оператора смотрели весело и приветливо.

- Удивительно великолепный вид! - сказал он, кивая на огни и самолеты.

Вадим хотел что-то ответить, но в это время подбежал автор, вспотевший высокий и упитанный человек лет сорока, рывком распахнул дверь и крикнул:

- Скорей! Вперед! Зафрахтовал рейс! Начальник управления дал добро!

Оператор с Вадимом переглянулись. Оператор спросил:

- Я что-то не понял... Ты же говорил, что здесь на час всего работы...

Автор нетерпеливо схватил с коленей оператора кожаный кофр с кинокамерой, вскричал:

- Некогда рассуждать... В воздухе снимем ее. Понял! Туда-сюда до Симферополя! К двенадцати будем в Москве...

Побежали к рулежной дорожке, поднялись на борт ТУ-104, сели, не успели опомниться, как взрвели двигатели, самолет качнулся и пошел на взлет. Никаких ремней не пристегивали. Салон был пуст. Автор нетерпеливо подталкивал оператора:

- Игорек, сними ее на взлете!

Вадим подключил "ручничок" к аккумулятору, который на кожаном ремешке болтался на плече, вспыхнули ярко-белым светом грушевидные зеркальные лампы. Со звоном в ушах от перегрузки пошли к пилотам.

Героиня сюжета в полторы минуты была бортрадисткой, сидела в наушниках, вытравленные до белизны кудри спадали на голубую форменку ГВФ, на маленьких погончиках желтели двойные треугольнички лычек. Полные губы радистки были сильно накрашены пронзительно алой помадой, отчего казалось, будто эти губы существуют отдельно от лица.

Оператор Игорь включил свой "Арифлекс", черную компактную западногерманскую камеру, снял крупный, средний и общий планы при свете зеркалок. Когда вернулись в салон и сели в кресла, Игорь сказал:

- А в Симферополе, наверно, уже весна!

Вадим улыбнулся, подумав, сказал:

- Как странно, из-за ерундового сюжета гоняют самолет, создают условия... А настоящую жизнь никто не снимает...

- А в чем она, эта настоящая жизнь? - усмехнулся Игорь.

- Ну, хотя бы в том, что вот я ни с того ни с сего лечу на юг, смотрю в иллюминатор, вижу далекие мерцания огней...

Игорь оживился, крикнул автору:

- Посвети! - и сунул ему зеркалки.

Вадим испуганно вдавился в кресло, зажмурился от яркого света.

- Ну, старик, сиди, как рядовой, жизненный пассажир! - приказал Игорь, зажмурил один глаз, а ко второму поднес окуляр кинокамеры. Она почти что бесшумно зажужжала. Сняв "крупешник" Вадима, Игорь сказал автору: - Дашь этого "пассажира" на перебивку.

- А что, дельно, - сказал автор. - Очень даже дельно...

Самолет пошел на посадку, зажглась надпись над дверью: "Пристегните ремни", но никто и не думал этого делать. Сели.

В симферопольском аэропорту со всех сторон в душу лезла весна: было такое чувство, как будто впервые вышел на волю после тяжелой болезни, глубоко вздохнул и впал в какое-то блаженное состояние веселого слабоумия, когда затихаешь от неясных предчувствий и улыбаешься без всякой причины всему и всем. Чудесные запахи распутившейся зелени, которая благоухала повсюду и загадочно кучерявилась в свете фонарей, струились в теплом вечернем воздухе. Казалось, простора прибавилось, и небо повысилось, чистое темно-синее, бархатистое небо, щедро усыпанное гроздьями звезд.

К зданию аэровокзала вела по-летнему сухая асфальтовая аллея в обрамлении пирамидальных кипарисов.

- А не выпить ли нам хорошего вина? - воскликнул коренастый командир корабля и крепко обнял за талию бортрадистку.

В буфете аэровокзала тут же явилось первоклассное массандровское вино. Автор изъявил желание привезти в Москву к восьмому марта цветы - и это желание было быстро исполнено: командир корабля кому-то моргнул, и через минут пятнадцать охапка тюльпанов лежала на столе. Вино было чуть-чуть горьковатое и пахло виноградом.

Весны прибавилось. Стояли у кустов акации в свете фонаря, курили.

- Любаша - блеск у нас! - сказал второй пилот, кивая на бортрадистку, и цирково, скинув фуражку, сделал "колесо", пройдясь по сухому асфальту на руках.

Автор ухмыльнулся, пожал плечами и подошел к Вадиму.

- Ну-с, молодой человек, довольны прогулкой?

- Да. Это как-то странно. Только что были в Москве, а теперь в Крыму... Здесь настоящая весна! - с чувством сказал Вадим и подошел к Игорю.

Игорь сказал:

- В этом вечере есть что-то от романтических пейзажей Куинджи...

Помолчали. Вадим, подумав, спросил:

- А почему вы без ассистента?

- Да вот подыскиваю себе, - сказал Игорь, закуривая тонкую длинную сигарету с темным фильтром "Филипп-Морис".

Вадим взволнованно и непосредственно выпалил:

- Возьмите меня!

Игорь смерил Вадима задумчивым взглядом и вдруг спросил:

- Кто такой Констебль?

- Знаменитый английский художник, - сказал Вадим. - Родился, кажется в конце XVIII века, а умер в один год с Пушкиным - это я точно помню... У него прекрасные пейзажи... Помнится, на одном в реке стоит телега, собака, кажется, сеттер, лает с берега, облачное небо, слева домик с черепичной крышей, купы деревьев... и много воздуха... Особенно замечательна фигурка рыбака в высокой траве на противоположном берегу, где лодка привязана... Такой жизнью веет от этой работы!

Игорь просиял и даже пальцами щелкнул.

Послышались голоса.

- Скоро в Москву? - спрашивал автор у командира.

- Сейчас груз кое-какой возьмем... уже загружают... и подем, - отвечал тот.

Пошли в самолет. Вадим сел рядом с Игорем. Сначала заговорили о живописи, потом же незаметно перешли к литературе, причем, было высказано много упреков, недоумений и даже насмешек по поводу ее низкого уровня. И далее, как это водится во всех русских компаниях, перешли на политику. Автор, сидевший сзади, в азарте перегнулся к ним через спинку сиденья и говорил:

- А какое образование они получили, какое? Да никакого!

- У них образование не требуется, - сказал Вадим и продолжил: - Дело не только в образовании, то есть не столько в общей эрудиции, сколько в этизации образования, интеллигентизации...

Самолет заходил на посадку в Шереметьеве.

- Вадим, ты мне нравишься, - сказал Игорь, когда они прощались у машины. - Завтра приходи к нашим кабинам к десяти часам. Я буду.

Вадим пришел домой в половине второго ночи. Поел супа прямо из кастрюли и поставил свежий южный букет тюльпанов в хрустальную вазу на кухонном столе.

Перед сном в своей комнате полистал альбом Джона Констебля, подумав о том, что бы было, если бы он не знал этого художника, затем завел будильник, лег и сразу же заснул.

XII

Когда утром шел через холл студийного корпуса, встретил сначала дикторшу Светлану Моргунову, затем актера Юрия Яковлева, затем телеоператора Кипарисова. Тот на вопрос Вадима о Славе сказал:

- Старичок, жалко старичка, но пойми, старичок, такого старичка держать нельзя... Перевели его в супера... И то хорошо, старичок. А то бы совсем - тю-тю... Ведущий настрогал такую телегу, еле разгрузили ее! Так-то, старичок!

За углом направо, где была комната телеоператоров, а за нею выход во двор, к цеху осветителей киногоруппы, Вадим увидел Славу с Жекой и очень удивился последнему. Они молча курили.

- Привет! - достаточно весело сказал Вадим и спросил у Жеки: - Какими судьбами?

Жека провел узкой ладонью по своим длинным цыганским кудрям, посопел и сказал:

- Да вон, Славка привел устраивать в администраторы. Тут одна чувиха сказала, что им срочно нужен администратор. В киногоруппу...

Вадим сунул руки в карманы брюк (плащ был распахнут), оглядел печального Славу и сказал:

- Слышал, что ты теперь в суперах будешь... Слава швырнул окурок в урну, зло отозвался:

- Гаденыш какой этот режиссер оказался! Не думал, что среди нашего брата такие сволочи есть. Стукач!

- Славка, советую бревна в собственном глазу рассмотреть, а не выискивать соринки в чужом! - с чувством возразил Вадим. - Ну, что ты как алкаш нажрался? Ладно, тяпнули для настроения и хорош!

Помолчали.

Слава тоже сунул руки в карманы брюк, приподнялся на носках, вздохнул и, заведя глаза в потолок, сказал:

- Это ты прав, старичок. Лишку взял на грудь, каюсь.

- Ты куда? - спросил Жека.

- Да надо зайти в киногоруппу... На съемку мне в час, - сказал Вадим.

- И мне в час, - сказал Слава. - Ты куда, случаем, не на фабрику в Люберцы?

- Туда, - сказал Вадим. - Я один заказан. Пару зеркалак возьму... Значит, синхрон, раз ты тоже едешь. А кто такая оператор Ларина? - спросил Вадим.

- Ого! - воскликнул Слава и поднял большой палец.

Вадим пошел в корпус, где помещались кинооператоры. Он миновал дверь с табличкой: "М. Хуциев. Руководитель (художественный) т/о "Экран"", - и в дали коридора увидел оператора Игоря.

Игорь в замшевой серой куртке, в брюках со стрелочкой, в замшевых полуботинках, приветливо поднял руку. Вошли в комнату, где размещались операторские кабины.

- Ну, вот мое хозяйство, - сказал Игорь, открывая дверь своей кабины-шкафа. - Я уже говорил с начальством... Хорошо, что ты уже немножко натаскался в осветителях, знаешь суть дела... Пиши заявление!

После представления начальству, Игорь рассказывал, что у каждого, кто здесь работал, были свои особые привычки и притязания. Одни операторы, вполне сформировавшиеся люди, имевшие свой самостоятельный взгляд на вещи, пробивали свою тему, отыскивали авторов и режиссеров. Другие, равнодушные, шли по течению, творческая сторона дела их нисколько не интересовала, да и никаких далеко идущих планов и намерений у них не было.

Они-то, как правило, обслуживали информационные программы, лепили минутные сюжеты, не заботясь об их качестве. Игорю тоже приходилось делать эти сюжеты, поскольку основная часть киногоруппы занималась именно текущей оперативной хроникой. Только с созданием т/о "Экран" забрезжила надежда на производство полнометражных документальных фильмов. Собственно говоря, те, кто стремился делать настоящее докумен-

тальное кино, и были здесь настоящими кинооператорами, в основном молодыми, подвижными людьми; у них вся жизнь была впереди, и каждый из них надеялся стать когда-нибудь великим художником экрана, вырвавшись из этого чистилища минутных сюжетов.

Подавляющее большинство кинооператоров, прошедших через телевизионную кинохронику, были уверены, что они унаследовали высокие художественные традиции кинооператоров, носивших бархатную куртку и берет, однако лишь единицам удавалось достичь своей цели (уже давал себя знать Ю. Белянкин, а также М. Голдовская); то же большинство, обессилев, опускало крылья и после десятилетия сюжетных коротышек начинало относиться к своему искусству как к самому затрапезному ремеслу: день прошел - и слава Богу!

Среди этого отряда кинооператоров попутно разгорались страсти по поводу загранкомандировок или постоянной приписки к какому-нибудь корпункту в Дании или ФРГ, откуда они столь же ремесленнически подавали бы свою двухминутную продукцию о загнивании буржуазного общества для информационных программ.

Когда Вадим пришел в осветительский цех и положил бумагу о переходе в ассистенты кинооператора перед Чистопрудовым, тот нехорошо выругался и посмотрел на Вадима брезгливо, как на неполноценного человека. Внизу, под антресолями, крепко ругались бригадиры из-за каких-то шнуров, которые один не желал уступать другому.

Да, здесь был совсем другой мир, чем тот, в котором Вадим только что побывал и в который собирался отплыть навсегда. Но и здесь Вадим уже чувствовал себя как дома и жадно вбирал в свою память крепкие слова и грубые обороты речи, иронические реплики и дикие выкрики, запоминая все это столь же благоговейно, как и тщательно продуманные, спокойные слова Игоря.

Вадиму казалось, что там он - один человек, а здесь - совсем иной и все-таки тот же самый. Вадим радовался тому, что жизнь открывала перед ним еще одну страницу, и он гордился тем, что эти грубоватые и веселые осветители считают его, как казалось Вадиму, вполне достойным своего общества и не сдерживают перед ним своих шуток. С удовольствием думал Вадим о будущих спорах с Игорем, о том, как серьезно и пристойно он будет с ним

дискутировать о творческой сути кинематографа, располагая, однако, и другими приемами полемики, ибо Вадим считал для себя очень важным быть в курсе жизни всех слоев общества, со всеми познакомиться и все узнать.

К часу он вызвал машину (то была обязанность осветителей, они загружались первыми), сунул в багажник “микрика” картонную коробку с двумя двойными зеркалками, шнур и распределительную коробку и поехал за оператором Лариной. Она уже поджидала у подъезда, высокая, красивая, чуть полноватая женщина с распушенными каштановыми волосами.

С минуту подождали звуковика, который вышел со своим чемоданчиком-магнитофоном. Потом подъехали к студийному корпусу, где их приветствовал широкой улыбкой и поднятой рукой Слава. У ног его стоял серебристый большой кофр с синхронным “Арифлексом”.

Вместе со Славой в автобус влез Жека.

- С нами прокатится, - сказал солидно Слава. - Будущий администратор.

Звуковик, высокий парень в очках и с заметной плешью, зевнул со сладкой мукой, замирая, выгибаясь и напрягаясь чуть не до судорог. Когда выехали на Ленинский проспект, залитый весенним солнцем, звуковик сказал:

- Ох, хорошо бы вздрогнуть, а то вчера с корешами до утра просидели.

Он еще раз зевнул и, не открывая глаз, торопливо вялыми руками достал из пачки сигарету и закурил, глубоко затянулся, издав губами всхлипывающий звук.

- Неплохо бы! - воскликнул Слава и потер ладони.

- В такую погоду грех не выпить, - сказал шофер, обернувшись на мгновение.

Вадим с грустью вздохнул, уставился в окно, как бы ожидая, что на это скажет Ларина.

- А мы в кафе заедем. Там есть шалманчик возле обжестития.

- У вас отменный коллектив! - с чувством сказал Жека.

В Люберцах тормознули у магазина, скинулись, Вадим неохотно протянул пару рублей. Слава сбегал, принес две бутылки водки и подмигнул Лариной.

В кафе-стекляшке, где только что помыли кафельный пол и пахло баней, расставили на столике граненые стаканы и за два

приема опустошили обе бутылки, закусив винегретом и бутербродами со шпротами. Причем Ларина пила наравне со всеми.

В общежитии ткачих установили камеру и свет, звуковик подключился, надел наушники, Ларина взглянула через камеру на юную грудастую ткачиху в ситцевом платьице, нажала клавишу пуска, но камера не пошла. Вадим погасил зеркалки. Слава полез в камеру. Поковырялся, прочистил рамку. Но камера не захотела опять идти. Слава, сопя носом, с шуточками вновь принялся за ремонт: рвал пленку и бросал ее себе под ноги.

- Салат! - воскликнул он. - Рвет перфорацию.

Жека, сложив руки на груди, поблескивая захмелевшими глазами, наблюдал за происходящим, затем сказал:

- У меня еще пятерка!

Звуковик сбросил на магнитофон наушники, крикнул:

- Кто сколько может! - и выскреб из карманов тридцать копеек.

Ларина извлекла из сумочки трешку и сказала: - Возьмите колбаски закусить и черного хлеба!

Жека сбегал.

Камера так и не пошла, и на нее махнули рукой. Сидели с ткачихами за столом и голосили:

А в терем тот высокий
Нет хода никому...

Вадим больше не пил, убирал в автобус камеру, штатив, свои осветительные принадлежности, чемодан звуковика; сам звуковик лыка не вязал и дремал за столом. Слава увлек грудастую ткачиху в темную комнату, вроде стенного шкафа. Ларина курила, положив ногу на ногу и сильно обнажив смуглое полное колено. Она говорила о чем-то с ткачихами. Ларина являлась и автором, и режиссером, и оператором пятиминутного сюжета, в котором должна быть и производственная (съемка на фабрике), и бытовая (общежитие) сторона. Бытовую сторону решили перенести на завтра. Слава грозился взять другую камеру.

К десяти часам вечера шофер стал нервничать. Наконец все сели в автобус: Славу под руки втащили Вадим и Жека.

Шофер ссадил Славу, Жеку и Вадима у вокзала. Жека хотел провожать Славу до дома, но Вадим сказал, что сам доведет. Же-

ка поблагодарил за отменный съемочный день и ушел. Вадим довел Славу до крыльца, усадил на ступеньку, но тот не пожелал сидеть, а сразу лег. Вадим обошел одноэтажный деревянный дом, постучал в светящееся окно. Выглянула Ольга Игоревна, улыбнулась. Когда она, в халате и в шлепанцах на босу ногу, вышла на крыльцо и увидела сына, всплеснула руками.

- Ну, что ты будешь делать! - воскликнула она.

Принесли Славу в комнату, раздели, уложили в кресло. Вадим хотел уходить, но Ольга Игоревна обвинила его шею и с придыханием сказала:

- Мы тихо... мы как мышки... Он не проснется... Он не услышит...

Они прошли за перегородку. Ольга Игоревна, разбирая широкую деревянную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

- Я в положении... Надо сделать чик-чик...

Вадим вздрогнул и почувствовал свое сердце, перебойно толкнувшееся в груди. Ольга Игоревна легла, а он сел с краю, задумался, затем в каком-то отчаянии скользнул руками под сорочку и всосался в ее губы.

XIII

На другой день, с утра, когда еще темно было в комнате и из-за перегородки слышался звонкий храп Славы, Вадим оделся и сказал Ольге Игоревне:

- Я люблю тебя, и по живому чик-чик... Нет!

- Дурачок мой... Но что же делать...

- Ольга... Оленька... Я женюсь на тебе...

Она села на постели. Вадим видел белеющие в темноте лицо, плечи, большие груди, руки - и все это, думал он с волнением, принадлежало ему, только ему, и та жизнь, которая теперь зарождалась в этом теле - тоже принадлежала ему. И от этих мыслей взбухало сердце, звенело в голове. Ольга Игоревна включила ночник и надела сорочку.

- Я хочу ребенка! - прошептал страстно Вадим и покраснел.

Ольга Игоревна испугалась, всхлипнула. Она вдруг почувствовала неловкость, даже стыд.

- Вадим, ты словно подозреваешь с моей стороны игру, - забормотала она. - Но то, что ты говоришь, нелепо...

- Ах, да разве жизнь состоит из того, что лепо! - повысил он голос.

- Тсс...

- Ни разу мы не поговорили прямо! - Вадим не договорил и сел на кровать. - Я люблю тебя, хочу на тебе жениться, иметь детей... И это ни в коем случае не противоречит нормальной жизни... Да мало ли примеров, когда один супруг много старше другого... Я в этом не вижу ничего предосудительного...

Ольга Игоревна слушала, и его разговор нравился ей. Для нее была приятна эта смелость Вадима, с какою он, не задумываясь, решает большой вопрос и строит окончательные выводы.

Она вдруг спохватилась, что любит Вадимом, и испугалась.

- Уходи скорее, пока соседи не проснулись...

На улице все еще было темно. Вадим оглянулся на деревянный дом, на крыльце которого горела тусклая лампочка, и почувствовал, что любит не только Ольгу Игоревну, но и этот деревянный дом, странным образом уцелевший во дворе почти что в центре Москвы, любит кирпичную стену, на которую выходили окна перегородженной комнаты Ольги Игоревны и Славы...

При воспоминании о Славе Вадим поморщился, поднял воротник плаща и быстро пошел домой.

В квартире была тишина. Мама и отчим еще не вставали.

Было пять часов утра. Вадим лег, хотел заснуть, но ему не спалось. Он взял книгу, принялся читать, но строчки расплывались перед глазами. Он положил эту книгу, взял другую, с иллюстрациями.

В книжке много говорилось о гениальности, о смелом желании идти своим путем и тому подобных вещах, о взбалмошности, превратностях судьбы.

Перевернув последнюю страницу, Вадим закрыл книжку и задумался. Где-то в глубине души, возможно, еще бессознательно, он решил всего себя без остатка посвятить операторскому искусству. До этого он шел к выбору цели как бы вслепую, а сейчас, этим утром решил окончательно.

Он поймал себя на мысли, что и в его жизни, подобно жизням многих людей, наступил момент тщеславных мечтаний. Он сильно засомневался в том, что, избрав себе какой-нибудь род деятельности и желая достичь в нем хотя бы скромных успехов, люди непременно должны подводить под свои начинания массивный фундамент далеко идущих замыслов и планов с претензией на гениальность.

Ведь отличие таланта истинного от мнимого, по-видимому, заключается лишь в том, что настоящий талант не кричит о себе на каждом углу, но ежедневно тянет лямку творчества, изредка озаряемую вдохновением.

Вадим лежал и думал то о том, как он будет снимать свои фильмы, то об Ольге Игоревне. Томительное чувство счастья, которое он испытывал при этом, граничило приблизительно с восторгом, каковой он испытывал в объятиях Ольги Игоревны, и таинственность их молчаливого согласия придавала воспоминаниям сладостную прелесть. Губы Вадима хранили воспоминание о поцелуях, теплых, но в то же время свежих и прохладных, как роса.

Он незаметно задремал, вокруг него кружил рой туманных призраков, сновидение сменялось сновидением, и они были то многоцветные и яркие, то темные и душные, а потом внезапно темно-лиловый мрак рассеивался, и его сменяла светлая голубизна, которая переливалась пестрыми цветами поляны, по которой, как Афродита, гуляла Ольга...

Вадим открыл глаза.

Перед ним стояла мама, в сорочке, с открытой грудью, и спрашивала, шевеля за плечо:

- Тебе не пора на работу? Будильник еще десять минут назад прозвенел... Ну и спишь же ты!

В девять Вадим был уже на студии. Достаточно потрепанная съемочная группа отправилась в Люберцы второй раз. Слава сидел рядом с Вадимом, дрожал и лязгал зубами с похмелья. По молчаливому согласию остановились у магазина, купили пива, и до самого места тянули его из горла. Кроме оператора Лариной и Вадима.

В громяющем цеху Ларина снимала ткачих без синхрона. Затем, забрав девчонок с работы, покатали в общежитие. Камера пошла сразу, сюжет сняли за два часа.

Когда ехали обратно, Слава сказал Вадиму:

- Старичок, пойдём к сеструхе. Приглашала. Там она с подружкой будет. Во! - Слава поднял большой палец, затем пригладил волосы, чтобы четче был виден пробритый пробор.

- Мне не хочется, - сказал Вадим.

- Да ты что, старик! Я обещал, что приведу тебя! Батя с мачехой укатили на юг!

- В Крым?

- А ты откуда знаешь?!

- Позавчера был там, - сказал Вадим.

- Ну ты даешь!

- Честно. Слетали туда-сюда. Снимали бортпроводницу.

- Понятно, старичок!

Со студии поехали к сводной сестре Славы на Пресню.

Стол был сервирован закусками. Стояло две бутылки армянского коньяка и шампанское.

Две симпатичные девушки - брюнетка и блондинка - сидели в низких креслах, выставив напоказ длинные ноги. Слава чмокнул в щеки ту и другую, потер руки, поспешно открыл бутылку коньяка, налил в рюмку и выпил.

- Ну, бабы, еле доехал до вас! - воскликнул он. - Три головы, как у змея, с утрава было!

Вадим спросил:

- Так, какая же твоя сестра?

- Угадай? - сказала брюнетка.

И Вадим угадал:

- Вы.

- Точно. Я, - сказала она и встала. - К столу!

- В честь чего праздник? - спросил Вадим.

- В честь восьмого марта!

- Так это же завтра.

- А мы заранее, с ночевкой!

- Ну, если так, то...

Повеселевший Слава наливал коньяк в рюмки.

- Тост! - воскликнул он. - Тост за великолепных герлочек!

- О, ес! - завопили девушки и бросились к столу.

К вечеру Слава был сильно навеселе, да и девицы от него очень уж поотстали. На столе горели свечи, и легкие тени от танцующих скользили по стенам. Блондинка льнула к Вадиму, при-

жималась крепкими, как яблоки, маленькими грудями и коленями. Вадим кое-как старался держать дистанцию и думал об Ольге Игоревне.

Внезапно Слава скинул пиджак, затем снял рубашку, следом майку и закричал:

- Купаться!

К удивлению Вадима, сестренка моментально разделась до гола и, сверкая розовыми ягодицами, побежала за Славой в ванную.

- Я тоже хочу! - капризно простонала блондинка, оттолкнула Вадима и принялась стаскивать юбку через голову.

Вадим увидел полноватые бедра и плоский тугой живот, отвернулся и поспешно закурил, чтобы погасить волнение.

- Пошли! - приказно крикнула блондинка, схватила Вадима за руку и потянула в ванную.

Вадим обернулся, увидел торчащие снежно-белые груди, пьяные глаза, задрожал и что было силы, размахнувшись, ударил блондинку по щеке.

- Это гнусно, гнусно! - крикнул он и побежал вон из квартиры, на ходу надевая плащ и сильно хлопая дверью.

XIV

Восьмого утром Вадим долго валялся в постели, проклинал Славу за приглашение к сестренке, проклинал и себя за то, что ударил глупую пьяную девчонку по лицу.

Не сдержался.

После завтрака читал Марселя Пруста: "Я различал во мраке поля, слышал море, мы стояли в открытом поле. Альбертина, прежде чем мы присоединились к ядру кружка, смотрелась в зеркальце, вынимая его из золотого несессера, который она носила с собой. В первый же раз, когда г-жа Вердюрен провела ее с собой наверх в свою туалетную, чтобы она могла оправиться перед обедом, я ощутил, среди того состояния глубокого покоя, в котором я находился все последнее время, как во мне шевельнулись тревога и ревность оттого, что я должен был расстаться с Альбертиной..."

Вадим отвлекся от чтения и подумал, что, прежде чем пойти к Ольге Игоревне, нужно узнать - дома ли Слава, а для этого следовало заехать к его сестренке, чего, в сущности, Вадиму делать не хотелось, но страстная жажда встречи с Ольгой Игоревной поуждала.

С мамой и отчимом пришлось выпить вина, от которого волнение в крови возросло, особенно когда Вадим представлял Ольгу Игоревну у себя за перегородкой. Когда он поднялся к квартире Славиной сестренки, то, прежде чем позвонить в дверь, настойчиво затвердил себе, чтобы Слава был тут, чтобы он никуда не собирался уходить.

Дверь открыла сама сестренка, усмехнулась и сказала:

- Заходи, я сделаю кофе!

И он вошел, хотя догадался, что Славы здесь нет. Сестренка закрыла за Вадимом дверь на замок, повернув два раза ключ. У Вадима забилося сердце от бессознательного страха, хотя в то же время он радовался всему этому приключению и думал о том, как выйти из него с честью, не ударив лицом в грязь. Об Ольге Игоревне он в этот момент почему-то совсем не вспомнил, а думал лишь о самом себе и хотел испытать свою стойкость.

Им овладело какое-то странное романтическое чувство долга, заставлявшее смело идти навстречу каждому необыкновенному испытанию.

- А где Слава и подружка? - спросил Вадим, усаживаясь в кресло и спокойно глядя на довольно смазливое лицо юной сестренки, которая была в белом халатике.

- Поехали куда-то добывать деньги, - вздохнула сестренка. - Мы на нуле, а праздник только начинается!

Вадим сразу же снова ощутил замешательство, потому что сестренка села рядом напротив, беспечно обнажив ослепительно прекрасные ноги.

У Вадима зарябило в глазах, и лишь постепенно его лихорадочный взгляд стал привыкать к красоте и спокойствию движений этой юной козочки. Потом она принесла кофе, села подле Вадима и сказала:

- Зря ты убежал вчера...

Она внимательно посмотрела ему в глаза, затем внезапно обняла его за шею и спросила:

- О чем ты думаешь?

- Не знаю, - ответил он смущенно.

- А ведь я, - продолжала она, - готова съесть тебя заживо. - И она еще крепче прижала его к себе.

Вадим густо покраснел от неловкости, так что ему показалось, что он обожжет ее белое плечо своей пылающей щекой.

- Ты такой красивый, - говорила она.

И бормотала что-то еще в таком же духе, а Вадим против воли упивался каждым словом этой сладостной лести. Глаза его были устремлены на ее грудь, чистые и строгие линии которой вырисовывались под тонким полотном. Это мгновение было настолько прекрасно, что его хотелось продлить, и оно даже не испугало Вадима. Только вызвало неостановимую дрожь. Для того чтобы подавить эту удручающую дрожь, он обнял сестренку и поцеловал ее в губы. Она ответила на его поцелуй крепким и горячим поцелуем. А он, закрыв глаза, представил Ольгу Игоревну, одна рука его машинально проникла к ней на грудь под халатик, а другая гладила сквозь ткань низ живота.

- Значит, ты меня немножко любишь? - спросила она.

Вадим отпрянул и совсем растерялся: сказать "да" - значило совершить настоящую измену.

- Нет, - выдавил он, краснея.

Сестренка разомкнула свои руки, но сделала это так странно, так бессильно, что у Вадима перехватило дыхание, и он почувствовал, как мучительно больно ему расставаться с этой девушкой. Он двинулся к ней и снова хотел нащупать ее крепкую и острую грудь, но она, оттолкнув его от себя, тихо сказала:

- Отваливай! Я себе чувака вызову сама! Слышал!

Вконец посрамленный Вадим пошел к двери, а сестренка, громко смеясь, крикнула вдогонку:

- Импотент!

Вадим проглотил и это, пошел, не оглядываясь, к лифту. Ольга Игоревна, как только он вошел, схватила его и принялась целовать, и Вадима объял такой жар, что он, стремясь остудить его, целовал, удерживал и снова целовал ее влажные губы. Целуя Ольгу Игоревну, он испытывал такое чувство, точно прикасался губами к свежей розе. Какое-то таинственное, благоуханное дыхание исходило от этой красивой и сильной женщины и вливалось в Вадима живыми токами. В нетерпении они буквально метнулись к постели...

Наступили сумерки, а они все не расцепляли объятий. Вдруг за окном послышались голоса. Ольга Игоревна быстро надела сорочку и поспешила задернуть занавески.

- Открой, Ольга, это мы! - прогудел мужской голос.

Вадим лежал молча, не шевелясь, и ощущал болезненное биение какой-то жилки в виске. Что это за люди, почему они так нагло кричат?

- Это с работы, - прошептала она.

За окном с насмешливой старательностью принялись на три голоса петь песню. Хмельные голоса сильно вибрировали. Когда и это не помогло, они принялись свирепо ругаться, а один из них принялся толкать форточку, чтобы заглянуть в темную комнату. Форточка открылась, и большая рука отстранила занавеску. Лазутчик тотчас же разглядел Ольгу Игоревну благодаря ее белой сорочке.

- Так она тут! - крикнул он приглушенным голосом своим товарищам.

У Вадима в голове пронеслась цепь самых непристойных мыслей. Он спросил чуть слышно:

- Как это понимать?

Ольга Игоревна быстро села на постель.

- Я же сказала, что с работы. - И подумав, добавила: - Смешные мужики! Иногда заходят ко мне выпить.

Она встала и, пока за окнами о чем-то совещались и никто не заглядывал в форточку, выдвинула на центр комнатки торшер и бросила на него белое покрывало с кровати, после чего бесшумно легла и привлекла Вадима к себе. Кровати из окна не было видно.

Кто-то еще раз просунул руку в узкую форточку, раздвинул занавески, взглядываясь в комнатку, и крикнул:

- Да это не она, это какое-то белое покрывало... Ну и нажрался же ты, Пашка! Если б она была дома, то давно бы пустила! Не знаешь, что ли, Ольку!

Через некоторое время их голоса смолкли.

- И кто-то из них лежал в этой постели?! - ревниво выпалил Вадим и сам испугался своих слов.

Он обнял ее и стал целовать. Но затем, прекратив внезапно свои ласки, он задержал руку на ее щеке и заметил, что по ней тихо стекает слеза. Тяжело вздохнув, Ольга Игоревна сказала:

- Ты, оказывается, жестокий!
- Но ведь кто-то из них всерьез может быть твоим любовником!

Она ничего не ответила и припала к его губам горячим, упругим ртом.

XV

В апреле приступили к съемке небольшого фильма “Учитель геометрии”, авторского фильма Игоря, которому с трудом удалось его пробить. Ассистент Вадим замерил экспонометром свет, выставил на синхронной камере диафрагму, поправил свет: взял без осветителей два прибора. Звукотик надел наушники.

Пожилой лысоватый учитель геометрии сел к столу. За его спиной на стене висели многочисленные фотографии в рамках. Игорь посмотрел в камеру, затем, вздохнув, сказал:

- Вадим, как ты думаешь, хорошо будет сразу с общего плана переходить на крупный? - и добавил: - Мне это что-то не нравится. Теперь каждый играет трансфокатором...

Игорь еще раз склонился к камере, взглянул в окуляр и покрутил трансфокатор за металлическую ножку, то удаляя учителя, то приближая.

Вадим, задумчиво глядя на фотографии в старинных рамках - черных, золотистых, под цвет дерева, резных, - сказал:

- А что, если так... Сначала в кадре только стол и стул... Без героя... Потом останавливаем камеру, чтобы ничего не сдвигать... Осторожно сажаем его, - Вадим кивнул на старика, - и снимаем на общем плане сначала, потом с наездом до крупешника... Когда он заканчивает говорить, останавливаемся и тоже аккуратно герой уходит, а мы доснимаем без него... То есть у зрителя создается впечатление, что учитель как бы врывается в кадр и также внезапно исчезает...

Игорю понравилось предложение.

Свет на учителя падал и из окна, и от бокового софита, и от контрового, так что ярко серебрились виски и вокруг головы стояло сияние, отдаленно напоминавшее нимб.

Начали съемку. Учитель говорил:

- Геометрия развивает пространственное представление и воображение, способствует более образному, объемному восприятию многих сторон жизни. Человек, не знающий начертательной геометрии, уподобляется точке, ползающей по плоскости и неспособной выйти в третье измерение. В свое время мой отец, директор судостроительного завода в Астрахани, говорил, что геометрию следует знать каждому культурному, интеллигентному человеку, так как еще Ломоносов сказал, что геометрия - изначальница всех мыслительных изысканий.

Учитель задумался, грустно глядя в объектив работающей камеры. Игорь в свой микрофон спросил:

- Иван Иванович, кого вы относите к интеллигентным людям?

- Людей корректных, деликатных, добрых, неспособных на подлость, хамство, имеющих относительно высокий уровень культуры и образования, для которых умственный труд является одной из форм существования.

Перед учителем на столе стоял стакан в золотистом подстаканнике, лежали очки, в линзах которых сфокусировался жемчужинками яркий свет, пачка сигарет. Учитель закурил. Игорь задал вопрос:

- Следите ли вы за последними литературными публикациями? Что вы можете сказать, например, о романе Дудинцева "Не хлебом единым"?

Выпустив струйку голубоватого дыма, учитель сказал:

- Стараюсь следить, насколько позволяет мне мое свободное время и возможность приобретения хотя бы для прочтения этих книг. "Не хлебом единым", в определенном смысле, относится к той же категории произведений, что и "Теркин на том свете" Твардовского, "Один день Ивана Денисовича" Солженицына, "Хранитель древностей" Домбровского и других. Отношусь к ним в целом положительно, так как в них впервые с полной открытостью рассказано о том страшном времени, которое пришлось пережить поколению наших отцов и матерей, да и в определенной степени нам самим. Что касается художественной ценности этих произведений, то тут не все однозначно и одинаково. В последнее время с глубоким вниманием и болью прочитал повесть Фазиля Искандера "Созвездие Козлотура".

- Ваш отец был другом Сергея Мироновича Кирова. Расскажите немного об отце.

Глаза учителя вспыхнули, он словно весь вошел в потусторонний, закамерный мир, - так впился взглядом в широкую загадочно темную линзу объектива.

- Киров долгое время работал в Астрахани, бывал у нас дома. В ту пору мне было лет пятнадцать и я уже многое понимал. Помню, Киров принес бутылочку хорошего вина, они сидели за столом с отцом, говорили, кажется, это был прощальный вечер: Кирова переводили в Ленинград. Потом был очередной съезд, на котором за Кирова было подано голосов намного больше, чем за Сталина. Это и послужило причиной убийства Кирова. Вскоре пришли за отцом. Примерно через два месяца нам разрешили с ним встретиться в астраханской тюрьме. Я был убит видом отца: он превратился в бордовую водянистую глыбу - вместо глаз и рта - черные дыры на бесформенном вздутом лице. Каждый день ржавая селедка и вода, вода и ржавая селедка. Пытали его так: ставили в шкаф, закрывали, а сверху на голову капала вода...

Глаза учителя подернулись влажной пленкой.

- Почти что всех участников того съезда и тех, кто знал Кирова лично, - сказал он, - уничтожили... Сталин говорил, что он вел партию к единству. К какому же единству он привел ее? Борьба мнений и течений была запрещена в ней вообще. И рядовые коммунисты, и члены ЦК лишились права обращаться к партии, даже если вопрос был коренной, принципиальный. Единство партии с убийством Кирова и его сторонников основывалось на беспрекословной воле вождя, на личной преданности ему. Другими словами, то было единство слепое, безыдейное. И сила партии превратилась в ее слабость. Вождь повел не туда, а члены партии, обязанные в такой ситуации кричать, молчали, не смея воспользоваться своими правами и обязанностями. Нам еще предстоит выяснить, где кончаются заслуги Сталина и начинаются ошибки, где кончаются его ошибки и начинаются его преступления... Я воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 4-м Украинском, 1-м Белорусском, 2-м Белорусском фронтах, был автоматчиком, разведчиком. Три раза ранен, контужен, награжден орденами и медалями, участник Парада Победы в Москве в 1945 году, но никогда не кричал: "Вперед, за Сталина!", потому что знал, что это за личность, и с недоверием относился к тем, кто это кричали, кто на чашу весов суда истории кладет победу советского народа в Великой Отечественной войне как оп-

равдание всех или почти всех деяний Сталина. Принцип “победителей не судят” - не наш принцип. Нам далеко не безразлично, как победа достигнута, какой ценой.

- Вы сказали, что воевали в разведке. Не могли бы рассказать о каком-нибудь значительном эпизоде из фронтовой жизни?

Учитель отнесся к этому вопросу без всякого воодушевления.

- Говорят, что о войне и о болезни, - сказал он, - рассказывать нельзя. Это надо пережить.

Вадим с еще большим уважением смотрел на учителя, а Игорь задал еще один вопрос:

- Что вы думаете о тех людях, которые “воевали” при штабах, а после войны громче всех кричали о своей роли в победе? Знаете ли вы таких “героев”?

Учитель нервно загасил сигарету о пепельницу, сказал:

- К сожалению, есть такие люди. Это воры - они стараются присвоить чужое. Таких людей приходится встречать и сейчас, видеть по телевизору, на трибунах!

Когда вернулись на студию и Вадим сдал отснятый материал в проявку, Игорь предложил заехать к нему.

- Дам кое-что почитать, - добавил он.

Трамваи бежали по Шаболовке, высекая из серебристых рельсов бело-рыжие искры. У проходной тормознул обшарпанный “Москвич” - пикап, и из него вышел актер Ульянов, в кепке-букле и в хромовых сапогах.

В доме Игоря на многочисленных полках стояли Толстой и Гамсун, Набоков и Гумилев, Пастернак и Достоевский, Гроссман и Платонов...

Большая часть книг была русскоязычными вариантами западных изданий. Игорь сунул Вадиму книгу в мягком переплете, обернутую в газету, сквозь прорыв которой виднелось одно слово названия: “...террор”.

- Наше свободолюбие, - сказал Игорь, глядя в глаза Вадима, - еще зачастую не более чем жалкий недоносок. У нас недостает истинной смелости и интеллигентности, которые вносят в сложную политическую жизнь бодрую живость ума. Ты думающий парень и тебе надо глубже всматриваться в жизнь людей. Я убежден, что знание многочисленных жизненных обстоятельств и отношений приносит молодым гораздо больше пользы, чем все нравственные теории.

Вадим выслушал это и после паузы, подумав, сказал:

- Последние приходят к человеку только с опытом, в известной мере как компенсация того, чего уже нельзя изменить. Поэтому, я думаю, книги столь же необходимы молодым, как и живое знание жизни. Умные книги придают живой жизни форму, как гений облакает в совершенную форму грубый кусок глины.

XVI

Щелкнув пальцами, Слава, облаченный в черный пиджак с шелковыми лацканами, в галстук-“бабочке”, парящей над белой сорочкой с кружевными всплесками вдоль планки с перламутровыми пуговицами, сказал:

- Старичок, тебе лучшее место! - И убрал со столика, приютившегося в углу за колонной, табличку: “Стол не обслуживается”. Затем, подумав, присел на минуту, сверкнув белым пробормотом: - На хрена мне это телевидение сдалось! Здесь я без четвертака в день не выхожу! Да еще продукты! Сыт, короче, старичок, пьян и нос в табаке!

Вадим сидел молча, не шевелясь, как будто напряженно взвешивал в уме: где выгоднее работать - на телевидении или в ресторане. На самом деле он думал о том, как скорее вырваться от Славы и бежать к Ольге Игоревне.

- Что ты молчишь, старичок? Укормлю, упою!

Вадим пожал плечами, сказал:

- Я же не пью, ты знаешь. И есть что-то не хочется...

- Это мы посмотрим. А я тебе шашлычок с соусом сейчас готовлю! И баба должна подойти. Женюсь! - воскликнул Слава и, бросив перед Вадимом меню, помчался на кухню.

Через некоторое время Слава, грациозно лавируя между столиками, держа на ладони поднос, подлетел к Вадиму, поставил перед ним на хрустящей скатерти закуску и графинчик водки.

- Салатик, старичок, - Слава закатил глаза и чмокнул щепот пальцев, - закачаешься! Рыбка - севрюжка, маслинки, лимончик, свежие помидорки!

И все в уменьшительной форме, чтобы сами слова лоснились и приобретали вкус, запах и цвет.

Вадим смотрел на Славу, и странное ощущение чуждости, даже враждебности приобретали эти словечки, и весь Славин вид в черном костюме с поблескивающими шелковыми лацканами, с “бабочкой”, с легкомысленными кружевами белоснежной сорочки отталкивал.

- Ща я с тобой рвану рюмочку, - сказал Слава, быстро наливая в рюмки из тонкого стекла водку, оглянулся, вытянулся и выпил, бросил в рот маслинку и побежал куда-то.

На эстраде ударили в барабаны, взвизгнула труба и басовито загудел саксофон. Худошавая певица в длинном бархатном малиновом платье запела:

От поцелуя дрожу весь вечер...

Вадим поморщился и выпил.

В глубине зала показался Жека с двумя женщинами. Черные кудри Жеки падали на узкие плечи сталистого пиджака. Увидев Вадима, Жека приветливо замахал рукой, затем обхватил за талии обеих женщин и быстро подвел их к столу. Одна из женщин была невероятно полной, с огромнейшей грудью, распирившей облегающую тело синтетическую “водлазку”, и могучими бедрами, едва позволившими ей усесться за небольшой стол.

Потерев руки, Жека мигом распорядился, налил себе и Вадиму. На столе было две рюмки.

- Я только что врезал, - сказал Вадим.

- Ленка, давай тогда ты! - предложил Жека толстухе, чья грудь нависала грозными утесами над столом.

Бархатные глаза толстухи вспыхнули, по щекам разлился румянец, как заря на утреннем небосводе. Она послушно и очень медленно выпила, поставила рюмку, затем пошевелила огромные свои груди ладонями.

Судя по всему, лифчик ей сильно жал.

Жека оглянулся, затем украдкой достал из кармана бутылку водки, сорвал зубами пробку и под столом, между колен, перелил содержимое из бутылки в графинчик. Тут появился Слава с пышущим жаром шашлыком для Вадима. Поставив поднос на стол, он склонился к толстухе и поцеловал ее в губы, затем, как бы случайно, коснулся пальцами груди, нажал и резко отпустил, как от резиновой груши.

- Мигом оформлю! - сказал он и через минуту принес недостающие рюмки, фужеры, ножи и вилки.

- Ну, как тебе на телевидении? - спросил Вадим у Жеки, что бы поддержать разговор.

Деловито налив рюмки, Жека сказал:

- С Алешкой Габриловичем попал на картину... Буду ходить за ним с портфелем, туго набитым деньгами.

- Молодец, старичок! - воскликнул Слава и, оглянувшись, выпил, держа рюмку за ножку двумя пальцами и оттопырив мизинец, на котором поблескивало колечко с зелененьким глазком.

Из-за соседнего столика какой-то грузин крикнул:

- Официант, да-ра-гой, давай шашлыку!

Слава поклонился своему столику, попятился, развернулся, прищелкнул пальцами и на одной ноге помчался в кухню, откинув занавески на двери, как театральный занавес опытный актер.

Обслужив всех, кого нужно, Слава присел к столу, традиционно оглянулся и выпил фужер водки. Вадим даже озноб почувствовал. Далее события разворачивались стремительно: Слава, заметно покачиваясь, пошел за шашлыками, но пришел без них, бледный, напуганный. Он сказал:

- Метр домой гонит, а я не пойду! - И тяжело опустился на подставленный Жекой стул.

- Я тебя провожу, - сказал Вадим, понимая, что тем самым он лишает себя возможности побыть с Ольгой Игоревной наедине.

Слава посопел и, обмотав вокруг пальца угол хрустящей скатерти, сделал легкое движение, и закуски, шашлыки, бутылки с минеральной водой, графинчик с водкой, рюмки, фужеры, ножи и вилки посыпались со звоном на пол.

Славу пришлось везти домой на такси. Дверь открыл пьяненький сосед Коля, так как в окнах не было света и Ольга Игоревна не выглядывала. Может быть, задержалась? Вадим обещал быть в половине десятого, а сейчас только восемь часов.

Жека покопался в карманах Славы, нашел ключ, открыл дверь. На пороге стояла Ольга Игоревна в халате, лицо ее пылало румянцем. Увидев Славу на руках у Вадима, она быстро проговорила почти что шепотом:

- Положите его здесь, на пол, я сама его приведу в порядок!

Эти слова показались Вадиму очень странными. В этот мо-

мент Слава очнулся и двинулся в сторону комнаты, оттолкнул мать и упал на пороге. Вадим кинулся поднимать его и, мельком бросив взгляд в комнату, заметил на спинке стула милицейский мундир с полковничьими погонами и двумя институтскими “поплавками” на груди.

В голову сильно толкнулась кровь. Не понимая, что он делает, Вадим перешагнул через Славу, заглянул за перегородку и увидел седовласую голову отчима.

Глаза их встретились, и на лице отчима выразилось недоумение, граничащее с испугом. Вадим оглянулся на Ольгу Игоревну, которая, сложив руки и поднеся их к губам, тихо всхлипывала, но не плакала, слез не было, и Вадим в одно мгновение понял, что она играла страх, но самого страха не было.

Вадим вновь переступил через Славу и, ни слова не говоря Ольге Игоревне, бледный и растоптанный выскочил в коридор, где у входной двери курил сосед Коля.

Вадим резко остановился возле него и спросил отрывисто, шепотом:

- Часто у нее бывают эти... - Он не договорил.

Коля не спеша открыл дверь и вышел вместе с Вадимом на крыльцо. Почесав небритый острый кадык, Коля сказал:

- Каждый день, вот тебе крест. Что за шлюха такая! Не пойму! И тебе-то, вижу, давала... А ты-то дурак и уши развесил! Да проститутка она обыкновенная, вот кто она по всем официальным статьям должна быть! Да я, знаешь...

Но Вадим уже не слушал пьяненького соседа Колю. Не было сил слушать, и он, обхватив голову руками, побежал через двор к воротам, на улицу, и все бежал, бежал, бежал, пока не обнаружил себя у подъезда собственного дома. В голову ударило: как он посмотрит в глаза мамы, чей муж сблизился с другой женщиной, не просто с другой, а с той самой, в которую до беспамятства был (да, уже был!) влюблен ее сын! Чувство омерзения и гадливости нахлынуло на Вадима, сердце сильно билось и болела голова. С трудом подавляя в себе все это, он все же пошел домой, и сумел вполне спокойно посмотреть на маму, которая как ни в чем не бывало спросила:

- Ужинать будешь?

Он заставил усилием воли себя улыбнуться и ответить:

- Я ужинал в ресторане.

- Где-где?

- В ресторане, - твердо повторил Вадим и добавил: - У Славы. Он теперь работает официантом в ресторане. С телевидения он ушел.

Подумав, мама сказала:

- Может быть, он поступил правильно. Вообще, мне кажется, он очень недалекий мальчик.

- Ты права, - сказал Вадим, пошел к себе, открыл книгу, обернутую в газету и стал жадно глотать страницу за страницей, чтобы выбить из головы все впечатления постыдной жизни людей, не облагороженных интеллектом и нравственностью.

XVII

Несколько отстраненно Вадим поговорил обо всем случившемся с Игорем. Туда же, где оставалось что-либо непонятное, погруженное во мрак, Игорь вносил яркий свет уже разъясненного, и этим светом озарял темные углы жизни, так что каждое понятие оставалось до поры до времени неосвещенным и незатронутым, ожидая наступления своего срока, как серая стена дома ожидает утренних лучей солнца. Даже тогда, когда приходилось отказываться от объяснения чего-либо, например, похоти, он отступал с убедительным указанием на то, что все совершается в полном соответствии с необходимостью и что предел, ограничивающий человеческое поведение, никоим образом не означает предела для действия законов природы.

С отчимом Вадим избегал встреч, а если встречался, то старался из-за мамы не подавать виду, что между ними что-то произошло, однако задача осложнялась тем, что приходилось вместе садиться за стол, не каждый день, разумеется, но достаточно часто в течение недели, и, встречаясь таким образом, Вадиму хотелось ни на мгновение не задержать на нем взгляда, чтобы сохранить превосходство своего духовного существа, которое удавалось на некоторое время укрощать, то есть повелевать природными силами, терзавшими Вадима, и забывать об Ольге Игоревне, отчасти уже привыкнув к мучительному состоянию отрешенности от нее, позволявшему овладевать им чувством печально-

го смирения, и Вадиму казалось, что все это можно стерпеть, лишь бы не было хуже.

После того, как отчим, оставшись наедине с Вадимом, все же сказал, приглаживая серовато-желтую прядь на виске:

- Это мужское дело... Ты должен понимать. Конечно, она мать твоего друга, но... Она прекрасная бабенка!

Тут Вадимом по-настоящему овладела тоска, он чуть было не заплакал, как заблудившийся ребенок, на несколько минут закрыл глаза и сказал себе: "Все кончено..." Но чтобы не утратить преимущества" не совмещая в данном случае его с законами разума, Вадим каким-то чужим, скрипучим голосом бросил:

- Я до тебя с ней был близок и многожды!

Отчим не побледнел, не изумился, не насутился, - он усмехнулся, подмигнул Вадиму и похлопал его по плечу. Скорее всего, подобным интрижкам он не придавал ровно никакого значения. В отношении женщин природное и нравственное для него расходились, и пренебрегать любой случайностью сблизиться с хорошенькой женщиной он считал глупым.

А Вадиму было стыдно своей наивности и страдания, стыдно своего заблуждения.

Но он подозревал, что силы человека в борьбе с подобными заблуждениями - как раз то, что придает жизни цену. Тут он припомнил почему-то выражение Ольги Игоревны: "Чик-чик", - и подумал, что и она подлежит этому ножничному лязгу: чик-чик!

Ему понравилось это сравнение того, на что она в свое время намекала, с тем, что он вычеркивает, вырезает ее из своей жизни, и он нашел его весьма разумным, и даже почувствовал приятное тепло оттого, что так хорошо решил с этим "чик-чик".

Но еще больший смысл обрело это выражение на исходе мая, когда зеленые остроконечные трубочки разворачивались в листья, и Игорь, взвинченный после просмотра начальством фильма "Учитель геометрии", сказал:

- Предложили вырезать от стула до стула и снимать заново!

Потрясенный этим горестным сообщением, Вадим сказал:

- Чик-чик...

- Что?

- Я говорю - чик-чик! - и он пальцами изобразил ножницы и словно пощелкал ими.

Игорь не удержался от мрачной усмешки, сказал:

- Да, чик-чик... И меня тоже чик-чик! Я сказал, что ничего переснимать не собираюсь... Короче говоря, не сдержался. Поскандалили. Я сказал, что подаю заявление. Они не возражали.

Вадим ничего не ответил и беспомощно глядел в одну точку.

Игорь вздохнул и сказал:

- Ладно, чего грустить... Это всего лишь пленку режут... Чик-чик... А скольких людей тогда чик-чик?!

Вечерняя встреча с отчимом внезапно напомнила Вадиму о том, что ведь и он любил Ольгу Игоревну. Вадим поймал себя на мысли, что лишь умозрительно вычеркнул Ольгу Игоревну из жизни. На самом же деле она жила в нем каким-то шестым чувством, несмотря на то, что отчим был с нею, что сосед Коля называл ее потаскушкой. Вадима страстно тянуло к ней, но все-таки он находил в себе достаточно сил, чтобы побеждать эту тягу, тем более в последнее время он с головой ушел в фотографию: снимал портреты и жанровые сценки на улицах Москвы, проявлял многочисленные пленки, при свете красного фонаря печатал большеформатные, как для выставки, фотографии, которые собирался подавать во ВГИК.

Игорь уволился, и Вадим работал теперь с другим кинооператором, невысоким, коренастым Славой Степановым, которого все больше гоняли по заводам и фабрикам. Шумные ватаги осветителей, огромные "десятки" или "диги" высвечивали пролеты цехов, толстые черные кабели путались под ногами, Вадим таскал камеру за Славой, выбирали точку, затем устанавливал камеру на штатив (Слава не любил снимать с рук), замерял свет, просил осветителей подправить тот или иной прибор, в общем, делал то, что подобает ассистенту.

На заводах все больше стали митинговать, "теснее сплачиваться вокруг Центрального Комитета", "единодушно одобрять и поддерживать"... Перед самым отпуском на экзамены Вадим попал со Славой Степановым на ЗИЛ, где в огромном цеху, в котором пахло моторным маслом и бензином, поставили грузовик с бортами, затянутыми красными лозунгами - эдакая экспромтная трибуна, - приставили к кузову сколоченную из свежих досок лестницу, по которой в кузов поднялся лысоватый В. В. Гришин. Боря Чесалин, бывший бригадиром на этой съемке, дал свет, а Вадим, взойдя на трибуну следом за начальством, приставил

почти что к самому лицу Гришина темное окошко экспонометра, дабы замерить свет.

- Да одного меня так близко не надо снимать, - сказал Гришин, застыв в позе впервые пришедшего в фотографию провинциала.

Вадим разглядел тонкие лиловые прожилки на внушительном носу Гришина, повернулся и крикнул Чесалину, который к этому времени был чуточку выпивши, чтобы добавил свету, которого явно не хватало, ибо огромный пролет цеха выкрадывал не очень яркое свечение пяти "десяток".

Чесалин, в замшевом светло-коричневом пиджаке, пожал плечами и, когда Вадим спустился, сказал:

- Мало заказали... Надо было десяток "дигов" сюда, - и дыхнул дешевым портвейном...

Пространство вокруг митингового грузовика заполнялось рабочими, оторванными "по важному делу" от работы и поэтому стоявшими с мрачными лицами. Из уст одного парня в черной промасленной робе Вадим услышал:

- Через день треп устраивают! Как не надоест!

Вадим подошел к Славе и сказал:

- Не потянет... Надо на полную дырку снимать... Тогда зернище попрет такое, что нас за это дело чик-чик!

- Что? - переспросил Слава, заглядывая в камеру.

- Чик-чик, говорю! - повторил Вадим и изобразил пальцами ножницы.

У трибуны поднимался гул, вдали цепями гремел еще какой-то огромный станок. Слава подозвал автора, отставника-полковника из главной редакции пропаганды, и сказал, что снимать нет никакой возможности. Автор подозвал какого-то "шестерку" при галстукке, а сам спросил у Славы:

- Что будем делать?

Боря Чесалин смело сказал:

- Ща сделаем! - и зашептал что-то на ухо автору.

Тот, помедлив, согласно кивнул головой. Веселый Боря быстро перекоммутировал со своими подручными "десятки", которые затем вспыхнули ослепительно голубоватым светом.

- Чего ты ему шептал? - спросил Слава, когда автор отошел.

- А то, что в связи с опасностью, прошу, мол, на пару бутылок портвешку!

Слава грозно посмотрел Чесалину в глаза.

- Чудило! - сказал Слава и рассмеялся.

- Да я же вполне могла давать сначала! Я этого полкана давно засек. Как митинг, так сшибаю с него поддачу! Уже, вижу, при-
вык...

Тем временем В. В. Гришин, уставившись в бумагу, начал гро-
могласно в микрофоны: "Вместе со всем народом, еще теснее
сплотившись вокруг родной..."

Вадим услышал голос все того же работяги:

- Изо дня в день все теснее сплавиваемся - скоро от тесноты
задохнемся и ребра переломаем!

XVIII

Вадим уже начинал забывать про деревянный одноэтажный
дом в глубине двора, и лишь изредка, в промежутки между экза-
менами, когда читал или писал, вдруг ни с того ни с сего припо-
минал свет в окне, выходящем на кирпичную стену, шаги Ольги
Игоревны, комнатку за перегородкой. А еще реже, в минуты, ког-
да Вадима томило одиночество и ему становилось грустно, он
смутно вспоминал ночные объятия и поцелуи, и мало-помалу ему
почему-то начинало казаться, что о нем тоже Ольга Игоревна
вспоминает, ждет его и что они встретятся.

Наконец, после того, как Вадим достаточно равнодушно об-
наружил себя в списках поступивших, он отдался воле чувств и
пошел в тот двор, к тому домику... Однако каково же было его
удивление, когда на месте домика он обнаружил строительную
площадку: экскаватор зубастым ковшом копал котлован, отвали-
вая рыжую глину к кирпичной стене, поодаль лежали бетонные
блоки, доски, какие-то металлические каркасы...

В книге "Философия печали", Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990, тираж
100.000 экз.

Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006,
тираж 2000 экз. Том 2, стр. 166.

ОБ АВТОРЕ

Писатель Юрий Александрович Кувалдин родился 19 ноября 1946 года в Москве, на улице 25-го Октября (ныне и прежде - Никольской) в доме № 17 (бывшем "Славянском базаре"). Учился в школе, в которой в прежние времена помещалась Славяно-греко-латинская академия, где учились Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир. Работал фрезеровщиком, шофером такси, ассистентом телеоператора, младшим научным сотрудником, корреспондентом газет и журналов. Окончил филологический факультет МГПИ им. В.И.Ленина. В начале 60-х годов Юрий Кувалдин вместе с Александром Чутко занимался в театральной студии при Московском Экспериментальном Театре, основанном Владимиром Высоцким и Геннадием Яловичем. После снятия Хрущева с окончанием оттепели театр прекратил свое существование. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР в течение трех лет (ВВС) под командованием генерала, Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Автор книг: "Улица Мандельштама", повести ("Московский рабочий", 1989), "Философия печали", повести и рассказы ("Новелла", 1990), "Избушка на елке", роман и повести ("Советский писатель", 1993), "Так говорил Заратустра", роман ("Книжный сад", 1994.), "Кувалдин-Критик", выступления в периодике ("Книжный сад", 2003), "Родина", повести и роман ("Книжный сад", 2004), "Сирень", рассказы ("Книжный сад", 2009), "Ветер", повести и рассказы ("Книжный сад", 2009), "Жизнь в тексте", эссе ("Книжный сад", 2010), "Дневник: kuvaldinur.livejournal.com" ("Книжный сад", 2010), "Море искусства", рассказы ("Книжный сад", 2011), "Счастье", повести ("Книжный сад", 2011). Печатался в журналах "Наша улица", "Новая Россия", "Время и мы", "Стрелец", "Грани", "Юность", "Знамя", "Литературная учёба", "Континент", "Новый мир", "Дружба на

Юрий Кувалдин

родов" и др. Выступал со статьями, очерками, эссе, репортажами, интервью в газетях: "День литературы", "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", "Ленинское знамя", "Социалистическая индустрия", "Литературная Россия", "Невское время", "Слово", "Российские вести", "Вечерний клуб", "Литературная газета", "Московские новости", "Гудок", "Сегодня", "Книжное обозрение", "Независимая газета", "Ex Libris", "Труд", "Московская правда" и др. Основатель и главный редактор журнала современной русской литературы "Наша улица" (1999). Первый в СССР (1988) частный издатель. Основатель и директор Издательства "Книжный сад". Им издано более 100 книг общим тиражом более 15 млн. экз. Среди них книги Евгения Бачурина, Фазиля Искандера, Евгения Блажеевского, Кирилла Ковальджи, Льва Копелева, Семена Липкина, А. и Б. Стругацких, Юрия Нагибина, Вл. Новикова, Льва Разгона, Ирины Роднянской, Александра Тимофеевского, Л.Лазарева, Льва Аннинского, Ст. Рассадина, Нины Красновой и др. Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы.

В 2006 году в Издательстве «Книжный сад» вышло Собрание сочинений в 10 томах.

По каналу «Культура» 21 ноября 2006 года показан телевизионный фильм «Юрий Кувалдин. Жизнь в тексте».

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

День писателя	3
Беглецы	68
Записки корректора	124
Осень в Нью-Йорке	189
Не говори, что сердцу больно	234
Пьеса для погибшей студии	275
Ранние сумерки	345
Об авторе	413

Юрий Александрович Кувалдин
День писателя

повести

Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов

ISBN 978-5-85676-141-1

ЛР № 061544 от 08.09.97.

Сдано в набор 13.03.11. Подписано к печати 21.07.11. Формат 84x108 1/32.

Бумага офсетная. Гарнитура "OfficinaSansCTT". Печать офсетная.

Уч.-изд. л. (авторских листов) 20,11. Тираж 1000 экз.

Издательство "Книжный сад"
www.kuvaldinur.narod.ru

Издательство «Книжный Сад» Москва 2011

Юрий Кувалдин День писателя

